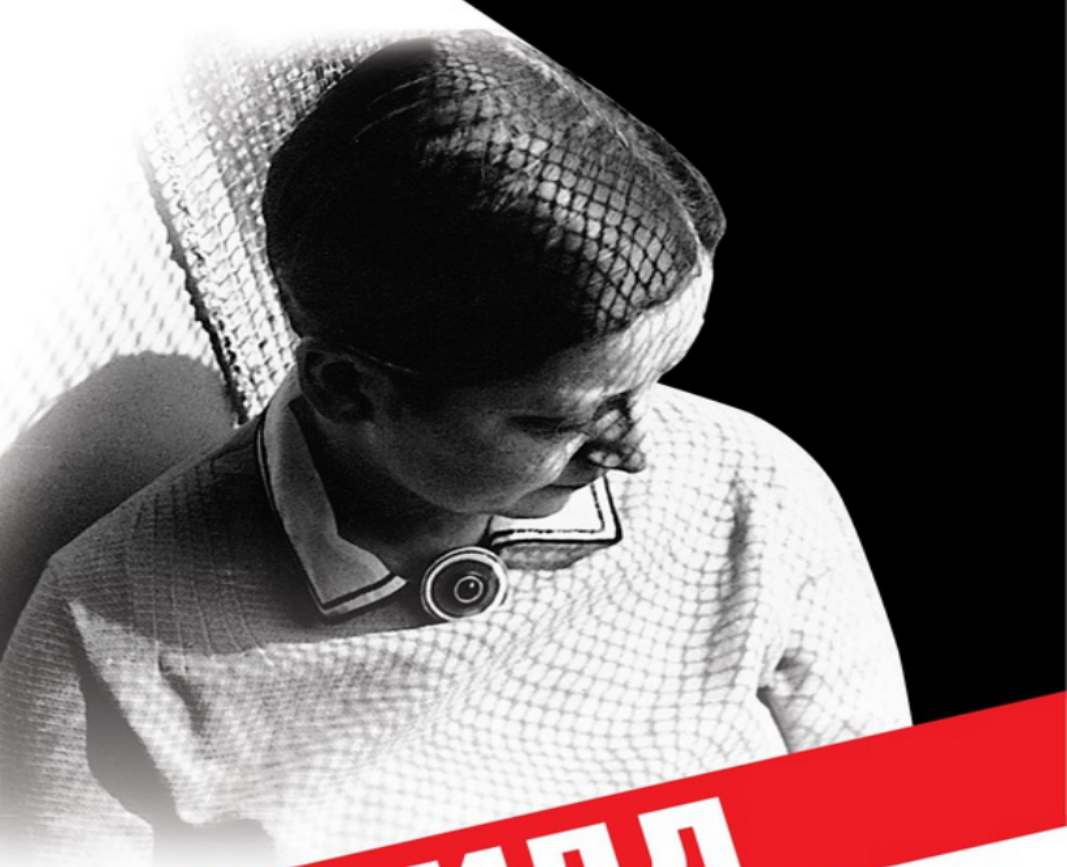


ФРИДЛ

ЕЛЕНА МАКАРОВА

Новое
Литературное
Обозрение

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Роман написан от первого лица. Художница и педагог Фридл Дикер-Брандейс пересматривает свою жизнь после того, как ее физическое существование было прервано гибелью в газовой камере. В образе главной героини предстает судьба целого поколения европейских художников, чья юность пришлась на Первую, а зрелость на Вторую мировую войну. Фридл, ученица великих реформаторов искусства – И. Иттена, А. Шёнберга, В. Кандинского, и П. Клее – в концлагере учит детей рисованию. Вопреки всему она упорно верит в милосердие, высший разум и искусство.

Елена Макарова – писатель, историк, искусствотерапевт, режиссер-документалист, куратор выставок. На ее счету свыше 40 книг, переведенных на 11 языков.

- Елена Макарова
  - ○
  - ○ Предпослание
    - ■
    - ■ Осколки древних амфор
    - ■ Мерцающее пятнышко
  - ○ Часть первая
    - ■ 1. Замрите, фройляйн Дикер!
    - ■ 2. Чем больше смотришь на часы, тем меньше остается времени
    - ■ 3. Где мы, а где Сараево!
    - ■ 4. Синяя Борода. Пролог к пьесе для кукольного театра
    - ■ 5. Война и жизнь
    - ■ 6. Движение образует форму
    - ■ 7. Революция по Конфуцию
    - ■ 8. Любовь и музыка
    - ■ 9. Лунный Пьеро
    - ■ 10. Немецкая Австрия
    - ■ 11. В материале польза, в нематериале суть
  - ○ Часть вторая
    - ■ 1. Баухауз
    - ■ 2. Колесо жизни
    - ■ 3. Франц
    - ■ 4. Утопия
    - ■ 5. Тройственный союз
    - ■ 6. Пауль Клее

- 7. Пробуждение
- 8. Соломенная невеста
- 9. Полнолуние
- 10. Трик транк тро
- 11. В Париже все дозволено
- 12. Берлин
- 13. Испытание
- 14. Анна, Мария и Христос (Anna selbdritt)
- 15. Страх пустоты
- 16. Кислинка на начинку
- 17. Ботаника и Паскаль
- 18. Берлин. Улица Ошибок
- 19. Стежки
- 20. Переплеты
- 21. Вокзалы
- 22. Ателье «Зингер–Дикер»
- 23. Мне 30 лет
- 24. Изменить мир!
- 25. Фотомонтаж
- 26. Вилла Херриот
- 27. Театр комедии
- 28. Вокруг детского сада
- 29. Подполье
- 30. Проходной двор
- 31. Труда Хаммершлаг
- 32. Эдит Крамер
- 33. Проекты
- 34. Вот бы зрячим – зрение слепых!
- 35. Опасные игры
- 36. Тюрьма

○ Часть третья

- 1. Прага
- 2. День длиной в жизнь
- 3. Веселое лето
- 4. Хильда и «Черная роза»
- 5. Бедржишка Брандейсова
- 6. Воскрешение Лазаря и психоанализ
- 7. Уроки на дому
- 8. Серп и молот
- 9. Дегенераты от искусства
- 10. Наход-1938
- 11. Вести из Мюнхена
- 12. Вилла Ноймана в Либерце
- 13. Фотография на память

- Часть четвертая
  - 1. Короткое замыкание надолго
  - 2. Важное и неважное
  - 3. Красивые виды
  - 4. Поездка в Прагу
  - 5. Рождество
  - 6. Увертюра
  - 7. В ладу с собой
  - 8. Шрам
  - 9. Лицо и руки
  - 10. Рисунки с натуры
  - 11. Пифагоровы штаны
  - 12. Ждарки
  - 13. Умер Пауль Клее
  - 14. Проливные дожди
  - 15. Гости
  - 16. Асинхронизм
  - 17. Павел-плотник
  - 18. 1000 поцелуев
  - 19. Текущее время
  - 20. Незавершенное
  - 21. На свалке страхов
  - 22. Пертурбации
  - 23. Наскальная живопись
  - 24. Берлинские новости
  - 25. Еврейский дом
  - 26. Пантеон
  - 27. Внутренняя дисциплина
  - 28. Освобождение или бегство
  - 29. Неестественный переход от тьмы к свету
  - 30. В ночи
  - 31. Сильнее стали контрасты
  - 32. Танец на пуантах
  - 33. Остров сокровищ
  - 34. Монохром
  - 35. Истерика
  - 36. Стремление к простоте
  - 37. Вопросы без ответов
  - 38. Марш Радецкого
  - 39. Отдаться живописи
  - 40. Черная дыра
  - 41. Поезда, вышедшие навстречу друг другу
  - 42. Врач и больной
  - 43. Круговой бег любви

- 44. Пчела
- 45. Прогулка
- 46. Что касается души
- 47. Считать осколки
- 48. Макабрический хохот
- 49. Родственники
- 50. Третий переезд
- 51. В дождь
- 52. Летние мысли
- 53. Раритеты
- 54. Милосердие
- 55. Советский рай
- 56. Без Павла
- 57. Каждодневность
- 58. Напоследок
- 59. Сборы по списку

○ Часть пятая

- 1. Сборный пункт в Градце Кралове
- 2. Большое ничто
- 3. Зеркальный город и подземелье
- 4. Уроки
- 5. Рыжая
- 6. Вопреки
- 7. Школа формы
- 8. Властичка
- 9. Быт и основные цвета
- 10. Почтение к материалу
- 11. Приручить смерть
- 12. Глубина и даль
- 13. На границе
- 14. Бокал вина
- 15. Простое удовольствие
- 16. Семинары
- 17. Детская выставка
- 18. Свет и тьма
- 19. Собственный угол
- 20. Спектакль «Светлячки»
- 21. Воспитание искусством или искусство воспитания
- 22. Судьба стула
- 23. Маски и притчи
- 24. Свадьбы
- 25. Колесо жизни
- 26. Бу-бу-бу!

- 27. Без пяти двенадцать
- 28. Тризна
- 29. Причина землетрясений
- 30. В святилище знаний
- 31. Вещей нужно восемь
- 32. Хозяин и собака
- 33. В черном и белом много цветов
- 34. Роман без продолжения
- 35. Некруглая дата
- 36. Письмо к Вилли
- 37. Сито

Елена Макарова
Фридл Роман

Ее фотографии не похожи одна на другую, ее картины не похожи одна на другую – но я узнаю ее везде. Каким образом?

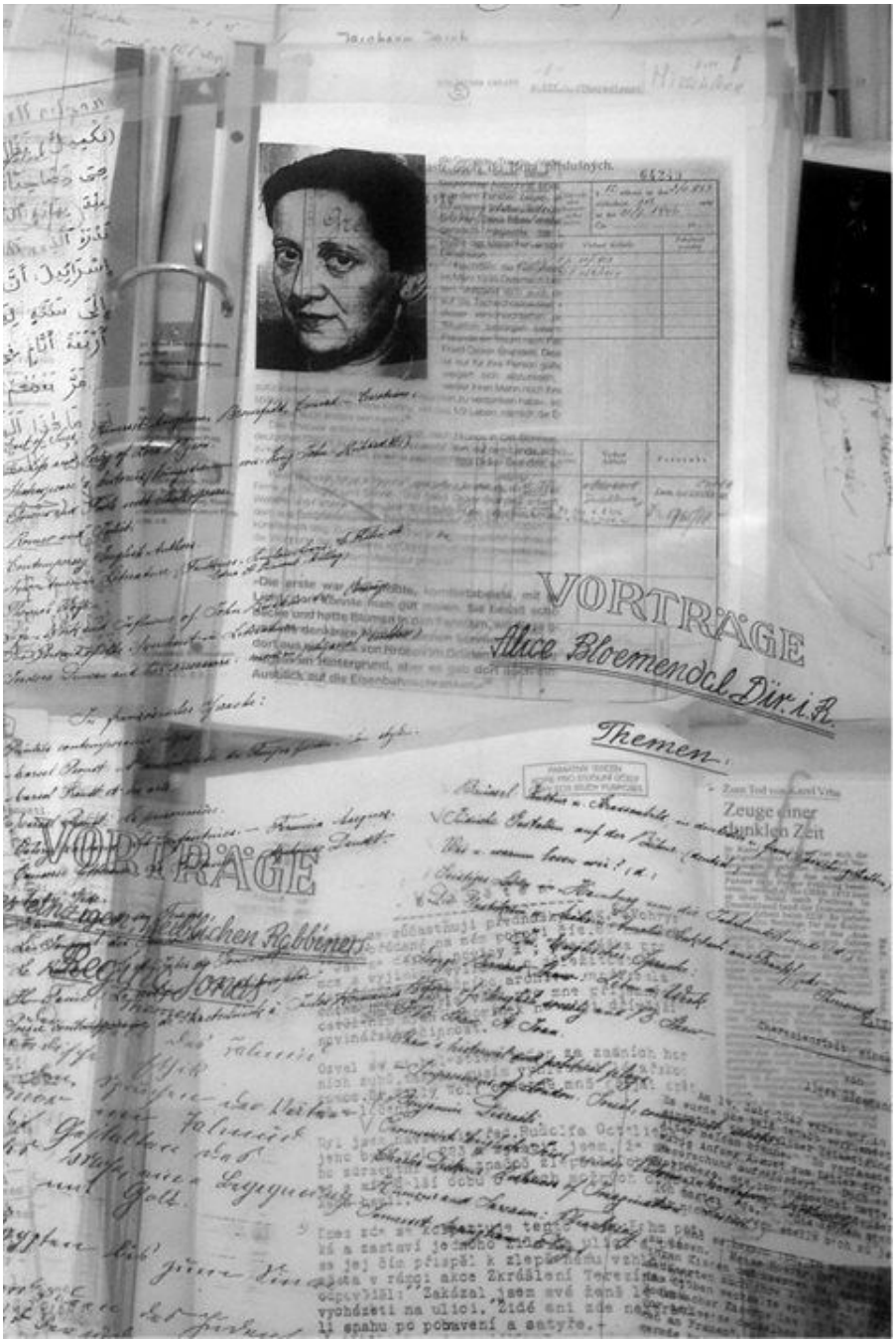
Ее искусство, столь разнообразное по жанрам и технике, дает ли оно представление о «лице художника» или лишь о чертах этого лица? Сама себя она ни к какому течению не причисляла, искусствоведы отвели ей нишу в «Новой вещности». Отчего ж не в «Новой Вечности»?

Результатом каждого последующего шага у Фридл является некое произведение, несущее в себе черты прошлой и будущей работы. Нигде не поставлена точка, все через запятую. По отдельно взятой работе трудно судить о диапазоне ее искусства. Неструктурируемая структура? Саму ее ничто не удовлетворяет, она переписывает картину по десять раз, зная, что в конце концов загубит ее, но отступиться не может, вечером дает себе обещание не притрагиваться, утром хватается за кисть – снова не то! Что делать тому, кто каждый день живет наново, тому, у кого не происходит накопления опыта, тому, для кого обыденность является волшебством? Открытая каждому встречному и замкнутая сама в себе – известная характеристика, я и сама такая, может, потому и брежу Фридл?

За картины, которые теперь оцениваются в огромные суммы, она назначала цену в зависимости от затраченного времени. У нее не было доверия к таланту, как к чему-то данному природой, вроде красивых глаз. Упрямая, глядящая исподлобья, она и после смерти пытается дойти до сути. Желание проникнуть в тайну вещи сводит ее с ума. И меня вместе с ней.

Ученики помнят ее голос. Под звуки ее голоса они рисовали спирали, вжимали уголь в лист, дергали с места, как паровозы, и притормаживали, когда голос стихал. Кажется, в полном объеме она снискала понимание у детей, в Терезине.

Ее жизнь оседает в моей, я научаюсь думать ее мысли, сумбурные – о времени и ясные – о пространстве. Вслушиваюсь в угольные прочерки и цветные мазки, вчитываюсь в письма с отсылками к Кафке, Гегелю, Клее, Кьеркегору, египетскому искусству и рембрандтовской тьме.


VORTRÄGE
Alice Bloemendal Dir. i. R.
Themen:
Zeuge einer dunklen Zeit
VORTRÄGE

Предпослание

Книга всегда пишется сообща,
даже если соавторы не ведают друг о друге и их разделяет промежуток в пятьдесят лет.

Фридл Дикер-Брандейс,
Гронов, 1941

3.3.1997. Иерусалим. Компьютер перед окном в цветущий сад. Справа на стене – пастель Фридл, вид сквозь деревья, букет полевых цветов Анны Сладковой, подруги Фридл, – срочно написать в Наход, как она там. Слева – шероховатый лист в форме кочерги, в Израильском музее мы осваивали производство бумаги старинным китайским способом, – на нем желтая звезда на ржавой булавке – подарок брата художника Дольфи Аузенберга, убитого в возрасте 30 лет в Освенциме. Рядом обнаженная на коленях – старческий рисунок Вилли Гроага, директора терезинского детского дома девочек L-410, где жила и работала Фридл, того самого, который после войны вывез из Терезина в Прагу два чемодана детских рисунков. Около обнаженной – плакат с выставки в Яд Вашем; акварельное, едва намеченное лицо ребенка («Фридл без спросу взяла у меня альбом, прошлась по бумаге кисточкой, и все…») обрамлено меленькими фотографиями детских лиц. Слева, на расстоянии протянутой руки, железные стеллажи с книгами от Баухауза до Терезина и толстые темные папки с надписями на корешках: «Баухауз-эксперимент», «Фридл-Баухауз», «Вилли Гроаг», «Дети», «Транспортные списки», «Культурная жизнь», «Неизвестные художники», «Театр», «Швенк-Кабаре», «Лекции», «Дневники», «Детские журналы», «Стихи и проза», «Эдит Крамер», «Виктор Ульман», «Музыка», «Письма», «Цветы любви 42 года», «Эстетика и хаос»…

Зима, 1997. Визен, дом на берегу Швейцарского озера.

Здесь живут Адлеры, Юдит и Флориан, дети твоих подруг – Анни и Маргит. В этом доме я бывала не раз, но теперь, наконец, появилась возможность отснять все твои работы, рассыпанные по музеям и частным коллекциям. Центр Визенталя взял на себя финансирование проекта.

«Придется перенести съемки, – сказала Юдит, – я пыталась вас предупредить, но вы уже вылетели из Израиля. У Флориана

флегмона десны». И из-за этого три человека со всей аппаратурой должны отменить поездку, которую было так сложно организовать. У нас все расписано по дням. Швейцария, Австрия, Италия, Чехия.

– Ему назначили операцию.

– Нельзя отменить?

– Отменить?! Какая наглость!

И все же Юдит смилостивилась над нами.

Трехэтажный дом полон твоими картинами, набросками, письмами. Но что самое невероятное, мы обнаружили на чердаке железную коробку, а в ней – маленькие ролики восьмимиллиметровой пленки. Штук пятьдесят. На такой формат снимали в двадцатых годах. А вдруг ты там? «У нас была любительская камера, и мама снимала». Если так, Анни обязательно должна была снять и Фридл! Мы послали выбранный наугад кругляш в Локарно, единственную тогда компанию, которая переводила восьмимиллиметровую пленку в современный формат, с него – на видеокассету. Так вот, именно в этом кругляше и была Фридл! Мы ринулись переводить в читаемый формат все содержимое железной коробки, но Фридл больше нигде не было.

Теперь я знаю, как ты ходишь, как здороваешься за руку, как

улыбаешься, как вздрагиваешь от неожиданности. Анни застигла тебя врасплох во время завтрака. Ты подносишь ко рту бутерброд – и видишь направленную на тебя камеру. Растерянная улыбка, огромные испуганные глаза. Это двухсекундное событие мы расстригли на 30 кадров и поместили на стеле в холле дворца Харрах, где происходила твоя первая персональная выставка. Верхний кадр с испуганным лицом, а нижний – с растерянной улыбкой. А за руку ты здороваешься с искусствоведом Гансом Хильдебрандтом, судя по всему, в начале 1928 года в Вене.

Перед тем как Юдит повезла Флориана в Цюрих на операцию, мы сфотографировали их для каталога. Флориан – в кресле, Юдит – на подлокотнике.

Теперь это фото висит в кабинете Флориана. Он умер во время операции флегмоны.

Генуя. Хильда Анжелини-Котны встречает меня на вокзале.

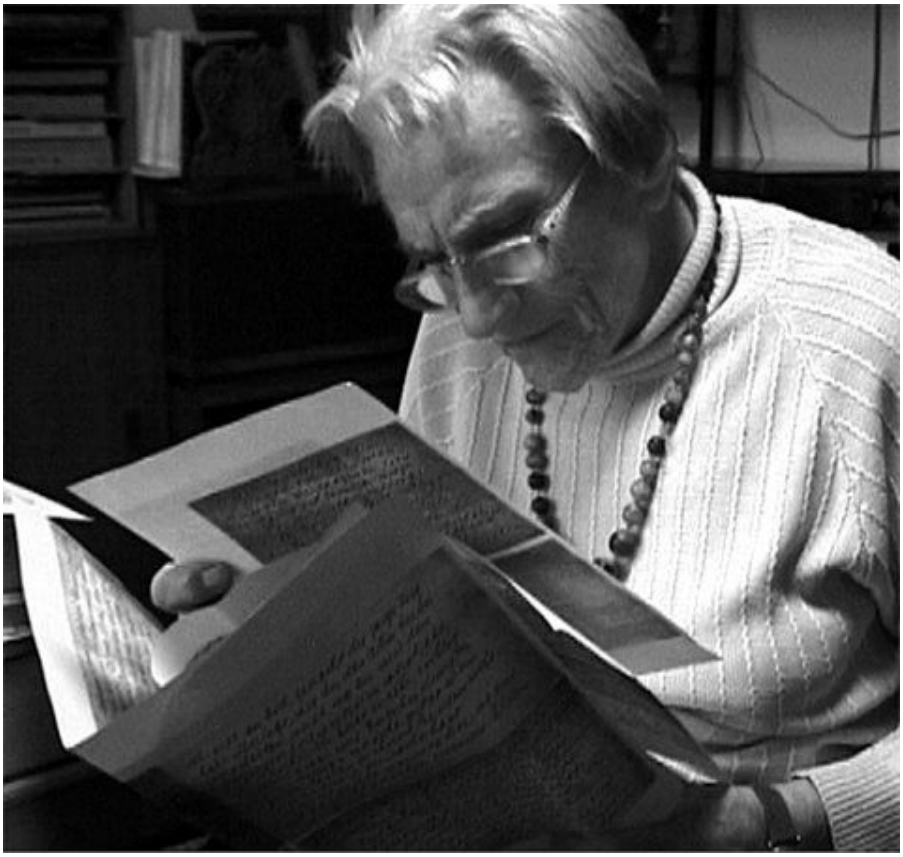
Мадонна! Беллиссимо!

Нам нужен переводчик, я не знаю ни немецкого, ни итальянского, она же, в коммунистическую свою бытность, учила русский, разумеется, чтобы читать Ленина в подлиннике, но теперь от русского и ошметков не осталось. Даже «здравствуйте» забыла.

Я приехала фотографировать материал для книги и выставки.

Мадонна!

Хильдина большая голова, обструганная основательным немецким куклоделом, крутится во все стороны. Шарниры, привинчивающие руки и ноги к туловищу, уже изрядно разболтались, и Хильда ходит так, словно бы толкает перед собой тяжело нагруженную телегу.



Видела бы Фридл свою подругу!

Я загружаю вещи в старую железяку. Такой машине место в музее, но не на улицах Генуи, в устьях подземных тоннелей и разливах шоссе, – столько мигания и мерцания в темноте, не отличить свет фар от светофоров, – но Хильда несется вперед, под крики и ругань водителей.

Мадонна!

Мы познакомились с Хильдой в 1989 году в Праге. Потом она была у нас в Москве, в городе своей мечты. Она так и не рассталась с верой в социализм. Просто в России не умеют работать. Вот вы жалуетесь, что у вас плохо с продуктами, – а перед окнами поле – почему не заведете корову?!

В квартире над дверью выложено мозаикой имя «Анжелини». На стене – картины Фридл: Дон Кихот и Ленин, Фукс изучает испанский, евангелическое кладбище, портрет Марии, белые хризантемы; на книжной полке, в нише, фотография Фридл, сделанная в 1936 году Хансом Бекманом. Хильда живет в мире Фридл, спит с ее письмами под подушкой.

Аморе миа! Любовь моя!

Наконец-то она улыбается. Доехали. И уже смеется-заливается, видимо, вспоминая задним числом нашу аферу.

– Мадонна! – всплескивает она большими руками и показывает, как мы ехали – тормоз, я падаю назад, трогаемся с места, вперед, о, диа! Диа – по-английски «дорогая», это она знает.

Разумеется, она купила все для спагетти, десять сортов каких-то сыров, томато, пармиджано… Кухня малюсенькая, высокие стулья, как в баре, от плиты до стола рукой подать. Я тру сыр, мне выдана терка, она режет помидоры и поглядывает за кастрюлей.

Фридл, аморе миа… любовь моя… Бедная девочка… Повера рагацца… Фридл, ля Виенна, дас увертюре… Вундершен, аусштелюнг вирд беллиссимо… Выставка будет прекраснейшей… Цитравелли, цитравелли, тринк трак тро…

Спагетти, совершив последний кувырок над дуршлагом, ныряют в кипяток. Уно моменто! Хильда вонзает в бутылочное горло штопор, похожий на шило, вынимает пробку и разливает по фужерам красное вино – уне, дуе, трио – брависсимо, Фридл!

Зима, 1997. Водняны, у Чешских Будеевиц.

Мария Витовцова объяснила по телефону, как до нее добраться, сказала, что поставит в духовку курицу, к семи будет готово. Город в зимней тьме напоминал темные ящики, расставленные один за другим по вертикально-горизонтальному плану, лишь некоторые освещались изнутри слабым светом. Названий улиц не видно, спросить некого, позвонить неоткуда. Но город тот. И это утешает. Пятиэтажки и девятиэтажки не пускают к себе чужаков, чтобы попасть в дом, надо знать код.

Я решила вернуться на шоссе. Оно освещено, там могут быть люди. Но мне-то нужны не люди, а один-единственный человек…

«Один-единственный человек» поджидал меня у остановки.

Мария Витовцова, с песиком. Про песика она предупредила по телефону. Что есть такой, смирный, ласковый, не кусается. Она знает, когда приходит автобус из Чешских Будеевиц. Да замешкалась с курицей и подошла поздно.

Скользко, Мария видит плохо, я взяла ее под руку: далеко идти?

Да вот дом! У нас далеко идти некуда!

Дома тепло, я получила теплые тапочки, беззвучные. Одна беда – курица остыла. Но ее можно подогреть. Значит, не беда.

И зачем же пожаловала я из Израиля в воднянскую темень? В февральскую поземку…

Объяснила. Из-за ее младшей сестренки Сони.

Мария принесла альбом. Вот тут Соня и вся наша семья. Но

сначала курицу. Положила только мне.

Она курицу не ест. Видеть ее не может. После войны работала на конвейере, пять лет кур потрошила. В четыре утра вставала на поезд, с поезда на фабрику… Кровь да потроха. После всего, что случилось… А вы кушайте! С дороги надо покушать.

Муж умер пять лет тому назад. Собирал открытки с видами городов. Переписывался со всем миром. Два чемодана осталось, не знаю, куда их. Выбросить жаль. Он над каждой открыткой дрожал. Коллекция! На последние гроши покупал марки и открытки, рассылал по разным адресам и ждал ответа от получателей. Чтобы штемпель стоял заграничный, сердился, когда печать закрывала марку… Может, вам в Израиль отдать? В надежные руки.

Альбом рядом. Но надо покончить с курицей.

Сонины рисунки в музее висят, их на открытках печатают, она девочка была хорошая, правда. Красивая… Да и родители у нас вон какие были… Молодые совсем! Я им в матери гожусь…

Мария подперла рукой подбородок, точно как на фотографии с Соней, теперь видно, что и она не очень-то изменилась с тех пор. Те же глаза, беззащитно близорукие, на фотографии она без очков, для красоты.

Спросить ее сейчас про транспорт 6 октября? Или утром?

Но и утром не знала, как подступиться. Она – из тех нескольких, кто ехал с Фридл в одном поезде и выжил.

Мария провожала меня до остановки. По дороге я спросила ее про транспорт 6 октября. Она пообещала написать все, что помнит. Говорить трудно. Значит, правильно, что вечером не спросила. Она хоть душу отвела, рассказывая про свою жизнь, не все же с песиком беседовать!

Письмо от Марии ждало меня в Иерусалиме. Она написала его сразу, как только вернулась домой.

«…Вечером 5 октября нас погрузили в поезд, не в скотовоз, а в очень хороший. Правда, из-за вещей в вагоне было тесно. Нас было 1550 человек, в основном женщины и дети. Еще матери с младенцами, которые родились в Терезине. Это мы сочли добрым знаком – не станут же немцы убивать грудных детей! Мы верили, что едем в новый лагерь, к отцу. Беспокоились только за вещи. На всякий случай мы надели на себя все, что только можно, и очень страдали от жары, тем более что погода стояла теплая. На терезинском перроне нам велели снять с шеи номера. Какая радость – значит, мы больше не числа. Рано утром 6-го поезд тронулся в путь. Каждому на дорогу дали батон хлеба и что-то вроде колбасы. Мы думали, что вечером уже будем на месте. Где это место, никто не знал, и все постоянно об этом говорили.

Иногда мы ненадолго засыпали и тут же просыпались в испуге, все было как-то странно. Когда поезд останавливался, мы наполняли водой бутылки или кружки. Пробираться в уборную через тюки и чемоданы было настоящей мукой.

А поезд все шел, сначала в направлении Дрездена, затем дальше. Ночью поезд остановился в каком-то городке. Мы слышали звук разрывающихся снарядов, видели полыхание огня. Прежде мы никогда не видели бомбардировки. Если бы в наш поезд попали, о раненых никто бы не позаботился. В конце концов мы с Соней уснули, а поезд все ехал… Польша. Куда мы едем? Явно не туда, куда отправили мужчин. Может, они в лагере у Дрездена?

Сообщение, которое принес кто-то из уборной, было для всех страшным ударом. Там, на стене, за грудой вещей, было накарябано “Освенцим”. Все бросились утешать друг друга; многие, в том числе и я, про Освенцим никогда не слышали. Мама начала сомневаться в том, что в Освенциме мы встретимся с папой.

На чешской и немецкой территории нам давали пить, а в Польше – нет, якобы вода отравлена тифом.

Было воскресенье, 8 октября. Транспорт прибыл в Освенцим в полдень. На перроне стояли вооруженные эсэсовцы с собаками. Мы и вздохнуть не успели, как налетели заключенные в полосатой одежде, стали отпирать двери вагонов и орать: “Вон, быстро вон! Оставить вещи на месте, они пронумерованы, все получите потом!” С испугу мы с Соней выронили рюкзаки, а мама – сумочку, и так мы вышли… Мы были в первом вагоне. Не прошло, как мне казалось, и десяти минут, как мы очутились перед группой эсэсовцев, на селекции. Менгеле показал на меня и еще на одну девушку – направо. Я остановилась, мама стала просить его, чтобы он отпустил меня с ними. Но он закричал на нее: «Вон!» Я обернулась и увидела их в последний раз. Сонечка плакала, я слышала ее плач, когда они уходили. Там, между рядами колючей проволоки, шла дорога…»

Лето, 1998. Грундлзее. У Эдит Крамер.

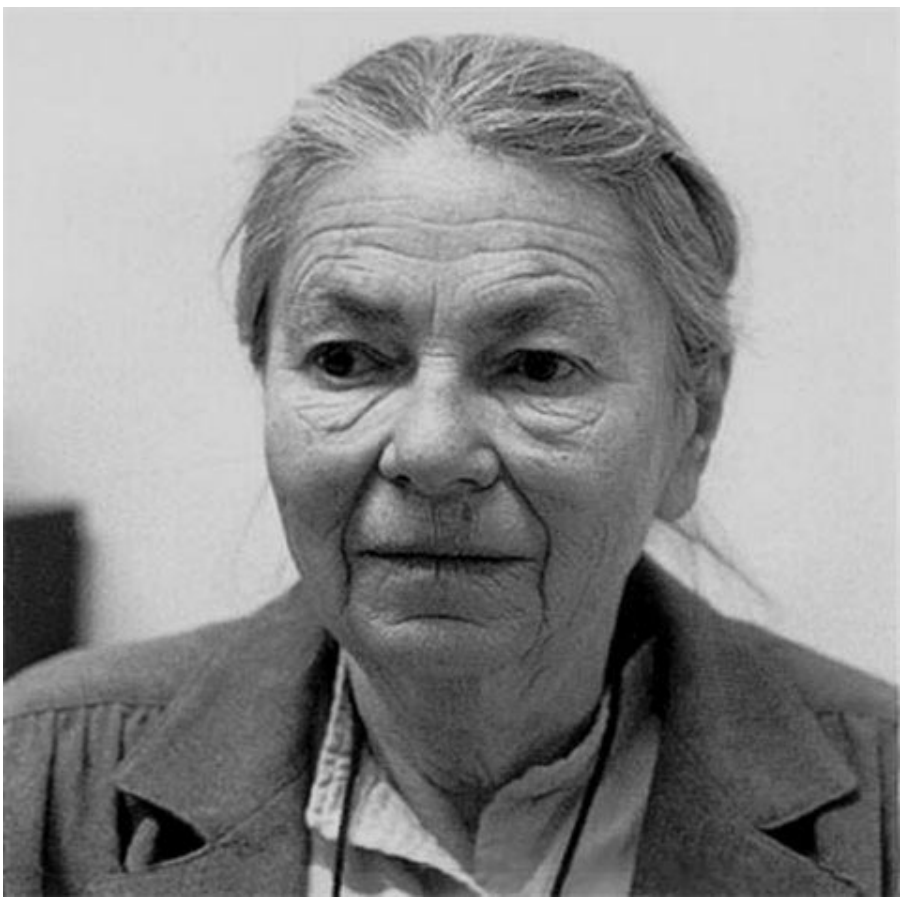
Неподвижное озеро стиснуто горами. Луна еще за хребтом, ее свет обрисовывает контуры темных зубчатых гор. Эдит на каноэ, работает веслом, взбалтывает тяжелую черную воду. Мы плывем, а вернее, скользим по озерной глади концетысячелетней ночи. И вдруг резкий свет – луна обрушивается на острия вершин, выбрасывает на воду белый ковер; мы берем курс на млечный путь.

Вернувшись из дальнего путешествия, мы растапливаем изразцовую печь, вешаем мокрые вещи на спинку стула и

отправляемся в погреб за шнапсом.

– Не думай, она вовсе не была ангелом. Вот я тебе расскажу. Как-то раз она разозлилась на мое пальто. «Что это за балахон!» Я сказала: его мне сшила мама. А она: «Выкинь! Это не твой покрой». Пальто и впрямь было уродским, мама шила его в глубокой депрессии, накануне самоубийства. Вместо того чтобы сгладить неловкость, Фридл рассердилась и чуть было не выгнала меня с урока. Иногда она бывала невыносимой… В Терезине она изменилась. Почему? Да потому что там происходила настоящая драма. На драматизацию жизни не оставалось ни энергии, ни времени…

Фридл дружила с мамой… Часто приходила к нам, менялась с ней платьями. На маме все сидело, она была первоклассной портнихой и модницей. Мамины платья Фридл были не по фигуре, и она так по-детски огорчалась, глядя на себя в зеркало. На самом деле она была вполне хорошенькой…



What a great life! – радуется Эдит. Щеки у нее пылают.

Странно, молодая ее душа обитает в изношенном теле, а полудохлые души расхаживают вокруг, прикрытые гладкой кожей.

Осень, 1998. Иерусалим.

Мы опять переехали. Из окна виден Израильский музей, белые кубы, начиненные многоцветным искусством. Я уволилась из музея, чтобы полностью принадлежать тебе, чтобы написать достойную книгу, которая должна стать опорой и подмогой для будущих исследователей. Никакой лирики, ничего личного. Выдержанно, аргументированно. Но не скучно. Таков заказ крупного американского издательства.

Жара. Мозги плавятся, тело липнет к стулу. Материалов – на целые тома. То одно вспомнишь, то другое, вот, например, история про Ждарки, куда ее?

Лето, 1998. Деревня Ждарки. Хутор Зада на вершине горы.

Я еле поспеваю за восьмидесятилетней Зденкой Турковой. В ней цыганская кровь – черные глаза сверкают в темных окоемах, смуглая кожа стянула старые кости, щеки ввалились. А у тебя на картине – Зденка литая, за щеку не ущипнешь, а глаза, как и нынче, жаркие угли. Глаза не стареют…

Добрались до верху.

Твои деревья на месте. Стоят как стояли. Сквозь три раскоряки просвечивает та же картина, что висит у меня на стене, – долина, за ней, вдалеке, холмы с игрушечными домишками на склонах. Старый Книтл, похожий на рогатину, обутую в сапоги, гоняет хворостиной ленивых индюков. В твою бытность у них были козы, и вы с Павлом снимали у них хлев, в низине под горкой. Теперь на месте хлева сын Книтла поставил добротный кирпичный дом, убежище от ветров, которые гуляют здесь, на вершине, свистят и гудят всегда, даже в вёдро, как сейчас, – в стойкой неподвижной жаре колышутся ветки, волнами ходит трава и звенят провода.

– Вон там они жили, в низинке, – однажды иду к ним, а из их окна черный дым валит, – рассказывает Зденка. – Это Фридл кнедлики хотела сделать… Кто же тесто жарит! А я не жарила… Как тогда оно на сковороду попало? Ох уж она смеялась! Не скажу, чтобы она была рассеянная, нет, но хозяйство ее донимало, да еще эти приступы со зрением… К Рождеству она моим дочкам связала носки, крючком, с инициалами, а в носки насыпала конфет. Красивые носочки, по сей день целы-невредимы…

В доме уютно, топится печь под иконой святой Варвары, по обе стороны две твои картины – вид сквозь деревья и хлев в зеленых зарослях.

– Нравится? Приезжайте на лето. Им у нас тоже нравилось.

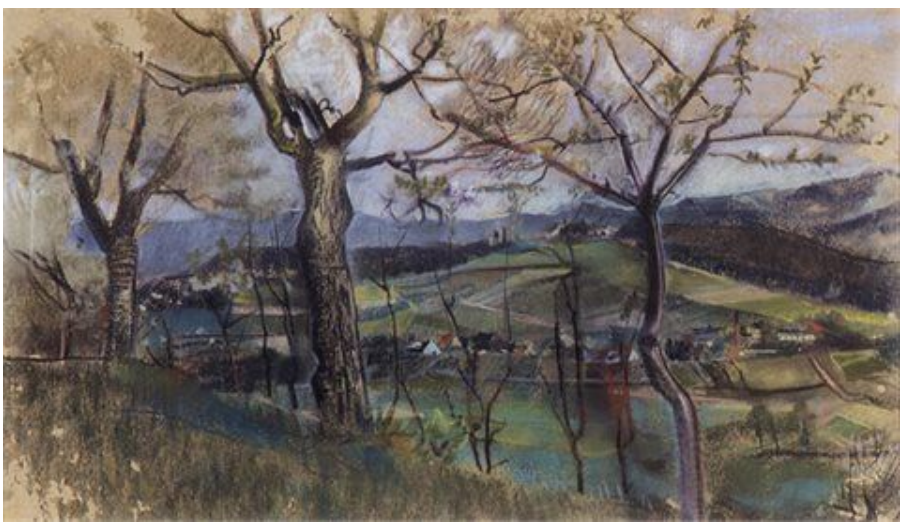
Зденка кивает. И у нее в Находе квартира и участок, места хватит. И мы чаще будем собираться… С господином Книтлом, поди, лет двадцать не виделись…

Книтл распахивает дверь, ветер врывается в дом.

– Я уж с вами не пойду, – говорит Зденка, – сил надо подкопить на обратную дорогу.

Мы с Книтлом идем проведывать индюков – глупая птица, за ней глаз да глаз нужен.

– Вот тут они и жили… Переоборудовали хлев в квартирку. Моя жена кашеварила на фабрике Шпиглеров, оттуда носила еду, и мы делились с Брандейсовыми. Потом Шпиглеры сбежали, работы не стало. Павел выучился на плотника. Мне помогал – косил, столярничал… С непривычки то косой порежется, то с лестницы свалится… А пани все рисовала. Тихая была такая. Правда, с нами особо и не поговоришь – мы с женой два слова знали по-немецки, а она столько же – по-чешски. Еще у них была собачка, не помню, как звали, вот она и ходила с собачкой по горам, с этюдником… А потом, помню, вышел указ, что евреям нельзя держать собак… Они как раз возвращались в Гронов. Я говорю пани: оставьте ее здесь. Нет, прижала к себе песика, и так они и пошли вниз, с горы, Павел, нагруженный как вол, а пани его – с папкой и песиком на руках. Другой раз без собачки приехали. Оказывается, пришлось все же им ее отдать. Подруга забрала, что ездила к ним из Германии. Немка. Но летом им здесь было хорошо.



К нам сюда дачники не ездят. Мы бы за гроши старый дом сдали, да место такое – всем ветрам нараспашку. Коли надумаете

приехать – отдадим дом задарма. Как члену семьи.

Книтл уважает меня. Приехала, нашла дорогу из далекой заграницы, да еще и по-чешски понимает. Мы пропустили по рюмочке и взялись его альбом с фотографиями рассматривать. Вдруг там Фридл?

Это кто?

Это мы с женой в первую супружескую ночь.

Кто же вас снимал?!

Сам. Поставил аппарат – и нырк в постель.

Все тут есть: и виды, и родственники, и кони, и козы… Неужели, кроме двух картин, ничего не осталось?

Остаться-то осталось… Да мы с женой все после них сожгли. Время было такое.

Что же вы сожгли?

Бумаги. Кто знает, что в них было. По-немецки не читаем. Письма, тряпки, тетрадки…

Осень, 1998. Лос-Анджелес.

Гостиничное окно на шестнадцатом этаже. Между широкими магистралями, на островках суши, высятся небоскребы. После встречи с издателями хочется выпрыгнуть из окна. Но оно опломбировано.

Книгу, которую я про тебя написала, отвергло издательство. «Ты не Набоков, твоя литература никому не нужна. Разбери все на составные и выстрой по хронологии. Издадим элегантный кофе-тейбл каталог: хорошая печать, много работ, отрывки из писем, воспоминания очевидцев».

А если составные не сложились, а сплавились?

Забыть про рукопись, уже переведенную на английский и отданную на рецензию Эдит Крамер, ученице Фридл, известной художнице и искусствотерапевту. Ее восторженный отзыв осчастливил бы любого автора. Расторгнуть контракт с престижным издательством? На это не пойдет продюсерша. Хуже того, новый вариант должен быть готов через три месяца и отдан на перевод, теперь уже на немецкий, – открытие выставки состоится в Вене.

Что б такое сотворить? Съесть яблоко. Обычно я ем яблоки целиком, вместе с сердцевиной. А тут решила его разрезать и промахнулась, угодила острием японского ножа в артерию. Кровь забила фонтаном, забрызгала лифт и дорогу к стойке с дежурной, я просила у нее йод и бинт, а она вызвала «скорую помощь», из которой выбежали три космонавта с локаторами и рацией, погрузили меня на носилки, включили сирену. В приемном покое шоколадная негритянка сжала двумя пальцами то место на ладони, откуда била кровь, наложила тугую повязку и велела до

вечера держать руку вертикально. Можно было это сделать в гостинице. Нет, космонавты не лечат, они перевозят и дают кислород, если нужно. Мне было не нужно. Когда негритянка заматывала мою ладонь, я заметила, что у меня грязные обкусанные ногти. Как раз неподалеку оказалась китайская маникюрная. Я зашла туда, мне дали прейскурант, очень длинный, и я ткнула пальцем в «нейлз», т.е. ногти. Села за пустой столик. Тотчас появилась маленькая китаянка с подносом, на котором стояла миска с горячей водой и какие-то причиндалы. Она нежно взяла меня за руку и погрузила ладонь в мыльную воду. Я расслабилась, можно даже сказать, забылась, и вдруг вижу – мне приклеивают ногти! Я этого не просила! Пытаюсь вырвать руку, но китаянка не отпускает. Я говорю ноу, она качает головой и приделывает третий ноготь. Тут я взорвалась. Вскочила, побежала к кассе с растопыренными пальцами, но мне указали на графу в прейскуранте, мол, сама выбрала.

Привели начальницу, та ткнула пальцем в графу «нейлз». Кат ит! Отрежьте! – взмолилась я. Широко расставленные, как у попугаев, глаза превратились в пуговички – отрезать? Нет, сначала нужно все ногти приклеить, поносить так пару дней, привыкнуть… Я представила себе встречу с директором издательства, как я вхожу в кабинет с забинтованной рукой и такими вот ногтями, – и меня разобрал такой смех, что начальница бросилась к телефону. Вызывать трех космонавтов для усмирения? Что делать? Уйти с тремя приклеенными ногтями, но как я их отстригу завязанной рукой? Все же мир не без добрых людей. Китаянка, сидящая за столиком на противоположной стороне, подозвала меня к себе. Постепенно ситуация прояснялась – в этой маникюрной с правой стороны наращивали ногти, а с левой срезали. Я попала на неверную сторону. Не сориентировалась. Чтобы в мире царил порядок, нужно поддерживать порядок в каждом его уголке, в любой конторе, в любой маникюрной, в любом общественном туалете, нарушение порядка приводит к непредсказуемым последствиям. За этим учрежденным в верхах порядком следит чиновничий аппарат. Среднее звено. Открыть вентиль, закрыть вентиль. Нижнее устраняет последствия: вынести трупы, сжечь трупы…

Новый, 2000 год. Иерусалим.

Мы привыкаем к войне. Осенью я рассказывала тебе о ней чуть ли не в каждом параграфе. Теперь она стала общим множителем в уравнении повседневности.

Когда мы сюда приехали, в 1990 году, под нашими окнами арабы пасли овец, арабки торговали виноградом и инжиром, а по субботам бедуины приводили сюда верблюдов и за пару шекелей

катали местную детвору. По утрам мы гуляли с детьми по склонам гор, амфитеатрам виноградников, а вечерами я приходила сюда одна. Я сидела на высоком камне и смотрела в ультрамариновую ночь, сверкающую желтоватыми огнями. Бейт-Лехем – сгусток света в ночи, и свет его белый, а Бейт-Джалла желтая… Ромашка на фоне густой синевы. Однажды на Рождество мы въехали в Бейт-Лехем на машине. Ты, способная оседлать дюреровских коней и мчаться на них вдоль обрыва, можешь себе представить, что испытала я, попав в картину вселенской ночи и вифлеемской звезды.

Теперь Бейт-Лехем и Бейт-Джалла отгорожены от нас бетонной стеной. Стреляют из святых мест, оттуда, где началось новое летоисчисление.

Первый год нового тысячелетия мы встречаем у друзей в Гило.

– Стреляют, – говорит хозяйка дома.

– Нет, это салют.

– Да нет же, стреляют!

Мы уже не можем отличить стрельбу от салюта.

– Разбирайте пирожки, накладывайте салатики… Подставляйте бокалы!

Стреляют.

Ура! Мы в новом тысячелетии!

Весна, 2000. Чешский Крумлов.

Реальность не дает себя осознать. Как с этим справляются писатели? Ведь когда они пишут одно, в их жизни разыгрывается что-то совсем другое. Художникам проще. Канонада им не мешает. Шиле в военном мундире рисует Чешский Крумлов. Крыши домов, склонившиеся над узкой улицей, разноцветное белье на балконах…

Теперь здесь его музей. Неподалеку плотина, вода шумит днем и ночью.

24 контейнера с картинами, рисунками, мебелью, тканями, чертежами, рисунками терезинских детей и еще много чем благополучно добрались из Граца в музей Эгона Шиле. Огромный средневековый монастырь отнюдь не оснащен по последнему слову техники. Все надо таскать на себе, с цокольного этажа на первый. Ни грузовых лифтов, как в Граце, ни аккуратных рабочих. Нам дали группу «работящих цыган». Гордость города – трудятся на славу и не крадут. Действительно симпатичные. Но когда помощник чуть не вколотил гвоздь в тобою сделанную раму, а симпатичная уборщица выбросила в мусорный ящик мои туфли вместе с серебряной фольгой, которой мы покрывали стену, дабы создать матовый баухаузовский тон, – мы решили все делать

сами.

Лето, красота, завтрак на берегу реки, столы с зонтиками, туристы, местные отдыхающие… Хочешь кофе?

На открытие выставки прибыл автобус с выжившими, среди них было несколько твоих учениц-старушек и сестра Сони Шпицевой, ее рисунки ты наверняка помнишь.

Всех пассажиров автобуса я знаю в лицо, всех, и не раз, навещала. А вот эту женщину в ярко-розовом костюме я никогда не видела. Она сидит на лавочке посреди зала, толстые ноги перебинтованы эластичным бинтом, отекшие руки сжимают набалдашник палки. Подняться она не может, но обнять меня должна. Госпожу Казимурову привез в Чешский Крумлов сын. Из Праги. Чтобы познакомиться со мной и попрощаться с жизнью. И с Фридл. «Я была красивой, и Фридл меня рисовала. Она называла меня принцессой. Думала: может, на выставке себя найду… Посадили меня здесь, и ни с места, так и буду сидеть, пока сын не вернется».

Я помогла ей подняться, и мы вышли из здания музея в сад. Маленькое кафе, цыгане в честь Фридл играют на скрипках. Она смотрит на нас с плаката, свежая, молодая, рядом с ней запыленный Эгон Шиле. Он давно здесь висит и нервничает – устал на всех глазеть, а Фридл довольна. Она еще не привыкла к славе.

Госпожа Казимурова запивает слезы минералкой, трет глаза розовым вышитым платочком, все у нее розовое, лишь седина голубоватая.

«Ее невозможно было не любить, ее нельзя было убивать! Необыкновенная это была душа, всепонимающая. Я познакомилась с ней в Гронове, евреям было запрещено ездить, и Эльза, сестра Лауры, попросила меня поехать в Гронов и передать что-то, что нельзя написать в письме. Лаура и привела меня в дом к Фридл. Я была потрясена самим видом ее квартиры, тем уютом, который, кажется, невозможно создать в таком помещении. Это был иной мир. Фридл была милой и очень непосредственной, открыта любому.

Между нами была большая разница в возрасте. Мне было двадцать, ей сорок. Муж ее был спокойным, дружелюбным, но не чета ей. Это между нами. Я привезла с собой булочки с маком, мама напекла в дорогу, и талоны на продукты, у евреев были ограничения на все. В первый раз я ночевала у Лауры. Но потом останавливалась только у Брандейсовых. Никогда и нигде мне не было так хорошо, как подле Фридл. В ней был шарм, все были ею очарованы. Я обожала ее картины, но об этом я еще скажу, только напомните… Я с ней делилась своими личными проблемами, она

с огромным сочувствием меня выслушивала, иногда давала советы… В восемнадцать лет я влюбилась в еврея, двоюродного брата Лауры и Эльзы Шимковых. Это была моя первая любовь. Мои родители никогда бы не дали разрешение на брак. Я по нему так тосковала… В 39-м году он уехал в Словакию, я к нему туда иногда вырывалась, ну и забеременела… И тут случилось несчастье. Летом 42-го его убили нацисты, я тогда была на сносях, и из всех этих страданий вышло еще одно, ребенок умер при родах. Как Фридл любила мамины булочки с маком…

При нашем последнем горестном свидании она отдала мне двадцать своих картин. Две из них попросила подарить Аничке Млеинковой, на выбор. Мне она подарила натюрморт с бидоном. Остальные картины велела раздать, кому хочу. Пастель “Вид из окна на гроновский вокзал” я подарила доктору Яну Крейчи, он теперь живет в Торонто.

В 1945 году вернулись Лаура, Эльза и Павел. Ему я отдала все оставшиеся картины, включая два наброска обнаженной, которые Фридл с меня нарисовала. Не знаю, куда делись остальные, но эти я отдала Павлу.

У Лауры были прекрасные цветы Фридл, у Эльзы – портрет Лауры, сейчас он у меня. Лаура умерла в 1959 году от злокачественной опухоли. Эльза умерла лет пятнадцать тому назад от инфаркта. Она не оставила после себя никакого завещания, так что ключи от ее дома, которые мне отдали в больнице, я передала нотариусу. От всего этого я и сама слегла. Портрет Лауры мне прислал нотариус, думая, что я родственница Шимковых. Я храню его как память о Фридл».

Вернулся с прогулки сын пани Казимуровой, водрузил ее на переднее сиденье и увез. В кафе на столе я нашла ее мокрый от слез платочек.

Осень, 2000. Иерусалим.

Мы переехали в третью по счету квартиру. Из моего окна мало что видно, оно слишком высокое. Справа от меня тот же стеллаж с папками, разве что число их разрослось в геометрической прогрессии, им не хватает места. Да и мне здесь тесно и неуютно. То и дело слышна стрельба, и это не одиночные выстрелы, а минометы. Израильская армия ввела на территории танки. Она держит под прицелом Рамаллу, Газу и Хеврон. Театр военных действий.

Моя приятельница, арабская журналистка, живет в Бейт-Джалле, откуда палят из минометов. У нее полный дом детей, а мужа нет. Ей страшно. Она звонит мне, поболтать, но я еле ее слышу.

Давай напишем что-нибудь. Как женщины, против войны. Мы с тобой не враги, правильно? Мы лично друг другу плохого не хотим, правильно?

Правильно.

Осень, 2000. Париж.

Здесь ты была дважды: с композитором Стефаном Вольпе в 1921-м и с мужем Павлом в 1937-м. Возможно, ты проходила по старинной парижской улице Белых Манто, мимо высокого серого дома, где нам сняли апартаменты на время подготовки выставки. Это в десяти минутах ходьбы до музея. Перед центром Помпиду нужно свернуть направо… Но зачем тебе проделывать этот путь? Мы сами к тебе ходим.

Дизайнер Георг Шром становится все более похож на твоего возлюбленного Франца Зингера. Лысеет, курит без передышки. Носит точно такой же плащ. Я купила себе в Париже шляпу, как на твоей фотографии. Спросонья Георг начистил коричневые ботинки черным гуталином. Как бы между нами не вспыхнул роман! Нет, жизнь не терпит прямых повторений. И ты не я, и Георг не Франц, скорее, мы касательные к окружности, которую очертила твоя судьба в этом мире.

Мы завтракаем на кухне у стойки бара. Некогда рассиживаться. До прихода техника-осветителя надо успеть допечатать недостающие подписи для витрин и закрыть их. И начнется самое интересное – превращение выставки в театр. Действом заправляет Георг, моя же роль – замерять уровень освещенности: твоей графике предписано 40 люксов, детским рисункам – 30.

Окна музея глядят во внутренний двор, мощенный булыжником. Молодой смотритель-алжирец говорит, указывая на «Двойной портрет»: «Художница смешила их, пока рисовала, вот они и подперли рты руками. Чтобы не расхохотаться».

Лампа Франца Зингера, висевшая в прихожей ателье Георга Шрома, складная кровать с фридловской обивкой и стулья, спроектированные Зингером, шкафчик, поворачивающий свои полки на четыре стороны света, гобелены, сотканные Фридл, стали экспонатами. Кошка, нарисованная ею и привыкшая жить в ателье у Шрома, не находила себе места на выставке. Мы отнесли ее в раздел графики тридцатых годов, но она и туда не вписалась. В день перед открытием она наконец успокоилась в углу у шкафчика.

– Фридл выкинула ее в помойное ведро, – рассказывает Георг французским журналистам. – Анна Сабо, архитектор ателье «Зингер-Дикер», достала рисунок из ведра и увезла с собой в Будапешт. Оттуда – в Лондон. В конце концов эта чудесная кошка досталась мне!

– Какова роль Фридл Дикер-Брандейс в проектах ателье?

Вопросы к Георгу. Он отвечает за архитектуру и дизайн.

– Фридл – мультиталант. Ее живое присутствие видно во всем, к чему бы она ни прикасалась.

Расплывчатый ответ.

– Как сохранился архив ателье?

– Он достался мне от тети – архитектора Польди Шром, которая работала с Францем и Фридл с 1929 по 1938 год. После

аншлюса тетя больше не могла оставаться в ателье. Все, что там находилось, плюс вещи из ателье Франца Зингера на Шадегассе она спрятала в комнате для проявки фотографий. Во время войны в ателье жила семья нацистского полковника. К счастью, запертая комната их не заинтересовала. В 45-м Польди вернулась и нашла все в сохранности.

Ты обрастаешь историями. Не снятся ли тебе контейнеры по перевозке со специально установленным для произведений искусства режимом температуры, инженеры по свету, рабочие, смотрители, публика… В снах, если они тебе снятся, ты выходишь из лагеря, и никто за тобой не гонится, ты делаешь несколько шагов и оказываешься с какими-то незнакомыми тебе людьми на улице Белых Манто. Женщина в шляпе и лысеющий мужчина в начищенных гуталином ботинках подхватывают тебя под руки и ведут на выставку, и там ты видишь себя, глядящую сквозь занавеску на тобой же созданный мир…

В американском посольстве в твою честь дали прием с арбузами, семгой, ананасами и чем только не, и, чтобы люди нашли дорогу к столу яств, на лестнице установили указатель «Фридл Дикер-Брандейс ресепшн».

А вот тебе гастрономический привет из еврейского музея:

«Фридл Дикер Брандейс (1898–1944)

Меню – с 14 ноября по 5 марта 2001 года.

Блюда из колбасных изделий с корнишонами – 39 фр.

Блюда из копченого лосося – 39 фр.

Селедочный паштет с гарниром из картофеля – 39 фр.

Блюдо из сырых овощей и фруктов – 35 фр.

Штрудель (яблочный, маковый, ореховый) – 25 фр.

Стакан водки – 25 фр.

Напитки – 15 фр.

Кофе, чай с мятой – 12 фр.»

Зима, 2001. Иерусалим.

По Бейт-Джалле открыли огонь. Жителям Гило велели выключить свет. В Бейт-Джалле тоже. Теперь евреи и арабы проклинают друг друга в потемках. Арабская журналистка больше мне не звонит. Ее телефон тоже не отвечает.

…ты там сидишь одна и старательно и упорно работаешь… жаль, что я не могу завести граммофон и поставить для тебя прекрасную увертюру Леонора или просто тебя приласкать…

Танки у христианских святынь, танки у иудейских святынь, танки у мусульманских святынь… Отказавшись от визы, ты сослалась на Декарта: «Убегая, вы уносите страх с собой». Тогда скажи, как избавиться от страха, не убегая?

Не всегда нужно действовать, зачастую достаточно

понимать.

Страх возникает там, где теряется ощущение правильного направления. (Сказать по правде, чтобы написать эти строки, мне понадобилось гораздо больше мужества, чем для всего сделанного ранее.)

Весна–лето, 2001. Швеция, Германия.

Введена новая единица скорости. Вместо отношения расстояния к времени – отношение занятости к времени. При сумасшедшей спешке время развивает скорости, непомерные для сознания. Из памяти улетучиваются слова. Их место немедленно занимают другие, за улетевшим словом не угнаться, оно уже крепко засело в чьей-то чужой голове, а в чьей – неизвестно.

После Парижа мы переезжаем в Стокгольм, а оттуда в Берлин. В Берлине ты будешь жить в музее Баухауза. Там тесновато, и, чтобы освободить для тебя место, работы твоих учителей, Иттена, Клее и Шлеммера, уберут в запасник.

В Стокгольме ты не бывала, готовься к приключениям. Будешь жить в историческом музее – среди викингов, деревянных

мадонн, средневековых рыцарей и крестоносцев. Недалеко море – большущие корабли на пирсе, мосты, пристани, причалы…

Человек из Стокгольма пожертвовал на твою выставку 45 тысяч долларов. Прислал мне по факсу номер загородного телефона, «на случай, если что-то случится с Фридл». На всякий случай вот даты открытия выставки. Стокгольм – 29 марта 2001 года, Берлин – 15 июля 2001 года.

2001–2002, Иерусалим.

Вид из окна все тот же, то есть, собственно, никакой. Война не прекращается. В сентябре 2000-го я написала, что поскольку Израиль, а точнее Иерусалим, – это мифологический центр вселенной, то и ненависть, вспыхнувшая здесь, станет вселенской. Этот абзац я вымарала, как и прочий бред. Текст потерял ясное направление, он расслоился не только на нас с Фридл, не только на Фридл от первого и третьего лица – в нем началась война. Пишу под музыку минометов, договариваюсь о выставке Фридл в Японии в момент взрыва нью-йоркских близнецов-небоскребов…

Во всем виновата твоя тревога, основания для которой, увы, окружающие обстоятельства, правда также и то, что я отношусь к этому легче, хотя думаю, как вы все…

Ты в концлагере рисовала цветы. Правомерно ли сравнивать состояние после террористических актов с тем, что чувствовали заключенные, проводив очередной транспорт на восток?

Пустота… И в ней затаенная, постыдная радость – не меня! То же и здесь. Остался жив, близкие и друзья живы, ну и ладно.

Весной 2002-го на углу нашей улицы взорвали кафе «Момент». Именно в тот момент я пересекала Французскую площадь, где проходила демонстрация левых за свободу Палестине. Евреи, представители движения «Мир сегодня», держат на вытянутых руках транспаранты, а там, кварталом ниже, валяются останки людей, пришедших пообедать. Наверное, нет такого народа, который каждую неделю взрывается в автобусах, кафе и супермаркетах и при этом ратует за свободу своих врагов.

Сирены «скорой помощи», кафе оцепляет полиция… Не помню, как я оказалась дома. На экране телевизора я увидела последствия. Погибли одиннадцать человек. Я могла бы быть двенадцатой, если бы не засмотрелась на демонстрантов.

Лучше расскажу тебе про фиолетовые анемоны (напоминают альпийские подснежники, так что представляешь, о чем я говорю); они растут вокруг охристых дырчатых камней, а то и прямо из расщелин. Представь себе разлитую в ярко-зеленой траве фиолетовость, желтенькие пятнышки лишайника сверкают на серебристо-серых ребрах каменных глыб, ярко-коричневая земля и зеленая трава усеяны низкорослыми маками (тоже

разновидность анемонов). А над всем этим яркоцветьем – корявые оливковые деревья и синее небо. Ботанический сад по соседству с рощей, после пяти туда можно просочиться через лаз в заборе. Чего только не насочиняла природа, воскликнул бы Иттен, увидев зеленые цветы в виде блюдечек, насаженных на невидимый стержень, заморских красоток в ожерельях из мелких белых колокольчиков, вверх чашечками… Помнишь, как он «водил вас в Рай» – ботанический сад, чтобы там изучать образование форм движением?

В данную минуту я абсолютно удалена от всех, и в этом мы схожи с пчелой у оконного стекла, разница лишь в том, что у меня нет выбора, мое сознание усыплено… человек, который не боится, чаще всего поступает правильно: я бы выбрала открытое окно… (вот она нашла его и так красиво улетела)…

Пчелы уснули, да воздух жужжит. Вертолеты кружат над Иерусалимом, охраняют зыбкий ночной покой. Но я и во сне не нахожу себе места.

По версии берлинской ясновидящей, в предыдущем рождении я погибла в Освенциме… Была ли я тобой или твоей ученицей, пока не ясно. Но если в шесть утра я подставлю ладони под кран тыльной стороной и стекающую с них воду соберу в пол-литровую банку, я получу ответ.

Я проспала.

2009, Хайфа.

Мы уехали из Иерусалима. Теперь мое окно смотрит на море. Если встать из-за стола, виден порт, куда мы 20 лет тому назад приплыли с Кипра на большом белом корабле. После всех твоих выставок (Вена, Грац, Чешский Крумлов, Париж, Атланта, Стокгольм, Берлин, Токио, Саппоро плюс еще какие-то четыре японских города, в которых я не была, Лос-Анджелес и Нью-Йорк) кончилась эта война. Потом были еще две войны, Ливанская и в Газе. Сейчас наступило временное затишье. Справа от меня все тот же стеллаж с папками, их прирост в последние годы несколько сократился, зато теперь целую полку занимают книги и каталоги, которые я написала во время временной разлуки с тобой.

Уже нет на свете ни Анны Сладковой, ни Вилли Гроага, ни Хильды Анжелини-Котны, сохранившей для потомства твои картины и письма о жизни и искусстве, а твоим лагерным ученицам уже за восемьдесят.

Одна ты молодеешь. Каждое утро я получаю от тебя, теперь уже совсем юной, послания из Веймара, Берлина и Вены, написанные в поезде, в кафе, в театре…

Теперь я даже рада, что та, первая книга так и не увидела

свет. Потому что наконец-то, после двадцати лет ожидания, я получила доступ к письмам, которые ты писала в молодости.

Меня бросило в дрожь, когда я увидела твой почерк. Если хочешь, могу немедленно приехать на 3–4 дня в Мюнхен. Посылаю тебе мой любимый последний рисунок и целую тебя, твои руки и любимое раненое сердце. Отправляю немедленно.

В то самое время, когда пришло твое письмо, я читала житие одного монаха, где речь шла о грехе уныния, который есть плод отчаяния и неверия. Сей монах смог освободиться от этого греха и потому попал в рай. Желаю и тебе того же, моя любимая. Ах, почему у нас с тобой нет бога с именем, чтобы я могла бы напомнить тебе о Нем. Прости, я ревнива и зла и злоупотребляю твоим прощением.

Прежде люди жили во славу Божью, отчего же теперь они потеряли мужество и покой?..

Это – простое письмо. Но есть и такие, над которыми корпят переписчики и переводчики, пытаясь докопаться до смысла. *«В этом есть смысл – и это бессмыслица!»*

Сегодня, просидев полдня над какой-то пьесой в полстраницы длиной, я взмолилась и позвонила знатоку средневековой персидской литературы. Он знает множество языков, расшифровывает и переводит на русский те твои письма, которые я получила от Юдит Адлер, дочери твоей подруги Анни, после двадцати лет уговоров.

Происходящее в пьесе ученый объяснил мне со свойственной ему предположительностью.

«Действующие лица, по-видимому, носят рифмующиеся имена Рут (Ruth) и Тут (Tut), возможно, даже Руттут и Тутрут: в первой фразе во втором лице упоминается Руттут, потом она же фигурирует в третьем как Рут. Игра слов раскрывается в первой и последней репликах:

“Это ты, то бредущая, то покоящаяся, Руттут?” (“Bist Du es Schweifende Ruhende, Ruthtut?”)

“Рут лежит в твоей основе и действует у меня” (“Ruth liegt bei Dir zu Grunde tut bei mir”).

Здесь обе части имени приобретают значение, причем Рут, мне кажется, подразумевает глагол ruhen – “покоиться, бездействовать”; таким образом, речь идет о противопоставлении женского пассивного (“Рут – ruht”) и мужского активного (“Тут – tut”) начал, причем в каждом из действующих лиц оба начала соединены, но одно преобладает: Руттут – “бредущая, покоящаяся” (но Рут все же на первом месте). В общем, идея счастья как гармонии двух начал, сплошной инь-ян.

Что касается мотива моста, смерти как возвращения к себе,

то на память приходит зороастрийский миф о мосте Чинват, соединяющем мир живых с миром мертвых, на том берегу умершего встречает его собственная душа в облике женщины; праведника встречает, ясное дело, красавица, грешника – ведьма (впрочем, там есть одно противоречие: грешник моста пересечь не может и падает в преисподнюю, видимо, ведьма ждет его там, я эти подробности подзабыл). Соблазнительно было бы предположить, что эти мотивы – результат влияния Иттена с его “Маздазнаном”, но я сомневаюсь: во-первых, Фридл, по-видимому, относилась ко всему этому делу с большой иронией, во-вторых, само учение Маздазнана имело крайне мало общего с реальным зороастризмом, хотя отдельные мифологические мотивы ученики Иттена вполне могли усвоить – соответствующие тексты были к тому времени давно изданы».

Я положила трубку и затосковала. Сколько тут пластов, сколько еще читать и изучать, жизни не хватит… При этом пока никто не стреляет, напротив, из-под праздничного шатра на крыше – у нас нынче праздник Кущей – доносятся молитвы.

Не падай духом, когда тебе тяжело, я всегда с тобой; что о тебе знают другие! Я стану для тебя матерью, сестрой и возлюбленной, и прежде всего той, которая не только жалеет, когда тебе плохо, но заботится о тебе и верит в твои способности. Твоя Фридл…

Ты-то веришь! Зато издатель, теперь уже московский, которого я упредила, что не могу сдать книгу в срок – разбор ста страниц неизвестных мне доселе писем требует времени, – расторг со мной договор, теперь я должна вернуть ему семьсот долларов и писать в стол. Сперва я огорчилась, теперь, напротив, рада. Писать, не рассчитывая на публику, куда приятней.

Насчет «способности». У «способности» нет выражения, она отрабатывает повинность: собирает по архивам осколки судеб, выискивает очевидцев и ездит к ним, где бы они ни жили, с магнитофоном и фотоаппаратом, организовывает твои выставки, читает лекции, в конце концов, преподает искусство по твоей системе, у «способности» нет ничего своего, она – швейцар, который открывает двери в твой мир; порой весело расшаркивается перед посетителями, а порой зевает им вслед.

Но и у «способности» бывают моменты, когда она проникает в зазеркалье. Там-то ей и приходят на ум безумные догадки – только не смейся!

Почему я боюсь, что надо мной будут смеяться? Так вот, смейся не смейся, а слова из заковыристой пьесы, явной пародии на восточное глубокомыслие, обращены ко мне.

Ты привязываешь канат к камню и бросаешь его на другой

берег. …Ты строишь мост и, найдя на другом берегу меня, – приходишь к себе.

Осколки древних амфор

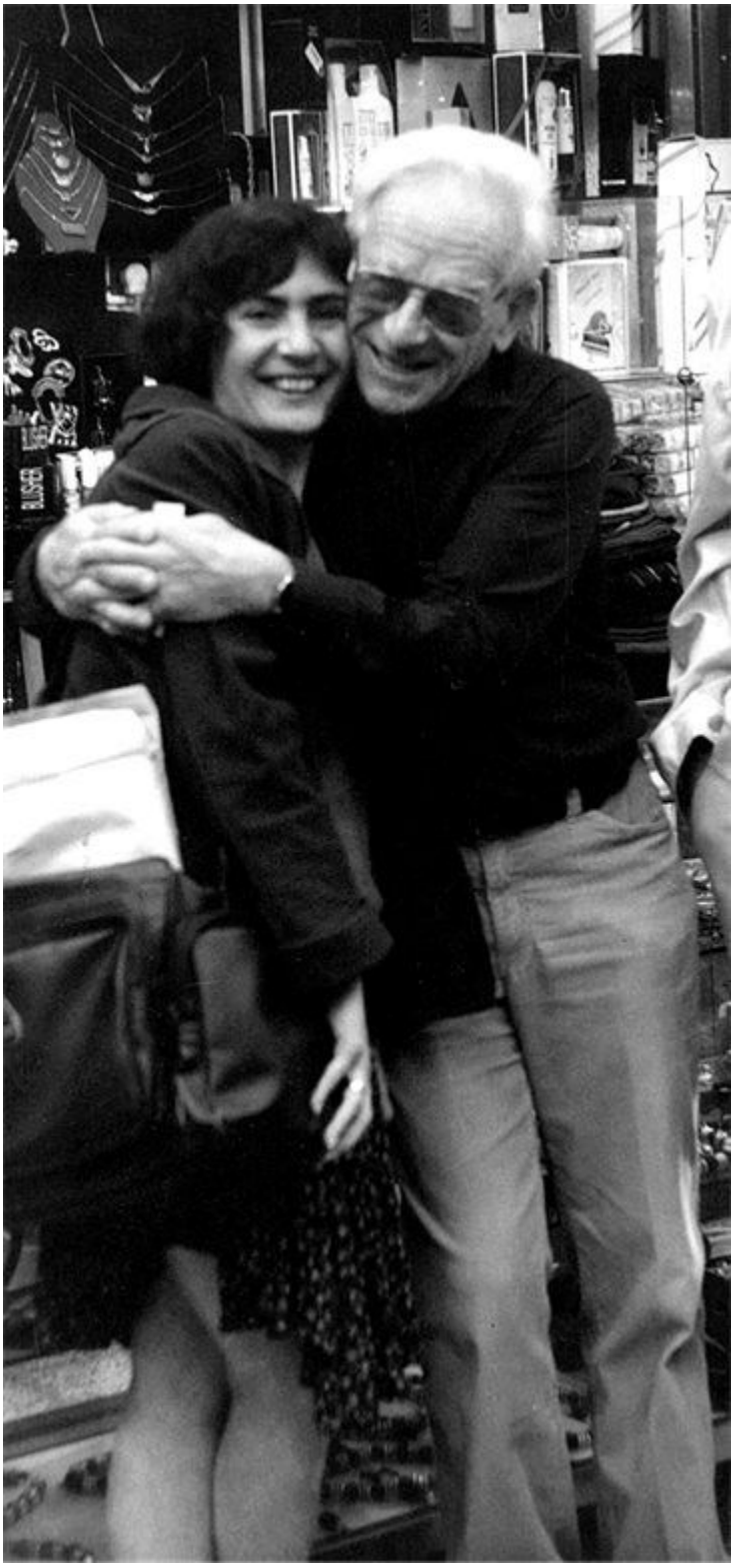
В конце августа 1945 года Вилли Гроаг передал еврейской общине в Праге два чемодана с детскими рисунками из Терезина.

Впервые оказавшись в Израиле в ноябре 1989 года, я по справочной нашла его номер телефона. «Чем могу служить?» – спросил меня Вилли Гроаг. «Хочу поговорить про Фридл». – «Про Фридл? – повторил он задумчиво. – Хоть сейчас. Жду до полуночи и после полуночи». Дело было вечером, мои друзья, люди добрые и разумные, советовали ехать утром. В такое время из Иерусалима в кибуц Маанит можно добраться только на машине. Да и с чего бы старый человек стал приглашать тебя на ночь глядя? «Из-за Фридл», – объяснила я. Спорить было бесполезно, и мои друзья согласились отвезти меня к Вилли.

В кибуце стояла оглушительная тишина. Мы подъехали к одноэтажному домику со светящимся окном. Вилли поджидал нас у входа.

– Гроаг, – представился он, из тьмы глядели голубые глаза. – Вильгельм-Франц-Мордехай, в соответствии с метриками. Должен вас предупредить, моя жена спит. Она встает на работу в пять утра. Будем говорить шепотом.

Мои друзья что-то объяснили Вилли на иврите, пожелали мне всего хорошего и уехали.



Мы вошли в дом, и я по привычке прошлась взглядом по стенам. Много картин, но не Фридл. А чьи это скульптуры в стиле чешского барокко?

Я подошла к ним поближе, дотронулась, они были из бумаги, затонированной под тусклую бронзу.

– Это работы моей мамы, – объяснил Вилли. Он не спускал с меня глаз, рассматривал, как художник модель. Он погасил верхний свет и поманил меня к двери. Мы вышли. Светила сумасшедшая луна, пели цикады.

– Поедем в Хадеру, – предложил Вилли, – посидим в кафе, чтобы не шептаться. А потом я уложу тебя спать на диване.

75-летний юноша подвел меня к машине, стоящей под огромным деревом напротив дома. Мы сели и поехали. Снова дорога, уже знакомая, запах из коровника, запах апельсинов, аллея с высокими деревьями, шоссе.

Я спросила Вилли, почему у него три имени.

– Это очень просто. Я родился в Оломоуце в разгар Первой мировой войны. У кайзера Вильгельма было второе имя – Франц. В семье с почтением относились к еврейской традиции. Деда звали Мордехай. Так что мое третье имя – Мордехай. Сложи и получишь – Вильгельм-Франц-Мордехай. Вполне подходящее имя для ребенка, родившегося в буржуазной семье и воспитанного в немецко-еврейской традиции.

Вилли вел машину аккуратно, по-взрослому, я смотрела на него в профиль – нос с резкой горбинкой, твердый подбородок, седая прядь на высоком лбу, – наверняка он знал Фридл, не может быть, чтобы он просто привез чемоданы с рисунками в Прагу.

– Хочешь еще что-нибудь про меня узнать?

– Да. И про Фридл, – вставила я осторожно.

– А кто она такая? Я вообще о ней не слышал, – сказал Вилли и положил мне руку на плечо. – Скверный старикан тебе попался. На ночь глядя заманил в кибуц, везет в Хадеру, говорит о себе. Словно его не интересует ни Москва, ни перестройка, ни Горбачев! Так вот, в 42-м нас всей семьей депортировали в Терезин. Поначалу я работал на строительстве железнодорожной колеи, связывающей лагерь с ближайшей станцией. Потом заделался балагулой. Корнет Кристоф Рильке, поющий в последний раз о любви и смерти… У меня были две белые лошади, необыкновенные – они не умели спать стоя. Приходилось подымать их по утрам. Ложились белыми, вставали черными! Это была чудесная жизнь – у нас был пропуск на выезд из гетто, так что мы могли кое-что доставать за его пределами. Гешефт! Но тут

является Гонда Редлих, просит меня оставить лошадей и перейти работать в детский дом. Я почему-то сразу согласился. Это был большой дом для девочек 12–17 лет. Ну вот, все как в хорошем сценарии. Приехали.

Вилли притормозил у пестрого магазинчика. Около него стояли три белых круглых пластиковых стола и белые пластиковые стулья. Мы сели друг против друга, Вилли в голубой рубашке и голубых джинсах под цвет глаз. Иссиня-черное небо в звездах и апельсиновая луна.

Вилли пошел в магазин и вернулся оттуда с белыми бумажными стаканчиками, в них был кофе, снова ушел в магазин и принес две булки.

– Все, – сказал он, – теперь про Фридл. Спрашивай!

Я спросила, какая она была.

– Да вот такая, – указал он на меня пальцем, – маленькая, как ты, но поплотней, глаза как у тебя, но поширше, а общее выражение – твое, это первое, что я заметил. Глаза, которые рисуют. Есть глаза, которые фиксируют, а есть глаза, которые схватывают, глаза пристрастные, глаза-магниты. Такие у нее были глаза. И у тебя такие. Однажды на занятиях она взяла у меня альбом (второй раз) и за минуту, не вру, нарисовала в нем лицо акварелью. Несколькими пятнами слепила форму и усадила глаза, и они смотрят, смотрят и смотрят.

– А где альбом?

– Дома. Не волнуйся, завтра все покажу.

Так мы сидели на белых стульях за белым столом и пили коричневую бурду.

– «Боц» – кофе для ленивых израильтян, – объяснил Вилли. – Сыплешь его в стакан, заливаешь кипятком. Фридл написала мне письмо к дню рождения…

– Где оно?

– Наберись терпения! Вот и Фридл такая была – все ей нужно было сейчас же! Я у нее учился на дневных курсах и как-то спросил ее, что мне делать после войны: работать химиком, по профессии, или стать художником. Она тотчас прислала мне целое письмо о том, что такое талант и как с ним быть. Общие размышления. Скорее всего, во мне она таланта не обнаружила. Так что я стал химиком, работаю на кибуцном заводе по производству фруктозы. А в свободное время рисую. У меня даже мастерская своя есть.

– Можно будет посмотреть?

– Все тебе покажу! У нас в роду все художники-любители. И мама Труда, и папа Эмо, и оба моих брата – их работы висят у нас на стенах. Зато мой дядя был профессиональным архитектором,

строил виллу вместе с философом Витгенштейном для его сестры в Вене.

– Жакоб Гроаг участвовал и в строительстве теннисного клуба в Вене, вместе с Фридл.

Моя осведомленность сразила Вилли наповал.

– Фридл была знакома с моим дядей? Она никогда мне об этом не рассказывала. При том что я работал в том детском доме, где она жила, видел ее каждый день…

Он видел ее каждый день!

– И в тот день, когда она получила повестку на транспорт?

– Думаю, да. Но у меня в то время была другая история. Мадла, моя первая жена, ждала ребенка…

– А что с ней стало?

– Она родила в лагере, а в 1946 году умерла от полиомиелита, уже здесь, в кибуце. Так вот Фридл не было в списках на транспорт, она записалась туда из-за мужа. Отговорить ее было невозможно! Кстати, имей в виду, моя жена Тамар очень ревнивая, она меня к моим ботинкам ревнует… Вряд ли она обрадуется, увидев тебя утром. Но когда ты позвонила, я подумал: у каждого есть двойник, может, появится вторая Фридл… И не ошибся.

Вилли умолк и уставился на луну. Она была так близко.

И Фридл была близко.

Мы допили кофе, доели булочки.

– Пора, майн кинд, – вздохнул Вилли, – будем вести себя как хорошие дети.

Мы встали, Вилли положил руку мне на плечо. Тот самый Вилли, который привез в Прагу чемодан с детскими рисунками из Терезина, тот самый, который видел Фридл, смотрел на нее теми же глазами. Каждый день.

Все, что рассказывал мне Вилли на протяжении двенадцати лет, рассортировано по разным книгам. Письмо Фридл к нему переведено на разные языки, даже на японский, лицо, которое она нарисовала в его альбоме, увидели посетители выставки на трех континентах.

– И все-таки, майн кинд, если бы не мы с тобой, рано или поздно нашелся бы тот, кто взял бы на себя заботу о детских рисунках и Фридл. Так что мы этого себе в заслугу не ставим, верно?

Вилли любил сослагательное наклонение. Будь у него талант, он бы стал художником. Будь у него свободное время, он бы больше читал. Будь в квартире больше места, привел бы в порядок весь архив.

У Вилли был свой закуток за занавеской, слева от входа в

дом. Там хранилось все, что его жена Тамар не хотела видеть в «салоне». В салоне они едят, смотрят телевизор и принимают гостей. Она не собирается превращать свой дом в мемориал!

Обычно я приезжала к четырем, после обеда Тамар и Вилли спали, потом она уходила в бассейн, и мы с Вилли отправлялись в лес. Там, на дне глубоких ямин, сохранились кусочки византийской мозаики, и, когда Вилли еще был в силах, мы осторожно слезали, вернее, скатывались на пятой точке в яму и, согнувшись в три погибели, сгребали сосновые иголки со дна «византийской бани». Потом Вилли доставал из кармана носовой платок и протирал им камешки: «Смотри, как проступает глазурь!»

Иногда мы взбирались по винтовой лестнице на смотровую башню, где в 1948 году держала оборону еврейская бригада, – это Вилли тоже помнил. С башни был виден весь кибуц и арабский город на горизонте, кажущийся издали огромным белым кораблем с мачтами-мечетями.

Внизу, у подножия смотровой башни, стояли враскоряку мраморные ноги – опоры для ворот, поставленных здесь во время царя Ирода. Земля вокруг была полна древностей. «Стоит копнуть, – восхищался Вилли тесным соседством с древней историей, – и обязательно что-то найдешь!» В закутке он хранил огромную чашу с черепками – осколками амфор.

Иногда мы рисовали в лесу, иногда просто так гуляли вокруг кибуца, где в 1946 году ничего не было, а теперь все цвело и пахло магнолиями и апельсинами, хрупкие гранатовые деревья гнулись под тяжестью плодов, мычали коровы, старички разъезжали на маленьких машинках по ровным асфальтированным дорогам. Вилли был социалистом: общая столовая, общая машина, общая прачечная, общая земля; если все это любить и работать во имя общего блага – жизнь прекрасна. Развал кибуцев для него был равен развалу страны. Мысль об этом не оставляла его до самой смерти.

В представлении старого человека, в коего со временем превратился Вилли, родной город Оломоуц и римские развалины сливались воедино. Закуток заполнялся видами Оломоуца и римскими черепками.

Когда Вилли заболел, Тамар уговорила его подарить терезинский архив кибуцному мемориалу «Бейт Терезин», одним из учредителей которого он был. Вскоре и сам Вилли был сдан в архив, то есть переведен в кибуцный дом престарелых, в отделение лежачих. Я навещала его и там. Возила на коляске мимо бывшей мастерской, мимо коровника, там мы сворачивали к лесу и останавливались у тропинки, ведущей к «византийской

бане».

– Тормози! – Я нажала на рукоятку, колеса остановились. Как просто! Я села на пригорок, Вилли положил мне дрожащую руку на голову.

– Прямой линии провести не могу, – пожаловался он.

– А ты пастелью рисуй, – посоветовала я ему.

– Пора, майн кинд, – произнес он свою коронную фразу, и мы поехали в корпус.

Последний раз я видела Вилли перед отлетом в Атланту – там открывалась очередная выставка Фридл. Таксист-старичок показывал мне по дороге места боевых сражений, в которых он участвовал, а когда узнал, что я еду прощаться с больным стариком, даже не родственником, то так проникся, что взял с меня половину назначенной суммы. За благое дело.

Вилли спал. Я дотронулась до его руки, и он открыл глаза.

– Не сон ли это! А я думал, ты в самолете, привязаны ремни…

От Вилли остались одни глаза. Как на рисунке, который оставила в его альбоме Фридл.

– Передай ей от меня привет, – сказал Вилли и отключился. Я сидела рядом. Он улыбался, но глаз не открывал. Что-то ему снилось. Может, что я приехала.

Жизнь есть сон, сказал Кальдерон.

Мерцающее пятнышко

…Я сейчас уткнулась в маленькую картину – в пятнышко коричневатых елок – рисую ее из окна. Все возникло из этого пятнышка, которое вдруг резко обозначилось на фоне розового и голубого мерцания снега (розовый стелется по горизонтали, голубоватый – под углом, а темно-синий – стоймя, вертикально уходит в глубокую тень), – деревья такие темные, и потому все за ними выглядит необычайно нежно, а синева вдали еще резче подчеркивает фиолетовую коричневатость… Но это не выглядит скучно, поскольку коричневый – рядом с фиолетовым, и дымовые трубы того же цвета, только еще более интенсивного, – и эти торчки не выпадают из картины, знаешь почему? А потому что светло-коричневое и очень элегантное знамя дыма связывает их с вершиной холма, что напротив. Дым разрезает небо светло-серой полосой – и это как противовес снегу на первом плане… И так я рисую и рисую, вздыхая все чаще, думая о маленьком мерцающем пятнышке, – но где же оно, куда запропастилось?

В поисках мерцающего пятнышка я исколесила полмира, держась в стороне от Биркенау. Там искать нечего. Но случай привел и туда – мы снимали документальный фильм. Пока наша восьмидесятилетняя героиня взбивала пальцами свои коротко остриженные волосы, слипшиеся в ком за долгую дорогу, пока застегивала и расстегивала молнию на куртке, чтобы было видно розовую кофточку или чтобы ее не было видно, пока оператор с режиссером искали подходящее место для съемок, я шла по закатному полю, по рытвинам и канавам, и так оказалась у леса, знакомого по фотографии.

Уходящее солнце просвечивает сквозь стволы. В глубине меж стволами бродят мужчины, на переднем плане два мальчика. Один, постарше, в кепке набекрень, со скорченным от страха лицом, другой, помладше, как бы уже спит стоя, приоткрыв рот и опустив глаза… Девочка с бантом поджала губы, сомкнула руки на груди. Смотрит прямо на фотографа. Смотрит полными беззвучной мольбы глазами, как и все, застывшие перед нами навеки.

Но мы не застыли навеки, неправда! Мы идем фотографироваться!

Часть первая
Пигалица

1. Замрите, фройляйн Дикер!

Вся Вена, от Хангассе до Марияхильферштрассе, любуется господином Дикером и его пятилетней дочерью. Отец в высоком цилиндре с загнутыми полями, в костюме и галстуке, я – в клетчатом платье с пелериной.

А у фройляйн Дикер подол к платью приторочен!

Это платье мне сшила мама! На вырост. Навсегда.

Фриделе, не огрызайся, будь хорошей девочкой! – Он держит меня за руку – и я не вырываюсь. Я буду слушаться. Смотрите все, какие на мне рейтузы, и туфли начищенные. И бант на макушке, и волосы убраны с лица.

В ателье господина Штрауса не церемонятся. Обслуживают молниеносно и качественно. Хвать за подмышки – и вот я уже стою на стуле, а отец рядом.

А вам, господин Дикер, придется развернуться. Левей, еще левей. Фройляйн Дикер, обнимите отца…

Минуточку, битте! – говорит отец.

Он выходит из кадра. Осторожно, словно у него на голове не шляпа, а сосуд с водой, подносит свое тело к зеркалу, расчесывает щеточкой усы и бороду, поправляет пенсне. Подумав, расстегивает пиджак и возвращается на место.

Фройляйн Дикер, замрите и смотрите сюда!

Лысая голова господина Штрауса исчезает под черным пологом – щелк, вспышка. Так и выходят важные господа и пушистые кошечки на стенах… Щелк, вспышка.

Отец спрятал тонкий рот в усы.

Готово! Подождите пять минут!

Отец приставляет ладонь к оттопыренному уху. Сейчас начнется: я потерял жену, потерял слух…

Я потерял жену, потерял слух. Того и гляди потеряю работу.

Фотограф скрылся за черной занавеской, но отцу хоть бы что. Говорит и говорит. Мне всегда было за него стыдно.

Знаете магазин на Блехергассе, 18, неподалеку от Лихтенштейнского парка? Пока он в моих руках, приходите! Альбомы по искусству, детские книги с великолепными иллюстрациями, альбомы для марок, настольные игры, наглядные пособия по математике, чертежные товары, циркули и наитвердейшие в Австрии карандаши, большой выбор бумаги и художественных принадлежностей для школ и техникумов. Даже карманное кино. Разумеется, для детей, никакой эротики – боже сохрани! Только этого не хватало! Если меня уволят, то только из-за Фриделе. Невыносимый ребенок! Юла! Крутится, вертится,

все хватает, везде оставляет отпечатки. А вчера, представьте себе, в коробке пластилина были обнаружены самодельные белки и зайцы – вместо шаблонов! Образцы, недостойные подражания. Клиент подал жалобу. Разные бывают клиенты, сами знаете. И дети бывают разные. Бывают симпатичные, клиенты им только рады, ущипнут за щечку, подарят конфетку – и ауфвидерзейн. Но моя не такая! Сами видите. Деваться некуда – я должен ее брать с собой. У нас ведь никого нет…

Все в порядке, – фотограф появляется из-за занавеса. – Вы свободны.

Фриделе, скажи «до свидания».

Не скажу.

Отец протирает надпись на гранитной плите. Рука в черной перчатке, белая тряпка вбирает в себя грязь и становится серой.

Чисто! Все читается:
Каролина Дикер (Фанта)

1865–1902

А что тут читать!

Ранняя весна. На маме Каролине и дедушке Фридрихе уже нет снега. Может, им и тепло в земле. А мне так холодно…

Кто говорил – надо взять на кладбище теплое пальто? Не слушаешься папу!

Зато отец взял с собой маленькую лопаточку и грабельки – когда у меня заняты руки, у него свободна голова. Я вожу грабельками по талой земле.

Сейчас придут черные люди.

Черные люди приходят, запрокидывают головы, и слова у них клокочут в глотке… Та-та-та – Каролина Фанта… Та-та-та-та-та пришли к тебе… Та-та-та – дочь… Фан-та-та-та…

Улитка! Улитка, улитка, покажи свои рожки! Не показывает. Боится. Или она тоже мертвая? Отец стучит камнем по плите. Я стучу улиткой – мертвым не больно.

В магазине тепло. Пока отец в складской каморке щелкает на счетах, я беру с полки большой альбом. В нем много цветных картинок – дама в берете с тремя собачками на поводке…

Звякает звоночек.

Я бегу к дверям – кто пришел?

Дяденек, которые хватают за щеку костяшками пальцев и манят конфеткой, хочется укусить. Но я не кусаюсь, просто смотрю исподлобья. Когда я так смотрю, дяденьки уходят из магазина, забыв, зачем пришли. Из-за меня отец теряет клиентов. Я маленькая и всем мешаю. Что из меня выйдет?!

Опять ты взяла альбом! Где он стоял? Фридл, я договорился с одной тетей… Побудешь у нее. Пошли!

Имени тети я не помню, храню в памяти под кодовым названием «Добрая Душа».

Мы идем долго. Так долго, что Добрая Душа успела поседеть и оплыть. Ее тело сделалось мягким и теплым, как размягченный воск, отец рядом с ней выглядел огарком.

Когда отец ушел, Добрая Душа вздохнула. Она развязала бант на моей голове, провела гребнем от загривка ко лбу. Ох да ах – в голове грязь и нечистоты. Придется стричь. Только не бойся!

Не бойся!

Сколько раз я слышала эти слова: «Фриделе, не бойся, мама уснула… Фриделе, не бойся, все умирают…» Я не боюсь. Не боюсь остаться без волос, не боюсь, что мама спит, не боюсь, что все умирают, не боюсь ничего!

Я сижу в большой лохани, в теплой мыльной воде. Хлопнешь ладонями – и вода покрывается мелкими пузырьками. Они переливаются всеми цветами, да в руки не даются… Добрая Душа

рядом, вырезает из розового хрустящего тюля ленточку. Теперь у меня будет новый бант из такого же материала, как занавески на окнах. И если я случайно намочу или испачкаю его, не беда, этого добра у нее много.

Она зачерпывает ковшом теплую воду из ведра, подбавляет в лохань – и пузыри взлетают. Они искрятся в воздухе – и я ловлю их в ладони.

Добрая Душа не умела читать, но знала, что всему предшествовал хаос. Полное ничто – ни ночи, ни дня, ни человека, ни муравья, ни ветки, ни почки, а зато потом всего стало очень много. Первые люди по неопытности радовались изобилию, но потом заелись и стали хотеть еще и еще, из-за этого и появились на свет плохие люди и скверные явления. Не про нас будь сказано.

Она была сильной, одной рукой отодвигала тяжелый диван, чтобы вымести из-под него пыль, и при этом говорила и говорила. А мне и сказать-то нечего – кто я такая? Пигалица, от горшка два вершка. Отец говорит, что мать умерла из-за меня – я не слушалась, не спала, капризничала. Но я ему не верю. Я сама видела, как одна девчонка дергала мать за юбку и орала, и ее мать от этого не умерла.

Когда сумерки сгущались, Добрая Душа включала лампу в центре комнаты, над столом, и лампа светила во все стороны. У нее не было ни торшера у кровати – газет она не читала, ни ночника, который вспыхивал желтым светом всякий раз, когда отец вставал по нужде. Добрая Душа не вставала по нужде, стало быть, ночник ей был не нужен. Она не запихивала свет ни в колпаки, ни в абажуры.

Мне разрешили лепить под столом, и я лепила людей, похожих на людей, и зверей, похожих на зверей. Трудно лепить живое. В руках лошадь двигается, поставишь ее – замирает. А что, если не смотреть, отвернуться? И тогда лошадь взмахнет ногой, стукнет копытцем… Я сидела под куполом – скатерть с кистями свисала почти до пола – и показывала невидимым зрителям цирковые номера – скачки по кругу, жонглеров с шариками, фокусы со шляпой…

Я лепила, а Добрая Душа вязала. Клубок из большого превращался в маленький, и разговоры ее были как вязание, петля за петлей, слово за словом, ряд за рядом, фраза за фразой, кто-то когда-то ее любил, да разлюбил, осталась она одна, днем звенит тазами в лавке, вечером вяжет. Вязание – вот еще чем она меня приворожила. Она сидит как вкопанная, как памятник на площади, только спицы в руках ходят, и из-под рук выползает вязка по имени «боковушка», то есть боковая часть кофты.

Вышли бы за моего отца, была бы у меня мама.

Добрая Душа рассмеялась так, что клубок у моих ног запрыгал: – Какая от твоего отца любовь! А тебя бы взяла. Придет за тобой, проси!

Отец пришел за мной, я его попросила. Он закусил нижнюю губу и повел меня за руку к двери.

У нас нет денег на нянек!

Но я ведь хотела Добрую Душу в мамы, а не в няньки! Но он меня не услышал. Со мной он часто бывает глухим, а в магазине слышит всех. Кстати, завезли партию цветных карандашей, какой-то набор оказался бракованным – в нем не хватало одного коричневого. Из трех. Продавать нельзя, только дарить, и только – мне! Даже белый есть в наборе. Один. Не бывает разных белых. А за ним желтый, как яичный желток, желтый, как лимон, желтый, как песок…

Теперь все, к чему ни прилеплялись мои глаза, оказывалось у меня в руках. Цветные карандаши… Они были незаточенными, и отец дал мне точилку. Молча, без причитаний. Я уютно расположилась в своем углу, в подсобке, постелила оберточную бумагу на пол – сточенный грифель я потом ссыплю в кулек – и вставила белый карандаш в отверстие. Я крутила его, тонкая зубчатая лента с белой окантовкой вилась спиралью, освобождая грифель… Вот проклевывается цвет в форме остроугольных конусов – светло-красных, вишневых, алых, – поточенный карандаш занимает свое место, на смену ему вышагивает другой, засовывает голову в дырку… Такими карандашами можно рисовать только на хорошей бумаге, плотной, с меленькими, почти незаметными пупырышками.

Не трогай, запятнаешь! Это дорогая бумага, для богатых. Бедные художники рисуют на тонкой, оберточной или упаковочной.

Меня обуял гнев. Я затопала, завизжала.

Гадкий ребенок! Что ни дай – все мало!

Раз так – буду рисовать только на плохой. И что же? С моих угольных набросков летит черная пыльца, с полотен, кем-то скатанных в трубки, падает краска, пастель проедена тлей и древесным жуком.

По выходным отец «выгуливал» меня в сквере, неподалеку от дома. Выгуливал! Если бы… Он садился на скамейку и клевал носом, а я смотрела во все глаза на детей, как они крутят веревочку и укачивают лялек в игрушечных колясках. Я не хотела играть. Тогда отец купил мне целлулоидного пупса – чтобы вместе с ним, законно, войти в детский коллектив. Этот пупс был хуже мертвых. Я пыталась оживить цветными карандашами

каждую клеточку его холодного тела. Наслюнявишь – точка, наслюнявишь – точка. Я выкрасила мочалку и прикрепила ее к целлулоидной башке. Я раскрасила ему глаза и нарумянила щеки, но он не оживал.

Я вынесла его на руках подышать воздухом, я держала его на солнышке, чтобы он опомнился. Нет! Надо было похоронить пупса сразу, еще до того как он, размалеванный, будет осмеян детьми. Ну и пусть смеются! Мы с пупсом отошли в сторонку и уселись на скамейку, рядом с нарядной фрау.

Какой миляшка! – Нарядная фрау прикоснулась мизинцем к целлулоидному лбу. Ей явно приглянулся мой пупс. А мне приглянулась она, вернее, тени от цветного зонта на ее белом платье. Пусть бы она стала моей мамой!

Отец дремал. Лицо его было спокойным, наверное, ему приснилось, как я подружилась с детьми и катаю пупса в чужой игрушечной коляске. Я разбудила отца и подвела к нарядной фрау. – Познакомьтесь! – Шарлотта Шён, очень приятно. – Я вложила руку отца в руку Шарлотты Шён.

Таинственная прелесть Шарлотты испарилась в ту же секунду, как она закрыла цветной зонт и, опираясь на него, вошла в наш дом в сопровождении носильщиков. Новый разлапистый шифоньер стал спиной к моей кровати, а два сундука с одеждой внесли в жилье запах ванили и нафталина. Отец все больше становился похожим на ворона, а Шарлотта – на сороку. Две птицы. Он каркает, она стрекочет. В их слаженном дуэте – «Куда пошла? Куда она пошла?», «Когда придешь? Когда она придет?» – фразы двоились, второе лицо менялось на третье.

Я искала мать, но нашла жену отцу, и, как позже выяснилось, неподходящую. Вернее, неподходящим был мой отец. Он так орал на Шарлотту, так над ней измывался, что мне приходилось вставать на ее защиту. Какая гадость – семейная жизнь! Наверное, мама Каролина, поняв это, умерла с горя.

А ночью они ворковали: «Шарлоттеле! Симонке! Пуппеле-муппеле!» Язык-дразнилка. Только бы у них не было детей! Мысль о сестре или брате лишала сна, и я вслушивалась в возню за шифоньером.

Они вздыхали и охали, а Шарлотта иногда визжала. Эко дело! Какие там секреты? Понятно, что им это нравится. Два голых тела, прижатые друг к другу, – приятно. Даже когда сама себя гладишь, приятно.

Днем они ругались по-немецки, а ночью шептались на идише. Идиш – язык ночи. Я его забыла.

2. Чем больше смотришь на часы, тем меньше остается времени

Меня отдали в школу за углом. Я могла ходить туда сама. Всех ведут за ручку, я – сама.

Самое интересное в школе – это дорога к ней. Спозаранку голодные глаза поедом едят все, что попадается на пути; не разжевывая, заглатывают разлапистый красный лист с прожилками вен, корявый ствол, обвитый своими же корнями, желтые гроздья акаций вместе с узорчатыми листьями-перьями, трубу в гармошку, высовывающуюся из окна, голую проволоку на балконе. Вчера она прогибалась под тяжестью наволочек и простыней, а сегодня выпрямилась, натянулась, сегодня она свободна. «Не смотри по сторонам, бери пример с отца, он никогда не опаздывает!»

Чем быстрей идешь, тем меньше видишь. Разве скорый поезд способен разглядеть дома и деревья? Он несется по расписанию.

Такая же жизнь и у взрослых – каждые пять минут они смотрят на часы, только художники живут без времени, и если подумать – а думать некогда: звенит звонок, и я тяну на себя тяжелую ручку двери, – чем больше смотришь на часы, тем меньше остается времени.

Чтобы ко мне не цеплялись, я аккуратно выполняла домашние задания. Расположение одноклассниц покупалось за ластик, любовь и восхищение – за карманный фильм про лягушку, на глазах превращающуюся в принцессу. Мы девочки-лягушки, но мы станем принцессами, есть перспектива!

Арифметика лучше всего усваивается на свежую голову. Девочка вышла из школы в девять ноль-ноль, а домой пришла в девятнадцать ноль-ноль. Сколько минут занял путь от школы до дому? Где же она столько времени пропадала? А это уже задача не арифметическая.

В тяжелых ботинках на шнуровке я обгоняю фаэтоны, запряженные лошадьми, бегу и не могу остановиться – откуда эта волшебная легкость? Передо мной расступаются улицы и прохожие. Ветер растаскивает облака, и в небесной пряже появляются синие дыры. Они уменьшаются на глазах, затягиваясь облачной пеленой, небо становится свинцовым. В Саду роз выплескивается из медных труб вальс.

Концерты в прохладе парков – черно-белые мужчины и разноцветные дамы, их одежда сливается с вывесками на музейных фасадах – оттиск картины Климта, выставка группы

«Сецессион», графика Шиле… Прошмыгнуть в кафе, полюбоваться на соцветия плафонов и бежать – набраться духу и подняться по широким ступенькам Музея искусств, просочиться без билета и там увидеть «Крестьянскую свадьбу» Брейгеля – сколько людей, и у каждого – свое лицо, и все они на картине двигаются – едят, кормят тощих собак… Как это сделано?!

В больших книжных магазинах можно брать с полки любые альбомы и рассматривать их сколько душе угодно. Как написана прозрачная одежда на голой Юдифи? Кто придумал сфинксов и человекоптиц с острыми клювами? Как сделаны пальцы ног на египетских рельефах? А пирамиды? А статуи майя? По каким лестницам взбирались в небо мастера, чтобы придать камню форму?

Жизнь – это рай! Рай, изображенный на картинах, разве не похож на этот сад? Все срисовано с Жизни. Небеса, цветы, ангелы, да и сам Господь Бог. Но и Ад списан с Жизни, с ее битв и пожарищ. Рай стабилен, Ад видоизменяется с развитием цивилизации.

Маленькая девочка с ранцем за спиной разгуливает по городу – и никому до нее дела нет. Как бы не так! У мраморной глыбищи по прозванию «Дом с бровями» меня засекла учительница.

Фройляйн Дикер! Что вы тут делаете?

Ничего. Прогуливаюсь и прислушиваюсь к чужим разговорам. Одни ругают Лооса – плюнул в самое сердце Вены, другие хвалят – явился тот, кто положит конец безобразным излишествам декора.

Фройляйн Дикер, вы любите своих родителей?

Нужно было что-то ответить. Я сказала, что думаю. Что пока еще никого не люблю.

Никого на свете?

Я кивнула, а про себя подумала: ну, разве что Добрую Душу. Да и то, если бы мне сказали, что Добрая Душа умерла, я бы не заплакала.

Вы в ответе за свои слова? – учительница грызла красные губы белыми зубами и смотрела на часы, кажется, она спешила.

Я дала клятвенное обещание – завтра обязательно приду в школу и отвечу за свои слова.

Как проверить, любишь ты человека или нет? Очень просто. Представить, что его засыпают землей и что больше ты никогда его не увидишь. Я не раз засыпала землей отца и Шарлотту, учительницу и одноклассниц – ни слезинки. Пожалуй, отца все-таки жаль, но не до слез.

Не плачется. Оказывается, слезы проходят долгий путь: слезные ручейки текут в слезные озера, которые находятся в

углах глаз, есть в них и слезные сосочки, и слезные канальцы, и даже слезные мешки – накопители соленой влаги. Мои слезы, скорее всего, пересыхают в озерцах. С чего я это взяла? Скажу. Однажды мне в глаз залетела мошка и ни за что не хотела улетать. Шарлотта вывернула мне веко наизнанку – пальцы у нее грубые, как терка. Глаз у меня так покраснел, что даже Шарлотта испугалась. А мошке хоть бы что, затаилась в углу, наблюдает закат. Поплачь, Фриделе, слезами вымоет. Но вот этого-то я не могу сделать. Шарлотта! Столько лет прожить с нами – я уже не помню, что было, когда ее не было, – и не заметить такую особенность. Выручила пол-литровая клизма – напор струи вынес мошку вон из глаза.

Это событие обсуждалось поздним вечером за шифоньером. Они громко шептались, не хочешь слышать – услышишь: «Как так, девочка не плачет? – Вот так. – А когда родилась? – Конечно, все маленькие плачут». Будто у него было сто маленьких, а не одна-единственная дочь! «Она перестала плакать, когда умерла Каролина. – А на кладбище?!» Ну и дурища эта Шарлотта! Что мне в ней понравилось? Остроугольные тени от зонта на белом платье! И что она пожалела целлулоидного пупса. Безжалостной ее никак нельзя назвать, это правда. «Бедная девочка, такое горе, и не залить его слезами даже на кладбище!»

Где складируются покойники, я знала прекрасно, но вот где складируются впечатления, память об увиденном – неужели в извилинах мозга? Как же там может столько всего уместиться, если впечатления накатывают друг на друга, как волны, одно смывает другое. Наука о самом человеке, ну хотя бы о том, что у него есть сознание и подсознание, и отголоском не коснулась моих ушей. Может, я бы успокоилась, прочитав у Юнга о том, что человек ничего не забывает и что все, чем он на данный момент не пользуется, бережно хранит подсознание.

Что, если бы вместо задачника мне дали книгу Юнга об архетипах, смогла бы я понять, что там написано? Ведь я понимала абстракции, и, для того чтобы решить уравнение, мне не нужно было воображать несущиеся навстречу друг другу поезда, вышедшие из Вены и Берлина в такое-то время. И чтобы вычислить разницу в скорости движения, не нужно было представлять ни сами эти города, ни вокзалы, ни перроны, ни пассажиров, ни проводников. Лишь дважды поделить путь на время и отнять из большего меньшее. Я умела строить графики и доказывать теоремы. Пифагоровы штаны на все стороны равны!

А что, если изучить одно явление – например, рост цветка? И тогда тайна сущего откроется мне, как Пифагору – формула развертки!

Гортензии поблизости не было, зато у школьного забора росла ромашка. Из пышного соцветия я выбрала один цветок и устремила неподвижный взгляд на его тоненькие беленькие лепестки. Они были полуоткрыты, так что ждать оставалось недолго. Вот так я и окажусь свидетелем превращения радиального движения в круговое и тогда уже точно смогу нарисовать движение любой формы изнутри, из самой сердцевины! Угол между желтой сердцевиной и кончиком лепестка сократился. Или мне это кажется? Только бы выдержать! Не думать, не отвлекаться, смотреть, не отводя глаз…

«Фройляйн Дикер в обмороке! Она потеряла сознание, но все еще жива! О, мейделе, о, пуппеле! Ты б его видела, на нем не было лица!» Шарлотта частенько припоминала мне эту историю – вот как любит меня отец, так любит, что потерял собственное лицо.

Так может, безликий на картине вовсе не Ленин, а мой отец?

А на коне – не Дон Кихот, а сам Всевышний! (И впрямь, семитское его лицо имеет явное сходство с Христом!) Всевышний возложил длань на плечо отцу, и тот, вслепую, тычет перстом в развертку Пифагора и гортензию. Мол, сам он далек от решения сложных задач, он лишь передает сообщения, выполняет волю Всевышнего.

Работа «Дон Кихот и Ленин» написана в 40-м году.

9.12.40. Мой отец тяжело болен… Ему 84 года, и я боюсь, учитывая все сложности, больше его не увидеть. Мы всю жизнь существовали порознь…

И впрямь, люди, которые меня тогда окружали, не падали в обморок от желания проникнуть в тайну Видимого. Но не может быть, чтобы я была единственным экземпляром такого рода!

В классе мне был объявлен бойкот. Пока я наблюдала за ромашкой, кто-то достал из моего ранца тетрадь, где я тайком рисовала карикатуры, и передал учительнице.

«Это останется на совести фройляйн Дикер, – сказала учительница, возвращая мне тетрадь, – впредь никаких рисунков на уроках».

Учительница всегда вела себя безукоризненно, она служила всем нам живым примером, почему же на моем рисунке она превратилась в лошадь с накрашенными губами?

Я – самая маленькая в классе, я замыкаю колонну. Учитель физкультуры обозвал меня пигалицей, и все радостно подхватили: пигалица, пигалица!

Я возненавидела школу вместе с дорогой. Корявый ствол, оплетенный корнями, акацию с желтыми шариками, цветное белье на веревке – не пойду! Не хочу ничего! Какая скука! Утром

грохот посуды, подъем, тусклый свет, отец выбривает треугольники на щеках, расчесывает бороду – колючий клин, привязанный к вискам! А что бы Шарлотте, вместо того чтобы резать хлеб и мазать его маргарином, не вырядиться с утра в белое платье с воланами, не раскрыть над головой цветной зонт… Нет, они делают одно и то же, одно и то же, и это такая скука, от одной только скуки можно состариться и умереть.

Фриделе! Вставай! Фриделе, ты опоздаешь!

Но я не могу встать. Голова горит, глаза сами собой закрываются. Я заболела. Под кроватью горшок, на стуле стакан с водой. Но и на горшок не сесть без помощи Шарлотты. Ждали сыпи – не высыпала, смотрели в горло – не краснеет, ждали нашествия желтизны – не желтею. Вызвали врача. Он велел наблюдать за ходом болезни. А чем же мы еще занимаемся!

Мы ждем симптомов, а ребенок уже не стоит на ногах…

Отец принес мне краски в тюбиках. Не знаю, как он до этого додумался, книгу про доктора, который неизлечимо больной девочке подарил куклу и тем исцелил ее, он явно не читал, он вообще ничего не читал, кроме «Биржевых новостей».

Фридрих Фанта, отец моей матери, был биржевым маклером. В память о нем меня и назвали Фредерикой. «Биржевые новости» отец из уважения к мертвецу читал от корки до корки, после чего в них заворачивались бутерброды, ими разжигали печь и даже подтирались. Салфетки – для гостей. Гостей у нас не водилось, так что салфетки могли не волноваться – их никто не запачкает.

Стоило отвинтить металлическую крышечку с зазубринками и легонько надавить пальцем на гладкую кожу тюбика, и из его кругленького рта выплевывалась краска. Ее запах вызывал во мне такой аппетит, что Шарлотта не успевала мазать хлеб маслом.

Как, еще? – всплескивала она руками. В этом жесте были радость и горечь – девочка поправляется, но как ее прокормить? Я ела, рисовала и спала. Мне снились ярчайшие сны. Просыпаясь, я хваталась за краски, выдавливала их на тарелку, обмакивала в воду кисть и забывалась сладчайшим сном наяву. Что я рисовала? Думаю, это были вдохновенные картины. Но и их постигла участь «Биржевых новостей». Ими, правда не подтирались – бумага была слишком жесткой, но разжигали печь. Кажется, вся моя живопись была тоской по тем ярким снам наяву. Как они пылали в огне! Я видела, как коричневеют их края, как они скукоживаются и исчезают в языках пламени.

И вот я расхаживаю по комнате. Тело, перенесшее неопознанную болезнь, сделалось тяжелым. Больно дотрагиваться до груди – она набухла, и уж совсем противно – из меня каплет кровь. Что делать? Не засовывать же между ног «Биржевые

новости». В поисках чистой тряпки я влезла в Шарлоттин сундук. Шарлотта меня застукала. И сразу все поняла.

Женские дела! Каждый месяц – кровь. Без этого не родишь. Цах ве адом – так говорила бабушка, да будет земля ей пухом. «Цах» на иврите – белый, «адом» – красный, а «ве» – соединение. Во время зачатия белое семя мужчины попадает в красную кровь женщины. Белое и красное соединяются…

И получается розовое!

Получается ребенок!

Какая гадость!

Типун тебе на язык. Разве можно говорить на ребенка «гадость»!

Цах ве адом! Я бегу, отдуваясь, к трамваю, вскарабкиваюсь на подножку – жирная, отвратительная каракатица с куском ваты в штанах! Женские дела! Каждый месяц – кровь. И у учительницы, и у девочек в нашем классе – у всех женщин без исключения. Без этого не бывает детей. Тут бы и заплакать!

Дождь струится по матовым, изнутри запотевшим окнам, вода рисует свои текучие узоры, а на картине измученные жаждой путники пьют и пьют, зачерпывают воду кувшинами и кружками, а рогатые козлы пьют прямо из лужи. Моисей вывел народ к источнику. Посох у него тонкий – как таким пробить скалу? Из скалы брызжут струи, росчерки белой краски – женщина спиной к нам в желтой одежде, а шаровары у нее светло-вишневые, потому что она рядом с девушкой в вишневом, та, что в желтом, держит малыша, виден лишь его зад. Весь малыш не поместился. Картина-то маленькая!

Когда отойдешь подальше, становится отчетливо видно круговое движение. Вдалеке серая очередь, ей еще долго плестись к источнику, а хочется поскорей, и измученные жаждой серые фигурки толкаются, а один даже схватил другого за карман, следующий круг – это те, что уже видят воду, но не могут к ней подобраться, смотрят с завистью на тех, внизу, пьющих с наслаждением, тем бы уступить место, но они дорвались и не видят ничего, кроме себя и своей воды… Моисей доволен – сколько лет таскал он этих мучеников по пустыне, и сам устал, и их извел. И вот наконец-то народ его ненаглядный умылся и сверкает на солнце.

Я мечтаю совершить подвиг, пусть даже я погибну или, как Моисей, умру по пути к Земле обетованной. Иначе зачем я здесь?

Музей закрывается. Я бегу к выходу по весеннему крупитчатому снегу, перепрыгиваю через темные лунки-прогалины, прощаюсь с охотниками, уходящими вдаль по извилистым тропам, окидываю взглядом крестьянскую свадьбу.

Невеста невесела: после свадьбы молодых выставляют в ночь одних.

Я последняя, за мной запирают тяжелую дверь. Погасли окна. Одни картины легли спать, другие проснулись.

Газовые фонари расцвечивают тьму, по серо-желтой улице катят красные трамваи. Не хочется домой. Сейчас начнется: «Где ты была? Где она была?»

Где ты была? Где она была?

В музее.

Она была в музее.

Она голодная. Дай ей кушать.

Она уже рисует.

Она уже рисует?!

Что ты от нее хочешь! Станет знаменитой, ее картины будут в альбомах, как в твоем магазине.

Шарлотта, закрой рот! Чтоб она стала нищей, чтоб она попрошайничала?!

Выйдет за миллионера!

Закрой рот! У нее должна быть профессия.

Пусть будет фотографом.

Пусть будет. Дай ей кушать!

Они на кухне, Шарлотта, судя по частоте и ритмичности звука, шинкует капусту.

Семейная жизнь – это завод по переработке времени. Оно капает из крана в таз, кипит в кастрюле, бьется в настенных часах, и все впустую. Ничего здесь не происходит. А у меня горло пересыхает от жажды действий. Заслонить своим телом гойевского повстанца в белой рубахе – еще мгновение, и его пронзит пуля, – со знаменем в руках бороться на баррикадах, и, если Делакруа велит мне при всех обнажить грудь, я совершу и этот подвиг.

Все женское противно. Набухшая грудь с торчащими коричневыми сосками, которую я в недалеком будущем буду совать в рот ребенку, лоно, поросшее жесткими волосиками, из которого будет вылезать окровавленный младенец… но хуже всего – цах ве адом, белое семя, которое должно будет в меня излиться, и вовсе не из пипетки, кто-то завалит меня на спину, разведет ноги… Лучше бы я родилась мужчиной!

Я выросла на книгах, написанных мужчинами, на искусстве, созданном мужчинами, я смотрю на мир их глазами. Я хочу рисовать как Шиле, делать с женщинами то, что он делает, но не хочу, чтобы это делали со мной! Рисовать, обладая, стягивать с женщин подвязки, чулки, трусы, рисовать пером голое тело с задранной ногой, а на ней, карандашом, красный носок с

полосатым ободом…

У рисунка с красным носком я дала клятву Шиле – я стану художником!

3. Где мы, а где Сараево!

«Теперь или никогда!» – поклялся кайзер Вильгельм перед другой картиной: «Гавриил Принцип, член организации “Молодая Босния”, убивает наследника австрийского престола эрцгерцога Франца-Фердинанда и его беременную супругу Софию. Сараево. 28 июня 1914 года».

Эта картина из земли и крови будет висеть над нами четыре года. Ее нарисовала История. Чем дальше, тем горше будут складываться наши с ней отношения – пока это пролог.

Убийство в Сараеве было использовано Германией и моей родной Австрией как повод для начала войны против России и Франции. И как ни пытались министры иностранных дел уладить конфликт мирным путем, как ни уговаривали пересмотреть некоторые пункты ультиматума, Берлин упорствовал: «Теперь или никогда!» В полдень 28 июля в Белграде была получена телеграмма австрийского правительства с объявлением войны, а уже в ночь с 28 на 29 июля началась артиллерийская бомбардировка.

Казалось бы, какое все это имеет ко мне отношение? Прямое. 30 июля мне исполняется шестнадцать лет. Я готова задуть 16 свечей на праздничном торте, отец заказал столик в ресторане, может быть, впервые в жизни позволив себе пошиковать, и бенгальские огни, которые по его замыслу привлекут к моей персоне всеобщее внимание. Чахоточный студент сорвал все планы. И не только моего отца. Госпожа История не замечает маленьких людей, ну кто для нее Симон Дикер? Господин К. из «Замка» Кафки. Тот, пытаясь устроиться на работу по специальности, угодил в такую передрягу, что чуть не сошел с ума вместе с самим автором.

Есть мнение, что историей заправляют пассионарии, что не сама она приглашает в свой театр режиссеров, напротив, появляются режиссеры и создают театр. В этом случае нам достался зловредный режиссер.

Отца война ввергла в полную глухоту, целыми днями он произносил тирады на тему черного дня, который настал для его магазина, а значит, и для всех нас. Шарлотта продала сундук вместе с содержимым, и на вырученные деньги отец купил мешок муки и ящик консервов. Сколько времени будет длиться война? Лучше готовиться к худшему.

Я стала взрослой и больше не похожа ни на девочку в клетчатом платье, ни на каракатицу. Белая блузка с рюшками и кружевными манжетами заправлена в строгую черную юбку. Кто-

то сфотографировал меня в качестве домашнего задания. Да, забыла сказать, я стала студенткой экспериментального училища графики; полный курс отец не оплатил, только фотографию. Так вот, я снята в профиль, мой взгляд направлен на нахохленного фарфорового петушка на этажерке, поднятые руки придерживают статуэтку. Плавная линия кисти переходит в присборенный рукав, обнимает округлое плечо, вздымается по высокой шее, обрисовывает крутой затылок, падает откосно с высокого лба на переносицу, очерчивает выступ носа, черточки губ, скатывается по маленькому круглому подбородку и останавливается под шеей, в тени. Тень растекается по вороту блузки…

По прихоти отца я по нескольку часов в день проводила в вонючей проявочной. Из ванночки с химикатами на меня глядели дубликаты вещественного мира. В закутке, обдуваемые вентилятором, сушились пленки с негативами. Я научилась мысленно переводить негатив в позитив, отличать хороший кадр от неудачного. Но фотография как жанр меня не привлекала.

Фотография – схвачен один момент… Это лишь демонстрация того, что, собственно, сказать-то нечего, – отношение человека к среде и самому себе не может быть выражено в одно мгновение.

В портрете художник уже делает выбор, возьми, например, портрет боттичеллиевой «Симонетты» – это одновременно и архитектура, и скульптура, и портрет, и ландшафт, и символ; к тому же связано с классической мифологией, к тому же отражает точку зрения, отношение к жизни, философию того времени и в своем высшем значении являет нам идеал красоты.

В Вене не стреляли, войск Антанты и близко не было. Перебинтованная война являлась в город на побывку.

Отец принес откуда-то мешок бракованной марли, с дырами и пятнами – видно, машина спятила, изготовляя для фронта тонны перевязочного материала. Раненых было много. Не податься ли нам в сестры милосердия? Привезут в госпиталь твоего художника – как его, Шиле? – будешь за ним ухаживать … Шарлотта занесла руку над моим плечом, она хотела меня погладить, но я увернулась, и рука ее застыла в воздухе.

Безответная Шарлотта пережила моего отца на полгода. Его в Терезине я уже не застала. Но застала Шарлотту, вернее то, что от нее осталось. Шарлотта узнала меня и потянулась ко мне, как ребенок, просящий защиты у матери. Вот тогда я заплакала. А она – улыбнулась. И эта улыбка, как вспышка молнии, озарила холодный чердак, штабеля серых тел, обледенелое смотровое оконце в крыше.

4. Синяя Борода. Пролог к пьесе для кукольного театра

Я – дурачество, я к вашим услугам – пожалуйте в могилу!

ШУТ. Кто дергает за нитки?

ХОР СТАРИКОВ. Мы дергаем за нитки – ведь мы были молодыми еще прежде вас.

ХОР КОРОЛЕЙ. Нет, это мы! Мы владеем вами! И вы танцуете по нашей воле, старые и молодые.

ХОР БОГОВ. Дерзкие и беспомощные! Ваше владычество – лишь тщеславная личина.

ВЫСОЧАЙШИЙ БОГ (глубоко). Я тот, кто управляет всеми, вы – всего лишь мои создания.

ЮНЫЕ КУКЛОВОДЫ (всезаглушающий хор). Это мы владеем вами, мы тянем за нитки.

ПЕРВЫЙ АСКЕТ (совершенно неподвижный). Я обрел себя, превратился в круговое колесо во Всем. Колесо захватывает меня, и вот я больше не мертв. Я воплощен, пущен в круговорот, я – мельчайшая частица Всецелого, и оно крутит и вертит мной. Мне не нужно ничего. Ибо все, что есть, – это я сам! И я служу исключительно самому себе.

КАШПЕРЛЬ (бегает по сцене и смеется). Господин? Да какой ты господин – у тебя и слуги-то нет!

ВТОРОЙ АСКЕТ (оживленно). Я обрел мир, я – та сила, которая всем движет. Я жизнь. Я движим, и я двигаю. Я – средство движения, и я же – его цель. Я могу заполучить все. Ничто и Все. Мое царство – не действительность, но все-таки она. Не будучи образом, я воплощаюсь в Образ. У меня нет ничего, и мне нужно все; мои мысли не расходятся с моими желаниями. И по пути к цели, которая недостижима, я собираю богатый урожай.

КАШПЕРЛЬ-ШУТ. Ему служат добрые злые духи.

ТРЕТИЙ АСКЕТ. Мое царство не от мира сего. Я эфемерен… Я не насылаю громов и молний, моя мысль захоронена в камне. Рука, тень и эфир – вот мои слуги, мои духи. Я недвижим, я ничего не двигаю, я мечтаю. Моя рука не сжимается вслед за моей душой и не тянется за ней – моя рука мечтает лишь о том, как смочь все сделать, суметь создать. Я самый великий в Природе, Я – Несостоявшийся.

КАШПЕРЛЬ (говорит очень высоко и напевно). Его душа темно-синяя, она разбрасывает переливчатые пузыри, она извивается, как червь, и в ее нутре – светящаяся точка.

ПЕРВЫЙ АСКЕТ. Я есмь Жизнь.

ВТОРОЙ АСКЕТ. Я хочу Жизни.

ТРЕТИЙ АСКЕТ. Я брежу Жизнью.

(Все погружается в темноту, громкий ГОЛОС говорит: Кто дергает за нитки?)

(Аскеты исчезли, в том же пространстве стоят дерево, куст и цветок.)

КАШПЕРЛЬ. Все представленное здесь, на мой вкус, очень уж пестро, лучше я вам что-нибудь расскажу. Но вяжется ли смысл с бессмыслицей? Есть ли в этом смысл или нет в этом смысла?! – Да! В этом есть смысл – и это бессмыслица.

Я сочинила это одним махом и рухнула в сон вместе с деревом, кустом и цветком, а когда очнулась, высоко надо мной мерцали звезды и светила круглая, чуть желтоватая луна. Мельчайшая частица Всецелого…

В ту ночь я приняла решение не возвращаться домой. Где я ночевала? В Саду роз, на скамейке? Попросилась на ночлег к Доброй Душе? Или к учительнице, которую когда-то изобразила в виде лошади с накрашенными губами?

Не знаю.

Жизнь – это миф, это сон, это марево.

Выяснилось: мои руки умеют делать все. Шить, сколачивать каркасы, вырезать марионеток из дерева, водить их и говорить за них разными голосами. Я стала зарабатывать. А сколько было курьезов! Помню, занавес открылся, а мы с лошадью – не готовы. Я не растерялась, высунула лошадиную голову и, продолжая говорить за нее, приставила к деревянному остову туловище, к туловищу ноги, так что лошадь, к изумлению публики, появлялась на сцене по частям. Под веселый смех и аплодисменты моя лошадь несколько раз выходила на поклон, после чего развалилась окончательно.

Публика разошлась, я пересчитала деньги, раскрыла чемодан, чтобы уложить в него мою калеку, и тут ко мне подошла белокурая девочка ангельского вида и, зардевшись, вложила мне в ладонь бумажную купюру.

Какое это было время года? Скорее всего, осень – я была в сереньком пальтишке с оторванной вешалкой и в кафе постеснялась его снимать.

Девочку звали Анни Вотиц, а ее мать Иреной. Это она подослала ко мне Анни с купюрой, а теперь еще и пригласила в кафе.

Приглушенный свет, соцветия плафонов, зеркала… Плечо, бугорок ключицы, маленькая грудь, впалый живот, худые ноги с тонкими лодыжками…

Принесли горячий шоколад, но Анни к нему не

притрагивается, ждет, когда я закончу рисунок.

У госпожи Вотиц маленькие, но очень подвижные глазки. Это особенно заметно на фоне плотного грима, которым покрыто ее лицо, наверное, чтобы скрыть морщины или выглядеть загорелой.

Что это за материал? – спрашивает она меня.

Графит. Он пачкает руки, но не крошится, как уголь, при нажиме.

Где же такое продают?

В магазине у моего отца, на Блехергассе.

У вашего отца есть магазин?!

Да. Я не беспризорница. Надеюсь, вы не считаете всех бродячих артистов беспризорниками?!

Пытаясь сгладить неловкость, мама Ирена пододвинула ко мне чашку с шоколадом, молча. Мне стало стыдно. Вместо извинения я протянула ей рисунок.

Анниляйн, вот у кого тебе следует поучиться, смотри!

Кстати, это единственный набросок, который я сделала с Анни. Его застеклили и повесили в комнате, где я частенько ночевала. Комната для гостей, с белоснежной постелью. У меня появилось пристанище. И новая мама.

Как мама? Передай ей привет от меня, она должна написать своей приемной дочери!

Госпожу Вотиц депортировали из Терезина в Освенцим в декабре 1943 года, к тому времени она уже с трудом передвигалась, и одна из моих учениц несла за ней маленький чемодан с большим номером.

Выйдя замуж в Праге за своего кузена, я нашла себе еще одну маму, Аделу. Она приходилась родной сестрой моей покойной маме Каролине.

Наверное, никто столько не получил от мамы Аделы, сколько я. Она была самой лучшей из семьи и была достойна самого лучшего, но получила самое худшее.

Адела погибла в Треблинке в октябре 1942 года.

Такая вот история стряслась с моими мамами.

Я была старше Анни на два года. Разница в возрасте с годами перестала быть ощутимой, но отношение к ней как к младшей сохранилось на всю жизнь. Анни умерла в Палестине в день моего рождения, в 1945 году, а я погибла в Освенциме 9 октября 1944 года, и уж чей это был день рождения, не знаю.

Дорогая Анниляйн!

Страшное чувство того, что между настоящим и концом осталось так ужасно мало времени, заставляет напрячь все силы, чтобы сказать последнее прощай Земле обетованной, т.е. покою и ясности… Звучит высокопарно, но это так.

5. Война и жизнь

Я поступила в Академию художеств на текстильное отделение и одновременно на рисовальные курсы к профессору Чижеку.

Импозантный выходец из «Богемского Рая» проповедовал свободное творчество – бескрайние фруктовые сады, где деревья щедро плодоносят, не размышляя ни о виде, ни о форме своих плодов. Вот образец абсолютного самовыражения!

Смутно помню, как он выглядел. Продолговатое лицо, густые усы и борода, монокль на левом глазу, пожалуй, этим его сходство с моим отцом и исчерпывается. У Чижека был поощрительный взгляд, с каким рождаются на свет педагоги и врачи.

Он появился в Вене в середине восьмидесятых годов, снял комнату, и дети хозяев повадились к нему в гости – рисовать. К ним присоединились дети соседей. За год до моего рождения Чижек открыл в Вене школу, первым пунктом ее устава было «Расположение к ребенку».

Я росла, Чижек набирался профессионального опыта. Разумеется, не ради меня, а ради общего дела – реформы в педагогике.

«Мой метод свободен от всякого давления, у меня нет заготовленного плана работы, мы с детьми идем от простого к сложному, ученики могут делать все, что пожелают, все, что находится в сфере их внутренних стремлений».

В своем отрицании всяческих ограничений и рамок Чижек сходился с дадаистами. Те считали, что в основе любого творческого акта лежит случай. Случайное, неожиданное для самого автора произведение и есть настоящее чудо творчества. Чижек отдавал предпочтение спонтанности, непосредственному выражению эмоций.

Здесь самое место упомянуть Фрейда. За два года до моего рождения с его подачи возник термин психоанализ, а когда мне было два года и еще была жива моя мама Каролина, создатель «психоанализа» ввел в науку о бессознательном термины «либидо» и «эдипов комплекс». Подавление либидо, т.е. сексуальных желаний, является причиной неврозов. Неудовлетворенное влечение может быть сублимировано, то бишь перенаправлено на несексуальные цели, например на творчество. Термин «искусствотерапия» возник гораздо позже, меня тогда уже на свете не было.

«Покажите мне сегодня вашу душу!» – призывал нас Чижек, и

мы рисовали ему такие картины неосознанных чувств, что нас записывали на консультацию к психоаналитику. У Чижека не было чувства юмора, возможно, именно благодаря этому он и преуспел в чиновничьих делах. Несколько лет он боролся за утверждение своего проекта реформы преподавания искусства в государственных школах Вены. И победил. Уроки рисования были признаны важными, а Чижека произвели в рыцари ордена Франца-Иосифа.

Писал он заумно: «Сначала оживление чувства через экспрессионистские упражнения – от выражения неосознанного через самопознание к упорядоченному выражению осознанного. Мысль оживляется кубистическими упражнениями, а визуальное восприятие – кинетическими. …Кинетизм – кубофутуристические штудии – синтез содержательных и формальных феноменов движения визуального и психического толка…»

Система была проста – учитесь у детей, вникайте в них! И пусть они себе творят вольно в линиях, формах и красках. Не думают же деревья, красивы ли приносимые ими плоды.

Я получила право не думать, красивы ли приносимые мною плоды. Лавина красочных чувств выплескивалась на холст. Моя производительность восхищала профессора. Но этот репортаж из мира подсознательного мне скоро надоел. Хотелось проникнуть в вещь, стать ею, рисовать ее изнутри, хотелось собираться, а не растекаться мазками по холсту. И я спросила Чижека:

Как у Вермеера получился пол в ромбах, как это клетчатое полотно сокращается, уходя в перспективу?!

Вермеер – это хорошо, но тебе надо стать Фридл Дикер.

Но как стать Фридл Дикер, если я способна скопировать этот пол, но не могу по нему ходить?! Не могу дойти до окна и увидеть, что там, вдали! Я не способна попасть внутрь яблока, внутрь яйца!

Профессор назначил мне встречу с психоаналитиком. Лицо с фаюмских портретов. Кудри, горящие глаза, подбородок с ямочкой.

Рассказывайте, – предложил он дружелюбно. – Все, что вы будете мне говорить, не покинет стен этой комнаты. Если возникнут вопросы по ходу, я вам их задам. Ничего, что мне придется изредка вас перебивать?

А что говорить?

Все, что угодно.

Задайте вопрос.

Он задал вопрос – есть ли у меня цель в жизни и, если есть, сформулирована ли она или так, туман.

Я не знала.

Тогда он поставил вопрос иначе: если бы у меня отобрали возможность рисовать, было бы у меня желание продолжать жизнь?

То есть лишиться того, ради чего я рождена?

Фройляйн Дикер знает свое предназначение?

Да.

Если я верно понял, жизнь вне самореализации не имеет для вас смысла. И цветы, которые вы так любите, исчезнут из мира, если ваша светлость не успеет изобразить их на бумаге? Логически рассуждая, вы любите не жизнь, но свою любовь к ней. Способны ли вы к созерцанию?

Я рассказала про ромашку.

Пример впечатляющий, но не на то правило. Созерцание – это бесцельное состояние. Его-то и боится фройляйн Дикер.

Я ничего не боюсь.

А смерти?

Не боюсь!

Фаюмский портрет вышел из-за стола и пожал мою руку. Я приросла к полу и опустила голову. Я смотрела на наши руки, на их сплетение, у меня занялся дух.

Фройляйн Дикер, – сказал он, мягко высвобождая руку. – Вы – самый храбрый пациент из всех, доселе мною встреченных. Если что, я к вашим услугам.

«Если что…» Я искала повод для следующего визита. Я хочу его видеть – разве это не повод? Я записалась на прием. Фройляйн Дикер, битте! Он вышел из-за стола, сам открыл мне дверь. И рука для приветствия наготове. Наши руки сцепились.

Ох, фройляйн Дикер!

Подо мной поплыла земля, и я упала в его объятия.

У сильных личностей – сильные чувства, – сказал он, улыбаясь жгучими фаюмскими глазами. Следовать им или сопротивляться? Новое разбивает старое вдребезги. Но вам-то что, вы и смерти не боитесь!

Я стала блаженной тварью. Оказывается, руки мне даны, чтоб обнимать, а не водить кистью по бумаге. Миг безраздельной близости дороже искусства. Чуять в себе зверя… то ласковую кошку, то тигра, подкрадываться, выпуская когти, и – распластываться на чужой шерсти.

Ты поразительно смелая и самостоятельная, – восхищался он мной.

Он курил в кровати. На его волосатой груди стояла бронзовая собачка с открытой пастью, и он стряхивал в нее пепел.

Мой первый любовный эксперимент не возымел продолжения, у доктора была семья и еще несколько таких же пациенток, как я. Такое было время – секс стал лечебным, а любовь перестала быть единственным условием для физического сближения.

Я искромсала «фаюмские портреты» и сожгла их на костре в Штадтпарке. Бумага прогорела быстро, огонь полз по сухим ветвям, шипела смола на еловых шишках.

Шипят фонари, наполняясь газом, и на Рингштрассе вспыхивает свет. Тени платанов и наши тени – длинная и короткая. Длинная тень – это Гизела, моя подруга по классу Чижека. У меня есть подруга! Благовоспитанная девушка из богатой семьи. У них там по звону колокольчика слуги вносят в гостиную обед на подносе, или даже на тачке, еды-то много! – а

сидящие за столом закладывают салфетки за воротники.

Я у них не была, мне там делать нечего.

Мы идем – рука в руке – от Фолькстеатра по Нойгассе, огибаем угловой дом и останавливаемся. Здесь она живет.

Может, зайдешь?

Нет.

Куда ты теперь? – спрашивает Гизела. Мы обнимаемся и целуемся.

В театр, и спать.

А где ты будешь спать?

Где придется.

Спи у нас! У нас весь этаж пустует!

Иди, пожалуйста, домой, – говорю я строго, – тебя ждут!

Гизела уходит, а я уношу с собой в ночь благоухание ее духов – до завтра!

В преклонном возрасте Гизела (могу вообразить ее в старости – седые волосы подхвачены гребнем из слоновой кости, голубые глаза в сеточке морщин, простое, элегантное платье, чулочки, туфельки на каблучке) поведала и о встрече со мной.

«Я была захвачена новой дружбой… Стала опаздывать домой на обед. Или вообще не приходить. К вящей радости Фридл. Мы разгуливали по безлюдным площадям и шумным паркам, как-то она подбила меня на то, чтобы снять чулки и ходить босиком по лужам, – все это для меня было внове. На Фридл не было управы – вечернюю школу она прогуливает – она, видите ли, терпеть не может тамошних учителей, ночует в театре, потому что терпеть не может родителей, стрижется коротко, потому что с детства терпеть не может волосы, носит одно и то же серое платье, потому что терпеть не может наряжаться, – но зато она обожает Рембрандта! Обожает Бетховена!

В Большом зале Бронислав Хуберман играет скрипичный концерт Бетховена. Но у нас нет билетов! Фридл это не смущает, она знает лазейки. И вот мы у ложи, спрятались за бархатный занавес; теперь надо ждать, когда погаснет свет и все стихнет. Я дрожу от страха, а Фридл хоть бы что!

Как-то я призналась ей в том, что не была в Музее искусств. – Никогда не была?! Куда тебя водили гувернантки?! И ты еще хочешь научиться рисовать?!

Разумеется, мы немедленно отправились в музей. Фридл дала мне задание – искать шедевры. Увидеть – и застыть перед ними! Застывала я часто и там, где следует, за что и получила одобрение учителя.

Она всех уговаривала ей позировать. У нас в салоне долго висел портрет моей мамы, который она нарисовала акварелью.

Этот превосходный в плане техники рисунок и отдаленно не напоминал ту Фридл, которая будет способна одним росчерком превратить бесформенное пятно в живой лик».

Рассказ Гизелы припудрен старческим благодушием. Историю про парк и чулки я помню иначе. Я притащила Гизелу в Штадтпарк, на пепелище любви, где были сожжены портреты фаюмца. Мне страстно хотелось нарисовать ее голой, и именно здесь. Гизела сняла свои дурацкие черные чулки и спустила с плеч платье. На большее она не способна. Даже для любимой подруги. Ладно. Я обмакнула палец в золу и очертила позу, перемешанный с землей порошок – россыпь каштановых волос, овальное лицо в пушке, резкий росчерк ресниц, мягкая линия плеча, голая грудь, острый сосок… Я трогала ее глазами, я обладала ею.

Гизела выхватила у меня рисунок – что о ней подумают!

Только это тебя и волнует, цирлих-манирлих!

Гизела сидела на пне, низко склонив голову, волосы свисали чуть не до земли.

Если бы цветы могли обнять нас, а дерево – приголубить!

Когда увидишь Гизл, скажи, что я ей скоро пошлю письмо, все это у меня тянется неделями – то я его теряю, то пишу снова…

6. Движение образует форму

«Тридцать спиц встречаются в ступице,
Но пустота между ними составляет сущность колеса.
Из глины получаются горшки,
Но пустота внутри создает сущность горшка.
Стены с окнами и дверьми образуют дом,
Но пустота в них создает сущность дома.
Вот что лежит в основе:
В материале – польза,
В нематериале – суть».

С этих стихов Лао-цзы и начались занятия у Иттена. Он приехал в Вену из Штутгарта в 1916 году по приглашению одной из его учениц, правда, неизвестно какой. Я записалась в его школу одной из первых.

«Война еще продолжалась, и город был в мрачном напряжении. Чтобы иметь возможность самому заниматься искусством, мне пришлось продолжать зарабатывать на жизнь уроками живописи. Вскоре количество учеников, перед которыми я мог ставить новые задачи, значительно выросло».

Я выполняю все упражнения, марширую на месте, хлопаю в такт в ладоши, даже танцую, чтобы всем телом прочувствовать ритм, изобразить его на бумаге тонкими и жирными прямыми линиями или дугообразными, если это ритмы вальса.

Оказывается, чтобы свободно очертить кистью большой правильный круг, требуется контроль над движением тела, полная психологическая концентрация. Один из знаменитых китайских рисунков тушью состоит из единственного круга, нарисованного на шелке. И хотя толщина линии одинакова по всей окружности, она наполнена чувством.

«Рука и сердце должны быть едины» – вот важнейший принцип китайских рисовальщиков кистью.

Ритм кругового движения. Чтобы ощутить его, мы должны стоять неподвижно и, отсчитывая такт, описывать руками круги и восьмерки. Да еще и запоминать ритм во время движения, потом его нужно будет изобразить.

Меня больше не тяготит мое тело, созданное для продолжения рода, для кошачьей любви, припорошенной пеплом от сигареты, теперь оно стало таким же инструментом, как уголь или кисть, оно дышит – и дышит линия, оно волнуется – и линия рвется.

Мы думаем, как дышим, подобен дыханию и ритм повседневности, – учит Иттен. – У мелочных и жадных дыхание

коротко. Люди, обладающие медленным, ровным, глубоким дыханием, способны добиться многого.

Но как дышать спокойно, если я постоянно волнуюсь и не могу с собой справиться? Я не мелочная и не жадная, честное слово!

Вытяни руки и закрой глаза! – велит он. – Твои пальцы дрожат. Им передается вибрация души. Разница между тобой и мной в том, что я научился управлять своими эмоциями, а ты – нет. И этому я тебя научу.

Мне все в нем нравится: и его монашеская роба, хотя он никакой не монах, у него есть жена, и его круглые очки в тонкой оправе, и выбритое лицо, и стрижка наголо, и манера говорить, размышляя.

По мнению Иттена, женщины только начали свой путь в искусстве, ведь до недавнего времени их не брали ни в одно государственное учреждение. Женщины чертовски талантливы. Те из них, в ком сильно мужское, аналитическое начало, достигнут небывалых вершин.

А я? Я достигну небывалых вершин?

Да, если будешь учиться.

А Чижек говорил, что всякая учеба, всякая система убивает индивидуальность.

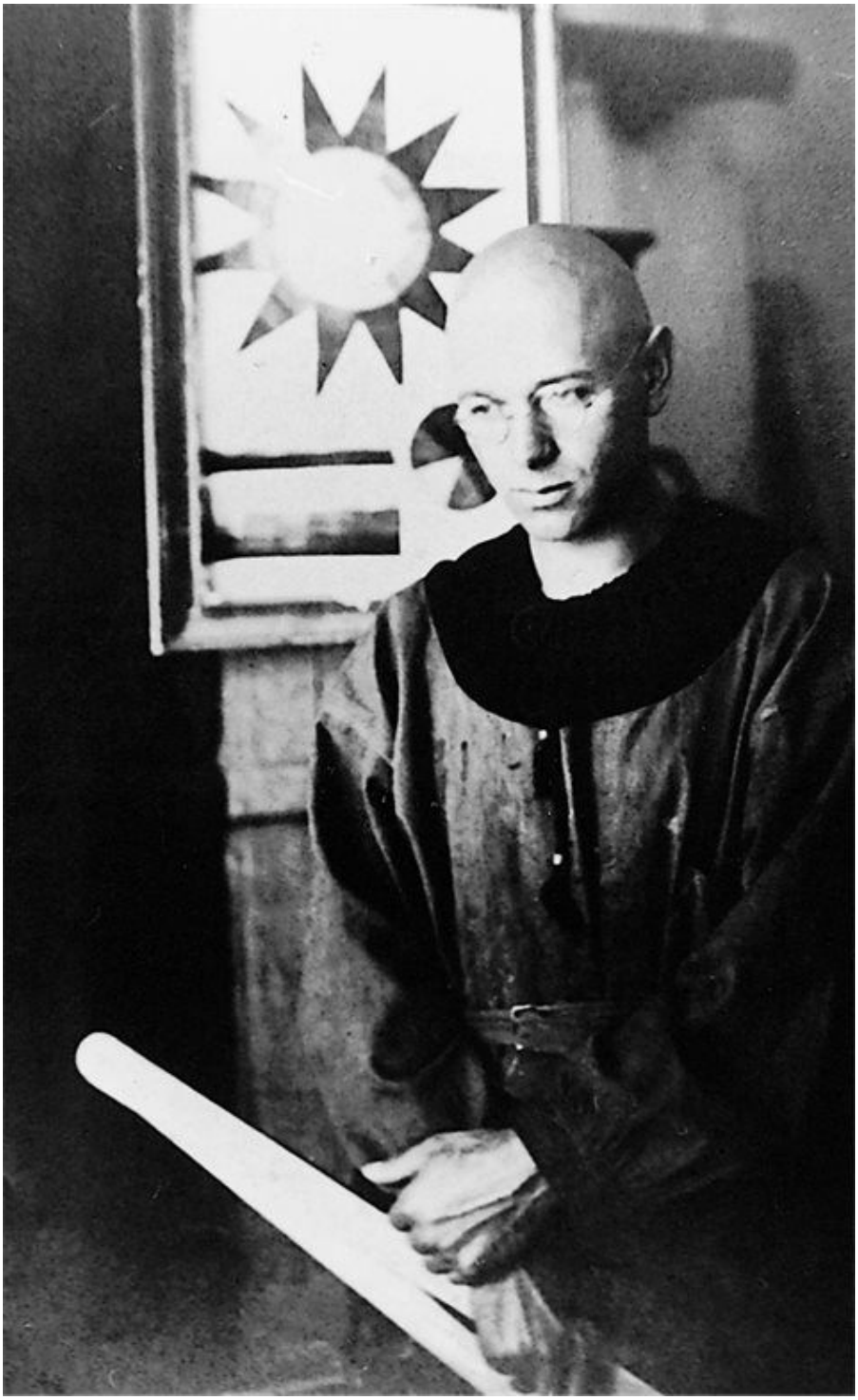
Если ты считаешь, что способна создать шедевр, не обладая знаниями, тогда незнание – твой путь. Если же для создания шедевра тебе нужны знания, тогда следует учиться.

Я буду учиться!

Мы рисуем молча. Чтобы не мешать самим себе. Рука следует за движением души, линия делается наполненной, живой, как само дыхание. «Рука, тень и эфир – вот мои слуги, мои духи… Моя рука мечтает лишь о том, как смочь все сделать, суметь создать».

Иттен – мой настоящий отец. Именно ему я обязана своим рождением, страшно подумать, что было бы, если бы он не приехал в Вену. Он старше меня всего на десять лет, но, чтобы научиться учить, он долго учился. Сначала работал в сельской школе, причем никогда не исправлял ошибок в тетрадях с домашними заданиями, чтобы не унизить детей, – все ошибки разбирались в классе.

«В образовании одаренность важна так, как ни в одной другой области человеческой деятельности. Только одаренный воспитатель, то есть обладающий врожденным педагогическим чутьем, будет уважать и защищать в каждом маленьком человеке неповторимое чудо рождения новой личности. Уважение к человеку есть начало и конечная цель любого воспитания».



Так писал Иттен, но так он не говорил. «Маленький человек»,

«неповторимое чудо»… Он не давал банальных определений.

Не стать ли учителем? Но тогда я не смогу быть художником! А как же Иттен?! Сказать по чести, картины его мне не нравятся, слишком рассудочные. Вроде как все в них есть – и ничего нет. Значит, великим учителем может стать и посредственный художник. Но я-то не хочу быть посредственной!

Из царства «спонтанного самовыражения» Иттен переносит меня в мир мистических законов, основанных на логике. Художник должен понять, как все связано со всем – слово, звук, форма, цвет, движение, – только таким образом можно проникнуть в самое сердце мировой гармонии.

Трем основным формам соответствуют три основных цвета.

Квадрат – красный, это символ материи, тяжести и строгого ограничения; соответствует египетскому иероглифу «поле»; его основное качество – статичность. В Древнем Китае храмы планировались по принципу четырехугольника. Квадрату соответствует непрозрачный цвет материи, тяжести – красный.

Треугольник – светло-желтый. Он символизирует мысль, выражает активность, излучает свет во все стороны; формы, строящиеся на диагоналях, – ромбы, трапеции, зигзаги и их производные, – динамичны и даже агрессивны.

Круг – прозрачно-синий, это символ погруженного в себя духа, духа вечного движения; геометрическое место точки, движущейся на постоянном расстоянии от определенного средоточия; вызывает ощущение отдыха, ослабления напряжения и постоянного ровного движения – в противоположность напряжению, сообщаемому квадратом. Астрологический символ солнца – круг с точкой в центре. Все формы извилистого характера – эллипс, овал, дуги, параболы – восходят к кругу; непрерывному движению круга соответствует прозрачно-синий.

Квадрат – это Покой – Смерть – Черное – Темное – Красное.

Треугольник – это Сила – Жизнь – Белое – Светлое – Желтое.

Круг – это Бесконечное… Он всегда синий…

Форма и Движение связаны.

Квадрат имеет тон покоя, треугольник – резкого контраста направлений, круг – движения.

Иттен читает нам Кандинского, «О духовном в искусстве».

«Каждая форма, даже когда она совершенно абстрактна и выглядит чистой геометрией, имеет собственный звук и духовное существование с особыми свойствами… острые цвета звучат острее в острой форме… Белый цвет действует на нашу психику, как великое безмолвие. Черный цвет внутренне звучит как ничто без возможностей, как мертвое ничто после угасания солнца, как вечное безмолвие без будущности и надежды».

Иттен читает нам великих китайцев: «Слово и образ – это знаки духа; они – из единого источника; они – сестры; един у них смысл; лишь в словах и образах является к нам дух … Слово – это Форма выражения духа: “Там, где движения упорядочены, форма имеет власть над бытием и небытием…”»

И своего духовного наставника, мистика Филиппа Отто Рунге: «Искусство – это чистая небесная область… Цвет – пик изобразительного искусства, область чистой магии…»

Царства Света и Тьмы воюют между собой. Знание о Гармонии темных и светлых царств Иттен получил от Заратустры. Его он и передаст нам.

Духовный наставник… Гармония темных и светлых царств…

Я думаю его словами, формулирую его формулировками: видимая нами реальность не может быть просто «описана», она должна быть понята конструктивно. Ее «скелет» составлен из простейших форм. Формы, в которые упаковано Содержание, надо раскрыть, разобрать, изучить. Лишнее, нефункциональное – удалить.

Я продрогла насквозь, в школе не топят, «основополагающие элементы» покрылись коркой льда. Мы сидим на полу и рисуем с закрытыми глазами бабочку. (Раз оба глаза видят синхронно, стало быть, можно синхронизировать и движение рук. Мы рисуем с закрытыми глазами, чтобы вся концентрация уходила в движение, а не в смотрение.)

Жизнь как непрерывное упражнение в психомоторике.

Иттен меня хвалит. Я – на пороге «синхронности». Скоро-скоро между чувством, мыслью и воплощением не останется даже точечного зазора, и наступит свобода. Откуда ему это известно? Симптомы. Иттен находит у меня абсолютный слух. В упражнении на перевод звука в линию мне нет равных. Рука точно следует за голосом, она способна передавать тончайшие оттенки.

В моем оркестре перо – это скрипка, кисть – альт, уголь – виолончель. Уголь – это мой возлюбленный. Им ведешь по бумаге, как смычком по струнам, и от малейшего поворота руки меняется все, он передает и глубину звучания, и сходящий на нет звук.

После зарядки – натюрморт с лимоном. Написать лимон, съесть лимон – и снова написать, но так, чтобы при взгляде на лимон во рту стало кисло. Не стало кисло – нет лимона!

Я бы с радостью согласилась произвести подобный эксперимент с ростбифом или жареным цыпленком, но Иттен вегетарианец. К тому же в военной Вене такими прелестями и не пахнет.

Создается впечатление, что мы с Иттеном находимся в пустом классе. На самом деле нас тут шестнадцать. Через два года в том же составе – в основном лица еврейской национальности с левой идеологией – мы последуем за Иттеном в Веймар, где будем задавать тон всему Баухаузу. Память о нас, шестнадцати, сохранится в книгах по истории искусств, нас назовут опытным полигоном одного из лучших педагогов эпохи. Иттеновский «Вводный курс в Баухауз» практически целиком проиллюстрирован нашими экзерсисами, в том числе и моими.

Из девушек мне больше всех импонирует Маргит Тери, темненькая и яркая, как тюльпан, – антипод беленькой, нежной, как бутон ромашки, Анни. Затасканное сравнение людей с цветами появилось здесь не случайно. Иттен дал нам задание присмотреться к партнеру и нарисовать его в виде цветка, и не условно символически, а во всех деталях, как Дюрер.

Ботанический сад – это Рай Иттена, где обитают Мать-Природа и ее дети-растения. Многообразие форм и фактур приводят учителя в состояние экстаза.

Всякое творение природы являет нам совершенство формы, говорит он, застывая перед верблюжьей колючкой, завезенной сюда из среднеазиатской пустыни, и умолкает, погружаясь в медитацию.

Для наблюдения сезонных изменений Иттен выбрал вечнозеленую оливу, символ бессмертия и плодородия. Во всем Ботаническом саду тогда была одна олива, привезенная то ли из Греции, то ли из Палестины. Вечнозеленое дерево не столь переменчиво, как наши европейские лиственные. Это кряжистое создание с меленькими листочками мы рисовали четыре раза в году. Незначительные для глаза перемены проявлялись в рисунке. Этого и добивался от нас Иттен.

Нам позируют:

кукуруза – цилиндр неправильной формы с блестящими зернами и ссохшимися плоскими листьями;

капустный лист, гладкий снаружи и изборожденный прожилками изнутри;

кактус – мы отрабатываем на нем сильный мазок кистью, такой, чтобы от ударного пятна расходились траектории-иголки;

ветка бузины – на ее соцветиях и их контрасте с темными листьями мы изучаем текстуру и взаимоотношения светлого и темного.

Каждый день в течение получаса мы рассматриваем и зарисовываем их. На седьмой день рисуем по памяти, на это нам дается всего пятнадцать минут.

Мы позируем друг другу, разбившись по парам. Мы – цветы,

кто из нас какой? Маргит – тюльпан, Анни – ромашка… А Франц Зингер? Он – в паре с Олей Окуневской, которую определил в иван-да-марьи – весенняя, самая младшая, с переменчивым настроением и внешностью. Фотографии иван-да-марьи не нашлось, Францу было предложено выбрать другой цветок. Анютины глазки? Не совсем то, конечно. В любом случае это задание его не увлекает. Франц – воин, его недавно комиссовали из-за ранения. Он привез с фронта папку с рисунками под названием «Канонада войны». Одни взрывы.

Оля Окуневская зачислила его в чертополохи.

Ничего общего. У него светлые глаза, гладкая кожа…

Но рисунки-то колючие!

«Передо мной стоит чертополох. Мои моторные нервы воспринимают его рваное, скачкообразное движение. Чувство, вкус и зрение схватывают остроту и колючесть его формодвижения, а дух видит его природу.

Я переживаю чертополох.

Во мне возникает форма чертополоха, вибрирующая между мозгом и глубиной сердца. Представляя эту форму каким-то соответствующим ей образом, я (вос)создаю физическую форму чертополоха».

К этому тексту я буду подбирать шрифты. Иттен поручит мне оформление главы «Анализ старых мастеров» в альманахе «Утопия».

7. Революция по Конфуцию

Октябрьская революция в России. С лозунгом «Дети Света победили детей Тьмы!» мы выходим на демонстрацию.

Оля Окуневская в трауре, да и Иттен не разделяет нашей радости. Войны и революции наносят удар по созидательному началу в человеке.

Но мы-то, раз мы продолжаем учиться во время войны, значит, она не мешает созидательному началу?! «Время покажет», – говорит Иттен и приводит слова Конфуция: «Если бы мне удалось продлить жизнь, то я отдал бы пятьдесят лет на изучение Книги Перемен и тогда бы смог не совершать ошибок».

Пятьдесят лет! Да у меня и минуты нет в запасе, мне все нужно немедленно, сию минуту.

Нет времени не только на переосмысление, но и на осмысление. История не дает продыху: Первая мировая война, Вторая мировая война, между ними – инфляция, кризис, приход Гитлера к власти, фашизм, устранение думающих людей со всех постов в государстве, захват Судетской области, аншлюс, империя рейха, Европа «юденфрай»…

В обеих войнах победу одержали русские. В Терезине мы изучали русский язык и мечтали о победе Красной армии.

Я шла в первых рядах демонстрантов, протестующих против убийства Карла Либкнехта и Розы Люксембург. Я подружилась с дочерью Розы, с придыханием произносила имя Ленина и с пеной у рта спорила со всеми, кто пытался очернить образ Страны Советов.

Я не пытаюсь оправдаться. И все-таки пытаюсь.

В этом есть смысл – и это бессмыслица.

8. Любовь и музыка

Поздней осенью 1917 года мы с Анни сняли на двоих небольшую студию в третьем квартале. Мансарда под крышей. За окном завывает ветер, дует в щели между рамами. Потрескивает печка-буржуйка. Укутанные в теплые платки, мы шьем кожу китовым усом, вправленным в толстые иглы.

Анни мечтает о собственном книжном магазине и учится переплетному делу. Через знакомых нам перепадают хорошие заказы. В основном от богатых евреев: они меняют дешевые стандартные обложки на обложки ручной работы, массивные, из натуральной кожи, с инкрустацией. Мы это умеем.

Мы вдвоем, остановись, мгновенье! Комната, квадратный стол, на нем возлежит здоровущая книга «Африканские сказки», рядом – банка с казеиновым клеем, который мы варили, икая от смеха, – вонь стояла такая, что мы заткнули ноздри ватой и прыгали перед зеркалом, изображая рисунки обезьян из нашей книги. На завтра запах клея выветрился, и мы взялись за дело. Заказчик велел придать переплету вид и фактуру волосяного покрова кокосового ореха, которого мы отродясь не видали. Но у нас есть Иттен! У него мы разжились фотографиями, а у Гизелы – обрезками кожи, из которой она шьет пальто клиентам. Так что на столе лежали и они, настриженные на миллиметровые полоски и положенные на картон, предварительно обшитый той же кожей. Мы сидим рядом, так теплей, размазываем кисточкой клей по кожаной основе, и тут Анни сообщает мне новость. Она влюблена. И давно. С лета. Как же так, почему она полгода молчала? Потому что я ревнивая. Я и так ревную ее ко всем, даже к Маргит Тери, даже к Гизеле. Даже к Францу.

Анни, Анни… круговой бег любви…

Он несколько раз приезжал с фронта, он композитор, он невероятно образованный и скромный… С этими словами Анни выдвигает нижний ящик двухъярусной шкатулки, где хранится всякая мелочь – пуговицы, булавки, заколки и кнопки, – и достает со дна увесистый конверт, перехваченный золотой резинкой. В нем-то и проживает мой соперник.

От Виктора Ульмана фройляйн Анни Вотиц:

«Еще вчера ты была здесь, а сегодня я должен жить без тебя… Это было доверие, золото, влюбленность. А сейчас – отчуждение, серость, мрак… Ты – мой волшебный круг защиты… Ты моя кошечка».

Но ведь вчера ты была со мной!

Это старое письмо…

Ульман вторгся в нашу жизнь, он – на войне и при этом ни на мгновение не оставляет нас одних. Во время тайных набегов с фронта он успевает организовать в Вене Союз частных музыкальных представлений, по его велению мы с Анни собираем сирых и увечных на субботние концерты – фортепиано, вокал, камерная музыка. Мы пишем объявления и расклеиваем их в центре города. Анни смахивает варежкой снежинки с ресниц, натягивает на лоб вязаную шапочку и подает мне клей. Аккуратно – не запачкать бы новое пальто – я мажу оборотную сторону бумаги и пришлепываю ее ладонью к столбу. Пальто от Гизелы – брак производства, от него отказалась клиентка. Ей не понравилось, как встрочены рукава. Гизела его укоротила и из остатков сшила шляпу с узкими полями. По-моему, она мне не идет.

Идет! Ты просто не так ее надеваешь! – Анни поправляет на мне шляпу, ее розовая щека так близко, невозможно удержаться. Но я промахиваюсь с поцелуем, попадаю в шею. Я – пигалица, метр пятьдесят один с половиной, и выше не стану.

Ульман руководит нами с поля военных действий. Вернулись с концерта – новое письмо: необходимо собрать всех венских друзей на десять репетиций камерной симфонии Шёнберга, вход бесплатный!

На одну из репетиций Иттен привел своего друга Линдберга, знаменитого певца из Финляндии, который в то время гастролировал в Вене. Уговорили его спеть. Ну и голосище! Невозможно представить, что такой человек может умереть, вместе с голосом, и что через десять лет от него останутся две пластинки.

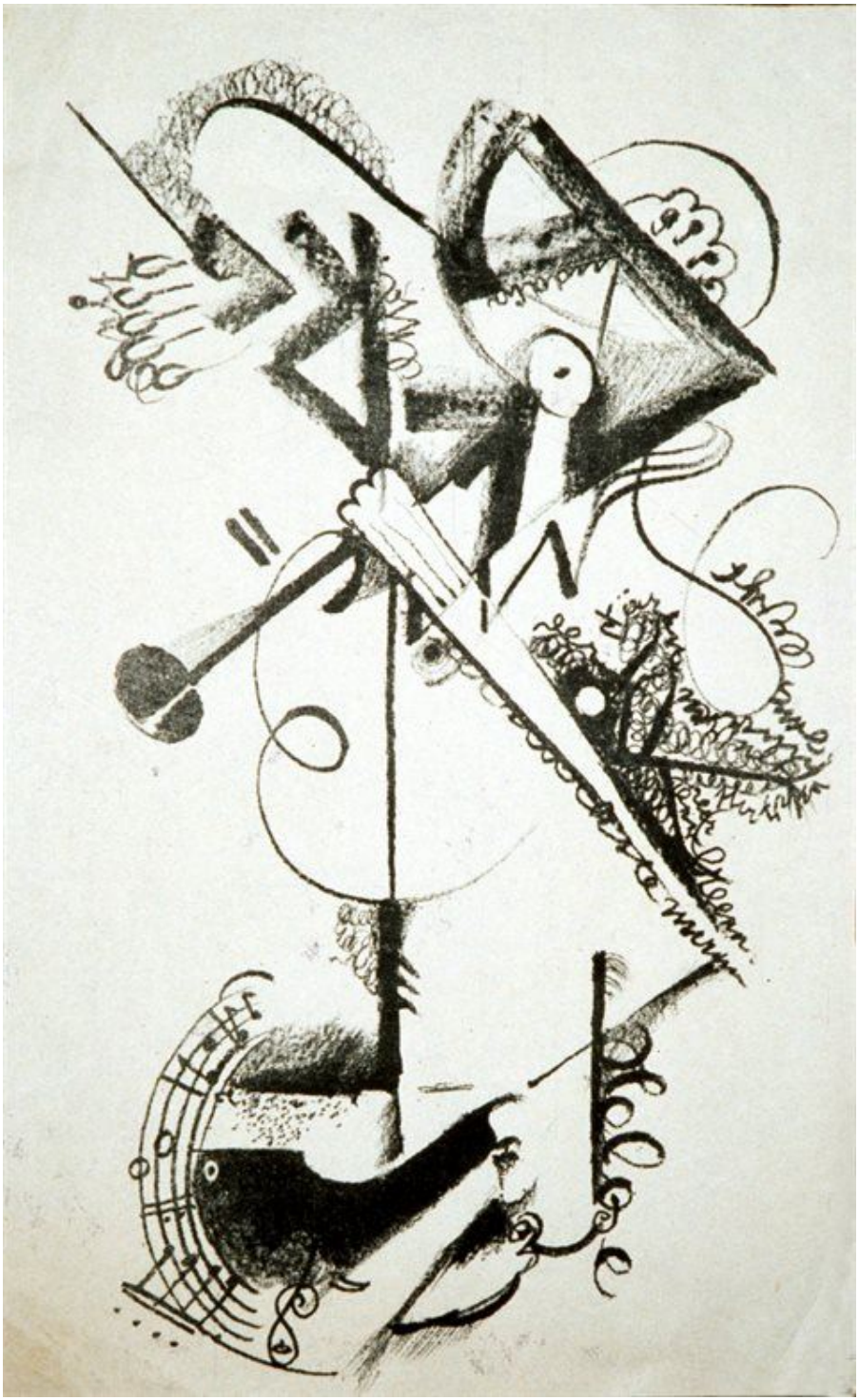
А что тогда сказать про самого Ульмана, создавшего свои лучшие произведения там, где, по его словам, «все художественное полностью противоречит окружающей обстановке…»? Госпожа История обошлась с ним и вовсе беспощадно – вышвырнула его из «Терезинской школы формы» в бесформенную освенцимскую гибель.

По мнению Иттена, музыка и искусство единодушны в своей сути – краски, линии и звуки обращены к самому духу, на паузах или цезурах дух замирает, чтобы снова пополниться. В этом ритме наполнения и опустошения Бах недосягаем. На Баха все это снизошло, а Шёнберг до беззвучных пустот дошел своим умом.

Иттен обожает Шёнберга, он готов собрать народ, готов десять дней подряд слушать одну и ту же симфонию, наблюдать над тем, как Шёнберг работает с оркестром. Вот настоящая школа мастерства!

Мое дело – писать объявления в духе дадаизма: *«…Дебюсси,*

вы играете не на инструментах, сделанных из хорошего дерева и металла, а на инструментах из нервов, плоти и крови». Рисунок на пригласительном билете с ударными линями и завитушками вполне соответствует моему тогдашнему настроению – накал темных страстей и легкость, меланхолия и сухая истерика, без слез, – чем не Дебюсси!



Теперь уже не я одна, а вся наша компания слушает донесения Ульмана с фронта, их зачитывает вслух Анни. «24

октября, в два часа ночи, мы с наблюдательного пункта видели начало массированной газовой атаки. Она была сигналом нашего вступления в бой. Мы наблюдали за стрельбой нашей батареи. На третий день зона боевых действий была уже далеко от наших позиций. Я думаю, что такой удар по противнику, оттолкнувший его на значительное расстояние, – это большой шаг на пути к миру. Мы спускались с наблюдательного пункта. Все было как вздох облегчения – пейзаж был очищен от ужаса, вызванного снарядами».

Францу претит военная героика. Он был внизу, там, где рвались снаряды. Никакая война не несет мира. Такое может прийти в голову разве что наблюдателю на вышке.

Но ведь по теории контрастов не бывает мира без войны и войны без мира, – возражает Анни. – И наблюдателя ведь тоже могут убить!

Я бы с радостью прожил остаток своих дней в промежутке, или, как говорит Учитель, в протяженной паузе между войной и миром, – заявляет Франц. – И пусть моя жизнь будет сплошь серого цвета, с серенькими радостями в виде семьи и детей.

На меня он при этом не смотрит. Может, у него есть невеста?

Я спрашиваю его об этом прямо. И получаю ответ. Обворожительную улыбку, объятия, поцелуи.

С кем же ты собираешься завести семью?

Фридл, любимая моя, только не с тобой. Ты не предназначена для семейной жизни. Твое дело – искусство. Оно – в твоем чреве, вот и рожай его, а детей мне родит другая. Но любить я буду тебя. Только тебя.

Ты шутишь, Франц!

Нет, не шучу, – шепчет он на ухо, не выпуская меня из объятий. – Ты моя любимая.

Я умру от ревности, Франц!

Скорее я умру от ревности! Когда я вижу твои рисунки, мне хочется разорвать свои на мелкие части. И найти тихую гавань, где я, посредственность, смогу жить припеваючи.

Почему ты так говоришь? Даже Иттен восхищается твоим талантом!

Ерунда, у меня нет ничего своего, я знаю собственные границы. А у тебя нет границ. Вчера я увидел на столбе объявление про Дебюсси. Издалека. И сразу понял, чьих это рук дело. Фридл Дикер! Тебя узнаешь по росчерку линии, а меня не узнаешь по целой картине. Мужчина может создавать искусство и иметь семью. Даже несколько – если он мусульманин, не про нас будь сказано. А женщина – нет. Она должна сделать выбор.

Выбираю тебя.

Это я сказала зря. Франц опустил руки, и мои плечи задрожали. Как унять дрожь, когда любимые руки не гладят тебя, как унять ревность, глядя в недалекое будущее, когда эти руки будут ласкать другую. Ее будут звать Эмми Хейм, она-то и родит Францу ребенка, который умрет в возрасте девяти лет, и его смерть положит конец не только нашей любви, но и всякой любви в жизни Франца. Он переживет меня и умрет в одиночестве. Но своей смертью. С Эмми я смирюсь.

Ревность – это дело крови…

Мы с Анни греемся, обхватив руками горячий пузатый чайник, наши пальцы находят друг друга, и мы смеемся навзрыд.

Война продолжается. Но нашему Ульману и смерть не страшна. Лишь бы жила музыка! Распоряжение, на всякий случай, он составил. Пункт первый: позаботиться о публикации его четырех сочинений (Шёнберг в этом поможет); пункт второй – на могиле креста не ставить, ничего, кроме имени, не писать. Можно было бы, конечно, сложить в эпитафию две реплики из ведекиндовского «Маркиза фон Кейта» и уайльдовской «Саломеи»: «Жизнь – непрерывная цепь поражений», но «Тайна любви больше, чем тайна смерти». Да дорого обойдется – выбивать столько букв на камне!

9. Лунный Пьеро

«Ноктюрн луны больной, усопшей на черной кровати…» – поет колоратурное сопрано. Я так мечтала попасть на «Лунного Пьеро», и вот досада – молодой человек в офицерской форме мешает слушать – вертится, спихивает мою руку с подлокотника, вскакивает, садится, запускает руки в волосы и яростно мотает головой. Разве так ведут себя офицеры?

После спектакля в фойе мы снова оказываемся рядом. Пора представиться друг другу.

Виктор Ульман, ученик Шёнберга.

Вы? Виктор Ульман? И Анни не знает, что вы здесь, что вы вернулись с фронта?!

А вы, стало быть, та самая Фридл Дикер, ученица Иттена? – и уже совсем другим тоном, возвращаясь к постановке: – Понимаете, что происходит! Это уже не призрачный Пьеро с его нежными вздохами, а Пьеро из железобетона! Дитя города-гиганта! Нам еще только предстоит познакомиться с этим монстром. А маэстро Шёнберг его уже слышит, нового Пьеро. Лязг металла, гудение пропеллера, визг автомобильного клаксона!

После «Лунного Пьеро» мы вместе выходим из театра, молча идем по улице. У Штефанплац пляшут солдаты с пышнотелыми девицами, тирольцы дудят в рожки, дуют в губные гармошки.

Я первый день в Вене. Демобилизовался. Был ранен. Пустяк! И сразу – сюда! Даже переодеваться не стал. А отец погряз в войне – высокий чин, его место там. Шёнберг, кстати, тоже был в армии. Его спросили там, неужели он и есть тот самый Шёнберг, композитор, – и он ответил: кто-то должен быть композитором Шёнбергом! Никто не пожелал нести эту ношу – пришлось мне. А кто-то должен стать композитором Ульманом! Знаете, кто изобрел четвертитоновый рояль? Алоис Хаба! Зачем? Дабы получить иной музыкальный ряд… А чем знаменит Шёнберг? Да тем, что он сочиняет музыку, пользуясь лишь двенадцатью соотнесенными между собой тонами! По-гречески додекафония означает двенадцать звуков! Музыка – сестра математики, математика – язык символов… Музыка – это пространство будущего. Шёнберг планирует семинар с таким захватывающим названием, запишитесь, пока не поздно, идите к нему, этого ни в коем случае нельзя пропустить!

Этот Ульман и впрямь как с луны свалился. Ни слова об Анни. Впрочем, одержимостью он похож на свои письма. Музыка, музыка, музыка…

Но у меня нет даже начальной подготовки…

Раз вы ученица Иттена, он возьмет вас, однозначно. Кстати, Шёнберг недурственно рисует, и все больше себя, любимого, в зеркале. Отмечается по утрам. «Доброе утро, маэстро Шёнберг!»

Мы подходим к студии. Ни малейшего впечатления. Но ведь здесь он встречался с Анни, когда я слонялась по подругам, неужели забыл? Или Анни все выдумала? Может, это роман по переписке? Я указываю Ульману на окна под крышей, они светятся, значит Анни ждет меня.

Вам сюда, – говорю я.

Спасибо, что доставили по адресу.

Вы бывали здесь?

Да, но сам я бы вряд ли нашел дорогу.

Ульман входит в подъезд, машет мне рукой. «Счастливая находка» доставлена по назначению.

Ночное кафе. Трехголовые люстры разбрызгивают во все стороны желтый свет. Я выпила три чашки кофе, изрисовала и исписала дурацкими стихами пачку салфеток.

Анни, Анни…

Капли росы блестят на солнце – они ли озаряют тебя?

Нет! Ты сама свет и разливаешься яркими красками,

Вливаешь их во все сущее.

Ты – реальное отраженье блаженства земного….

Цветов, жаждущих быть напоенными твоей влагой…

Вы это продаете?

Я оборачиваюсь. За моей спиной – огромный человек, усы нафабрены, бакенбарды завиты, с шеи свисает увесистый циферблат на золотой цепочке. Видно, у него особые счеты со временем.

Не продаю.

Меня многие рисовали, но никто не смог так передать сходство.

Ладно, с вас кофе и бутерброд с ветчиной. Два.

На циферблате – час ночи. Подписываюсь, отдаю рисунок. И тотчас получаю кофе и два больших бутерброда.

Все, как договорились, фройляйн Дикер! Разрешите присесть?

Не дожидаясь согласия, он отставляет подальше стул, чтоб поместиться. Теперь его лицо близко. Усы – стрелки, часы – собранный в трубочку рот.

Вы всегда рисуете на салфетках?

Когда нет при себе бумаги. И вообще я здесь случайно.

В моем кафе можете чувствовать себя как дома. Шампанского изволите?

Небывалая история! Ночью, в пустом кафе, пить шампанское

с самим хозяином… Чем ему не нравятся салфетки? Такая фактура! На ней отлично выходят быстрые перовые наброски.

Мне пора, – хозяин смотрит на часы. – Если что, я всегда к вашим услугам. И в смысле шампанского…

А мне не пора.

Анни, Анни…

Ты подымаешься из темной земли вверх по их стеблям,

Всасываешься высью… в Солнце

Ты – солнечный отблеск…

Ты – сладкий туман в тени Его жгучих лучей…

Падаешь каплей росы в истомленную землю,

Жаждущую тебя…

Никогда не кончится круговой бег любви.

Ты слеза, что вечно искрится, но никогда не утоляет жар…

Лишь въедается горько

В лицо того, кто плачет…

На рисунке сияет солнце, сверкают капли росы, а за окном – зимняя ночь. Официант убирает столики, ставит на них перевернутые стулья.

Стулья, стулья, маленький уставший человек…

Сидите, – говорит официант. – Только меня не рисуйте.

Я нарисую его потом, пастелью – комната в зелено-сине-серо-коричневых тонах, красный стул, черный люк в потолке с квадратом белого неба, куда, задрав голову, смотрит маленький человек.

Франц! Когда два любящих человека живут вместе, они дополняют друг друга – и своими талантами, и своими настроениями. Когда я активна, тебе хочется быть пассивным, это и заставляет тебя так относиться ко мне…

Салфетки уж точно не подходят для письма. Поставишь точку, она превращается в цветок. Все расплывается…

Через какую боль проходит каждая роженица – но кто из страха перед родовыми схватками отказался бы от творчества? Твоя печаль – это сжатый внутри тебя воздух счастья. Если бы ты смог сделать глубокий выдох, ты бы испытал ни с чем не сравнимое наслаждение.

Анни, к чьим словам мне нечего добавить, сказала буквально следующее: как можем мы жить в постоянной гармонии и красоте, если я не оказываю тебе той поддержки, какую в состоянии дать? Какой ты милый. Преодолей свои трудности; мы будем «работать». Будь самим собой и цени себя высоко.

Франц не посещает семинаров Шёнберга. Зато мы с Анни вместе изучаем гармонию, контрапункт, композицию, законы длительности звука и местоположение цезуры. Математика

музыки. Пустота, воздух, пауза, перевод дыхания – это то, что есть в каждом хорошем рисунке.

И Ульман здесь. Одет с иголочки, волосы приглажены, внутри – огонь. Какой он цветок? Мак?

Вы читали «Пробуждение весны» Ведекинда?

Нет, а что?

Там про вас: «…Господи, хоть бы пришел кто-то, кому я могла бы броситься на шею и все сказать!» Я подарю вам эту песню на день рождения… С посвящением!

Мне?! Подарите Анни! У меня есть кому броситься на шею!

Анни смотрит на меня с укоризной. Она теперь курит, с

Ульманом на пару. При ее-то легких! Нынче в моде чахоточные – Ремарк с Томасом Манном награждают своих героинь туберкулезом и отправляют в санаторий – любовь и смерть танцуют танго.

Эпидемия «испанки». Умерших хоронят в огромных, вырытых бульдозером ямах, без гробов и отпеваний. Умирает Шиле. Выставка венского Сецессиона предоставила умирающему художнику центральные залы. На самом видном месте висит картина «Семья», где на земляном, пещерном фоне с черной ямой в подножии Шиле изобразил себя, свою беременную жену и ребенка, – он писал это будучи при смерти. 31 октября, в тот день, когда мы с Францем оказались на выставке, Шиле не стало. Об этом сообщил в рупор загробный голос. Все застыли.

Теперь им его жаль, – усмехнулся Франц. – Сколько лет они его травили – порнограф, сексуальный маньяк, совратитель, извращенец… Нужно умереть, чтобы тебя признали!

Меня знобит. Может, я заразилась «испанкой»?

Франц лечит меня любовью в темной мансарде, под крышей, где гуляет ветер. От смерти есть одно целительное средство.

Дорогая моя девочка Анни!

Я жду тебя в тоске. Болела до воскресенья – была в постели и от этого устала. Сегодня я хотела бы быть с тобой, всецело с тобой, а тебя нет.

Зачем этому болвану заказчику столько фальшивых камней в бычьей коже? Анни, Анни… Химеры любви – цветы бессонных ночей… Теперь я корплю над переплетами в одиночестве. Разумеется, не только для того, чтобы унять страсть, – нужно оплатить курсы композиции. Быт – вот лекарство от безумия! Придет заказчик, положит деньги на стол – и я накуплю еды, наемся до отвала, высплюсь у буржуйки… *Между дневной суетой и тихой, тихой ночью я урву время для стирки белья.*

Сказать по правде, не помню, в чем мы тогда стирали. В тазу? Многое забылось. Память своевольно кроит события на сегменты и секторы, превращает острые углы в тупые, а может, она просто ленива и достает из своих баулов то, что лежит на поверхности. С другой стороны, какая разница, в чем мы стирали?

Кряхтит старый лифт, подрагивает слабый свет лампочки, красная бархатная обивка на полукруглом сиденье потерта, тусклое зеркало исцарапано. Я нравлюсь себе в этом рембрандтовском все смягчающем и примиряющем свете. В старинных вещах, даже самых нелепых, живая душа.

Дребезжит звонок, дребезжит сервировочный столик на колесиках, блестят его серебряные ручки, и пузатый кофейник с тусклым пузом уже клонит свой нос в маленькую фарфоровую

чашечку. Яйцо в фарфоровом цветке, ломтик теплого хлеба.

Скрипит под ногами паркет, и от малейшего дуновения звенят подвески хрустального светильника. Старина убаюкивает… Никакой битвы контрастов, черный квадрат смерти не покушается на белый квадрат вечного безмолвия.

Устойчиво кресло, в котором я сижу, положив руки на мягкие подлокотники, все, что вокруг меня, имеет обтекаемые формы, ни одного прямого угла, даже окно овальное. В нем движутся облака. Небо не знает времени, оно не тикает, не стучит в висок каждой четвертью пройденного часа.

10. Немецкая Австрия

11 ноября 1918 года мы отпраздновали тридцатилетие Иттена. Наутро прекратилась война и родилась новая республика «Немецкая Австрия». Через год История сотрет слово «немецкая», объединение, вернее, аннексия Австрии Германией состоится через двадцать лет.

«Война окончена, о да, – ты гордо мне об этом заявляешь. Но конец пришел лишь сей войне – к несчастью, не последней. … Притушен лишь, но не погас огонь, наступит срок, он снова разгорится, и с новой силой бойня полыхнет».

Эти слова прозвучат в финале оперы, которую Ульман напишет в Терезине. А пока мы разбираем с ним «Лунного Пьеро». Внутреннюю конструкцию музыки можно понять, изучив как следует лишь одно произведение. Как выстроена композиция? Какие формы использует автор?

Песенные… – отвечает Анни.

Совершенно верно, любимая, – но какие?

Мы с Анни пристыженно молчим.

Двух– и трехчастные. Девушки, послушайте еще раз! – одним пальцем Ульман наигрывает мелодию. – Что это?

Вальс и баркарола.

Молодец, Фридл!

А что это за форма? – Ульман наигрывает мелодию, один раз, второй, но ответа не поступает. В нетерпении он хватается за сигарету, курит, бегая из угла в угол и стряхивая пепел куда попало. – Это контрапункт! – Ульман пальцем щелкает по окурку, и тот прямиком летит в форточку. – Слышите, – наигрывает, – так звучит фуга, а вот так – пассакалья. Понятно?! Тогда следующий вопрос: чем еще достигается контраст?

Инструментовкой, – отвечает Анни.

За это я должен тебя крепко расцеловать, но потом! Правильно, ведь каждая часть исполняется разными инструментами, а последняя – всеми восемью. Петь я не умею, но в том, как поется «О, аромат далеких лет», – особый звуковой образ. Концовка же в ми мажор отменяет абсолютную атональность, и мы, пусть ненадолго, но возвращаемся в старые добрые времена, к более привычному музыкальному языку.

С «Лунным Пьеро» понятно, но как исходя из этого понять внутреннюю конструкцию любого вокального произведения? Скажем, «Тангейзера»?

Не будь занудой, Фридл, – говорит Ульман, не выпуская Анни из объятий. – Знаешь, что общего у Вагнера с Шёнбергом? Первый

антисемит, а второй – еврей! Годится?

«Изменились ли мы с того времени, когда я посвятил тебе, дорогая Фридл, песню на день рождения? Нет, мы все те же… И будем продолжать в таком духе! Виктор. 30.07.44. Терезиенштадт».

11. В материале польза, в нематериале суть

На открытие итоговой выставки пожаловали важные гости – профессор Чижек и архитектор Вальтер Гропиус с женой, певицей Альмой Малер. Гропиус, застегнутый на все пуговицы, и роскошная Альма, в декольте и боа, перекинутом через голое плечо.

Отец в том же костюме, в котором был снят в ателье Штрауса, и Шарлотта в том же белом платье, в котором я впервые увидела ее в сквере, стояли рядом со мной и слушали Иттена. Приставив ладонь к оттопыренному уху, отец громким шепотом повторял про себя слова Учителя. Когда Иттен в своей пространной речи дошел до потопа, отец громко, на весь зал спросил: «Фриделе, он тоже из наших?»… По залу пробежал смешок.

Перестань, сколько там в тебе еврейского, – шепнула Анни и крепко сжала мою руку в своей.

Такими словами меня не удержишь! Я выбралась из толпы. В соседней комнате, где была устроена экспозиция, к тому времени собралось немало народу. Иттена было слышно и здесь.

Учение – это философия… «В материале польза, в нематериале суть»… Нет ничего нового… Есть лишь новое отношение к старому… К Традиции ведут нетрадиционные пути…

Гропиус с Альмой чинно прохаживаются по выставке. Он восхищен системой Иттена – и раздражен его речью. Не за проповедями он сюда пришел! Его устраивает развеска – не по авторам, а по упражнениям, которые в совокупности представляют готовый курс теории и практики. Он возьмет Иттена в Баухауз – но только с кляпом во рту!

Чижек другого мнения:

Кому нужна система, если нет художника! Где чувство, где экспрессия?! Эти упражнения развивают глаз и руку, но наносят вред внутреннему оку художника. Мы не древние китайцы, у нас своя школа и свои образцы для подражания. Китайское искусство выродилось, а наш индивидуализм живет и процветает… Художественное образование – это не дрессура… Фридл Дикер на моих занятиях выделялась ярким талантом, а это что?! – указал он на мою работу, кажется, это было упражнение на круг и сегменты, – где тут Фридл Дикер?

Да вот же она! – отец ткнул в меня тростью.

На диване валяется плащ Франца с вывернутыми наружу карманами, на столе стоит пустая бутылка. Как я оказалась в этом кафе? Ох, какая я пьяная… Стыд и позор! Ненавижу!

Франц гладит меня по спине, проводит рукой по стриженому затылку. Я откидываю голову: вот это ракурс!

Где ты был?

Вообрази, собрался платить – нет кошелька! Побежал в школу – валяется у вешалки! И все из-за тебя! Откуда в тебе эта ярость? Чем уж так провинился папаша Симон? Мило разгуливал по выставке, помахивая тростью, с видом знатока рассматривал рисунки в монокль…

Не ругай, мне и так стыдно. Но Чижек прав!

Твой Чижек – импотент, представляю, как бы он учил музыке: «Садитесь, молодой человек, и играйте, играйте от всей души, кишками и мочеточником, мозгами и позвоночником, выражайте свою индивидуальность в мажоре и миноре!» А Иттен – отличный учитель, и он, кстати, обсуждал с нами идею выставки, и ты первая была за.

За что?

За то, чтобы не выставлять произведений искусства, а показать процесс обучения. Чтобы Гропиус поверил в педагогический талант Иттена и взял его на работу в Баухауз и чтобы мы продолжали учиться. Это выставка достижений Иттена, а не художницы Фридл Дикер! Что это ты там пишешь на салфетке?

Объяснение. Не волнуйся, не тебе, Анни.

Ты моя любовь, давай начнем все сначала. Я разозлилась, но не на отца. Как ты, еврейка, могла сказать мне: ладно, мол, сколько там в тебе еврейского? Аннилайн, ты и представить себе не можешь, сколько во мне еврейского; до какой глубины мы, народ, зараженный скепсисом, тоскуем по Богу, мы ищем и не можем найти никого, кто бы обладал достаточной силой, чтобы нас стреножить. Никого, кроме кровного Бога, которого мы боимся и любим, но, если Он когда-нибудь явится нам, тот наш Бог, который заставляет нас терпеть такие тяготы, мы этого не вынесем, мы окаменеем на месте. А витийствовать, перекрикивать самих себя, изъясняться образами и загадками – это все мы, с нашей раздутой до невероятности и при этом больной совестью.

Ты проспала концерт Скрябина!

Утро. Анни влетает в мансарду, на ходу скидывает туфли на высоком каблуке, вылезает из узкого платья; она вся пылает – жарко! Жарко до невозможности!

Грешница ты! Вот что Ульман про тебя сказал. – О, Франц, доброе утро, извините, у вас уважительная причина…

Смущает не то, что Анни застала нас в неглиже, и не то, что, не заметив Франца, она сняла с себя платье, а ее лихорадочное возбуждение и нездоровый румянец. Неужели ее так

разволновало письмо?

Откуда ты знаешь про письмо?!

Оказывается, речь идет о другом письме. От Ульмана. Он уехал в Прагу. Получил там место в Новом немецком театре, будет ассистентом Цемлинского. Новая Республика, Масарик, свобода, ни одного антисемита, не то что в Вене – и при этом там все понимают немецкий.

Ну почему, почему я все должна узнавать из писем? Почему не сказать прямо? Вряд ли его вызвали телеграммой – собирайтесь, вас ждет Цемлинский, – он к этому готовился, но молча! Представьте себе, больше всего он жалеет о том, что фройляйн Дикер не присутствовала на концерте Скрябина! На, читай!

«Будь для меня столь уж важно, познакомятся ли друг с другом фройляйн Фрида Дикер и господин Александр Скрябин, тон, которым я порицал бы легкомысленный поступок Фридл, был бы куда более мягким или шутливым… Но я от души сожалею, что столь дорогой мне человек сам себя лишил художественного наслаждения».

Это 358-й грех, который Фридл искупит на Йом-Киппур, – говорит Франц. – Остальные 357 мы ей простим.

А когда Йом-Киппур?

Фридл, и ты еще говоришь, что в тебе много еврейского! – возмущается Анни. – Ты соблюдаешь их традиции? Ты знаешь их язык? Не будь антисемитизма…

Но он есть!
Не спорю, но не среди образованных людей…

Ты считаешь Шопенгауэра, Вольтера, Достоевского и Гёте необразованными?

Гёте ты явно не к месту приплела.

Да? Сейчас я вам кое-что прочту. Про грязно-желтый цвет.

Надеюсь, ты подчеркнула нужное и сделала на полях пометки, – подначивает меня Франц, глядя, как я перелистываю страницы гётевской натурфилософии, – пусть все знают, с чем согласна и с чем категорически не согласна фройляйн Дикер!

Вот, нашла: «Неприглядное впечатление производит желтая краска, когда она сообщается нечистым и неблагородным поверхностям, как обыкновенному сукну, войлоку и тому подобному, где этот цвет не может проявиться с полной силой. … При таком соприкосновении прекрасное чувство огня и золота превращается в гадливое, цвет почета и благородства превращается в цвет позора, отвращения и неудовольствия. Так могли возникнуть желтые шляпы несостоятельных должников, желтые кольца на плащах евреев; и даже так называемый цвет рогоносцев является, в сущности, только грязным желтым цветом».

Абсолютно бездоказательно, – говорит Анни. – Во времена Гёте евреи носили знаки отличия, про это он и написал. А что тогда сказать о евреях-антисемитах? О нашем родимом Вейнингере? У меня где-то припрятана его брошюрка «Пол и характер».

Он клинический идиот. К счастью, понял это и застрелился.

Фридл, радость моя! Если бы все клинические идиоты кончали самоубийством, Мальтусу не пришлось бы волноваться по поводу перенаселения планеты.

Анни ищет брошюру, Франц ставит кофейник на конфорку.

Почему-то мне никогда не приходило в голову их рисовать. Все равно что себя. Себя я рисовала дважды: по заданию Иттена – набросок углем в три четверти, и на картине «Допрос», маслом, с затылка. Тот, кто со мной не знаком, вряд ли узнает меня на этой картине. Я написала ее вскоре после выхода из тюрьмы, уже в Праге. Теперь, глядя на Франца и Анни, я сожалею об упущенной возможности.

«Пол и характер», – Франц жестом фокусника извлекает из шкафа синюю брошюру. – «Евреи испортили арийский социализм, сионизм обречен, евреям сродни лишь анархия и коммунизм». Точка. Конец цитаты. Еще? Тогда следите за кофе! «Как не существует в действительности женского достоинства, – это про вас, – так же мало мыслимо представление о еврейском джентльмене, – это ко мне. – Настоящему еврею недостает того внутреннего благородства, из которого вытекает достоинство

собственного и уважение чужого “я”». Цитирует Вагнера: «Еврей не благоговеет перед тайнами, ибо он нигде не прозревает их. Его старания сводятся к тому, чтобы представить мир возможно более плоским и обыкновенным… чтобы убрать с дороги вещи, которые и в духовной сфере мешают свободному движению его локтей». Фридл, неси, дорогая, чашки и сахарницу, а я пока уберу с дороги вещи, чтобы они не мешали свободному продвижению твоих локтей!

А не податься ли всем нам в Палестины? – говорит Анни, разливая душистый кофе по чашечкам.

Без Иттена Фридл не поедет. И он без нее не останется. Так что поедем во вражеский Веймар, туда, где Гёте сочинил 771 пассаж про грязно-желтый цвет!

И наши звезды грязно-желтого цвета…

Фридл, где ты такое видела? – спрашивает Анни и заливается слезами. Ни с того ни с сего. Как ребенок, которому приснился страшный сон. Франц сажает Анни к себе на колени, я глажу ее по русым волосам. Она наша младшенькая, мы всегда будем о ней заботиться.

Аннилайн, милое дитя, вот-вот тронется поезд. Я не успел с тобой попорощаться и делаю это теперь. Я бы не хотел, чтобы ты держала на меня обиду за то, что я недостаточно о тебе заботился…Теперь могу сделать для тебя лишь самую малость… Прошу тебя, прими это от меня и ни в коем случае не чувствуй себя обязанной, это в самом деле наименьшее из того, что можно сделать. У д-ра Адлера, а также у Фридл есть для тебя деньги, столько, сколько тебе нужно. Я уже должен бежать на поезд, пока, дитя мое!

Твой Франц.

Дорогая, чудесная, верь в себя, кто еще способен на это, если не ты сама… Любимая, сердечнейшая, бери себе, так же как и я, отпуск от людей, это единственные каникулы, которые нам необходимы. …Дарю тебе мое кольцо. Бог (это значит мы сами) да поможет нам.

Твоя Фридл.

Часть вторая
Новая вещность

1. Баухауз

От вокзала до Школы искусств и ремесел можно было проехать на трамвае, но Иттен счел это глупым транжирством, и мы, шестнадцать австрийцев, обряженные в национальные костюмы – по-нашему «трахт», – перлись пехом со всеми вещами. Мужчины в кожаных шортах, зеленых полотняных куртках и вязаных жакетах походили на охотников, правда безоружных, а мы в блузах с рюшами и в цветастых юбках с кринолинами и широкими поясами на талии – на торговок цветами.

Иттен, в его неизменной робе, возглавлял карнавальное шествие. Его облик вызывал у солидных веймарцев кривую улыбку, а у желторотых юнцов – желание запулить в него камнем из рогатки.

Наш австрийский патриотизм не пришелся по вкусу местному населению. Мы с ходу были зачислены в евреи, большевики и правонарушители. Последнее уж точно было ложью: у каждого из нас при себе было свидетельство о благонадежности, полученное в полиции, – без него в Баухауз не принимали.

Зато бронзовые друзья Гёте и Шиллер приняли нас с распростертыми объятиями. За спиной их возвышался Народный театр, где сегодня, 21 марта 1919 года, состоится торжественное окрытие Баухауза.

Оля Окуневская осенила крестом главную площадь и подала милостыню нищим – храни вас Господь, да будут счастливыми годы нашей учебы! Позже Оля примкнет к секте первохристиан и будет ходить босая, в холщовом мешке с прорезью для головы. Таких чудаков с духовными вывертами в Баухаузе будет немало.

Вскоре мы очутились перед модерным зданием с рядами диагональных окон, словно бы спускающихся по ступенькам. Войдя внутрь, мы увидели знаменитую спиралевидную лестницу в форме ракушки. В этой постройке бельгийского архитектора Ван дер Вельде Баухаузу было отдано правое крыло. Совсем недавно здесь располагался военный госпиталь. Левое крыло сохранилось за тюрингской Академией художеств, которую местные власти с трудом заставили потесниться. Так что с одной стороны будет новое, с другой – старое, для равновесия. Скажу наперед – никакого равновесия не вышло, Академия пошла на нас войной, и Гропиусу пришлось отбиваться.

Иттену выдали ключи от дома напротив, где мы могли оставить вещи и привести себя в порядок. Дом, напоминающий изнутри огромное двуспальное купе, тоже построил Ван дер

Вельде. Здесь будут мастерские Баухауза, то есть наши.

Иттен предложил нам переодеться, дабы не травмировать своим видом почтенное собрание. Утюг у нас с собой был, но где его греть? Тут-то мы и оценили преимущество иттеновского одеяния – за ним не нужен уход.

Одевшись кто во что горазд, мы побежали в театр. Он был полон, сесть было некуда, и по сложившейся традиции мы слушали нашего учителя стоя.

«Когда пианист, впервые знакомясь с музыкальным произведением, старается прочувствовать его в целом, он не стремится сыграть каждую ноту и каждый такт отдельно, а скорее старается схватить самые общие, крупные черты композиции. Только после длительного и многотрудного изучения всех частностей произведения он может добиться точности его исполнения.

Не нужно стремиться к имитации оригинала – выразительность должна быть прочувствована и интерпретирована в линиях рисунка. Если при создании образа сердце едино с рукой, то форма становится носителем эмоционально-духовного содержания. Форма, способная выразить это содержание, превращается в произведение искусства».

Иттен говорил вдохновенно и при этом спокойно. И его-то хотел взять к себе Гропиус, но «только с кляпом во рту»?!

Тронная речь Гропиуса началась с «не», с того, чем Баухауз не будет заниматься, а именно: созданием единого стиля, системы, догмы или канона и еще чего-то, что я уже забыла. Затем он перешел к цели Баухауза, которая состоит «в поисках выражения духа жизни в постоянно изменяющихся формах». Завершение звучало вдохновенно:

«Наше дело животворно. И если это так, всегда найдется тот, кто его продолжит. Мы создадим новую гильдию ремесленников – без классовых различий, которые возводят барьер между художником и ремесленником! Давайте вместе придумаем и построим здание будущего, в котором архитектура, скульптура и живопись сольются воедино! Однажды руки миллионов ремесленников поднимут его к небесам как хрустальный символ новой веры!»

Новая конструкция будущего реализовалась не только в небоскребах, которые спроектирует Гропиус в Америке, но и в бараках, газовых камерах и крематориях Освенцима, которые спроектирует кто-то из его учеников.

На обложке «Манифеста Баухауза» красуется собор с пятиконечными звездами на шпилях, напоминая разом масонский храм и кремлевские башни. Национал-социалисты назовут

Баухауз «церковью марксизма», а автора гравюры – Лионеля Файнингера, замечательного художника и моего учителя графики, – нарисуют в виде «вольного каменщика» с серпом и молотом в руках.

На самом деле Баухауз никогда не ставил своей целью взращивание нацистов, коммунистов и масонов. Эти ярлыки навесила на нас История, которая только и знает что «дергать нас за нитки». Все обстояло проще. Послевоенный мир стал нашей проектной мастерской, где создавалось здание будущего. Любые вещи, будь то стол или картина, должны быть выстроены.

Свободный дух голодных художников – в фундаменте здания будущего. Мы живем коммуной, нас около двухсот человек, больше половины студентов получили бесплатные талоны на питание. В том числе иностранцы. То есть мы. Обед скудный, но недоедать полезно, главное – есть побольше чеснока и закалять дух и тело упражнениями на дыхание и концентрацию. Теперь Иттена слушают не шестнадцать, а сто пятьдесят учеников.

«Художник должен облагораживать свое существо, уничтожая в себе влияние материальных сил, изгоняя из себя элементы темного начала, прибегая к очищению, посту, медитации и дыхательным упражнениям, чтобы достичь состояния внутреннего успокоения, которое, в свою очередь, освобождает от повседневного гнета цивилизации. Теперь многие изучают Восток и практикуют йогу, а в то время над нами все смеялись».

Мы строим будущее, а настоящему до нас дела нет – финансовый дефицит института на первый год составляет 132 000 немецких марок при общем бюджете 163 000. Денег нет ни на отопление, ни на покупку мебели.

Нас поселили в Доме обманщиков – так, в духе обожаемого ими Шиллера, прозвали веймарцы эту развалюху. Холод, голод, скрипучие кровати в комнате на четверых, туалет в дальнем конце неотапливаемого коридора. Но и отсюда нас попросят – иногородние должны снимать помещение за свои деньги. Бедным позволят ночевать в мастерских, где освещением служат газовые лампы. В связи с ограничением подачи газа в зимние месяцы готовить и стирать в помещениях строго запрещалось.

К бытовым неприятностям мне не привыкать, иногда это доходит до смешного. В Терезин мы попали глубокой зимой; в помещение, куда затолкали семьсот с чем-то человек, был в точности такой свет, и это напомнило Баухауз, чудесную пору юности, из коей услужливая память разом вычеркнула все неприятное.

Цены скачут не день ото дня, а час от часу. Пока ты сидишь к кафе, стоимость чашки кофе может подскочить с пяти тысяч

марок до восьми. Зато иностранцы с несколькими долларами в кармане могли жить здесь припеваючи. Кто-то рассказал, что Хемингуэй в 1923 году приехал в Германию из Франции и за 10 франков получил 610 марок. 10 франков – это 90 канадских центов. Эти деньги он с женой истратил за день, но на очень роскошную жизнь. И еще у них осталось 120 марок.

Но в 1919 году было куда тяжелей, чем в 1923-м.

Единственное, в чем мы не испытывали нужды, – это воздух. В Веймаре дышалось чудесно. Необъятные парки с садовыми дорожками и мостом через речку Лим, зеленеющие луга, где по утрам и вечерам паслись белошерстые овцы, холмистые леса с изобилием всяческой растительности поставляли кислород в неограниченном количестве.

«Воздух, воздух!» – кричит умирающий, забыв о самом главном: чтобы избавиться от страха смерти, нужно перво-наперво дышать.

«Воздух, воздух» – это последние слова умирающего Гёте, который, к слову сказать, вдыхал веймарский воздух более пятидесяти лет. Если бы ему перекрыли кислород в мои сорок шесть, не было бы ни «Фауста», ни науки о цвете, которую с пристрастием изучил садовник, ухаживающий за летней резиденцией Гёте. Плоды садовнических усилий мы по достоинству оценим позже, когда войдет в полные права весна и аккуратненький белый домик с треугольной крышей утонет в бело-лиловой сирени; в палисаднике встанут навытяжку высаженные шеренгами тюльпаны – на первом фланге черные, за ними красные всех оттенков, а затем уж желтые и белые; когда нарциссы будут кучно цвести на каменных террасах, а голубые садовые незабудки, фиолетово-желтые анютины глазки и оранжевые ноготки расползутся змейками по ярусам верхнего сада, разбитого на пригорках с обеих сторон дома. А сколько расцветет невиданных и неслыханных растений!

Рай Иттена поменял адрес и теперь располагался в двух минутах ходьбы от дома. Хотя вряд ли можно назвать домом эту странную каменную постройку в виде собора. Что это – недостроенный храм, кирха без креста? Плоскую крышу подпирали высокие аркады, увенчанные антаблементом с пятиконечными звездами; высокий этот пенал сидел на кубе с входом в виде арки. Резчики по камню наверняка диву давались, получив такой заказ. Или им было все равно: заплатили – сделаем? Это романтическое здание испокон веков стояло на лесном пригорке и если кому-то и служило, то только Музам. В доме культуры тюрингских герцогов давались концерты и представления, устраивались приемы в честь высоких гостей,

возможно, сам Бах, будучи около десяти лет придворным органистом Веймарского оперного театра, наведывался в гости к герцогу, но уж что точно – здесь не раз бывали Гёте с Шиллером, играл на домашних концертах Лист, выступал с речами Гердер, высшее духовное лицо Веймара и главный инспектор учебных заведений; его книгу «Идеи» я буду читать взахлеб в гроновском уединении.

Я знала и любила некоторые выдержки из «Идей», помнила, что они прекрасны, но в книге все гораздо лучше. Ты обратила внимание на это его высказывание: «Придет время, когда никто уже не будет спрашивать в Европе, иудей ты или христианин, ибо и иудей тоже будет жить по европейским законам и способствовать процветанию государства»?

Храм искусств был отдан Иттену. Там он жил и преподавал «Вводный курс» новичкам, их было более ста пятидесяти. В свободные минуты я забегала сюда, чтобы помочь учителю и порисовать город с крыши.

«Знания, полученные из книг или от учителей, подобны путешествию в повозке. …Повозка может служить только на большой дороге. Тот, кто достиг конца ее, сойдет и отправится дальше пешком».

Я сошла с повозки «Вводного курса» и отправилась пешком. Пока недалеко, в соседнюю комнату, где под присмотром Иттена и началась моя учительская карьера. Я преподавала азы – образование формы движением и теорию контрастов. Каждое ощущение, каждое явление имеет антипода: светлое – темное, белое – черное, большое – маленькое, легкое – тяжелое, слитное – прерывистое, сладкое – кислое, жидкое – твердое, сильное – слабое…

Чуть ниже Храма находились руины какого-то здания – большущая каменная стена с оконными проемами. Скорее всего, это был театр или дом культуры того времени – на это указывал мраморный памятник Шекспиру. Победоносный взгляд великого драматурга был устремлен на летний домик Гёте. К местным достопримечательностям следует отнести и беломраморный фонтанчик со змеями. Воды в нем не было, но зато он служил ориентиром в ночи, поскольку располагался на повороте садовой дорожки, ведущей с одной стороны к Храму искусств, а с другой – к мостику через реку Лим, откуда и начинался тот самый луг, на котором паслись белошерстые овцы. Мое описание витиевато, как сам ландшафт с его таинственными тропинками, мостиками, холмами и лугами.

2. Колесо жизни

План, начерченный Гропиусом на «колесе жизни» Баухауза, делил «мир практики» на семь элементов: Дерево, Железо, Текстиль, Цвет, Стекло, Керамику и Камень. Мастерские формировались из имеющихся в наличии мастеров и потребительского спроса. Первыми вступили в строй текстильная, переплетная и литографическая мастерские, вслед за ними – скульптурная, театральная, стекольная и керамическая. С Иттеном мы изучали разные техники и свойства материалов, теперь мы заняты производством вещей. Машины, станки, лязг металла.

Моя рука мечтает лишь о том, как смочь все сделать, суметь создать. Я самый великий в Природе, Я – Несостоявшийся.

Не когда-нибудь, не скоро-скоро – сейчас! Я уже могу «все сделать, суметь создать». Руки стали глазами, они сами находят дорогу к материалу. Они рисуют, лепят, режут, ткут, шьют – а я блаженствую.

У Лионела Файнингера мы изучаем технику литографии. Дама эта капризная: царапнешь чуть глубже, чем требуется, подержишь в кислоте чуть дольше положенного – пиши пропало. Тут нужно мастерство и чутье.

Литографический пресс похож на орган, гудят большие и малые колеса, кряхтят и хрипят валики, проворачивая через себя лист. В финале звучит кода, и перед нами предстает взмокшая от родов литография. И как же бывает обидно, когда после стольких потуг рождается уродец!

Мои черно-белые литографии «Сцена ведьм» и «Кактус и виолончель» отмечены Мастером. В «Сцене ведьм» нет никаких ведьм. Из тьмы смотрит глаз ассирийской птицы, ноги кентавра опутаны жгутами, на тонком полумесяце восседает нечто, похожее на лягушку.

В композиции для кактуса и виолончели поет хор из близких по тону серых пятен. В него вонзаются колючие звуки кактуса. Черное пятно – пауза – страх растворяется в светлом голосе виолончели, хор пятен разбредается, кто в подоконник, кто в стену, а сам кактус удаляется на задний план и застывает беззвучным белым зигзагом.

Эти литографии вместе с десятью набросками с натуры были показаны на июньской выставке графики. Из нескольких тысяч работ Файнингер велел отобрать «только хорошие». Просмотр утомил его. Выкурив несколько толстых американских сигар и выпив несметное количество кофе, он ретировался. Вернулся к

вечеру, еще более уставший, но в отличном настроении. Оказывается, все это время он рисовал, и это помогло ему восстановиться.

I. BAUHAUS-ABEND
MITTWOCH, 14. APRIL 1920, 8 UHR ABENDS

ELSE LASKER-SCHÜLER:
EIGENE DICHTUNGEN
HEBRÄISCHE BALLADEN
UND ANDERE GEDICHTE
DER SCHEIK
ABIGAIL I. VON THEBEN

Das Titelblatt wurde auf Stein gezeichnet von Friedl Dicker

II. Bauhaus-Abend: 21. April 1920, pünktlich 8 Uhr abends
Eduard Steuermann (Wien): Klavierabend

Folgende Werke von Frau Else Lasker-Schüler sind in Tholemanns Buchhandlung (Schillerstraße) erhältlich:

ESSAYS
8.40 M. In Pappband 12 M.

GESICHTE
8.40 M. In Pappband 12 M.

DIE NÄCHTE DER TINO VON BAGDAD
6.80 M. In Pappband 7.20 M.

DER MALIK
In Pappband 18 M.

DAS PETER-HILLE-BUCH
8.40 M. In Pappband 12 M.

DIE WUPPER
Schauspiel in fünf Akten. 8.40. In Pappbd. 12 M.

DER PRINZ VON THEBEN
10.80 M. In Pappband 14.40 M.

HEBRÄISCHE BALLADEN
Drei Gedichte erster Teil. In Vorbereitung

DIE KUPPEL
Drei Gedichte zweiter Teil. In Vorbereitung

MEIN HERZ
Ein Liebesroman mit Bildern und wirklich lebenden Menschen. In Vorbereitung.
10.80 M. In Pappband 14.40 M.

Der Gebetteppich und die 2 langen Streifen sind aus dem Besitz der Firma Fr. Power, Marktstraße

«Кажется, с вами я становлюсь даже не психологом, а психиатром, – сказал он, усаживаясь на стол, где лежали «только хорошие» работы. – Сами подумайте, кроме тех случаев, где налицо талант от Бога, нужны десятки лет упорного труда, а вы надеетесь коня оседлать на ходу!»

С чего он взял, что мы на это надеемся?

К ночи 200 работ, показывающих не только процесс овладения техникой, но и способность к свободному творчеству за пределами учебного класса, были отобраны, и весь следующий день мы их оформляли. Файнингер велел нам использовать солидные рамы, в которых прежде покоились гравюры и фотографии работ старых мастеров. Мы вырезали паспарту, мыли стекла, вставляли работы в рамы и развешивали готовую продукцию по стенам большого зала.

За свои работы я получила премию в виде годовой стипендии. Это большая роскошь – учиться бесплатно.

Дражайшая Анни! …Я вырезала рельеф из дерева и так счастлива. Еще не все готово, но радости – через край… Редкое наслаждение – тихие рабочие дни, – они меня целиком заполняют и одухотворяют… и… можно временно не заглядывать в далекое и темное будущее, которое тем темней, чем светлее вокруг.

Анни уехала, клятвенно пообещав вернуться, когда потеплеет. Она замерзла, физически и душевно. Ей трудно переносить холод и видеть меня, потерявшую интерес ко всему на свете, кроме искусства. То есть к ней.

Аннилайн, родная моя! Я вновь восстала из праха и хочу протянуть тебе руку и сказать: если ты нуждаешься в поддержке,

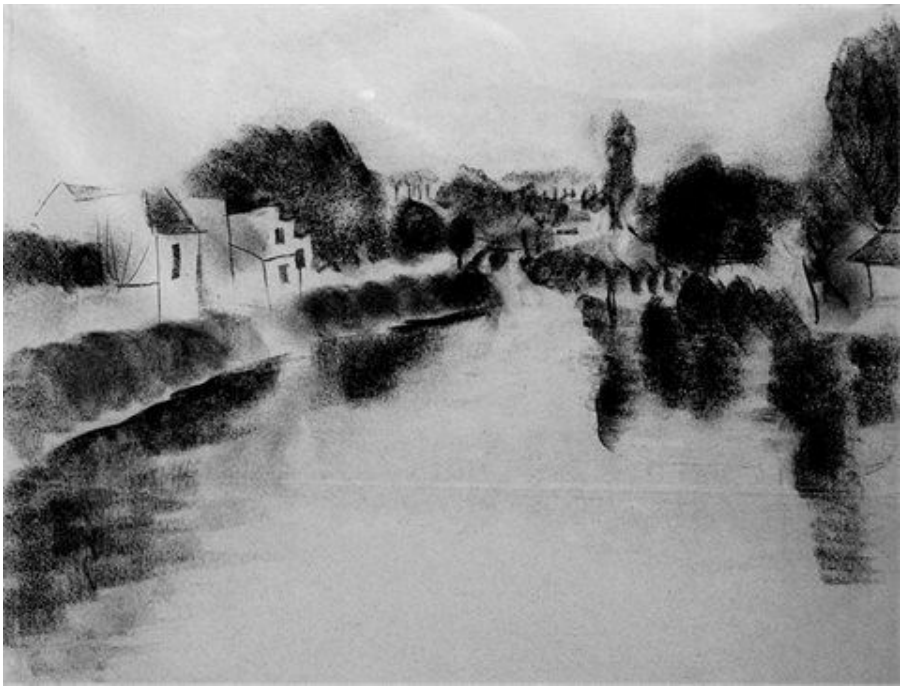
возьми мою любовь как посох, и тогда он непременно вновь зазеленеет, это так же точно, как и то, что однажды ты можешь его лишиться. Я плотно закрыла двери перед горем, может быть, когда-нибудь я открою их добровольно, но ты взяла горе в товарищи, полагая, что верность этой дружбе нерушима. Дорогая, это произошло неосознанно, ведь ты переносишь свое несчастье с улыбкой, если же воспринимать его сознательно, оно утратит свою сущность. Не говорила ли я тебе, что однажды нужно решить, стоит сходить с ума или нет?

3. Франц

Весенние дожди приятней осенних, но под теми и другими мокнешь, а сушиться негде. Правда, спасают плащи и зонтики, но все же гулять под дождем безрадостно. Даже сами веймарцы покидают свои дома лишь в случае крайней необходимости, и походка их из размеренной и плавной превращается в отрывистую, штрихпунктирную. Отовсюду льет – с неба, с деревьев, с крыш.

Мы с Францем стоим на мосту. Речку Лим заволок туман, шумит вода, ударяясь о камни. Нам тепло – Иттен напоил нас крепким травяным чаем. Первоцвет и едва пробившаяся трава сушатся в капроновых чулках, которые Иттен экспроприировал у жены ровно для этой цели – зеленые чулки с травой, коричневые с каким-то мхом, тоже очень полезным. Только сохнет плохо, печка чуть теплая. На то, чтобы топить как следует, денег нет и у Иттена.

Франц с головой ушел в разработку мебели будущего. В карманах его светлого плаща проживает целая столовая: складные стулья величиной с ладонь и маленькие столики. Они будут легкими и удобными в эксплуатации, гнутая никелевая трубка и плетеные спинка и сиденье. Осталось решить технологическую задачу – как с помощью машины соединить рогожу с никелем, – и можно будет запускать это изобретение в массовое производство.



Ты не можешь достать нам обычный стол? В крайнем случае высокий, тогда за ним можно будет стоять, сэкономим на стульях.

А на полстола согласна? Мне американка, дочь Файнингера, подарила целый, я вам отрежу половину.

И впрямь – Франц принес полстола! Прибил штангу к стене, привинтил к ней деревянный полукруг.

Назавтра продолжение истории: приходит к нему американка и видит – от ее стола осталась половина. Какой ужас! «Понимаете, – говорю ей, – я так замерз, что пришлось истопить полстола». А она мне: как жаль, знала бы, прислала бы дров.

Неужели она тебе поверила?

Фридл, ну взгляни на меня, разве я похож на обманщика?

На веймарском базаре хорошо идет текстиль. Практичный Гропиус тотчас организовал доставку станков и пряжи, так что большую часть времени я провожу в текстильной мастерской. Ею руководит Георг Мухе. Он старше меня всего на три года, но на его счету уже несколько персональных выставок. Его картины – странная смесь холодной архитектуры и экспрессии. Из клубов разноцветного дыма проступают жесткие линии, острые ромбы и треугольники… Что-то футуристическое. Мухе был на войне, Гропиус был на войне, Франц был на войне – и у всех жесткий рисунок. Они рисуют не для того, чтобы проявить видимое, они конструируют будущее.

4. Утопия

В хорошую погоду мы принимаем солнечные ванны на крыше Храма, сидим полуголые в самодельных шезлонгах и спорим о судьбах Европы: погибнет ли она, следуя предсказанию Шпенглера, или возродится из хаоса и разрухи? Притом что «Заката Европы» не читали ни Франц, ни Маргит, ни я. Единственный из присутствующих, кто прочел все 500 страниц от корки до корки, – это Бруно Адлер, издатель, сверстник и большой друг Иттена, самый образованный человек на свете. Он влюблен в Маргит Тери и уже сделал ей предложение.

Бруно полулежит, а Маргит сидит на нем в красивом крепдешиновом платье, заголив ноги для загара. Волосы у нее собраны в пучок, хотя ей больше идут распущенные, она что-то шепчет Бруно на ухо, при этом чуть ли не перекручиваясь восьмеркой, талия в то время у нее была осиная.

Мы пьем пиво, прямо из бутылок, чтобы не отвлекать Иттена просьбой о стаканах. Он сейчас очень занят. Вносит поправки в рукопись, которую вернул ему Бруно на доработку.

«Утопия – документы реальности» – такое название альманаху мог дать только Иттен. Сборник будет состоять из шести разделов: Религиозная мысль, Восприятие и изображение, Изобразительное искусство, Поэзия, Музыка, Театр. И ко всем Иттен уже подобрал тексты. В фундаменте его Утопической Державы – воззрения дзен-буддизма, неоплатоников, немецких романтиков и первохристиан, «Ригведа», египетские, тибетские и китайские источники.

Падение Запада… – произносит Бруно с мечтательностью во взгляде, относящейся, конечно же, не к предмету разговора, а к предмету его обожания, – я только что перечитывал у Иттена отрывки из «Ригведы», китайцев… Философия Востока, этика буддизма – насколько это убедительней наших разглагольствований, за которыми стоит лишь одно: желание установить порядок. Раз и навсегда! Наш порядок! Не заниматься людоедством, но составить списки, кого когда сожрать, и передать в высшие инстанции.

Ах, как это грустно, – вздыхает Маргит. Влюбленность ей явно не на пользу, вместо того, чтобы умнеть подле Бруно, она только и делает, что кривляется.

Франц молча пьет пиво. О чем он думает? О своих стульях?

Я переношу свой шезлонг поближе к нему, смотрю туда, куда смотрит он. Сколько неба! Но он смотрит не в небо, а на Роговую улицу с особняками и ленточками дорог, уходящих в глубокую

перспективу. С такой высоты в ясную погоду виден весь Веймар. Блестят золотые купола православной церкви, протестантское кладбище похоже на цветущую клумбу, деревья – на облачные шары… Как стеклышки калейдоскопа при поворачивании собираются в новый узор, так от малейшего моего движения меняется вся панорама.

Франц, у меня кружится голова…

Выпей за культуру, Фридл! – Бруно протягивает мне бутылку с пивом. – Голова перестанет кружиться.

Но что есть культура? – спрашивает Маргит. Вот уж действительно с ума сошла!

Культура, душечка, это живой организм и, как все живое, проходит три фазы. Конечная – не самая, скажем, желанная…

Но ведь должна же быть какая-то цель у нашего существования! – восклицает Маргит.

По Шпенглеру – никакой, – отвечает Бруно серьезно. Ему явно не хватает чувства юмора. – У человечества нет ни цели, ни идеи, ни плана, как у бабочек или орхидей. Теперь представь, что мы видим отсюда не панораму Веймара, а панораму всемирной истории! Тогда, не сходя с этой крыши, мы можем наблюдать картину вечного образования и изменения, чудесного становления и умирания органических форм. История – это свойство живой природы, описанной Гёте, а не мертвой, описанной Ньютоном.

Адлер подобен герою русского романа, чьи истории выслушивают по 100 раз. Слабость характера и грубая чувственность, которую я замечала во всех мужчинах, за исключением Стефана (о нем речь впереди). У него она, благодаря легкомыслию, носит детский и часто трогательный характер. Надо отметить, что у Адлера, к его великой чести, все это сопряжено с угрызениями совести и по всем статьям обременительно для него самого. В целом мужество у него отсутствует, и в то время как он хотел помочь тебе, а главным образом ты ему, вы – во всяком случае, ты – получили травмы, которые с трудом излечиваются. Так же и мои страдания, возможно, возобновятся, если я не останусь одна.

Маргит родила сына Флориана. Одновременно с этим у Бруно родился и внебрачный сын. Узнав об этом, Маргит подала на развод. Потом она вышла замуж за немца Хуго Бушмана, главу берлинского агентства печати. Во время войны он был связан с советской разведкой, входил в подпольную организацию «Красная капелла», которая была раскрыта фашистами. Почти всех расстреляли. Его – нет. Вообразить невозможно – всю войну чистокровная еврейка прожила в Берлине с немцем-разведчиком!

Что с Маргит? Где она? Я хотела бы написать ей, а еще лучше – получить от нее известие!

Письмо от Анни полно упреков в наш с Маргит адрес. Мол, пока мы здесь весело проводим время, она горбит спину над переплетами, которые ей осточертели. Ни радости, ни денег.

Дорогая Анни! Я готова просить у тебя прощения (хотя знаю, что ты по-прежнему хорошо ко мне относишься). Мое идиотское замечание относительно «претензий» было вызвано твоей жалобой на Маргит, на то, что о тебе никто не заботился, пока ты была здесь.

Тебе не за что меня любить, я могу быть развязнее и отвратительнее всех, ну почему мне никак не удается быть милее – или хотя бы такою же милой, как другие? Любимая, любимая, будь здорова.

Может быть, я кажусь тебе жесткой,
но я стремлюсь, я пытаюсь
быть честной.

Дитя мое, прошу тебя, работай, я имею в виду – рисуй, хотя бы немного. Прискорбно, когда что-то исчезает, не реализовавшись.

Я почти уверена, что талант есть не что иное, как постоянный импульс, а не то, что человек делает. Поверишь ли, в тот момент, когда я это пишу, я уверена в каждом своем слове, пишу это тебе, но и себе. На самом деле нереализованное приходит в состояние запущенности, оно не исчезает, лишь мучает страшно, хуже того, оно парализует.

Завтра в Баухаузе большой костюмированный бал. Весь Веймар сидит без денег. Нам наверняка не стать богатыми, и ладно, нам это не нужно, мы об этом не думаем. Часто, когда у нас лопается терпение, мы относим это на счет безденежья. На самом деле причина – внутри нас самих. Тревога гасится работой – это своего рода бегство от внутреннего беспокойства.

Для простоты дела Гропиус упразднил все ученые титулы. Педагоги – мастера, студенты – подмастерья. Файнингер считал, что обращение студента к профессору, начинающееся со слова «мастер», претенциозно, «профессор» – привычнее. Франц Марк заявил, что он ощущает себя полным идиотом хоть с титулом профессора, хоть с титулом мастера. После долгих споров порядок был смягчен, и мы могли обращаться к учителям как угодно.

«Обитатели гетто обязаны приветствовать снятием головного убора любого, кто принадлежит к управлению лагеря, к охране SS и к управляющей жандармерии. Женщины должны кланяться. Таким же образом следует приветствовать любое лицо, носящее немецкий мундир. При обращении следует принимать вид

провинившегося».

Это-то как сюда попало?

Анниляйн, можно было бы многое сказать о нынешнем лице Баухауза. Об отношении к нам. Мы, евреи, благодаря или вопреки всему, должны сами создавать для себя те условия, на которые претендуем, в которых нуждаемся. Есть ли у тебя на это силы? Думаю, ты в любом случае должна приехать.

На нас накатили бочку. Якобы мы, студенты чуждой расы, верховодим в Баухаузе, из-за нас бедных арийцев лишили стипендий, льготного питания и мастерских.

17 евреев потеснили 200 студентов-арийцев.

В местной газете появилась разгромная статья про Баухауз, опять же «притесняющий» Академию художеств, где «расцветает искусство на национальной почве, искреннее и радостное. Академия – гордость города Гёте, Баухауз должен немедленно прекратить атаки на национальную святыню».

По стеклу расползаются змейками капли дождя. Красиво, кстати. Но такого рода картины Франца уже не трогают. Одни интерьеры и мебель. И еще лампы. Освещение. Квартира – это театр, где свет играет важную роль…

В окне отражается профиль с дымящейся сигаретой в руке. Франц недоволен мной, я его злю. Я не хочу переделывать приглашение на вечер певицы Эмми Хейм.

Франц, не сердись, пожалуйста, я прочла программу. Эмми Хейм. Малер. «Песни мертвых детей». Темень, буквы взвились… В «Эмми Хейм» высокое «И» выглядит как верстовой столб. «Приди, о сладкая смерть, побудь со мной…»

Не пой!

И тогда Франц говорит, что он влюблен в Эмми, в ее голос, что она зрелая личность и что жена должна быть старше мужа.

Оказывается, он дважды ездил к Паулю Клее в Швейцарию, в июле и совсем недавно, в октябре. Чтобы купить у него рисунки в подарок финскому певцу Линдбергу, тому самому, которого мы слышали в Вене. Линдберг пригласил его на концерт, где выступал вместе с Эмми…

Ты ездил к моему любимому художнику?! И ничего не сказал? А какие рисунки? У тебя фотографии есть? Но ведь это бешеные деньги, тебе Эмми дала? Она богатая?

Ну что мне делать, что? Вылить тушь на приглашение?

«Я в эту грозу, в этот бурный поток детей никогда б не пустил за порог», – поет Эмми Хейм. Голос проникает в поры, мурашками разбегается по коже…

Меня охватывает огромный страх перед одиночеством, полным одиночеством… Полезное, поучительное время – прямо по пословице: «видит око, да зуб неймет». Дай мне Бог преодолеть этот период… Ну все, моя родная, кончаю ныть.

Рождественские торги. Я со своим маленьким самодельным театриком устроилась неподалеку от елки. Дети окружили меня кольцом. Мои марионетки послушны. Поклонись детям, сними шляпу, видите, как он вспотел, ну-ка вытри лысину платком, положи платок на место, нет, ну зачем же ты его скомкал, расправь, сложи аккуратно… «А можно я, а можно я?» – просят дети, и я разрешаю тянуть за веревочки – но не разом, по очереди…

Кто дергает за нитки?

5. Тройственный союз

Во сне является Учитель с чертополохом в руке: «Я был тронут, как чертополох был тронут…»

«Текст книги набран буквами, но именно пустота между ними составляет суть книги». Такую вот своеобразную инструкцию выдал мне Иттен для оформления главы «Анализ старых мастеров». Как ей следовать?

Спасибо Бобу Фрейхану, он привез мне в Веймар коллекцию образцов. Шрифты со старым письмом и миниатюрами, как это делалось в старину. Теперь таким образом делаются статьи Иттена для «Утопии».

Приезжай поскорей! Ты ведь здорово в этом смыслишь! Эта работа тебя бы невероятно обогатила, здесь это может стать тем твоим делом, которое будет приносить тебе удовлетворение.

Дорогая, любимая!

Вот уже две недели, как я набираю статью Иттена – это обессиливает, возвращаюсь из типографии никакая. Как будущей великой специалистке книгоиздательского дела, преподношу тебе первые оттиски, с посвящением.

Почему я не писала? От изнеможения, ожидания и 1000 других вещей.

Дорогая, от Франца я не слышала ни звука, и его планы мне неизвестны. Ты, само собой, можешь жить у меня, сколько захочешь. Стефан, вероятно, какое-то время будет здесь; вы с ним должны были бы это спланировать.

Иттен только что был по поводу Маздазнана в Лейпциге, провожал жену и, вероятно, из-за этого о многом забыл.

Дорогая, купи себе срочно «Опыты» Эмерсона. Смотри, что он пишет: «Итак, поставь себе на службу все, что называют судьбой. Большинство людей играют с ней в азартную игру, и с каждым поворотом ее колеса кто-то приобретает все на свете, а кто-то все теряет, но ты научись считать эти приобретения незаконными и не стремись к ним, ты отдайся служению Делу и Пользе, этим канцлерам Всевышнего. Отдайся Воле, трудись, приобретай, и ты сумеешь сковать движение колеса Случая и не будешь страшиться нового его поворота».

Движение колеса Случая… Как сковать его? Почему меня так волнует этот, в общем и целом, банальный образ?

Через 2 дня. Сегодня я набрала шесть иттеновских страниц. Выходит не очень хорошо, но все еще можно будет изменить. Квартире так подходят твои кружева, она выглядит поистине чудесно. Я очень устала, руки и ноги болят из-за печатания. Еще 10 страниц, и я у тебя.

«В бездуховные времена возникает хаос, когда знание и творческая сила теряют ФОРМУ. Сознание ищет все глубже, стремясь добыть ясность».

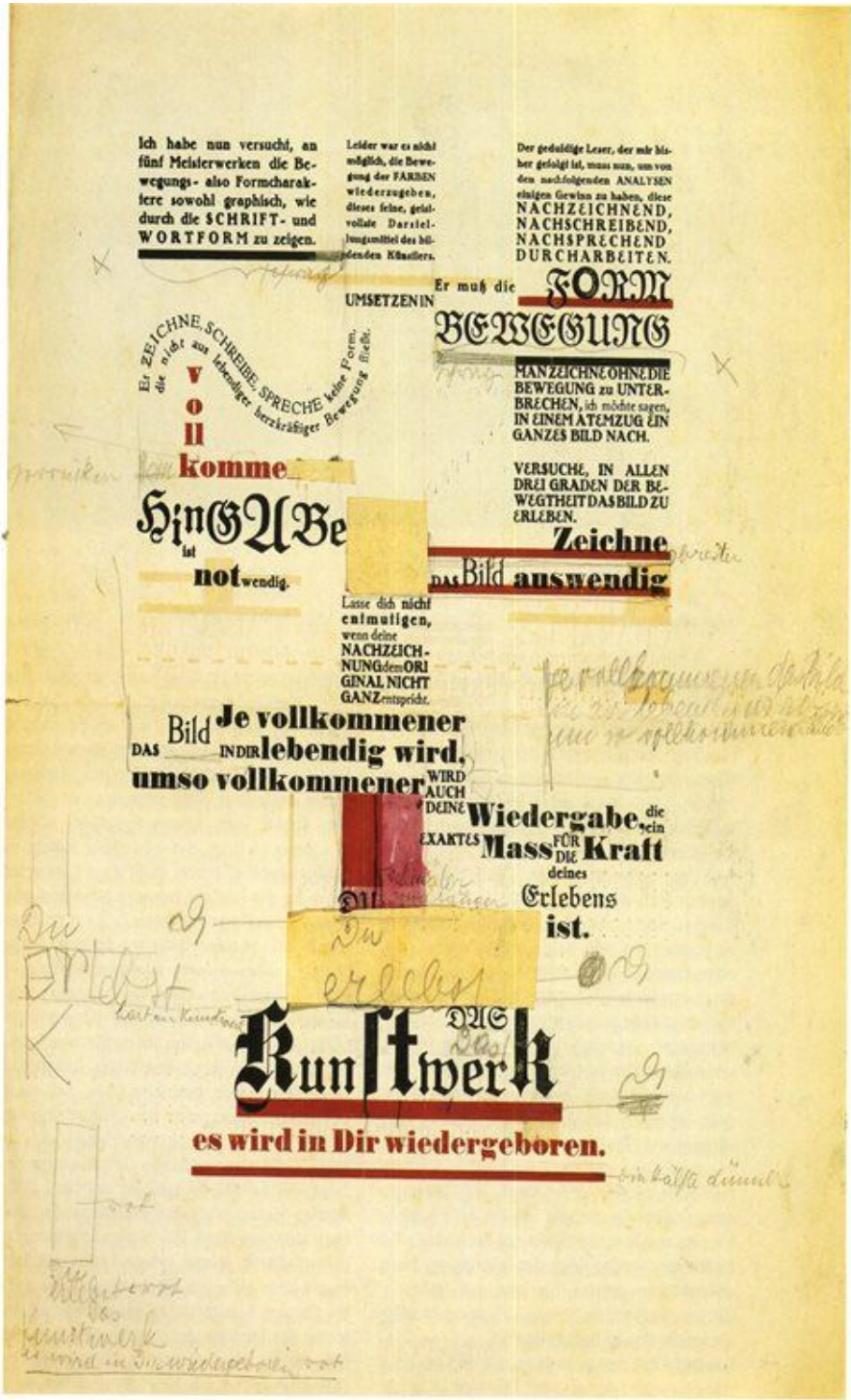
Мое сознание уже ничего не ищет. От кропотливой работы слезятся глаза.

Запрокинь голову! – Стефан стоит надо мной с каплями и пипеткой. – Все! Теперь дыши по системе маэстро…

В его устах все звучит как пародия. Даже Иттен. Он читает мне вслух «Утопию» с местечковым еврейским акцентом, и я покатываюсь со смеху.

«Мы впитываем все знания, так как мы опоздали, потеряли себя в мире…» Но есть надежда на выздоровление, просветление, ибо «пока еще люди не превратились в зверей и машины. Чтобы этого не произошло, им будет подарено пробуждение: искорка вспыхивает… стремление к реальности загорается, пламя выбивается наружу, пробивает сферы условности, и в свете, который светит сюда от Господа, лежит реальный мир. Тут колеблется сущее, и замерзшее плавится в пламени Утопии…»

И с чего Иттен взял, что людям будет подарено пробуждение?! У нас пока еще никто не проснулся. Кроме господина Кафки. Люди, у которых нет чувства юмора, беспробудны. А как тебе нравится такая сентенция? «…Жизнь – это самая современная современность, но задача ее – Вневременность…» Все очень серьезно. А такая реклама собственной книги? «Эта книга не более чем ставит вопросы, но зато ставит эти вопросы правильно…»



Тогда назови хоть одного философа с чувством юмора. Пожалуйста – Платон. И вот это, конечно же, очень

впечатляет: «В бездуховные времена возникает такая смута, что знание и творческая сила теряют ФОРМУ. …В этой ситуации нет места эстетическому украшению жизни, проголодавшейся телом и душой. Здесь, посреди струящегося и летящего песка этой вихревой современности, должен быть заложен фундамент…»

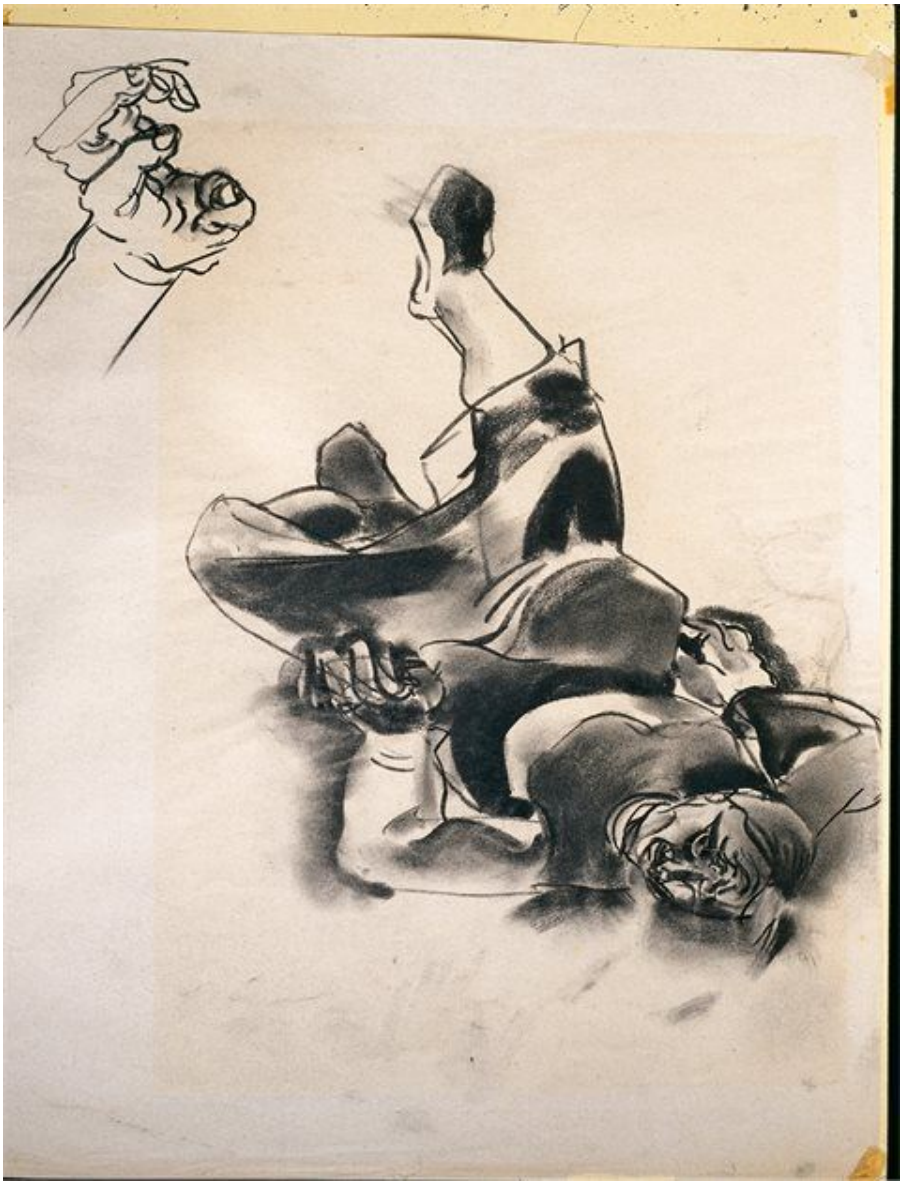
Все, любовь моя, я голоден телом и душой. До того как мы с тобой заляжем в фундамент, следует перекусить!

Ночное кафе на веймарском вокзале.

Я уплетаю за обе щеки – до чего приятно есть досыта. Я исхудала, на мне бордовое платье по фигуре – подарок Гизелы, в разрезе у ключиц овальная брошь собственного изготовления.

Представь себе, Фридл, большой симфонический оркестр, публика ждет «Патетическую», и тут на сцену выбегает маленький человечек, взмахивает палочкой – и мы слышим тоненькое: цитравелли цитравелли трик транк тро… Смешно, да не очень.

«Вечера Баухауза» отняли у меня Франца. Хотя он рядом, он никуда не делся, просто он уже не является частью меня. Его место занял Стефан Вольпе. Девятнадцатилетний композитор, ученик Бузони. Музыка, музыка, музыка!



Стефан принадлежит к числу самых чудесных, своеобразных и сильных личностей. …И когда я задумываюсь о том, кто вообще за последнее время вошел в мою душу, то это только он. Мы много спорим, Стефан все еще страдает от своей берлинской недоверчивости, но от нее не так-то просто освободиться. Я разучиваю одну его песню, мне она очень нравится.

В желтых цветах висит,
Пестрея шиповником,
В озере берег.

И милый лебедь,
Пьян поцелуем,
Голову клонит
В священно-трезвую воду.

Горе мне, горе, где же найду я
Горькой зимою цвет? Где найду
Солнечный луч
И тени земли?
Стены стоят
Хладны и немы.
Стонет ветер,
И дребезжат флюгера.

Еще мы поем Баха и Моцарта. …Стефан – сплошная красота, он неслыханно чист душой… Я очень хотела бы, чтоб он приехал в Вену к нашим людям, к Шёнбергу.

Я рисую, а Стефан сидит тихонько в углу и что-то сочиняет, и все, что сочиняет, посвящает мне. «Пой многократно! И с каждым разом звучание будет все чище, все прекрасней! Фридл, ты так одарена музыкально! 4 сентября, 1920 года». «Фридл, наипросветленнейшей из всех. 29 сентября 1920 года». Четыре адажио для фортепиано, песня на стихи Гёльдерлина – все мне!

Фридл, муза моя, при-чуда при-роды. Как верный пес, я улавливаю все перепады твоих настроений. Вот ты грустна – и я несу в зубах промокашку, сейчас из глаз твоих брызнут слезы, и я утру их.

Из моих глаз не брызнут слезы.

Тогда утру улыбку. Вот ты и сияешь! Я знаю, ты рисуешь в уме. В прищуренных глазах – сухой блеск, губы поджаты… Если бы ты видела себя в эти мгновения! Нет! Я не хочу, чтобы ты превратилась в цветок, оставайся женщиной, к которой я питаю вполне изъяснимые чувства.

Стефан поет мои рисунки, а я хохочу. Невозможно так рисовать, прекрати, пожалуйста, сядь ровно!

Я комкаю рисунок – и в ведро. Стефан вынимает из ведра свой портрет. Он готов войти в историю и в скомканном виде.

1000 вещей хотела тебе написать, но, прервавшись на какое-то время, уже не в состоянии вспомнить, что это было. Я работаю над литографиями.

Люди здесь совсем очумели: режим работы мастерских постоянно меняется. Еще эта свинская академия! Только что была выставка с экскурсией.

Ты спрашиваешь, что я делаю? …Непристойным образом пишу тебе во время урока. Передо мной обнаженная. Умнее всего было бы, наверное, тебе тоже на одну-две недели приехать в Берлин. У Стефана много покровителей, причем настоящих. Они, может быть, дадут тебе денег, чтобы ты наконец стала самостоятельной. Я тоже хочу в Берлин. Меня приглашала госпожа Шломан, я узнаю, возможно ли. Пока, напиши мне поскорей. Я сейчас охвачена желанием ткать, после напишу еще одно письмишко.

Макс и Стефан мне все уши прожужжали госпожой Шломан. Оказывается, в Берлине живет дама, которая заботится о молодых дарованиях. Да, забыла сказать, что Стефана привез в Баухауз Макс Бронштейн, в будущем знаменитый израильский художник Мордехай Ардон. Он доживет в Иерусалиме до глубокой старости. Похоже, мы все были запрограммированы на долголетие.

Я доживу до 100 лет, к сожалению, я это чувствую. Временами, когда я осознаю или вижу себя такой, какой мне хотелось бы быть, во мне зарождается большая надежда.

Ладно, не дожила до ста лет, не успела стать собой, почему меня не оставляет эгоистическая детская обида? Вместе со мной не стало стольких людей, и бездарных, и талантливых, и гениальных. Надо быть добрей и радоваться за тех, кому удалось осуществиться. Например, Максу и Стефану! Эта магма из пылающего вулкана однажды материализовалась в моей веймарской квартире. Макс старше меня, Стефан младше. В Баухауз они были заброшены по наводке госпожи Шломан.

Макс – мальчик из штетла, весельчак и болтун. Сыплет анекдотами, говорит притчами, привирает на каждом шагу. Например, в его рассказ о том, как его приютила госпожа Шломан, особенно после того, как я познакомилась с ней лично, трудно поверить.

«Я приехал в Берлин из Польши с несколькими друзьями и пошел с ними в музей. Я родился в маленьком городке, скорее даже деревне, и, оказавшись впервые в музее, пришел в экстаз. Внезапно я увидел женщину в черной вуали, она стояла и слушала мои объяснения. Может, из полиции? Она подошла ко мне поближе и спросила: “Кто вы? Студент?” – “Да, я студент”. – “Вы изучаете искусство?” Она дала мне карточку: “Шломан, Далем, Паркштрассе, 96” – и сказала: “Приходите ко мне”. Примерно через месяц я приехал в Далем. Это был очень богатый район. Госпожа Шломан вышла ко мне и сказала: “Вы долго себя заставляете ждать. Чем вы занимаетесь?” – “Рисую”. – “Я хочу видеть ваши рисунки”. На другой день я пришел с рисунками, и

тут из подвала вышел Стефан и сказал: “Шломан мне о вас рассказывала”. Короче, она написала письмо в Баухауз, думаю, Паулю Клее, и так я стал студентом. Мы сдружились со Стефаном, который жил у Шломанов в подвале. Подвал стал мне родным домом. Шломан была замечательной женщиной. Она привечала у себя бездомных художников, мы оба стали ее детьми. У нее был сын, но мы были ей куда ближе».

Госпожа Шломан была доброй, однако бессребреницей я бы ее не назвала. Она держала довольно дорогой пансион, но бедным художникам всегда делала скидку.

В 34-м году нацисты обшмонали ее квартиру и конфисковали все вещи Стефана, который в то время был в Ленинграде… Нет, это отдельная история, оставим на потом.

Клее позвал Стефана играть с ним Баха. Завидев рояль, Стефан бросился к нему, взял несколько аккордов, но тут же забыл про Баха и стал сочинять музыку на ходу. Он так разошелся, что сломал инструмент. У него был свой проверенный способ рвать струны. Они болтались по сторонам, как кишки.

То же происходит и со мной, стоит мне войти в раж – бумага летит во все стороны, крошится уголь…

Стефан с Максом влюбились в Иттена, как когда-то я, и внимали каждому его слову. Макс рассказывал об этом в старости.

«Мы стали тройственным союзом – я, Стефан и Фридл. Стефан не учился в Баухаузе, но в нашем сообществе подмастерьев он был одной из самых ярких личностей. Попробовал заниматься живописью, делать какие-то рисунки. Не помню, были ли они хороши. Скорее он развлекался. Его способом выражения была музыка. Он играл в Баухаузе еще и потому, что Клее был замечательным скрипачом и очень интересовался современной музыкой. С Фридл у нас была другая связь, через Иттена. Я стал его учеником в 1920 году. Он был настоящим фокусником, магом-освободителем.

“Мы хотим нарисовать тигра, но с чего начать?” – “Прежде всего, зарычать по-тигриному. Рычите!” Мы рычим. Минута – и тигр готов. Иттен вызывал в нас быструю реакцию, то бишь будил в нас тигра. Такой подход был очень близок Стефану. Все остальные мастера, даже Клее, относились к методу Иттена с подозрением».

Ничего подобного. И Кандинский, и Файнингер, которые как художники были на голову выше Иттена, к Иттену относились с большим почтением. Клее ходил на его занятия, описывал их. В своих «Педагогических опытах» он опирался на «Вводный курс», а местами попросту его переписывал.

«Пройдясь туда-сюда, Иттен останавливается перед мольбертом, на котором укреплена чертежная доска с бумагой для набросков. Берет кусок угля, все тело его напрягается, будто по нему пробегает заряд энергии. Раз-два – и на листе возникают две с силой проведенные параллельные линии.

Он просит студентов повторить за ним это упражнение и затем, отбивая такт, встать и, подчиняясь ритму, сделать упражнение снова. Это напоминает массаж тела для того, чтобы подготовить телесную машину к более тонким действиям. Подобным же образом он предлагает повторить те же манипуляции с другими элементарными формами. …А теперь он говорит о ветре и просит некоторых встать и выразить свои ощущения ветра и бури. После чего дает задание изобразить шторм. На все отводится минут десять, после чего следует критический разбор. Тема бури продолжается. Один за другим листы бумаги срываются и летят на пол. Энергичное действо! В конце концов все утомляются, и он велит студентам продолжить работу дома…»

«Иттен был очень странным. Вегетарианец, приверженец секты Маздазнан. И все мы стали маздазнановцами и вегетарианцами, Стефан тоже. Он ходил на собеседования к Гертруде Грюнов, пожилой баухаузовской ткачихе и психологу по совместительству. Я ее не очень-то понимал. Однажды она сказала мне: “Заходите, Бронштейн. Боюсь, что вам нужно как следует подумать о себе. Остерегайтесь зеленого цвета, в нем таится опасность. И воды тоже”».

Старая дева, в черной шляпке с фазаньим пером, в платье тигровой расцветки, с большой золотой брошью на шее и тяжелым взглядом проницательных глаз, преподавала у нас «гармонизацию». Все то же – единство музыки, цвета и формы, постигаемое в процессе медитации, без этого у нас никуда! Правда, у нее еще была половая идея: мужчины в своем развитии – самораскрытии – устремлены вверх (бабочки), женщины упаковывают себя – это куколки – и припадают к земле. Если бы я действительно дожила до ста лет, то и тогда не смогла бы переварить все идеи про жизнь и искусство, которыми перебродил Баухауз.

Кроме того, что Гертруда играла на рояле и ткала гармонические гобелены, она еще была нашим наставником-психологом. Меня она тоже вызвала к себе. Ее беспокойство было вызвано образами тотемов на моих литографиях. Памятуя фаюмца, на которого я обрушила поток бессознательного, вследствие чего потеряла невинность, о чем не жалею, – с госпожой Грюнов я молчала как партизан.

Ее изучающий взгляд мне вспомнится в кабинете следователя, хотя это и несправедливо – у госпожи Грюнов были самые добрые намерения, чего не скажешь о следователе из венской тюрьмы. Он у меня написан один к одному в картине «Допрос». К тому же изучающий взгляд присущ всем художникам, пристреливающимся к натуре. Ее же взгляд прилипал к лицу, хотелось отодрать его от себя, как маску.

Госпожа Грюнов не желала отпускать меня без психологической помощи. «Не вызван ли мой выбор мрачно-визионерских образов детскими комплексами или травмой, полученной при рождении?» – спросила она напрямую.

Скорее уж травмой, полученной при смерти.

Фройляйн Дикер, вы боитесь смерти?

«Мы со Стефаном преклонялись перед Фридл. Она была гением, вне всякого сомнения, она была великой».

Хорошо, что Макс прервал меня на полуслове, да еще такими словами, которых я в жизни от него не слышала. Иначе я бы ляпнула госпоже Грюнов, что она-то помрет в свое время, летом 1944 года, глубокой старухой, в своей собственной постели… Тогда как я…

Дорогая! Любимая!
Стефан болеет. Сильные головные боли, полное изможденье.

Ничего не ест, что съедает, тотчас выдает, врет, что ел, и т.д. Хорошо, что приехал Фрейхан. Иначе, при нашем безденежье, дело было бы действительно дрянь. Теперь мы откармливаем Стефана. Сегодня он обещал встать. Он хочет жить не дома и один. Но об этом нечего думать. Он нуждается в уходе и внимании не меньше, а даже больше, нежели дома. В попытке навести порядок он устраивает «мамаево побоище»; пыль и прочее, кругом потоп. А от его кулинарного искусства храни господь.

Фрейхан молод (хотя у него тоже нелады с пищеварением), честен, одухотворен, силен, сверхобразован; при всем при том замкнут и очень горд собой. Надо медленно и осторожно убирать все перекосы. Сейчас Стефан, который влюблен в меня безоглядно и до такой степени, что большего желать невозможно, – берет его приступом, пытается хоть как-то на него воздействовать.

Сам Стефан – сплошное счастье. Возле него человеку хочется открыться и, возможно, даже прийти к «настоящей» жизни. Его поведение подчас шокирует, но перед такой лучезарной душой не способна устоять никакая придирчивость. Какие бы барьеры ни воздвигал Фрейхан между Стефаном и собой, сколько бы ни критиковал его, тот по отношению к нему неизменно деликатен и мил. С каким уважением Стефан к нему относится, трудно описать. Доброта его непостижима, а сила духа достойна восхищения. Разумеется, природа накинула на него вуаль чего-то такого, что некоторым внушает ужас. Должно быть, это сияние видно пока еще немногим. 25 августа ему будет всего 19. Нужно было бы писать о нем часами. Какое счастье, что теперь вы будете проводить много времени вместе. Он собирается остаться здесь на сентябрь.

Кроме этого, о Веймаре мало что можно сообщить. В Баухаузе должно произойти много изменений к лучшему; это просто необходимо.

Я читаю Стефану письма Анни, и он уже ждет не дождется ее приезда. Он полагает, что сможет оказать на нее благотворное влияние. Судя по письмам, она слишком зависима. А наиболее значительное происходит с человеком именно тогда, когда он растворяется в себе, атомизируется. Стефан молод и со всей горячностью бросается на помощь, ему так хочется, чтобы всем было хорошо.

Осчастливить другого, хотеть ему помочь – это тяжелое колдовство и магия тщеславия. Если я когда-нибудь буду исцелена от этого, то буду лишена всяческих желаний и испытаю полное счастье и покой, который я испытывала эти 4 недели, впервые за 23 года и 3 месяца. Это было так непривычно, так странно. Большой город скорее дает возможность одиночества, чем

провинция, здесь с большей легкостью можно спастись бегством и от человека, и от идеи фикс, нежели там, где люди предоставлены друг другу… Я бурлю, бурлю, бурлю… Но это хорошо, ведь когда-то и это пройдет.

6. Пауль Клее

Недавно Иттен был в Мюнхене, и мы полюбопытствовали, как прошла его встреча с Клее, о чем они говорили.

Ни о чем. Клее несколько часов кряду играл Баха, после чего крепкое рукопожатие – и адьё.

С семьей Клее Иттена связывают давние узы. Будучи восемнадцатилетним, он посещал педагогический семинар в Хофвиле, неподалеку он Берна, его вел профессор Ганс Клее, отец Пауля.

Импозантный старик с огромной бородой читал лекции о Бахе. «Влияет ли музыка на современное искусство? – спросил я его, и он ответил: – Конечно! Эта общность подтверждается уже не словами, а самими работами: посмотрите на творения Кандинского – в них звучит музыка».

Так в Хофвиле я встретил своего духовного отца.

Иттену родственников не занимать, и все духовные: дедушка Лао-цзы, праотец Ахура Мазда… Разве что жена земная, тихая, милая докторша.

Музыка, музыка, музыка!

Под стефановское пение я выклеиваю текст клеевской эпитафии: «Я неуловим в имманентности, ибо нахожусь как среди умерших, так и среди еще не родившихся».

Я впервые заплакала в 1940 году, когда узнала, что умер Клее. Свою последнюю работу в Терезине – слоистую акварель с бирюзовой начинкой – я посвятила ему.

Наверное, никто из современных художников не повлиял на меня так, как Клее. Именно он обратил мое внимание на детские рисунки. После занятий я иногда провожала его до дому, мы спускались по тропинке к широкому лугу, пересекали его в направлении летнего домика Гёте, взбирались на холм и оказывались на Роговой улице. Семья Клее занимала первый этаж роскошного особняка, летними вечерами мы собирались у них в саду за большим столом. Его жена была пианисткой, а сын-подросток, подававший и не оправдавший надежды отца художник, занимался у Иттена. Клее читал нам свои «зрительные» стихи. Помню такое:

Есть две горы, на которых светло и ясно, –
Гора зверей и гора богов.
Но между ними лежит сумеречная долина людей.
Когда кто-нибудь взглянет вверх,
Его охватывает вещая неутолимая тоска,

Его, который знает, что он не знает,
По тем, кто не знает, что они не знают,
И по тем, кто знает, что они знают.

В те годы среди художников было принято выражаться пространно, воспевать неуловимое. Я тоже этим грешила. И опять же бесконечные разговоры про музыку и искусство.

«Цвета не играют одноголосных партий… скорее они образуют трехголосные аккорды. Искусство не передает только видимое, а делает зримым тайно постигнутое».

Наши Мастера были виртуозами, и каждый по-своему «делал зримым тайно постигнутое». Шлеммер, штутгартский однокашник Иттена, вращал вокруг оси «элементарные формы», и те, обретая объем, срывались с листа в пропасть трехмерности; Кандинский отслеживал траектории движения цветоформ; Франц Марк с помощью призмы расслаивал мир на многогранники; Пауль Клее «переносил» наскальные изображения – архетипы детства и древности – в небесные выси акварели.

Клее, разыгрывающий свои рисунки на скрипке и рисующий картины смычком, мало смыслил в технологии производства. Гропиус вверил ему руководство переплетным цехом; прессовальная машина вышла из строя. Тогда он перевел Клее в мастерскую по росписи стекла, где, кроме самого стекла, ломать было нечего.

Должность – дело временное. Где бы Клее ни преподавал, все сводилось к универсалиям – полифонии цвета, аккордам и партитурам, сложенным из чистых цветов. Сравнение музыкальных тональностей с цветовыми гаммами и оттенков звучания с оттенками цветовой палитры было не столько красивой метафорой, сколько принципом его работы. Клее интересовали тоновые возможности цвета, особенно красного, коричневого и зеленого, и спектр чистых цветов, их способность гармонировать и контрастировать друг с другом – так же как сочетания звуков, они могут создавать гармонию или контраст.

Само по себе рисование – это не труд, а волшебное путешествие по многослойному миру.

…Он глубок, весел, загадочен… Клее устанавливает свои, одному ему понятные взаимосвязи между отдельными частями – будь то земля, небо, название картины или изображенное на ней. Он… математик, имеющий дело не с цифрами, но с величинами и связями между ними.

7. Пробуждение

Руки замешивают гипс в ведре, он быстро схватывается, густеет. Я укутываю глиняную скульптуру в белое одеяло. Разнимаю черновую форму, протираю полости, складываю вместе, затягиваю проволокой так, чтобы на месте швов не осталось ни единого зазора, вливаю из поддона расплавленный воск, получаю оттиск.

Процесс формовки! При взаимодействии с водой у гипса подскакивает температура. И я, как гипс, схватываюсь быстро, к вискам приливает кровь – идет реакция.

В ушах – голос Эмми, в глазах – ее огромный живот, растущий из подвздошья, ниспадающие складки платья… Не пойди я на концерт, может, не испытала бы я такой жгучей ненависти к Эмми и ее будущему ребенку?

Телеграфистка отбила текст: «Фридл Дикер и Франц Зингер приглашаются в качестве художников-постановщиков одноактной пьесы Августа Штрамма “Пробуждение”. Премьера состоится в Берлинском театре 15 марта 1921 года».

Мы провели ночь в дрезденской гостинице и теперь, разморенные и невыспавшиеся, идем на встречу к режиссеру Бертольду Фиртелю. Солнце гонит снег с дороги, топит его в своих лучах. Судьба вновь свела нас. Не об этом ли пьеса?

В ней два пласта, – объясняет нам кряжистый, громогласный Фиртель, – сознание и подсознание. Полагаю, вы знакомы с творчеством Штрамма. Штурмовец, поэт, вояка. Погиб от русской пули осенью 15 года. В чине капитана. Вы, господин Зингер, как мне известно, тоже нюхнули пороху. Пока фройляйн Дикер училась фотографировать да прясть – все про вас вызнал, – вы сражались, получили ранение, были комиссованы. Верно? Было так?

Дом Фиртеля. Большая гостиная, широкая лестница ведет на второй этаж. Там в одной из комнат прячется от вечных визитеров жена Фиртеля, Саломея, знаменитая актриса Салка. Мы сидим в «закутке для куряк», откуда дым не просачивается в верхние комнаты. На столе – машинописные копии пьесы с пометками Фиртеля, поэтические сборнички Штрамма, изданные «Штурмом».

«Из всех углов скрежещет жуть желаний / Жизнь / Гонит / Пред / Собой / Кнутом / Удушливую смерть…»

Голос Фиртеля взвивается, скрипит дверь наверху. В то время как он читает: «Камни кровожадны / Окна горят изменой / Деревья – удавки / Горы чреваты грохотом / Гулкой / Гибели», –

Салка, одетая во все красное, неслышно спускается по лестнице и на «гулкой гибели» опускает ладонь на плечо мужа.

Фиртель очень мил, ужасно нервен, если бы он успокоился, это было бы чем-то сверхъестественным. Позавчера у него был литературный вечер; я, к сожалению, болела, а Франц был и вернулся в полном восторге. Салка 3 дня назад сыграла Медею. Она великая актриса, а человек просто невероятный, мягкая, трудолюбивая, блистательная.

Мне рекомендовал вас Шлеммер. Сказал, что вы вдвоем способны создать умопомрачительную по объему сцену – симбиоз архитектуры и живописи. Берем быка за рога! Читаем пьесу! Это займет не больше часа.

Я вас оставлю, – сказала Салка. – Бертик мне ее уже дважды читал, очень впечатляет, поразительное сочетание абсурда и логики. «Медея» проще. Там все происходит наяву.

Фиртель приносит бутылку шнапса, хлеб, сало и соленые огурцы. За «Пробуждение»!

Думаю, это должны быть два яруса – «сознание и подсознание», между ними лестница – «состояние между сном и явью». Фиртель налил по второй.

Перенесем на сцену интерьер вашей квартиры, – смеется Франц. – Однако к вашему предложению стоит прислушаться. Образ, возникший спонтанно, как правило, верен. У нас с Фридл так и получается. Ей как стукнет в голову что-то ну совершенно нелогичное, я начинаю сопротивляться. Ищу другие пути. В результате прихожу к ее замыслу, только с черного хода.

Франц заливает. Мы никогда не работали вместе, разве что приглашение на концерт Эмми Хейм я выполнила по его заказу, да и то ему не понравилось.

Пьеса в одном акте, пять действующих лиц: *Он, Она, Оно, Хозяин, Работник.* Плюс неолицетворенные *Массы*. Это не массовка, а шумы: визг, скрежет, голоса.

Комната в гостинице. Две кровати рядом; напротив – двустворчатая дверь. На задней стене между высокими окнами – зеркало. Вещи и одежда разбросаны по стульям и тумбочке.

Только что мы там были. Платье на полу, белье под кроватью, вещи из саквояжа выброшены на пол – я искала заколку для волос.

ОН (берет ее за руку, нежно, но беспокойно). Ты чего проснулась?

ОНА проводит рукой по виску и волосам, влезает в шлепанцы.

ОН (быстро поднимаясь, резко). Что ты там высматриваешь?

Мне тоже что-то снилось, я вскочила с постели, выпила воды из крана. В комнате было душно. Я пыталась открыть окно, но

ручка не поворачивалась, и Франц спросонья выдрал ее с мясом из рамы. Мы так хохотали оба! Сумасшедшая ночь…

ОН (ворчливо). Здесь душно. Будем наконец разумны. (Идет к окну.)

ОНА хочет его остановить, но, обессиленная, подвигается к краю кровати и, склонившись над полом, глядит на пятно, где ОН стоял.

ОН (тянет занавеску и оборачивается). Ну и? Есть там что?

ОНА взглядывает в окно и плотнее закутывается в одеяло.

ОН (рука на ручке окна). Замерзла?

ОНА. Ночь влажна.

ОН (смущенно глядя). Мы здесь в безопасности. (Идет к ней, пытается уложить ее в постель.)

ОНА (сопротивляется). Нет! Нет!

ОН. Тебе что-то приснилось.

ОНА (неохотно и слабо). Я спала…

ОН (садится на кровать). Так давай спать дальше.

Спать? Мы должны что-то решить, срочно, с чем мы явимся к Фиртелю? Франц бреется, оттянув пальцем нос, очень смешно смотреть на мужчин во время бритья, они так сосредоточены.

ОНА (глядит в окно, без страха, с любопытством, утверждаясь в собственной правоте). Но все-таки что-то е с т ь!

ОН (недовольно). Ну что?! Что там должно быть?
ОНА (одержимо): Да… вот именно… где должно?.. (Глядит в

зеркало и поправляет волосы; в ужасе отшатывается.) О, как я выгляжу! Как я выгляжу!

Франц перед зеркалом, спрыскивает лицо одеколоном, шлепает ладонями по щекам. Я не вижу себя в зеркале, ростом не вышла. Франц приподымает меня за подмышки. Теперь вижу. Мятая кожа, нижние веки припухли. У нас есть десять минут? Лучший способ привести себя в порядок – лечь и положить на лицо полотенце, намоченное в холодной воде. Этому меня научила Шарлотта. Полотенце быстро нагревается. Может, у меня жар?

ОН (злясь). Оставь зеркало!

ОНА (прижимает ладони к вискам). Это не я.

ОН (становится перед ней и заслоняет зеркало). Так кто же?!

ОНА (повторяет). Да… кто…?

ОН (взрывается). Черт подери! (Сдерживает себя и топает ногой.) Ничто!!

ОНА (взирает на него в ужасе). Ничто! Ничто!

ОН (взяв себя в руки). Ты меня просто сводишь с ума! Твой бред…

ОНА отшатывается от него.

ОН (отпускает ее и беспомощно в ужасе глядит вокруг себя). Что? Что?

ОНА (утомленно). Ты меня душишь.

ОН (вне себя, бегает по комнате). Нет! Нет! Нет! (Стоит посреди комнаты.)

ОНА (с тупым упрямством). Открой окно.

ОН (колотит по окну кулаками). К черту! (Рвет на себя двумя руками ручку окна.) Да!!! (Окно грохается на него, стена между окнами проламывается, зеркало валится в комнату, разбиваясь.)

Я смотрю на Франца, тот спокойно слушает, словно это не про нас. Но ведь и действительно не про нас. Это пьеса Штрамма, 1914 года, а мы познакомились в 1917-м, у Иттена. Стену мы, разумеется, не проламывали. Но ручка!

ОН швыряет ручку в обломки и разражается диким хохотом.

И на Франца напал хохот…

ОНА (дрожа от ужаса). О! О! ты! ты! ты! ты! Ты страшен! страшен! Ты!

(Голоса, крики, шум снаружи и в доме.)

Дальше начинается несусветное. В дверь стучат, вламываются *Хозяин* и *Работник* с ломом, *Хозяин* требует денег. *Он* ложится в кровать и укрывается с головой, *Хозяин* в истерике вызывает полицию. Гром и молния. *Ей* кажется, что шумит река. *Он* отдает кошелек *Хозяину*, кошелек падает в пролом, на улице бушует чернь, *Она* думает, что бушует вода. Дикий крик и тишина.

Убийство! Убийство! *Она* умоляет его бежать, но тут врывается безумная *Масса*, *Он* выхватывает пистолет… и убивает *Ее* мужа.

Он говорит полицейскому, что *Она* – его жена, но *Масса* кричит: «Враки!» Пожар, горит ратуша. Народ неистовствует: «*Ее* муж умер, а *Она* смеется, он поджег город!» – «Это дьявол дьявол дьявол наши дети наши дети он дьявол дьявол. Приведите пастора!»

Ее сестра подводит к ней двоих детей, *Она* бросается им в ноги. Простите! …Небо горит, стены рушатся. Дети убегают от страха. Он умоляет *Ее* бежать, быстро. Все рушится, река вышла из берегов – все летит в тартарары.

Он говорит *Ее* сестре: «Твоя сестра пробудилась. Да, неожиданно пробудилась». Крыши в дыму, колокола и колокольчики, звезда вспыхивает… *Он* и *Она* медленно поворачиваются друг к другу, прижимаются, стоят, рука в руке, и пристально глядят на звезду. Пока еще не желтую.

По дороге в Веймар Франц спит на моем плече. Я не могу уснуть, не знаю, чем я больше взволнована – ночью, проведенной с ним, или историей про ручку, выдернутую из оконной рамы. Мы отдали ключ консьержу, ничего не сказав о поломке. Я не суеверна, но все же, если совпало начало, не совпадет ли конец, неужели мои дети испугаются меня и убегут, и этот пожар…

Цветоформы сновидений. Свет гуляет по ним, фонарь, как на тюремной вышке. Театр теней.

Франц, проснись, мне страшно!

Страшно? – Франц мгновенно просыпается и напяливает мне на голову свою клетчатую кепку. – А если так?

А так – смешно!

Стоит ли принимать жизнь всерьез? По мне, она того не стоит. Знаешь, почему Штрамма убили на войне? Потому что он принимал жизнь всерьез. А я не принимал – и меня комиссовали.

Дорогая Анни!

Я скотина и давно должна была написать. Теперь, сидя в Дрездене в кафе, ожидаю Франца, у которого заседание в театре, уже 9.30, у меня нет при себе никаких денег, так что я уже нервничаю, однако он придет до 12. Будут ставить «Пробуждение» и «Невесту мавра» Штрамма.

В Берлине, моя дорогая, Стефан делает все, чтоб раздобыть для тебя деньги. Не позволяй, дорогая, сторонним силам толкать тебя на решения, неважно, какого рода это воздействие – идущее изнутри вовне, как у Франца, или что-то уж совсем внешнее, как, например, отсутствие или наличие денег. Моя дорогая, золотая, твои пустота и отчаяние мне так знакомы; этой зимой ничего другого и не было.

Об одном лишь прошу я тебя. Никогда, никогда, никогда ты не должна чувствовать себя униженной, говорить себе: когда я поднимусь снова? Потому что ничто не может остановить твое движение, не дать тебе идти дальше, суть ведь не в высоте и глубине, а в том, чтобы выдерживать испытания.

8. Соломенная невеста

Каждый из нас находит те книги и сюжеты, которые ищет и в которых нуждается. Наш *сюжет* развивается в гуще идей и новых течений. Все кипит, пузырится, пенится, булькает, переливается через край.

Рациональность – вместо экспрессивности.

Объективность – вместо индивидуализма и субъективности.

Технология – вместо кустарщины.

Технология – вне традиций и классового сознания.

Машина – будильник пролетариата.

Конструктивизм – социализм мировосприятия.

Я – за все сразу. За всеобщность. За стирание границ. Но разве не стремление ко всеобщему вызывает рознь?

Моя Аннилайн!

Жизнь состоит не столько из лет, сколько из минут. Не пытайся сейчас ничего делать, поправляйся, а тем временем возникнут тысячи вещей, за которые ты сможешь взяться.

Здесь был провал за провалом, но завтра премьера; при этом наша работа такая тупая, что никакими словами не выразить.

Писала ли я уже тебе, что у нас теперь есть ателье для работы? Вчера мы осматривали маленький домик: дешевая аренда, много комнат… Театр теней все еще не готов. Гропиус ведет себя хуже некуда; чего еще от него ожидать? Здесь будет выставка Баухауза. Что тут будет? Думаю, это вопрос решенный.

Ты находишь, что я не должна была брать Франца в партнеры? Я и сама об этом думала, но если человеку так сильно хочется, и покамест это лишь месячная попытка. Ведь Франц такой добрый и порядочный.

Дни после премьеры довели нас до полного изнеможения. Ближайший план работы таков. Будут ставить пьесу Кайзера. Георг Гросс делает инсценировку. Тогда мы по крайней мере сможем подготовить другие вещи: еще что-то из Штрамма, «Вакханок», «Царя Иоанна». На мой вкус, это чересчур вычурно. Когда кожа истерта до такой степени, что сквозь нее видно, как течет кровь…

В субботу у меня первое занятие. Я боюсь. Мои отношения с людьми как-то разладились. Я променяла всех на одного человека и не хотела бы ничего иного, но тем не менее чувствую, что я бедна и ограниченна. Нет, в глубине души я счастлива, просто меня часто охватывает малодушие, почти единственная причина всех напастей.

Аннилайн! С тобою меня не покидает чувство, как перед

премьерой: чем хуже генеральная репетиция, тем лучше представление.

Мы слушали концерт Гореншейна. Очень грамотно, но мысль без таланта тоже никуда не годится.

Стефан заболел в Веймаре, я застряла в Лейпциге.

Дитя мое Анни! Пожалуйста, сходи ко мне домой, там в письменном столе ключ и, вероятно, паспорт – отошли мне его экспрессом по адресу: Лейпциг, отель Хауфе Росситрассе. Объясни там, что я уехала поневоле, надеясь, что в субботу вернусь, но от перенапряга у меня случилось кровотечение или что-то в этом роде, и я должна лежать…

Ты услышишь много забавного, когда я вернусь. Ах, если бы это уже было так! Здесь все бездарно; много усилий, и все безуспешны. Не сердись на меня, но я потеряла всякое терпение.

Аннилайн, я бы очень хотела знать, как у тебя идут дела, что ты делаешь в Веймаре и что там еще нового? Болен ли еще Стефан? Скажи ему, что он может пользоваться у меня всем, что найдет, пусть поставит в мастерской печку, ту, железную, и обогревает помещение, дрова и уголь в подвале. Если у вас нет денег, я что-нибудь пошлю, пусть купит уголь и дрова! Чтобы только не замерз! Я послала тебе уведомление на кредит на 5000 за счет переплетного цеха Баухауза; пожалуйста, плати за меня в Баухауз по 235 марок на счет цеха каменной скульптуры, остаток, думаю, более 100 марок, принадлежит тебе. Иттен, Клее и другие все еще там? И как все это теперь выглядит? Что делают Адлеры? Передавай всем от меня привет!

9. Полнолуние

Пока мы с Францем «пробуждались» в Лейпциге, в Баухауз прибыл «новатор» Лотар Шреер, дабы руководить сценической мастерской. Он штурмовец и тоже боготворит Штрамма. С нами он будет ставить свою пьесу «Лунная игра».

«Новаторство» Шреера состояло в возврате к истокам, но не к любимому гропиусовскому Средневековью, а к «формообразующим элементам древнегреческой трагедии». Театр как средство духовного очищения. Чистота форм и средств – базовые цвета, базовые движения. Сила слова – в звучании, звучание определяется чистотой произносимого звука. Эта пьеса из 346 строчек, по замыслу Шреера, изначально лишена всякого смысла и не рассчитана на понимание. На репетициях актерам нужно было «найти собственный голос», извлечь из него «внутренний звук».

По заданию Шреера я изваяла из гипса и папье-маше

высоченную «Марию на Луне». Это вполне уродливое воплощение «священного принципа Упорядоченного Космического Добра» стояло посреди сцены. Танцора, припадающего к ногам Марии (почему он должен быть танцором?), я сделала из картона. Шреер велел нарисовать на его лице глаз в виде луны.

Кругом одни луны – лунные Пьеро, лунные Марии, Маргит сделала литографическую серию лунных пейзажей, и в окне – полная луна.

Цах ве адом! Во мне зародилась новая жизнь, существо пока еще совсем крошечное, но уже такое требовательное! Этого не пей, того не ешь и ни в коем случае не дыши сигаретным дымом. Но если попросить Франца не курить в мастерской, он заподозрит неладное. Я стараюсь держаться подальше от дыма и скандалов. У меня свой план. Франц его вряд ли одобрит. Если Эмми узнает, она уйдет от Франца, как Маргит от Бруно. Чтобы этого не случилось, я уеду в Вену. Буду жить у Анни, в новой мастерской, зарабатывать переплетами, пока не придет срок родить.

Только бы поскорей сдать эскизы к «Соломенной невесте» – новая постановка пришлась совсем некстати. Опять безумный Штрамм, опять трехмерная конструкция. Опять история «от рассвета до заката». Только вместо интерьера – экстерьер. Не комната, но дом у реки и мост через всю сцену. Меняется освещение, меняется жизнь дома. Простая задача. Я бы справилась с ней и без Франца.

Уже готовы восход, раннее утро, солнце в зените, полдень, дело идет к вечеру. Черное солнце – кровавый закат, багряный дом, белый мост…

Почему солнце черное? – Франц склоняется над рисунком, и я осторожно отвожу от себя его руку с сигаретой. – Выглядит как затмение.

Ну и хорошо.

В пьесе этого нет.

В нашей пьесе Эмми Хейм тоже не было, но она возникла.

О чем это ты?

Я призналась. И получила ответ:

Какая из тебя мать, у тебя нет и инстинкта материнства!

Мне тяжело рассказывать подробности. Берлин, музеи, много работала со Стефаном, много с Фрейханом, много с Францем; мало была у Эмми. Ребенок мил и сладок неописуемо!

Я не написала Анни про рисунок, который в тот вечер буквально вырвался из-под пера, – «сладкий Биби» с вытаращенными от ужаса глазами сучит в воздухе ножками. Я не разорвала этот рисунок и тогда, когда Биби умер. Может, уничтожив его, я бы избавилась от изнуряющего чувства вины?

10. Трик транк тро

Я пробудилась в полном одиночестве и как бы неокончательно. Стены из необлицованного кирпича, прямые линии окон, кафельная печь в цветных изразцах, рядом с кроватью – фаянсовый умывальник с большим кувшином и медным тазом.

Не помню, что снилось, но явно не цветоформы между двумя мирами, соединенными лестницей. Те, кто помнит свои сны, связаны с реальностью куда плотней непомнящих. Проснувшись, я увидела себя лежащей поперек кровати с раскинутыми руками. Как на распятии. Как далека я от самой себя, даже эхо не возвращает моего голоса.

Проснулась!

На Маргит платье в обтяжку, цвета темной сирени, туфли на каблучке, и ей очень идет стрижка каре, прямые волосы вровень с мочкой уха, глаза, как рыбки, хлопают ресницами-плавниками…

Она мне все объяснила. Они с Хуго забрали меня из мастерской. Мне надо отлежаться, чтобы все обошлось без последствий.

Маргит поставила чайник на металлическую подставку, зажгла под ним фитиль – так он не остынет. Процокали каблучки, все стихло.

Я набрала номер Франца.

Оказывается, я закатила такой скандал, что потеряла сознание. – Слышала бы ты себя! Даже Эмми, которая обожает тебя, да-да, не смейся, была шокирована.

Чем же? Ты осмелился сказать Эмми про аборт?

С нее хватило того, что она услышала.

И что же она услышала?

Процитировать?

Да.

Что ты отказываешься работать за ее мужа. Что тебе надоели переплеты, обивки, карманы без клапанов, рукава без обшлагов, двубортные застежки и гардины! В конце ты сказала: «Ухожу, а вы спите на моем ободранном диване!» И рухнула у дверей. И тут являются Маргит с Хуго…

В последнее время я то и дело закатываю скандалы, и люди вообще не понимают, что это вдруг, что случилось?

Но ты ведь знаешь почему! Ты-то ведь знаешь!

Я бросила трубку и свалилась в постель.

Дорогая Анни!

Спасибо тебе за лекарства. Вчера мне сделали инъекцию

молока. И еще сделают две. Должна повыситься температура, но не повышается. Тем не менее я устала и разбита, как если бы температура была очень высокой.

Не могу тебе ничего написать. У меня есть желание жить. Знает Бог!

К черту всяческое предвидение и проницательность, это ведь все выдумки. Жалея всех вокруг, человек уничтожает больше, чем был бы в состоянии уничтожить из простой жестокости.

Мне, однако, лучше закругляться, а то перед тобой предстанет портрет какой-то фурии, в то время как я одновременно счастлива и несчастлива. Я знаю, что я не эгоистичнее прочих, но мое развитие слишком рано приняло определенную форму, я пребываю в страшном смятении из-за недавнего всплеска чувств, виной всему мой необузданный нрав, опостылевшее, мне уже самой ненавистное поведение.

И все же, и все же я была и есть честна; но честность эта абстрактна, она ни с чем не связывается, сплошной вздор – набраться мужества на маленькую ложь было бы куда симпатичней.

11. В Париже все дозволено

Стефан придумал увезти меня в Париж. Безотказная госпожа Шломан одолжила денег на дорогу.

Крохотный номер с большой кроватью, перед ней зеркало. Бедность потлива, терпкие духи, которыми опрыскивают номера, не способны убить стойкого запаха.

Приют для нищих любовников. Мы нищие, но не любовники. Лежим каждый в своем углу, пытаемся заснуть. Стефан утешает меня словами. Это не помогает.

Утро в Лувре. Надгробия этрусков. Веселые окаменевшие покойники с подъятыми вверх кубками возлежат по разные стороны.

Как мы с тобой, – смеется Стефан. – Что у них в кубках – вино или яд?

Стефан, смотри, это же прототип микеланджеловской гробницы Медичи. Тот же принцип стекающих, сползающих, возлежащих под углом к постаменту фигур! Его вдохновляли этруски!

Мы провели в Лувре весь день. Стефан радовался моей радостью, а когда пришло время уходить, предложил снять с музейных уборщиков униформы, остаться на ночь в музее, мыть полы у египтян, подметать у Рембрандта, чистить ковер у Вермеера…

Смотрители ходят по пятам, гасят свет в зале, который мы только что покинули, и таким образом деликатно, но настойчиво подгоняют нас к выходу.

Приходите завтра.

А если не будет завтра?

Вы знаете про девочку, которая всю жизнь мечтала попасть в Лувр? Она очень хорошо рисовала и однажды принесла мне сочинение под названием «Мое будущее». Я читала его в своем терезинском закутке, полтора на два метра, – предусмотрительная природа вовремя остановила мой рост, иначе в этот ящик я бы никак не уместилась, – и думала о Лувре, о веселом надгробии этрусков – так и следует принимать смерть.

Эта девочка мечтала увидеть своими глазами произведения искусства, памятники – все, что скрыто под словом «Париж».

»Это как бьющий гейзер. Читать Виктора Гюго, Эмиля Золя, смотреть картины Анри Руссо и Жоржа Сёра. Воображаю, как выхожу из подъезда де ля Эст и на ломаном французском спрашиваю дорогу до…»

А мы в этом «бьющем гейзере» слоняемся как потерянные.

Меня донимает голод. Кажется, в Терезине он мучил меня меньше, чем в Париже. При нашем безденежье мы можем позволить себе раз в день поесть в дешевом бистро, утром и вечером выпить кофе с булочкой. Стефан убеждает меня в том, что он сыт и всем доволен, но у витрин с лакомствами замедляет шаг.

Уедем отсюда, Стефан!

Погоди, обживемся…

Девочка обжилась за неделю: «Здесь, в Париже, все дозволено и никто ничему не удивляется. Лечу с лекции на лекцию, с выставки в музей, оттуда – в библиотеку. Мечтаю наверстать все, что упущено, и быстро двигаться дальше. А вот сейчас бегу с лекции в Сорбонне в Лувр, там я еще не была».

И вот она входит в Лувр, который мы только что покинули. «Потрясенная, долго стою перед полотнами Мастеров. Здесь Моне, Ван Гог, Руссо и – “Мона Лиза” Леонардо да Винчи. Какая красота! Не знаю, сколько я перед ней простояла, – минуту или час. Как все это в себя вобрать?!»

Одного дня и мне мало.

Завтра снова пойдем, – говорит Стефан.

Нужно было пожить рядом с ним хотя бы для того, чтобы научиться у него сохранять спокойствие и жить, учась у жизни.

«О боже, полвторого! Мне же надо быть в Академии художеств! Быстрей, быстрей, только бы не опоздать… Я не слышу профессора, который что-то там объясняет. Не знаю что. Вижу только Лувр. Радуюсь, когда кончается лекция. Ноги сами автоматически несут меня к Лувру. Совсем не ощущаю времени. Если бы женщина, которая сдает мне комнату, не совала мне еду под нос, я бы не ела. Учусь с утра до ночи. С языком никаких проблем. Пишу домой длинные письма… Открываю испуганно глаза. Я не в Париже, а в Терезине. Эту жестокую действительность я опишу когда-нибудь потом».

Да, когда-нибудь потом. Если достанет духу.

12. Берлин

Стефан служит мне и компартии. Сочиняет странную музыку, шумно-героическую, для хора рабочих, с ними проводит репетиции в замызганной столовке в пролетарском квартале Берлина. «Мы должны что-то делать для революции, а что-то для себя. Чтобы быть современными. А что значит быть современным? Служить компартии».

Вот уже два месяца, как я ни над чем не работаю, в редкие мгновения мне чудится, будто я узрела покой или даже услышала его. При этом я непрестанно ощущаю движение, свой путь, и, если прежде каждая вторая мысль была бессмысленность и смерть, теперь во мне появилось некое постоянство, и это снова заставляет верить во все хорошее. Стефан (я снова в Берлине) помогает мне, того не осознавая.

Надо было нам ехать не в Париж, а в Страну Советов, вот где бьет настойщий гейзер!

Весной 1933 года Стефан осуществил свою мечту, но без меня. Пробыл там почти полгода, сначала в Ленинграде, потом в Киеве, где ему предлагали работу дирижера. Однако срок его паспорта истекал, и ему пришлось вернуться в Берлин. Но ненадолго. Его новая подруга сумела вывезти его в Румынию, а оттуда в Палестину. Благодаря ей он и остался жив. Мы переписывались до 40-го года.

В этих потоках любви, которыми ты меня окатил, я совершенно утонула. Но теперь, к сожалению, придется вынырнуть, поскольку это не та стихия, в которой мне привычно жить.

Купи себе новую авторучку, не столь кусачую и брызгучую, чтоб не писала такими противными буквами, целую тебя, Ф.

Когда мы договорились встретиться? Сегодня или вчера? Я влетаю в кафе, Стефан здесь – значит, я ничего не перепутала. Мы обнимаемся, я глажу его по небритой щеке.

Ты какой-то уставший…

Видно, засиделся, – Стефан расчесывает руками волосы. – Я тут жду со вчерашнего дня, с полпятого, как договорились.

Какой ужас!

Никакого ужаса. Добрейший хозяин позволил остаться после закрытия. И так возникло новое произведение, – Стефан протягивает мне тетрадку, исписанную закорючками. – Я знал, что ты придешь.

У Стефана дела сейчас идут хорошо. Работает как одержимый, бодр и свеж, 1000 раз слава Богу.

13. Испытание

Франц сам не свой, у Биби болит животик.

Фридл, напиши жене Иттена, пусть посоветует, что делать!

Мы сидим на сцене друг против друга, вентилятор колышет цветные фильтры, пришпиленные к веревке, свет прожектора направлен Францу в спину. Тонкий профиль в контражуре, вечная сигарета, свисающая с нижней губы. Меня больше не тошнит от дыма, все прошло.

Я совершенно не способен мыслить творчески, – жалуется он. – Быть бы простым плотником… и довольствоваться этим.

Мой муж Павел, когда его уволят из бухгалтеров, станет плотником.

Мы оказались слабаками, нас всех раздавил Баухауз. Кроме тебя. Прежде у меня такого чувства не было, а теперь не могу от него избавиться. Такое одиночество…

А Эмми? А я?

Ты тоже перестала меня понимать. Ребенок – вот самое любимое мною создание, единственное в целом свете.

Что сказать на это?

Раньше говорила я, Франц молчал. Теперь говорит Франц – я молчу. Пишу письмо жене Иттена.

Многоуважаемая и любимая мной фрау Иттен!

Пожалуйста, разрешите мне через Анни спросить, должна ли я снова принести Вашу шубу или то, что с ней сталось. …Скажите ей также, пожалуйста, в чем дело с ребеночком, у него был сильный понос, он кричал и не ел, стал слабым и грустным. То, что с ним сейчас происходит, меня очень беспокоит, поскольку ему никак не могут помочь. Речь идет о маленьком бесконечно милом дитяти Зингера, и поскольку Флориану Адлеру, когда стали действовать по Вашим советам, стало лучше, то я очень надеюсь, что и этому ребеночку Вы сможете помочь.

У тебя есть ее адрес?

Нет, пошлем Анни, она передаст. Там еще история с шубой…

Надо скорей отправить, – говорит Франц.

Тогда зови рабочих с лестницей.

Зачем?

Свет ставить.

Я «ставлю» свет. Рабочие направляют лампы туда, куда я указываю. Франц удивлен: откуда мне известно, какие именно лампы и под каким именно углом их следует расположить?

Меня научили.

Кто ж тебя научил?

Рембрандт.

Рембрандт, – заливается Франц. Он смеется, я поджимаю губы.

Смех переходит в застывшую улыбку. Франц украдкой достает из нагрудного кармана фотографию Биби и целует ее. Обсессия любви.

Прошла неделя. У Биби уже не болит животик, и Франц в прекрасном расположении духа. Эмми на репетиции, а маленькое существо лежит нагишом на солнце, барахтается в горах подушек.

Ты только взгляни на это чудо! Как он внимателен ко всему, он чувствует каждую вещь! Как только все это умещается в таком крохотном сказочном животном! И так страшно, когда он болеет.

Чихнул! Не мокрый ли он? Ясное дело, насквозь…

Франц, не кури возле ребенка!

Вы с Эмми спелись, – смеется Франц.

Любить я буду тебя, а детей мне родит другая…

Все по сценарию.

14. Анна, Мария и Христос (Anna selbdritt)

Жужжит проектор, в луче света танцуют пылинки. Бритоголовый, мясистолицый Шлеммер вставляет в проектор пленку и гасит свет в мастерской. Перед нами возникает картина Джотто.

«Встреча Анны и Иоакима». Золотые ворота Иерусалима, лазурное небо, народ выходит из-под арки, впереди – Анна и Иоаким, старые бездетные евреи. Иоаким из колена Иудина, Анна из рода Ааронова. Они, жертвующие две трети своих доходов на Иерусалимский храм и на бедных, наконец дождались ангельского знамения – у них родится дочь и назовется Марией. Эту новость Анна нашептывает на ухо Иоакиму.

Джотто не рассказывает о том, как отчаявшийся Иоаким молился о чуде, – этот фрагмент есть у Босха. У Джотто и намека нет на то, как развернутся события.

Рождение Марии, ее жизнь в храме – излюбленная тема художников раннего Ренессанса. Марию выдают за старца Иосифа, она получает знамение от ангела. Благовещение. Рождение Христа. Католические ясли с ягнятами и волхвами. Ни один музей не смог бы вместить в себя всех шедевров мирового искусства, в которых фрагмент за фрагментом, в сотнях версий рассказывается эта история. Мы, художники нового времени, стремимся к синтезу. Помните, что спросил Никодим у Иисуса?

«Как может человек родиться, будучи стар? Неужели он может в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» И ответ: «Рожденное от плоти есть плоть, рожденное от духа есть дух». Стало быть, в «чудесном рождении» заложена идея реинкарнации…

Я слушаю Шлеммера, и перед глазами вырастает скульптура. Анна-Мария-Христос – на одной вертикальной оси. Головы – шары… Благая весть течет по никелевым трубкам. Трубы – это еще и отрезки времени… Сверху ангел. Трубчатый. Бескрылый.

Из наброска к скульптуре произрастали картины и коллажи, то это были черно-красные фигуры, вставленные друг в друга наподобие Францевых стульев, то капсулы из золотой и серебряной фольги, то трубчатые создания, прорывающие холст головами-шарами.

Аннилайн! Я все-таки испортила шелк, зато сделала несколько хороших рисунков и начинаю теперь большую работу, что весьма меня радует. Франц, надеюсь, скоро будет в Берлине.

Моя двухсполовинойметровая Anna selbdritt была выставлена в вестибюле Баухауза. Шлеммер выступил с речью по поводу

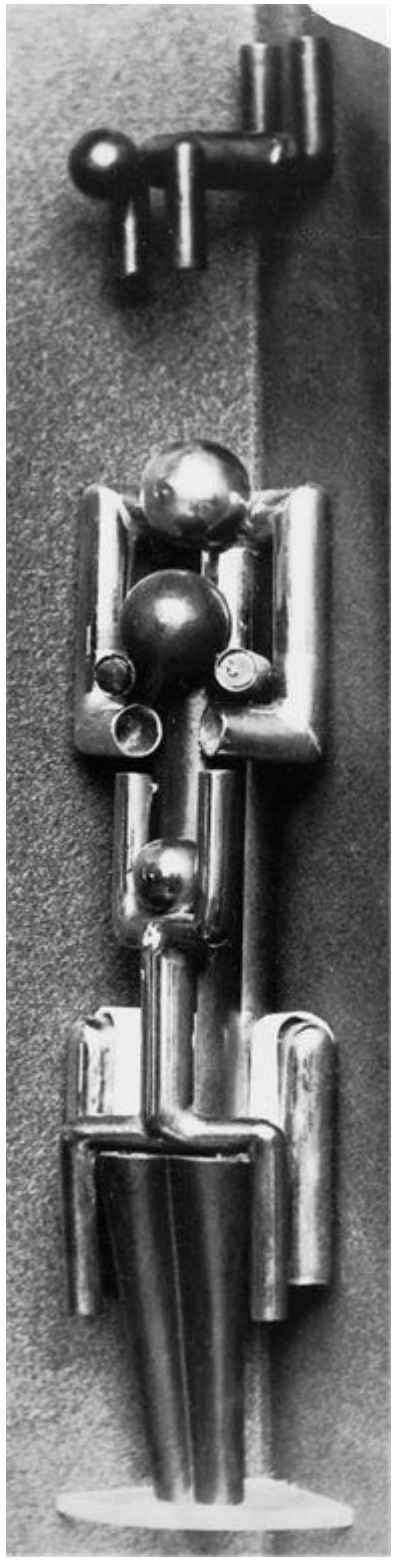
архетипических идей и их отражения в новом искусстве. Иттен сказал теплые слова в мой адрес. Я стушевалась и убежала.

Ты сделала мастерскую вещь, а ведешь себя как ребенок. – Франц обнимает меня, целует. Мы идем с ним под руку невесть куда. Тихо, так тихо, что слышно, как шипит газ, подымающийся из труб и заполняющий белые калильные сетки. В свете газовых фонарей желтеет снег.

Из Anna selbdritt, к сожалению, ничего не выйдет: она ничего не стоит. А мне как никогда нужны деньги! Теперь я узрела границы наших возможностей; выбор женщины – между мужчиной и талантом.

Мой друг, искусствовед Ганс Хильдебрандт, написал книгу про женщин-художниц, куда попала и я со своей Anna selbdritt. Она вышла в 1928 году. Ни до, ни после обо мне никто ничего не писал.

«Фридл Дикер принадлежит к наиболее разносторонним и оригинальным женским талантам современности. Благодаря современнейшему колориту и построению работа кажется частью архитектуры. Объединение таких материалов, как никель, черная сталь, бронза, стекло, белый и красный лак, столь же неожиданно, как и сами формы человеческих тел, сконструированные из труб, шаров и конусов. Спонтанность женской натуры, которая, став вдруг радикальной, освобождается от всего, что сдерживает ее энергию, ярко выступает в этом произведении, которое куда больше, чем просто любопытный эксперимент».



Какое-то время Anna selbdritt стояла на вилле Херриотов, которую мы с Францем спроектировали. В 1938 году Херриоты эмигрировали в Америку, я тогда жила в Праге, и, что случилось со скульптурой, неизвестно. Скорее всего, ее перелили на пули или гранаты, понятия не имею, как делают оружие.

Мое дорогое сладкое дитя!

Ты себе не представляешь, как часто я о тебе сейчас думаю, и все, что приходит в голову, мысленно обсуждаю с тобой. Скоро я напишу тебе то, о чем сейчас размышляю, но приблизительно могу обозначить темы уже здесь. Я не в состоянии теперь писать «письма», не только потому, что меня занимают вещи, толчок к которым был дан статьей Эбнер и «Великим Инквизитором» Достоевского (что также потребовало взаимосвязанного рассмотрения), но и оттого, что мешает утомление, холод и вялость. Похоже, сейчас не лучшее время для обстоятельного письма.

Я читаю одновременно фельетоны немецкой писательницы прошлого века Марии Эбнер и роман Достоевского. От Эбнер покатываюсь от хохота – как точно она описывает характеры! Но они у нее неподвижные. Достоевский пишет тяжело, но в этой тяжести столько взрывчатой энергии! Действительно разные материи.

Увы, в данный момент у меня нет сил на то, чтобы быть такой хорошей, какою, как мне подсказывает интуиция, я могла бы быть. Я нетерпелива, но надеюсь, что вскоре смогу собраться. Я мучаю животных, правда, только мух, но и это никуда не годится. Работа не движется. Так хочется писать картины, и мне бы очень был нужен Иттен, но тем не менее я рада своему одиночеству, особенно потому, что знаю, сколь недолго оно продлится.

Моя любимая девочка, лучшее я приберегла напоследок. Наконец я нашла для тебя что-то, что идет от души. Церковные порталы. Эти церковные порталы, особенно готические, принадлежат к самым потрясающим вещам из всего, что я когда-либо видела. Я вырезаю сейчас из дерева, уже половину загубила, и думаю о литографии, которая, поскольку еще не начата, внушает большие надежды, – и то и другое посвящается тебе и церковным порталам.

15. Страх пустоты

Анни сделал предложение Ганс Моллер, молодой и успешный предприниматель, хозяин текстильной фабрики в Чехословакии. Местечко Баби рядом с польской границей, прекрасная природа, горы, реки, долины – курорт, одним словом. На лето мы можем выезжать туда всей компанией. К тому же через Ганса можно будет приобрести ткацкие станки по низким ценам и дешевое сырье. Он будет помогать нам во всем. Я всячески уговариваю Анни дать согласие.

Ганс неслыханно добр, все вещи, что вы покупали вместе, для него святыни, он показывал нам все это с гордым видом, восхищался, какой ты можешь быть умной, осмотрительной и практичной! Сегодня он будет говорить с Мюнцем относительно денег. Он рассказал мне о платье, которое тебе сшила Гизл. Не пойму, почему до нее до сих пор не дошло мое письмо, но, если ты ее увидишь, скажи ей, что я очень довольна обоими платьями и что она очень милая и симпатичная.

На нас Моллер произвел положительное впечатление: хорош собой, влюблен в Анни, будет служить ей верной опорой. Но Анни в сомнениях. Способна ли она вообще быть женой, да еще делового человека?

Моя дорогая девочка!

Я сижу в театральной мастерской и пишу тебе. Ты сумрачная, мерцающая, прошу тебя об одном – не подходи к жизни с одной-единственной меркой. Не становись для себя тюрьмой своих желаний и тоски. Не так ли обстояло и с Францем, когда он, долгое время тупо глядевший в одну точку, внезапно поднялся и ожил? Спроси его сама, он, кстати, передает тебе 1000 приветов и поцелуев. Именно ты и Франц, столько накопившие и даже отяжелевшие от полноты, переполнены силой; ты вырвешься из рамок, многое сломаешь, и все будет хорошо. С одной стороны, эти вечные медицинские дела ужасно изнурительны (я только что снова была у врача), с другой стороны, бывают моменты, когда я верю, что телесная болезнь вторична. Как и всегда, ты придешь в спокойное состояние, не хорони себя в себе. Сохраняй спокойствие. Стефан, этот лучший из людей, написал мне однажды, когда я была в полном замешательстве, такое ругачее письмо, что я тотчас отрезвела. Самым умным было бы послать его тебе. Он так хорошо понимает суть всего, страдает так безмерно и при этом так силен.

Если сравнивать одну судьбу с другою, то судьба (не в субъективном, а в объективном отношении) всегда печальна.

Отдельная же судьба – никогда. Не сравнивай себя ни с кем, и ты почувствуешь, как пустота исчезнет без следа. Это как с книгами; когда читаешь, не проникаясь ими полностью, то не чувствуешь сопереживания и не получаешь удовлетворения.

Два дня тому назад была премьера. Большой успех у публики, но плохая пресса. У того и другого есть последствия. Теперь маленькая пауза; завтра начинается инсценировка Гамсуна «От черта принесенный». Здесь все как-то запутанно и дико. Это не обходит меня стороной, и тем не менее я счастлива. Моя дорогая, кто хоть однажды побывал у беды за пазухой, ценит каждую спокойную минуту.

И все же как сложно хоть что-нибудь в себе изменить! И как же велик и чудовищен должен быть удар, неотвратимо приводящий человека к самому себе!

Мы работали с утра до ночи, преодолевая страх пустоты, я многому научилась.

Страх пустоты. Не знаю, что я имела в виду. Отношения с Францем? Работу? Нам было поручено сконструировать сцену в духе «трехмерного функционализма». Куб при повороте на столько-то градусов превратится в ромб, при определенной постановке света отбросит длинную тень и трансформируется в сосульку…

Страх пустоты… Вспомнила, что я имела в виду. В этот день убили Вальтера Ратенау, того, кто сказал, что «аллегро – это не цель для адажио, а финал – не цель для вступления, – они связаны меж собой законом гармонии».

Опять студенты, но уже не чахоточные, вполне здоровые. Чем он им не угодил? Еврей. Подписал договор с коммунистической Россией. Что это, начало конца или конец начала?

С Францем на эту тему говорить бесполезно.

Он как выжатый лимон, настроение кислое, кроме того, у него болят зубы. Аннилайн, дорогая, пиши или приходи смотреть, что мы сделали. Сейчас поздняя ночь, я мертвая от усталости и скоро напишу больше и яснее. Прощай.

16. Кислинка на начинку

Привокзальная забегаловка. Мы садимся за столик, облюбованный Стефаном, заказываем бифштекс и пиво. Франц бежит звонить. Возвращается довольный. Значит, Биби в порядке.

Я смотрю на Франца исподлобья, тем самым взглядом, которым я прогоняла противных клиентов из отцовского магазина. Что случилось? Ты не маленькая девочка, если ты не способна разобраться в своих чувствах, научись контролировать поведение.

Как бы не так! Здравый смысл как нить, на которую нанизаны бусинки-резоны. Пока нить крепка, бусинки на месте. Они связаны последовательно. Мои бусинки при виде нити бросаются врассыпную, *а любая попытка взглянуть в будущее отбрасывает меня в прошлое…*

Посему и существуют посмертные биографии, где настоящее склеено из событий, предшествующих и последующих.

Франц курит и смотрит в окно. А я хочу, чтобы он смотрел на меня. Терпеть не могу этот его убегающий от ответа взгляд. Сейчас скажет, что я не в духах и ищу виноватых на стороне. Примерно то он и говорит.

Ночной поезд в Вену. Злость и обида. Я сказала Францу, что хочу родить, и он посоветовал завести ребенка от Стефана, «тот будет на седьмом небе от счастья». А сам говорил: «Какая из тебя мать»…

Куда я еду, зачем? *Без направления любое движение произвольно и бессмысленно…*

Хангассе. Здесь ничего не изменилось, разве что шифоньер приставлен к стене и стол водружен на место, в центр комнаты. Шарлоттта, завернутая в серый плед, ставит на стол чашки. Отец жалуется: нет денег на отопление. Я достаю из сумки деньги.

Она неплохо зарабатывает! – громко говорит Шарлотта, и отец радостно кивает. Понял, услышал хорошую новость. Так мы и беседуем, за чаем, – отец задает вопросы, Шарлотта «переводит» ответы.

Она хорошо выглядит, – говорит отец Шарлотте, – была такая непослушная, а теперь послушная… хорошая девочка. Шарлотта, дай мне карточку с буфета. Ты помнишь, Фриделе, мы ходили с тобой фотографироваться к господину Штраусу… Так он умер. Хороший был человек… Посиди, доченька, куда ты! Вечно она бежит, вечно бежит…

В мясной лавке я покупаю ливерную колбасу и отварное мясо, в булочной – яблочный штрудель, в овощной лавке

напротив дома – заморские груши и персики – все, что по словам отца, «нельзя себе позволить». Однажды в сезон отец «позволил себе» купить вишню. Она была кислой, с мятыми боками. Шарлотта пустила ее на джем. Вишни сварились в кашу – не осталось ни округлости, ни примятости, ни впадинок, в которых сидели палочки.

Кислинка на начинку, – хвалилась варевом Шарлотта.

Нищим надо родиться. Разорившийся купец несчастен до скончания дней. Рожденный нищим не знает купеческих страданий. Нет света – есть керосиновая лампа, нет отопления – есть теплый плед. Нищий, разбогатев, так и остается нищим, он не может позволить себе пустых трат, он копит и дрожит над каждым шиллингом.

Я еле уломала отца съесть грушу. Зато Шарлотта поела в свое удовольствие. Она выросла в зажиточной семье и разорилась после смерти своего первого мужа.

17. Ботаника и Паскаль

Аннилайн, любимая!

Ты мне сказала, что я все сама усложняю. Знаешь, мне теперь ясно, откуда все идет. Я слишком мало одарена для любви. Душа тесна. Какое-то проклятие гложет и гложет ее изнутри, и все старания приводят к позорному концу. Аннилайн, моя дорогая, ты хорошо относишься ко мне, разреши хотя бы тебе излить душу. Я кажусь себе такой убогой и ничтожной и 1000 раз проклинаю себя. Я всем усложняю жизнь и заслуживаю побоев. Когда-то у меня было хоть какое-то понимание, куда все это подевалось при такой жизни? Я жертвую всем ради любви.

Возможно, так и должно быть и, когда любишь, страдаешь. У меня слишком мало таланта. Другие обогащаются благодаря любви, я нет. Но я все равно не хотела бы с ними меняться. Я пишу все это тебе, дабы успокоиться хотя бы настолько, чтобы не выдать себя перед другими.

Я в большей степени чувствую себя дома, и даже более всего, там, где все причиняет боль. Сама я не слишком жизнеспособна. Жизнеспособен, пожалуй, мой материал, упорный до тошноты. В мои 25 лет у меня было 20 увлечений. Возможно, этот конфликт так и останется со мной до самого конца. Каждая ситуация для меня особенная, и я всякий раз меняюсь в зависимости от нее, разве так можно? С чем я остаюсь? Но в любой ситуации я ощущаю ключевой момент, верю, что спохвачусь вовремя и скажу: «Все, хватит». Почему люди стыдятся быть легкомысленными?

20 увлечений за 25 лет – завидую сама себе, как это мне удавалось? А вот насчет моего материала – он и впрямь оказался «упорным до тошноты». Те, кто из слабого материала, умирали на нарах. «Упорных» уничтожали в душегубке.

…Ты сказала Гансу насчет шерсти? Маленький клетчатый ковер для Гизл, который я сто раз начинала в Веймаре, готов.

Про шерсть я упомянуть не забыла, а вот про то, что Анни вышла замуж за Ганса… И про роскошную свадьбу… Я слишком занята собой и своими делами.

Речь о денежных расчетах и технических данных для Франца шла чуть ли не в двух письмах, может, я что-то неверно поняла или это твоя ошибка? Мне не следовало бы вмешиваться в ваши дела – я хочу знать только это, не сердись. К сожалению, из-за падения курса марки 50 000 шиллингов стоят сегодня больше, чем тогда. По моим предположениям, за все заплатит Франц.

В Веймаре царит такое тотальное безденежье, что по этой причине твое белье до сих пор не отослано. Я сижу сегодня одна в

студии Франца и кропаю письма. Работаю мало, кое-что читаю. Мне радостно и тоскливо.

За ковер я получу 2000 марок. Я полагаю, что заботы, которые человек сам себе создает, нужны ему, чтобы скрыть от себя истинную причину беспокойства. Часто – в том числе и сейчас – я чувствую себя как человек, уносимый диким потоком (я знаю, что умею плавать), и мне надо успеть в последнюю секунду, уцепившись за ветку, или встав на камень, или даже достигнув места без водоворотов, высунуть голову из воды и бросить клич другим пловцам. И так, наверное, я когда-нибудь утону и мой голос не достигнет стоящих на берегу. Но в данный момент, когда я взываю к тебе, я не строю никаких планов наперед.

Я достала Пушкина и следующий том Паскаля.

Гропиус рассказал следующее. Никто из профессоров не выдает чеков, все жертвуют картины, лишь он один – деньги.

Здесь неописуемая тишина, я настолько от нее отвыкла, что она не просто меня поражает – даже как-то неудобно себя чувствуешь, даже неприятно.

Аннилайн, дорогая. И при этом у меня есть чудная «Ботаника» и Паскаль. В Библию не решаюсь заглядывать. Сейчас окна освещены, а снаружи темно; прежде было наоборот.

18. Берлин. Улица Ошибок

Быстрая поступь, узорчатые туфельки цвета беж. Я спешу в мастерскую. На мне вязаное пальто в полоску, а-ля банный халат, голову плотно обхватывает вязаная шапочка с матерчатым кантом, под мышкой – кожаная сумка в виде папки. Я выгляжу экстравагантно. Пора. Мне стукнуло двадцать пять. Я старше Терборха.

Я весела и беспечна, это может подтвердить любой берлинец, бредущий мне навстречу спозаранку. Город, погруженный в запотевшую пивную тяжесть, и тот улыбается мне.

Как хорошо, что больше не надо мотаться в Веймар. Летом 1923 года, сразу после отчетной выставки, Иттен ушел из Баухауза. И мы следом за ним.

«Напитанная духом еврейства группа Зингер-Адлер слишком задирает нос и, к сожалению, сбила с толку самого Иттена, – писал Гропиус моей сокурснице Лили, жене Ганса Хильдебрандта. – Если так будет продолжаться, они весь Баухауз приберут к рукам. …Ясно мне, такие люди, как Зингер-Адлер, не подходят Баухаузу и со временем должны уйти…»

Время пришло, мы ушли.

Теперь у нас своя мастерская в Берлине, мы проектируем и изготовляем деревянные конструкторы, игрушки, текстильные изделия, от гобелена до кружева, вещи из натуральной кожи – сумки, пояса, переплеты – и еще дюжину разной всячины. Вы можете посетить нас по адресу: Берлин-Фриденау. Мастерская изобразительных искусств, улица Ошибок.

Дорогая Аннилайн! Не злись, что я не писала так долго. Теперь я спешу, чтобы Франц успел взять с собой письмо. Мое сокровище, тысячу раз и крепко целую за то, что ты подарила мне такие милые вещи. …И твоих золотых грифелей я никогда не забуду, так же как и эту милую маленькую картину.

Ах, если бы ты была здоровее, ведь ты так нам нужна здесь. Мне неохота рассказывать о тех вещах, которые Франц скоро тебе опишет во всех подробностях, – ателье и т. д.

Любимая, приезжай, мы будем прекрасно работать вместе. Я так боюсь Вены, ты можешь себе это представить, и было бы так жаль, все начинается так хорошо, ателье так красиво. Это было 3 дня назад. Теперь решено сделать его еще краше.

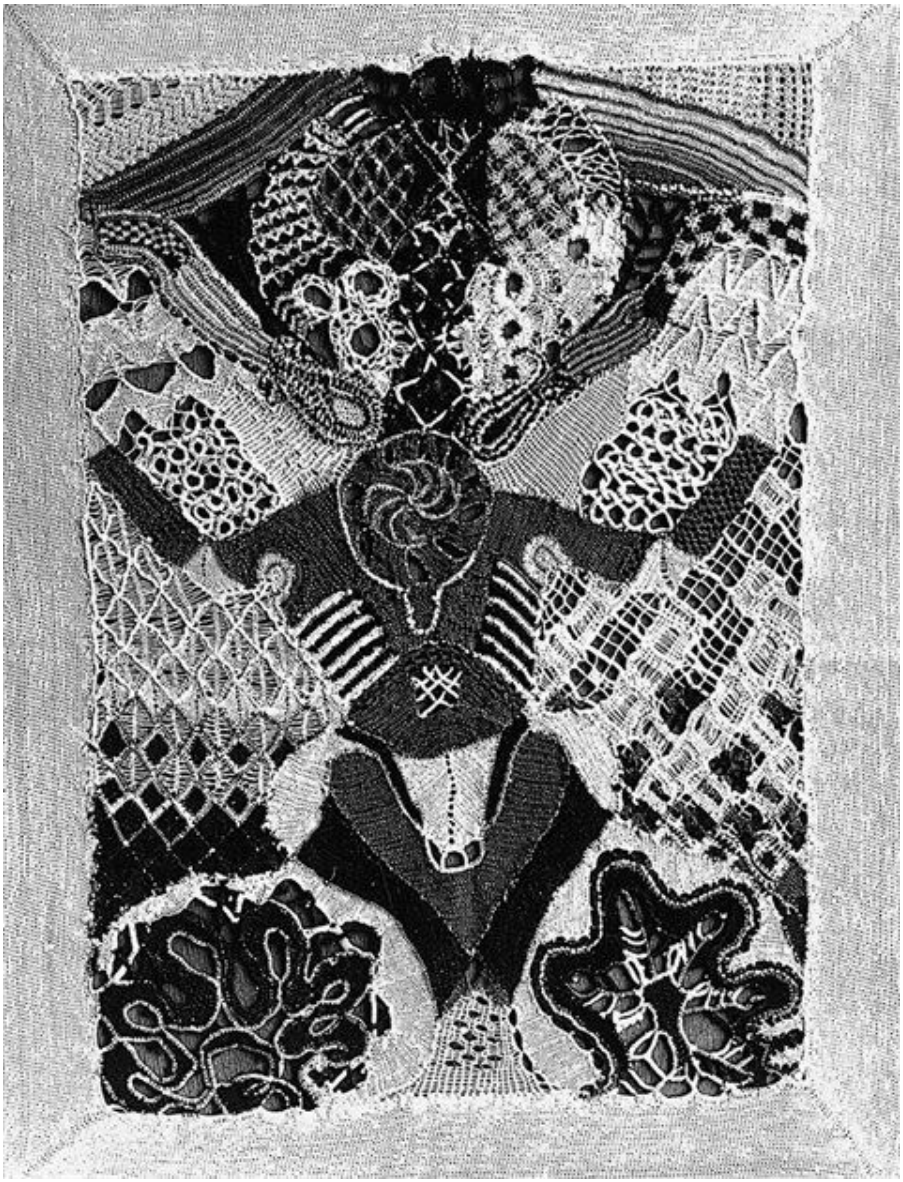
Франц, наверное, тебе уже рассказывал.

Я хотела уехать на несколько дней, но здесь царит такое вопиющее безденежье, что я должна была бы ехать одна, что меня, с одной стороны, радовало бы, а с другой – наоборот. Я бы с

удовольствием побегала на лыжах, но Франц забыл мои лыжные ботинки в Веймаре, да и к тому же я не осмеливаюсь бросить работу. Между тем у нас масса неурядиц… Деньгам можно было бы найти лучшее применение. Я так нерешительна. При этом мне страшно нужен был бы отдых. Стоит кому-то повысить на меня голос, я тотчас впадаю в истерику.

Наконец-то прошло Рождество, и было оно воистину восхитительно. Я не приготовила ни еды, ни подарков, не думала ни о том, чтобы куда-то уехать, ни о том, чтобы остаться, но все приходили один за другим, некоторые и с подношениями; у меня были орехи и прочая мелочь, которую я припасла на случай отъезда; получился чудесный праздник.

У Шломан свободна прелестная комната, она сдает ее – с обслуживанием и всем прочим – за 100 марок. Я уже думала о том, что ты могла бы ее снять, если бы приехала на более длительный срок.



Биби в мастерской, стало быть, Эмми на гастролях, а няня еще не пришла.

Франц, как можно держать ребенка в накуренном помещении!

Он не отвечает, стоит, согнувшись за кульманом, видно, что-то у него там не получается.

Я запихиваю Биби в комбинезон, прихватываю с собой маленькие грабельки и лопатку.

Напротив дома – кладбище. Притихшие протестанты присыпаны первым снежком, Биби сгребает его лопаткой с плит,

строит горку, я расчищаю граблельками «тропинку» к снежной горе. А вот и наша няня! Бежит навстречу, машет рукой.

Утро доброе, фройляйн Дикер! Я вас издалека узнала… Ну, идем, пострел.

Биби заложил руки за спину.

Устал, на ручки просится. Помаши тете «до свидания».

Франц собирает макет прихожей в усадьбе Боркманов. Похоже, он заразился от Ибсена «буржуазной избыточностью» – на окнах тяжелые шторы, столы с ножками-завитушками, мебель с округлыми подлокотниками и темно-фиолетовой велюровой обшивкой. Я смотрю на это и зеваю.

Болтаешься по ночам!

И верно – болтаюсь. Стефан водит меня по злачным местам – то в кабаре Курта Вайля, то на спектакль Мейерхольда, то в кино на фильмы Фрица Ланга и Эйзенштейна и после – в прокуренные кафе, где собираются знаменитости.

Крепкий кофе, несколько затяжек Францевой сигаретой – и сна как не бывало.

Я такого напридумала для «Венецианского купца»! Фактурные костюмы – каркасы, корсажи, доспехи, цветные накидки, опахала, расписные ткани! Красота, у меня выходит красота!

Но что скажет Фиртель? Примадонна не могла ни петь, ни дышать в твоем платье, перед выходом на поклон она схватила ножницы и взрезала парчу на груди. Вырез был весьма глубок!

Знаю. Я велела портнихе переделать корсаж. Лучше послушай, что говорит Шекспир. Ваши костюмы, фройляйн Дикер, бесподобны, я восхищен той легкостью, с коей вы вырезаете карандашные наброски и пришлепываете их рядом с яркими фигурами, выполненными столь мастерски, что я готов встать из гроба и целовать подол пурпурного платья моей Джессики, а то и сунуть ей за пазуху букетик фиалок… цвета морской волны…

Кстати, в книге Хильдебрандта про женщин-художниц опубликуют и эскизы костюмов к «Венецианскому купцу». Не зря они мне нравятся и не зря мне дадут прочесть верстку. Я найду ошибку и сообщу о ней издательству.

Костюмы к «Венецианскому купцу» – это часть нашей общей с Францем Зингером концепции, и я против того, чтобы лишь одно мое имя значилось под рисунками.

Ошибку исправят.

Так где же ты была?

Сначала ходили со Стефаном в Дом искусств, на Хиндемита. Фортепианная сюита под названием «1922». Поэма современного

города. Ничего общего с Шёнбергом. Совершенно иное звучание – в ней целые блоки цезур… Потом отправились в «Синюю птицу», где был Маяковский с русской красоткой. Стефан попросил меня нарисовать Маяковского. Вышел тевтонский рыцарь. Стефан обиделся. Он боготворит Маяковского и сочиняет кантату по мотивам его стихов. Жуткое название: «Приказ № 2 по армии искусств». Потом явились какие-то русские супрематисты, судя по всему, скандалить с Маяковским. Задирались, но недолго, пиво их остудило. Маяковский с красоткой ушли – тевтонцы тоже трусят, – и тут супрематисты принялись ругать Баухауз за недостаток радикализма. У Мастеров кишка тонка – нет в них чистоты энергийной силы, не уйти им от индивидуализма…

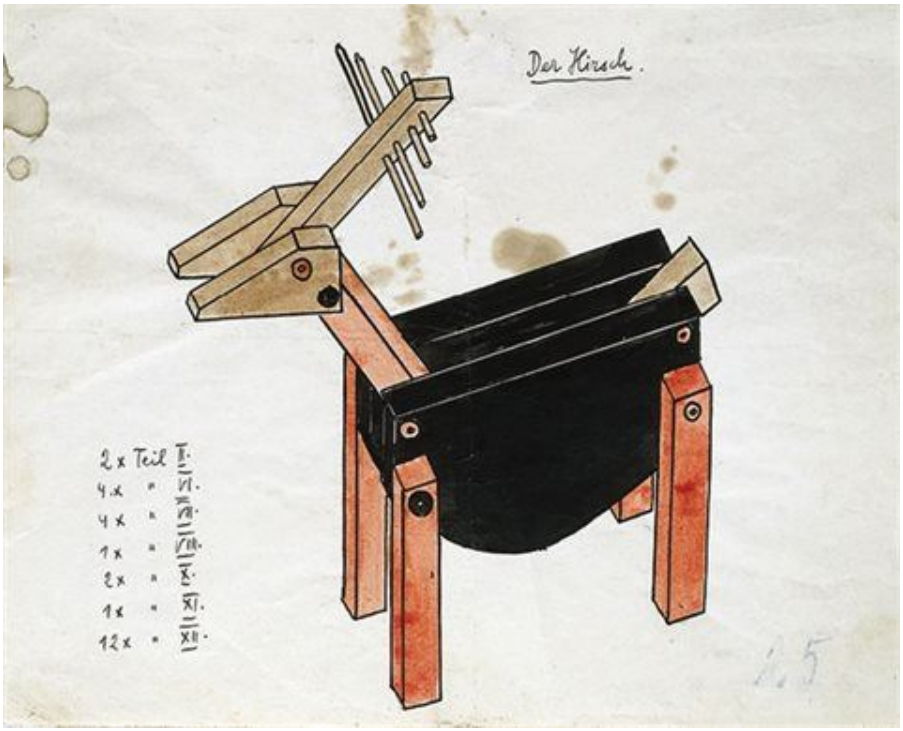
Новые люди, – говорит Франц. – Не хотелось бы видеть тебя в их рядах.

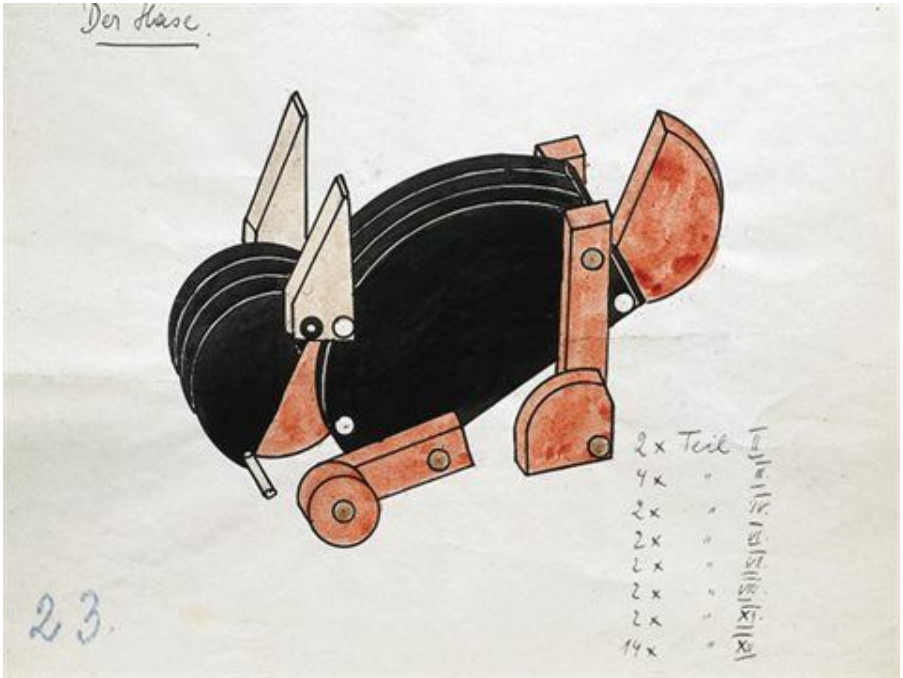
Меня исключили из театрального союза за неуплату членских взносов. Из чего их платить, когда мы работаем бесплатно?

В свое время отец Франца вложил в театр солидную сумму, но она давно истрачена. Фиртель борется с коммерческим подходом к искусству, пишет воззвания: «Только коллективное может спасти личное, и я надеюсь, что вся “республика театра”, от Карузо до уборщицы, органично разовьется в один союз. Такая картина в конечном итоге будет способствовать разностороннему освобождению личности…»

Франц обратился за советом к Мюнцу, и тот ему ответил:

«…Как мне стало известно из телефонного разговора, труппа борется с чрезвычайно большими трудностями, и мое влияние на данный момент – если быть искренним – равно нулю. …Я, как и Вы, не согласен с нынешним подходом к управлению труппой, но, в отличие от Вас, надеюсь, что идея Бертольда все же имеет смысл, хотя в данный момент я его не приветствую и в силу этого поневоле остаюсь в стороне. Но в Бертольде и Салке столько чистоты и благородства, а природа знает столько бесконечно разнообразных путей, способных привести к цели, что с моей стороны было бы нелепо сомневаться в них лишь потому, что они идут не моим путем. Напротив, при некотором улучшении ситуации я глубоко верю в энергию Салки и гибкость Бертольда».





Мы прислушались к Мюнцу и не ушли из театра. В 1923 году состоялись три премьеры: «Йон Габриэль Боркман» Ибсена, «Венецианский купец» Шекспира и последняя, в декабре, по пьесе

Роберта Музиля «Винценц, или Подруга важных господ». За время работы в «Труппе» у меня появились новые друзья, среди них Джон Хартфильд, Фридрих Кислер и Георг Гросс.

Аннилайн, настроение мое в некотором роде зимнее. В Театре комедии Георг Гросс ставит пьесу Кайзера, это, с одной стороны, очень хорошо, там есть и воздух, и время, с другой же стороны, все под таким давлением, что просто необходимо хоть ненадолго избавиться от этих кандалов. Ничего другого в гостиничном номере не поделаешь. Его безобразие неописуемо, но я люблю его вопреки всему. Я получила гвоздики, посылаю тебе, любимая моя Аннилайн, лепесток и целую тебя снова и снова. Могла бы я как следует собраться и стать действительно сильной.

Вчера я дала первый урок. Целую, твоя Фридл.

Двенадцатилетние стеснительные девочки с затаенными грезами о любви. После «разогрева» я предложила им тему – кавалер преподносит даме цветы. Возникли коленопреклоненные красавцы с нафабренными усами, прямостоящие джентльмены в шляпах с фиалками в руках, смущенные девушки в белых платьях… Я сказала им, что в их возрасте я тоже стеснялась себя, считала себя уродливой каракатицей. Они мне не поверили.

Моя дорогая и любимая!

Я хочу как можно скорее написать тебе, чтобы Мюнц успел взять с собой. В данный момент я настолько задолбана, что… Иттен может тебе рассказать часть из того, что я хотела. Я написала Гансу подробное письмо со всеми деталями, но ты можешь вообразить, почему такое письмо никогда не будет отправлено. Вот уже битую неделю Франц собирается написать «об этом». …А про нас вкратце вот что: станки постепенно появляются, очень медленно. У нас есть ателье, улица Ошибок, 1,

мы будем жить в нем, пока наша квартира не освободится, полное ткацкое производство – 3 ткацких станка со всеми причиндалами (очень-очень дешево купленные).

Но как только все станет прекрасно, надо будет уезжать. Мне нужно было бы как минимум одно ателье в Вене. В середине января мы, пожалуй, приедем.

Много я должна была бы написать тебе, так много хорошего и положительного, но в данный момент я пуста и так измотана всей этой горячечной гонкой, что слово трудно подобрать. Моя дорогая, если говорить по делу, то могу сказать следующее: самое для меня лучшее – это работать с чистой радостью. Пиши, моя хорошая, завтра ты получишь от меня основательное письмо.

Прилагаемые образцы Ганс должен высылать как можно скорее. Само количество пряжи минимально – он может посылать нитки в любом ассортименте, начиная от зеленых и толстых белых. Теперь мы можем ехать. Пусть он все шлет как подарки в пакетах по 2–3 кг, иначе придется платить слишком большую пошлину.

И вот еще просьба:

Мне нужно срочно 20–25 долларов, лучше всего я их займу у Эрвина. Посылаю ему расписку.

По-видимому, наш дом на Калькбергерштрассе мы продадим либо достроим и обставим для продажи. Целыми днями ищем покупателя.

То, что мы забыли о дне рождения Ганса, ужасно. Я же тебя просила напомнить мне, прежде чем он приедет.

Я очень счастлива. Пока, десятого числа мы переезжаем к Кортнеру на Кронпринценуфер 1. Вы написали мне открытку; я, правда, ее еще не видела, но все равно благодарю вас тысячу раз. Целую тебя, дорогая, от всего сердца. … Сегодня здесь как осенью. Тихо, серо, холодно. Помнишь ли ты о квартире Кортнера на набережной: снаружи – корабли и аллея? Мне это очень нравится.

По делу: мы вдевятером работаем в ткацком производстве. Скоро приедет Слуцкий, и мы будем искать переплетчика. Мы очень усердны, и все идет хорошо. …Будь счастлива, любовь.

Я брежу Брехтом. Мы ходили с Францем на премьеру «Ваала». После спектакля знакомые Франца предложили нам пойти за кулисы, поздравить автора. Зачем? Ваал – это и есть Брехт. С ним я уже познакомилась.

Поэт и бродяга. Порочный, бесстыдный, жестокий. Но не лицемер. Он страстно любит жизнь, ее низость и высоту, ее женщин, ее деревья, ее траву, ее ветер, ее вино.

Есть ли бог или нет совсем,

Ваал живет, ему все равно.
Но он не позволит шутить над тем,
Нет ли вина или есть вино.

И я страстно люблю жизнь! Только я трусиха, а Брехт – смельчак. Он родился в тот же год, что и я, был на войне, выносил с поля боя убитых и раненых, а я в это время клеила тряпочные коллажи из отходов бракованной марли.

Со смертью можно сражаться только в театре, вместе с Ваалом. «Драться до последнего. Кожу сдерут, я все еще буду жить; отступлю в пальцы ног. Упаду, как бык в траву, где помягче. Проглочу смерть как ни в чем не бывало».

Но и Ваал умирает. Отверженный, затравленный, он собирает последние силы и выползает из хижины дровосеков, чтобы умереть на свету, чтоб увидеть звезды. В финале дровосек спрашивает его: «О чем ты думаешь? Я всегда хочу знать, о чем думают в это время…» И он отвечает:

«Я еще слышу дождь».

Я дождя не слышала.

Дорогая Анни!

Как ты думаешь, в который раз я уже начинаю это письмо?

Во-первых, я дико злюсь по поводу твоего безграничного безрассудства с интенсивным лечением. Покой по меньшей мере столь же полезен, сколь и непрерывные ванны.

Во-вторых, секретарь и машина. Франц занят всем этим именно сейчас, в самое неподходящее время.

Дорогая, твоя брань трогательна, но в ней нет смысла, нам повезло уже в том, что мы оказались готовы к производству самых современных вещей; но нет денег на фотографии, сделанные тогда и пропавшие, и т.д. Придумайте же что-нибудь.

У нас и без того «слишком высокие зарплаты», в среднем 45 пфеннигов. Денег сейчас нет. Если бы ковер был заказан (Франц со всей семьей скоро будет в Вене, и было бы возможно заказать после маленького ковра – большой), то, несмотря на дороговизну, я в разумные сроки дала бы его сделать, а так – нет.

Выставка во Франкфурте была очень слабая, но зато я познакомилась с несколькими полезными людьми, они всегда готовы прийти на помощь и несказанно милы.

Плоские ткацкие станки работают еще и с образцами ткани. Ты сможешь увидеть некоторые из них. Шелковые платки выходят хорошо и продаются, к сожалению, у нас нет денег, чтобы закупить достаточно материала, а так бы мы смогли на них продержаться. …Слуцкий колеблется. Ландер ни на что не годен, в

любом случае нам следовало бы произвести замену или взять дополнительного работника. Франц не решается, боится, что нечем будет платить. Но работник этот нам необходим, необходим, так как книги постоянно заказываются. …Желтая «История кожи» очень радует. Я так довольна, что ты перерисовала 2 ковра. Детский ковер, в случае если ты тоже будешь в Вене, я бы рискнула сделать вместе с тобой. …Я закончила восхитительный «Классический город» для шаблонирования. Ты будешь восхищена.

Можно также ткать (знаешь, это так понятно, что прежде у людей на каждый предмет был один образец, его не варьировали, но если уж делали заново, то изобретали нечто неслыханно новое).

Шалями ты будешь довольна; не бойся венской конкуренции.

Что будет с летом – ума не приложу. Дела идут хорошо, притом что мое положение плачевно. Но как от помыкания мною, так и от безденежья я много чему научилась; теперь воскресенье. Экономятся деньги, дело идет на лад; я рада неописуемо.

Моя дорогая, я отвечаю тебе по пунктам, мне стыдно касаться в этом письме личных дел. Об этом напишу отдельно.

Кроме того, я бы сейчас не хотела браться за планировку комнаты, тем более «в нашем вкусе». Мы сделаем с чертежа кальку, и тогда можно будет выполнить заказ когда угодно. При этом для себя я бы выбрала комнату в Находе, это действительно и разумно, и красиво. Для Вены нужно сделать что-то новое. Мебель из обоих помещений можно будет использовать везде.

Покрывало для госпожи Моллер было в немыслимой спешке закончено к дню ее рождения. Второе, несомненно, лучше. Корова – вплоть до крохотного рожка – замечательна.

Моя любимая Аннилиайн!

Я на Лейпцигской ярмарке, на которой мы выставили твои книги, украшения (2 подвески и 2 кольца, наконечники для ткацкого производства, вышивки, гобелен), к тому же у меня есть немного времени, зазор для разговора.

Ателье готово, подвал скоро будет, все в прекрасном порядке. Но именно теперь, когда люди введены в курс дела, когда можно было бы установить ткацкие станки, выполнять заказы на книги, мы должны заниматься увольнением, несмотря на добрые советы Ганса.

Чтобы нанимать людей и иметь возможность делать выставки, мне были бы нужны ткачихи, так как все продвигается настолько медленно, что сам себя обгоняешь, и именно теперь и т.д.

У нас есть очень симпатичный переплетчик; я еще не знаю, что он умеет, так как он еще ничего не делал самостоятельно.

Слуцкий усердствует, однако с ним не просто. Из-за слишком высокой зарплаты наши вещи обходятся слишком дорого – старая песня.

Я немного нервничаю и поэтому не совсем в себе. Моя дорогая, я так устала, что едва жива.

На ярмарке совершенно ничего не происходит, кроме наших вещей, ничего нового, однако и тут не безупречно, нам дали неудачное место и т.д.

До свидания, привет всем и Гансу. Вправь ему чуточку мозги.

Узнай все же, не нужны ли кому-нибудь вышивка или вязание.

У нас есть несколько заказов, я имею в виду Хеллеров, они для меня ужасное разочарование. Нам срочно нужны деньги. Впрочем, какие у Франца познания в ткачестве? Откуда у Ганса это превратное представление обо всем?

Ты, однако, должно быть, знаешь, как представить ему истинное положение вещей. Я была сегодня в кино, на фильме «Нанук-эскимос» – не пропусти.

Я замерзла, глядя на экран. Закутанные с ног до головы эскимосы, на лице иней, изо рта пар… Перед показом документального фильма нам сообщили, что главный герой вскоре после съемок умер от голода. Смотреть на Нанука, отправляющегося в пургу на поиски пропитания, прорубающего топором отверстие в обледенелом жилище, чтобы бросить в него мерзлую рыбу, – и знать, что после всего этого он сам умрет от голода…

Так будут смотреть и на нас. Перед показом фильма, снятого нацистами в Терезине, зрителям сообщат, что все, кого они увидят на экране, будут уничтожены вскоре после съемок. Не все. Почти все.

19. Стежки

Анни, Анни, отраженье блаженства земного… Лицо округлилось, глаза подзаплыли, смешная. Охает, ахает, ребенок бьет ее то под дых, то в бок.

Чувствуешь, – кладет она мою руку на свой живот, – по-моему, это нога… или голова?

Какие же мы глупые, мы глупее ребенка, он-то знает, где его голова, а где ноги, он-то знает, девочка он или мальчик.…

За окном метель, крупные хлопья шлепают по стеклу. Свет лампы направлен на пяльцы с вышивкой. Из вещности ткется вечность.

Новое ателье оснащено по последнему слову техники. Заветная шкатулка с красивыми тряпочками переехала на новую квартиру и стоит теперь не на полке с книгами, а на отдельном, для нее одной предназначенном месте, около швейной машинки. Такой машинки у нас отродясь не бывало. Никелированная, с красными приводными ремнями и красными колесами.

Я усаживаюсь рядом с Анни, подкалываю булавками лоскутки к серой бархатистой основе, подбираю нитки под цвет, пришиваю атласные жгутики и полоски канвы. Какое наслаждение делать то, что ничего не напоминает и ни с чем не ассоциируется… так, музыка из шитья, тряпья и стежков…

Франц завалил меня переплетами, а я тут наволочки вышиваю! Завтра опять письмо пришлет, про сроки.

А что он еще пишет?

Все про сыночка…

Я перегрызаю зубами нить, лень тянуться за ножницами, и раскровавливаю десну. Вытираю рот белой тряпкой, расправляю ее и пришиваю черной грубой ниткой к центральной части картины. Цах ве адом.

Ой, дай-ка обопрусь! – Анни встает и прижимается ко мне огромным животом. В глазах – слезы. Она легко плачет. Легко признается в любви. Она любит меня, любит Франца. По отдельности.

Из той самой коробки, где хранились письма Ульмана, она достает стопку конвертов, подписанных ровным почерком, как по линеечке, марки приклеены под углом в 90 градусов.

«Любимая Анниляйн! Обо мне рассказывать особо нечего. У Эммерль дела идут очень хорошо, она бесконечно счастлива и радуется нашему сыну. Его жизнь и все проявления пока что действительно чисто физической природы, и я никак не могу тебе их описать; хотя речь идет о питье и, скажем, каканье, эти

действия, именно потому что составляют саму жизнь, несут в себе что-то бесконечно трогательное, это чудо, с которым ничто не может сравниться. Хочется все забросить и только и делать, что наблюдать его жизнь. Поскольку все утверждают, что он похож на меня, я никак не могу понять, почему он кажется мне таким обворожительным и поистине прелестным. Даже мельчайшие пропорции его тела и в особенности ручки и ножки, сказочные движения, первые осторожные реакции на свет…

Фридл здесь, в Берлине, я возил ее на несколько дней в Штеттин, это было прекрасно. Мне хотелось, чтобы она осталась там подольше, отдохнула и подлечилась как следует. В остальном у нее все идет намного лучше, что меня очень радует».

Нехорошо читать чужие письма. А свои, по прошествии лет ставшие чужими? Но какой же фантазер Франц! Он увез меня в Штеттин, чтобы я могла поработать в тишине. Посему он дрых напропалую, а когда проснулся, увидел на столе готовые эскизы. «Вот все в тебе есть: и красота, и талант. Чего недостает, так это аккуратности».

Когда Франца вызовут в тюрьму для дачи показаний, ему не придется кривить душой: «Фридл ничего не может подделать, она не способна провести две одинаковые линии». Хотя паспорта я подделывала мастерски.

Анни вздрогнула и открыла глаза: – Ой, я заснула… Прости. О чем мы говорили, я потеряла нить…

Подхватив руками живот, Анни уплыла за занавеску. Чиркнула спичка о коробок, зашумела вода в чайнике.

Завариваю крепкий чай, ой!

На подносе – элегантная баухаузовская посуда. Могла бы и я обзавестись таким добром, да куда его девать? Человеку нужен налаженный быт. Хоть что-то свое. Был бы у меня ребенок, я бы все для него устроила.

Если бы у меня был ребенок, я бы была побоевитей, я бы на него надеялась, он бы исправил мои просчеты, он был бы лучше меня.

Если бы…

20. Переплеты

За свои кружева я получила почетную премию на Берлинской ярмарке, но ни одного заказа. Зато Франц напал на золотую жилу в лице госпожи Шварцвальд.

Богатая дама, держит салон, живет в доме, который построил Лосс. Кстати, это именно она открыла курсы Шёнберга, куда ты ходила. Помнишь?

Кажется, с тех пор прошло сто лет… Ульман, Вендла в саду…

Но Франц не дает мне удариться в воспоминания.

У нее огромные связи, недавно она организовала в Вене Ассоциацию дружеской помощи. На собранные деньги устроила бесплатную столовую для нищих Берлина…

То есть мы не умрем с голоду!

Вот именно! – Франц распахивает коричневый саквояж. – Смотри, какие книги! Полное собрание сочинений Флобера, восемь томов, басни Лафорга, Рошфор – «Приключения моей жизни», три тома, книга Дюкре о Лафорге, «Боги жаждут» Франса, «Книга моего друга», понятия не имею, не читал, и наконец-то «Нравственность и преступность» Карла Крауса… Она хотела переплести 50 книг к 12 февраля – это день рождения ее мужа. Я сказал, что за такой срок нам это не осилить. Сошлись на 16 томах.

И кто все это будет делать?

Наши люди под твоим руководством. Не обязательно, чтобы все было идеально и целиком из кожи: это слишком дорого и роскошно. И, пожалуйста, не слишком сумасшедший шрифт, по крайней мере не везде. Кроме того, я договорился с госпожой Моллер на «Сочинения» Стриндберга, за хорошие деньги, но это к дню рождения Ганса, к лету. Еще она хочет «Пана» и «Будденброков», эти книги я захвачу с собой, как буду в Вене. Да, про Гёльдерлина! Напомни Анни, его и Диккенса она обещала моей сестре еще полгода назад. Если мы не справимся к сроку, не видать нам ни денег, ни заказов.

Хорошо. С чего начнем? О, Лафорг! На этой обложке должна быть картина Мане, помнишь, как он его изобразил? Высокий лоб, поднятый воротничок, взгляд, устремленный в будущее. Подымика воротничок! По-моему, мы превращаемся в контору по производству ширпотреба.

А по-моему, мы воплощаем в жизнь уроки Баухауза! – Франц откупоривает бутылку, разливает вино по бокалам. Глазомер у него точный.

Чтобы нарисовать его, надо отойти от натуры, отлепиться. А

как тут отлепишься, когда наши руки, встречаясь, слипаются помимо воли? Но и когда мы расстанемся, я не смогу его нарисовать. Я не рисую по памяти. Где мы? На улице Ошибок? В доме у Кортнера? Или все еще на Калькбергштрасе? Бокалы – чешский хрусталь… У нас вроде такой посуды не было… Чужие квартиры, гостиничные номера – просыпаясь утром, я не сразу понимаю, где нахожусь, но стоит неделю поспать в одной и той же постели, я привыкаю и не задаюсь утренним вопросом: где я?

Прости, навалился я на тебя с этими книгами. Это все госпожа Шварцвальд, роскошная. Немногим старше Эмми… С ней можно завести внуков… Красивая штука, – Франц отстегивает брошь от ворота платья, крутит в руках металлический завиток с черным камнем посредине. В его руках все превращается в игрушку. Включая меня.

21. Вокзалы

Вена. Мастерская под крышей пятиэтажного дома. Старый добрый Сецессион, с витражами в мелкий цветочек, с овальными пролетами и уютным лифтом…

Умывшись и выпив кофе, я устраиваюсь на диване с крючком и распялкой, крючок петляет по белой равнине, прорывается сквозь облака, собирает узоры… Душа моя как пустой шар, как огромная полость, как замороженная десна после удаления зуба.

Скоро придет Марта. Новый проходной персонаж в моей пьесе. Широкоскулая, улыбчивая, волосы на косой пробор, брови вразлет, под одной скулой темное пятно. Рисуя, запоминаешь навеки. Марте не нравилось пятно, выглядит как оплеуха. Но я не трогаю наброски. Что вышло, то вышло. Картины же переписываю годами, хотя, по мнению психоаналитика Анны Райх, бесконечное влезание картине в печенки – дело нездоровое.

Мы познакомились с Мартой на траурном митинге. Громогласный хор стефановских рабочих декламировал что-то из Ленина. Стефан играл стоя. Он налетал на клавиши как ястреб, резким движением закидывал галстук за спину, чтобы тот не болтался над роялем, – наседал на басы. Взволнованный зал, молодые люди, объединенные горем победившего пролетариата, – что ждет большевиков, сможет ли Сталин продолжить дело Ленина? Пафос. Наверное, во всем этом было что-то трагикомическое.

Где Марта? Стол убран к ее приходу – лоскутки, нитки, веревки, пуговички – все прелести, из которых складываются коллажи, уже рассортированы по мешочкам, на гладкой поверхности стола разложены выкройки для кожаной сумки. Я крою быстро, режу кожу по лекалу, Марта сшивает ее на машинке. Меня не подпускает: без сноровки опасно. Машинка для проделывания дырочек похожа на заводную игрушку в виде остроклювой птицы.

Надоело ждать! Я вытряхиваю все из мешочков, раскладываю на краю стола бордовую ткань и колдую над коллажем. Теперь Марте придется ждать, пока я не пришью к ткани все, что на ней сложилось. Это – подарок Эмми, она просила меня «звенящую» работу. Чего-чего, а звона тут предостаточно!

Наши сумки и пояса пользуются спросом у богатых клиенток – элегантны, незамысловаты и, как они говорят, удобны в пользовании. Муж Марты Густав, высокий, широкоскулый и светловолосый – эталон красоты арийской расы, – изобрел для нас удобное приспособление для прошивки кожаных ручек и

поясов. Притом что он альпинист по профессии.

В 1934-м меня посадят в венскую тюрьму, а он увезет Марту с сыном в Советский Союз – тренировать горнолыжников. В том же году Густав впервые в истории спустится на горных лыжах с восточной вершины Эльбруса, проложит сложнейший альпинистский маршрут, который назовут в его честь Густавшпиц. Потом его арестуют как иностранного шпиона и после трех лет тюрем сошлют на Колыму. Вместе с Мартой и сыном.

Дорогая Марта! Я потеряла чемодан с одеждой, если можешь, пришли мне мое серое платье, туфли и комплект белья… В ящике стола мой паспорт, он мне нужен… Извини за все эти глупости… Твоя Фридл.

Я в Берлине у Стефана, в его однокомнатной квартире в новом жилом массиве на углу Висбаденштрассе. Огромный рояль занимает всю комнату, а Стефан спит в коридоре, напротив входной двери.

Квартиру ему снял оперный театр, готовится постановка оперы Берга «Воццек», самого свежего произведения из репертуара атональной музыки. Стефан сыграл мне все сначала до последней ноты. Голова идет кругом.

Такое ощущение, словно бы в самой структуре вещи заключена какая-то тайна и Берг запер ее на ключ. Нарочно.

Как ты это поняла? Его партитура не содержит общих указаний, только специфические детали инструментовки…

Стефан взволнован.

Все, ты на домашнем аресте. Какое счастье, что ты приехала… И пожалуйста, никакой улицы Ошибок! Поставь на пюпитр разделочную доску, прикрепи к ней вот эту бумагу и рисуй, – Стефан распахнул кухонный шкафчик, вместо продуктов в нем лежали коробки с пастелью и красками. – Видишь, как я готовился к твоему приезду! Не хлебом единым… Но есть шампанское, сыр и мандарины. Хлеб, если честно, забыл купить!

За окном зима, все время за окном зима. Все время приближается Рождество.

Три действия по пять сцен в каждой, и все в ином ключе, – Стефан играет, останавливается посреди фразы, – здесь я не слышу оркестра!

Музыка, запах мандарина, пастельная пыль на паркете.

Два еврея в новом квартале Берлина сидят под елочкой, пьют шампанское. Так бы и жить, без гонки, без драм.

И тут выясняется: пастель и краски были куплены вовсе не для меня.

Для кого же?

Для Оли Окуневской. Я любил ее вчера как облако, а позавчера как животное… Оля мой инструмент…

Ты пьян, Стефан! Вчера и позавчера я была здесь, с тобой…

Это фигура речи. Я люблю ее то как дух, то как тело.

Оля, которая ходила босая по Веймару и изводила всех проповедями…

Я посвятил ей песню «К Диотиме», о, мой Гёльдерлин!

С той точки, откуда мы в разные стороны двинулись,

Я еще виден тебе, Прошлое,

(ты-то и делишь со мной мои страдания),

Посему я готов передать тебе милое послание.

Спасибо за *милое послание.* И с каких это пор ты влюблен в Олю?

С Баухауза. Однажды ты уехала надолго, и я привел ее, замерзшую, в комнату…

В мою комнату?!

Да, в твою комнату.

Пустой перрон. Свод из добротной стали. Я молода и обидчива. *Если я не справлюсь с навязчивой идеей чистой жизни, не знаю, что со мною будет.*

«Фридл, наипросветленнейшая, прояви снисхождение к другу! Разве можно так! Чуть что – на вокзал!»

Слова Стефана – мокрый снег, они превращается в воду. Но не в слезы. Нет. Рождественская елка подмигивает мне разными глазами. Она не думает о том, что через неделю ее разденут и, пожухлую, с осыпающимися иголками, выкинут на помойку, ее не заботит будущее.

Дорогая Анни!

Пишу в электричке. Тем вечером, когда пришло твое письмо, я писала тебе; посылаю неотправленное вместе с этим, хотя теперь это совершенно излишне.

Поезд замедляет движение, пассажиры встают с мест, женщины поправляют прически, мужчины – галстуки: подъезжаем.

Здесь ничего не происходит, а когда постоянно находишься среди людей, возникает странное чувство, как если бы в их сон проник какой-то звук и чуть было не пробудил их, однако звук растворился в тишине, и они продолжают спать.

Вена посапывает, Берлин бурлит. Новогодняя елка на Александерплац тянется ввысь, упирается винтообразной макушкой в небо, а наша расселась на Ратушной площади и стреляет глазами по сторонам. Желтенькие, голубенькие, розовенькие лампочки. Жидкие цвета. Может, кого-нибудь они и умиротворяют, но не меня. Я зверею при виде их.

Раскроенная сумка так и лежит на столе. Марты нет. Зачем я вернулась? Ночной демарш. Что с того, что Стефан пожалел бедную голодную Олю и привел ее в мой дом отогреть и приласкать? С какой детской чистосердечностью он в этом признался…

В мастерской застоявшийся запах дубленой кожи. Я распахиваю настежь окно. Лучше замерзнуть, чем задохнуться. Говорят, болезненная чувствительность к дурным запахам и духоте свойственна тем, кто при родах страдал от недостатка кислорода. Отец при сем не присутствовал, так что узнать не у кого. Может, я была опутана пуповиной или наглоталась околоплодных вод, может, не закричала сразу или меня откачивали… Скорее всего, я задохнулась, как только пустили газ. Хорошо, что я этого не помню.

Я здесь надолго не задержусь. …Я очень хотела бы что-нибудь начать, но это очень трудно, у меня нет ни места, ни всего остального.

Родной дом тебе не место? – восклицает отец и прикладывает ладонь к уху, ждет ответа.

Она голодная, она с поезда, она устала, – кричит ему в ухо Шарлотта.

Отец вбирает голову в плечи. Глухие – обидчивы. Ведь невозможно ласково кричать. Шарлотта разводит руками – сама, мол, видишь, как тут все у нас.

Отца уволили с работы. Кому нужен тугоухий старикан? Но он твердо знает – причина не в этом.

Не хотят евреев, да, не хотят евреев… Они нас затравят, они нас затравят…

В походке его появилось что-то заячье – вприпрыжку, на полусогнутых он петляет по дому, из-под чиненых-перечиненых брюк висят тесемки от кальсон. Новую вельветовую пижаму он бережет на черный день. Все, что ни приношу, – на черный день. Даже селедку.

И это была такая вонь, такая вонь! – вздыхает Шарлотта. – Фриделе, когда ты родишь? Я так хотела детей… Не вышло. Дети или выходят, или не выходят…

Я согрела кипятку – тот же чайник, тот же кран, обмотанный тряпкой. Шарлотта всплакнула – кто и когда подавал ей чай…

…Мои родители какими были, такими и остались. Я давным-давно в этом варюсь, споры и раздражительность уходят, все идет хорошо.

22. Ателье «Зингер–Дикер»

Франц падает предо мной на колени, утыкается лбом в юбку. Он вернулся в Вену, он не может без меня. Тем более теперь, когда такие перспективы, столько заказов… Мы откроем новое ателье. Первым делом запустим в серийное производство стулья, потом примемся за салон мод для Крайзера, потом… Смотри, целая папка заказов! Нашим кредо будет экономия. Экономия пространства, времени, денег и нервов! Скажи, что ты согласна, скажи!

Скажу.

«Долой громоздкую, сжирающую метраж мебель! Превратим гостиную в спальню, спальню – в рабочий кабинет. А хотите – кровати и шкафы “въедут” в стенки, и вот, пожалуйста, – танцевальная зала».

Франц, это напоминает воззвания Фиртеля!

Но если окинуть жизнь с высоты моих 27 лет, можно сказать, что работа в театре сослужила нам добрую службу. Там я играла первую скрипку, здесь – Франц. И я с удовольствием работаю на него: подбираю цвета и фактуры для обивки мебели, гардин и ковров – словом, вношу женский уют в мужские конструкции.

Франц входит в моду. Богатых клиентов привлекает экзотика – кровати на шарнирах, книжные полки-стены с выдвигающимися из них столами и стульями и само сочетание строгой геометрии Баухауза с мягким колоритом, привычным здешнему глазу.

Художник, который, как казалось Францу, уснул в нем навеки, пробудился в архитектурных проектах. Его кинетические интерьеры – это тот же театр, где освещению отводится особое место. Для каждого проекта он создает свой тип светильников, с указанием на плане, где проходит проводка и где должны стоять штекеры.

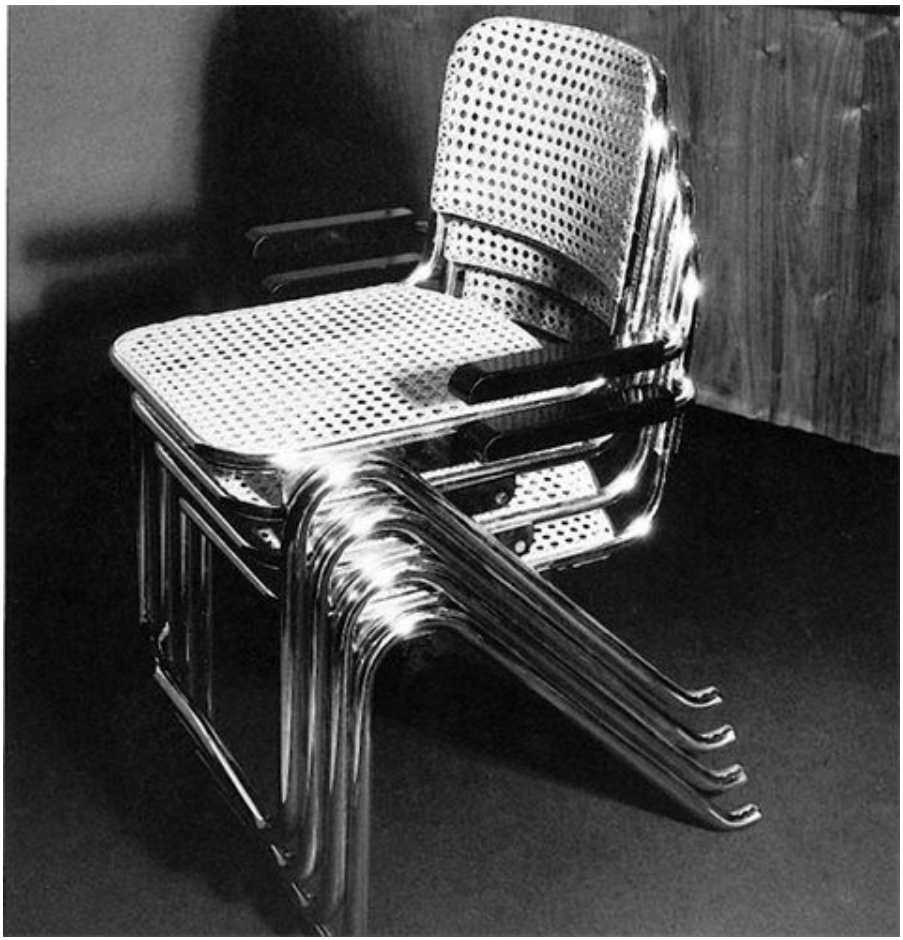
Предметы быта выглядят у Франца как театральные аксессуары – они складываются, разворачиваются, выдвигаются, задвигаются и даже переворачиваются, но не просто так – они меняют свои функции.

Франц впал в детство. Он играет с Биби в машинки, он отдал ему на растерзание модели столиков и стульчиков, освободив таким образом карманы своего плаща для жестяных коробочек из-под монпансье, в которые Биби собирает всякий хлам.

Этого нового Франца я до смерти люблю. Дети и художники, наверное, единственные вменяемые существа на этом свете. Остальные стоят в очереди на кладбище: растут, размножаются, чахнут, дряхнут и помирают.

Как всякий ребенок, Франц непредсказуем. То прячет от всех свои игрушки, то, наигравшись и потеряв к ним интерес, раздает их направо-налево, то, раскапризничавшись, учиняет скандалы,

от которых у всех надолго портится настроение, а ему хоть бы что – уснул и забыл.



В ателье кроме нас работают двенадцать человек: Марта Дёберль, Польди Шром, Анна Сабо, Грета Бауэр-Фрёлих, Ганс Биль, Рихард Эрдос, Бруно Полак, Вольфганг Рот, Йозеф Зейберт, Вилли Винтерниц, Фредьюнг, Фольтин-Фуссман. Понимая, что за именами ничего не стоит, я все равно не стану их вычеркивать. От многих остались одни имена, пусть будут.

Мы проектируем складные стулья и диваны-кровати, «подвижные» лампы на кронштейнах и лампы навесные, шкафы и шкафчики, столы на витых алюминиевых ножках со стеклянным покрытием, стенки, посудные шкафы; создаем интерьеры в новых квартирах и занимаемся перепланировкой старых, оборудуем современные медицинские кабинеты и занимаемся дизайном витрин, строим выносные лестницы. Разве что в кинопродукции мы пока не нашли своего места.

Нас много, заказов много, всего много.

И при этом ни одна из наших разработок не принята в серийное производство. Сколько ни колесил Франц по Европе с образцами и чертежами, все осталось в единственных экземплярах.

Франц не смог убедить заказчиков? Не знаю. Скорее всего, прав мой отец: «Не хотят евреев, да, не хотят евреев…»

При этом мы выполняем заказы для Вены, Праги, Брно, Будапешта и Берлина. Наши работы отмечены на берлинской выставке «Смотр искусств».

Заказчики разные, некоторые могут довести до белого каления.

«Сушилку для посуды вы собираетесь изготовлять по чертежу или покупать готовую? – спрашивает управляющий гостиницей. – Ту, что вы сделали у Хеллера, наша кухарка находит непрактичной. При установке тарелок на подставку вода течет по рукам – это неприятно. А что насчет стульев? Как у Фишера? Или по посланному вами эскизу? Фишер говорит, что его стулья той же высоты (72 см), но уже, не 45 см, а 41,5 см, глубина же 45 см вместо 48,5. Стулья больших размеров удобнее, это Фишер подтверждает со всей определенностью… Еще он заметил про подлокотники. Они не годятся. Слишком слабы для настоящей опоры. Им нужны либо металлические подпорки, либо выдвижные консольные опоры. Об этом следовало бы подумать. На ваших подлокотниках нельзя сидеть, а многие это любят делать. Мне не нужна мебель с надписью “Осторожно, не опираться!” Придумайте что-нибудь».

С экономией времени и места дело обстояло хорошо, с экономией денег и нервов – из рук вон плохо. На Зингера сыплются жалобы. Уже и Эмми получает письма от посредников: «…Я желал бы, чтобы Ваш муж был здоров и находил удовольствие в работе… Он сам не знает, как справиться со своими противоречиями… Так трудно выбивать деньги на текущие оплаты… Люди не платят вовремя, а это необходимо для ателье… Некоторые счета дебиторов приостановлены из-за ремонтов…»

Счета, в которых мы с таким трудом разбирались, где-то еще хранятся.

«От фрау Нойманн: 4 мая – 50 шиллингов, 5 апр. – 50 шиллингов, 7 мая – 50 шиллингов, 20 июля – 50 шиллингов, Польди – 300 шиллингов, еще что-то – 60 шиллингов – остальное у меня в сохранности. NB: из этих денег Франц Зингер свое уже получил, и как раз этой квитанции у меня нет, поэтому в счете – дырка, которую ты, вероятно, с помощью ФЗ сможешь заполнить».

Как заполнять такие дырки с помощью Франца Зингера? Вечная нужда. Мы придумываем вещи, которые по элегантности и простоте не уступают баухаузовским, а сами латаем дыры на своей одежде.

23. Мне 30 лет

«Ах, как бы хотелось не думать про завтра и стать хоть на миг безоглядно счастливой…» – подпеваю я граммофону. Я надралась на свое тридцатилетие. В новом платье от Гизелы, в венчике из ромашек от Анни, я напоминаю «Весну» Боттичелли. Сколько людей! Кто их сюда назвал? О чем они говорят?

Поскольку Единичное возможно лишь однажды – на то оно и Единичное,– так и в Абсолютном может существовать лишь одна истина, априори… И Единичное, и Абсолютное разнообразны в своих проявлениях… – это понятно кто говорит: Людвиг Мюнц. Вальяжный, с сигарой во рту, герой карикатур Гросса. Кажется, все присутствующие сошли с картин Гросса. Кроме меня, я – с Боттичелли. Но это я уже говорила.

Так выпьем же за разнообразие, за этот признак подлинности… за тебя, Фридл! – Все пьют и опять говорят: – средневековая картина мира… мертвый оттиск Абсолютного… распрямить… развернуть сложенное… отмена неравенства… Плут Караваджо как-то сказал… мое личное переживание и факт процесса кристаллизации… при чем тут миссия Христа… называйте как хотите… нация, вера, народ… Горький и Лев Толстой…

Выпьем за «Теннисный клуб» – только что сдали, красавец, красавец! – за все наши проекты… Децентрализация пространства, никаких люстр в центре… источники света прячутся по углам, в книжных полках, на спинках кроватей… Новая вещность… В мире вечном ей соответствует образ детдома, где воспитатели и учителя замещают родителей.

Фридл! – Йожи отзывает меня в сторону. – Ты бы не пила…

Это ты сказал про детдом?

Я.

Остроумно.

Йожи берет меня под руку, выводит «продышаться». Лечение несовместимо с алкоголем. Он врач-гинеколог, он меня лечит. Мой новый друг! Ему можно сказать все. О сумасшедшей ревности к Биби, о том, что душа моя превратилась в крошево, – ни сочинять, ни думать – выполнять заказы. Франц предлагает, Фридл выполняет.

Парит, как перед грозой, дышать нечем. Угораздило же меня родиться 30 июля! Почему на меня все оборачиваются?

Потому что ты красивая!

Красивая? Да нет же, потому что я в венке! Парад покойников… Когда-то мы шли с отцом фотографироваться, я была еще совсем маленькой. Я казалась себе такой красивой… Большой бант, клетчатое платье с оборочками… Недавно я увидела у отца эту фотографию. Серенькое платье, серенькие рейтузы… Теперь я модная дама, декольте, брошь, венок, туфли-лодочки… А ощущение поганое…

Ты просто пьяна, Фридл. Я тоже мрачнею, когда пью. Становится жаль себя. Вот, оставил скрипку… Как жить без музыки? Но мне всегда хотелось служить женщинам… Лечить их, принимать у них роды. А что, если тебе заняться с детьми рисованием?

Алло, алло, бюро по трудоустройству слушает!

Фридл, ты же знаешь, как я ценю твой талант! Ход моей мысли прост: раз мы с тобой похожи, а мы с тобой похожи, правда, то и в тебе живет потребность в служении. Даже у твоего

любимого Рембрандта всегда были ученики, конечно, ты можешь сказать, они ему помогали, жили у него в доме, платили за это… Но, по-моему, они были ему нужны как отражение, и не только его собственное, но и самого времени – ведь и художник стареет…

Служить или отражаться? Это разные вещи. Кстати, художники не стареют. Но могут растратить себя по мелочам… понимаешь, теряется одержимость… Что до Рембрандта, то его понимали пять человек, ну, шесть… Остальные предпочитали итальянцев, яркие краски… Иначе бы он не раскромсал на куски свое лучшее полотно! Мне как-то приснилось, что я уговариваю Рембрандта не идти на уступки глупцам, но он меня не слышит. В ярости заносит нож… Вбегает его сын Тит и останавливает воздетую руку. Нож падает на пол… Йожи! Давай я тебя нарисую… Неподалеку отцовский магазин, ты купишь мне самую дорогую бумагу…

Тот же звонок. Он раздается, как только открываешь дверь. Йожи, какой чудесный день рождения ты мне устроил. В мои шестнадцать началась война – и празднование отменилось, в мои тридцать я оказываюсь в этом самом магазине, где я отцу бумагу пачкала и пластилин портила… И клиентов, которые мне не нравились, отпугивала одним взглядом. Я вот так на них смотрела! Вот эту бумагу мне купи!

Йожи щупает листы – какие у него руки!

Это плохая бумага…

Я рисую только на плохой! Так меня отец научил.

Но меня ты будешь рисовать только на хорошей, иначе не буду позировать.

Мы устраиваемся в кафе, я сижу на диване, а Йожи на стуле напротив. Между двумя пальцами мундштук курительной трубки, чувственный рот, темные близорукие глаза за очками в тонкой оправе… Пробую лицо целиком – грубо, пробую пальцы и глаза – странно, пробую так, пробую сяк, лист за листом падает на пол, зачем ты купил мне хорошую бумагу! – и вот наконец появляется то, что я увидела в тот момент, когда мы говорили о Рембрандте, – часть лица, едва намеченный нос с прозрачной дужкой, два пальца, трубка в углу рта, глаз за стеклом… Я довольна рисунком, я протрезвела.

24. Изменить мир!

Не забудьте темные очки, – восклицает Франц, узнав, что мы с Йожи собираемся в Советский Союз. – Там все красное: галстуки, знамена, транспаранты, борщ… Покой – Смерть – Черный – Красный… Как по Иттену.

Мы тебе оттуда напишем.

Из коммунистического рая в капиталистический ад почту не доставляют. Сгинете оба. Страну всеобщего благоденствия посадят на долгосрочный карантин. Чтобы туда не проникли вирусы капитализма.

Франц и прежде сторонился левых. Пытался отвадить меня от Хартфильда и компании. Не по душе ему анархисты-дадаисты с их меморандумами и грязными ногтями. Франц брезглив. Ему претит «соитие разнузданности с солдафонством».

Твой Стефан уже успел сочинить ораторию «Приказ по армии искусств»? Художники, встаньте в строй, подравняйтесь по линейке, кисточки – на плечо! А «диктатура пролетариата» в духе Аве Мария? Полюбуйся, солидное издательство «Мелика» выпустило твоего Хартфильда. «Спаси нас, СССР!», и тогда «Мечты Ленина станут реальностью», «Единство красных сделает нас свободными!». Кого это – нас?! Мне и даром не нужна такая свобода… Большевики – те же мерзавцы! Неужели ты не видишь, к чему все идет? Эмми права. Мы уедем в Лондон. Ради Биби… Там не бредят ни коммунизмом, ни очищением арийской расы.

Большевики – интернационалисты. Как ты можешь ставить их на одну доску с фашистами? Значит, Эмми тебя увозит… Что же будет с виллой Херриот, зачем мы связались с театром Брехта? Как быть со спальней Моллеров?

Не знаю… Из Амстердама пришел отказ. Наши стулья слишком дороги для серийного производства. А детский конструктор слишком сложен. Может, в Берлине было бы проще продвигать проекты?

Хочешь командировать меня в Берлин? Я как раз завтра еду туда – Макс зовет делать кино. Заодно могу продать стулья Гитлеру, в качестве профилактики от геморроя, а конструктор Гессу – для повышения интеллекта!

25. Фотомонтаж

Мы встречаемся в Марксистской рабочей школе, сокращенно МАРШ. Ее посещают левые интеллектуалы. Сам Брехт туда вхож. Читает Ленина и обрушивается на чистоплюев, болтающих о неземном в стихах и прозе. Чушь! Все растет из материального бытия: и мысль, и поэзия. Вначале было дело. Из дела и жизнь, и слово. Сознание из бытия.

Впечатлительный Стефан, наслушавшись подобных речей, решил навести в своей жизни порядок. Женился на Оле, она на сносях, пишет музыку на слова пролетарских поэтов и самого Ленина.

Макс выступал свидетелем со стороны жениха. Стефан женился трижды, в Палестине и в Америке, и всякий раз Макс выступал свидетелем.

«Он был моим единственным другом. Он вообще был единственным. Видите ли, человек не рожден для одиночества. Всегда есть группа людей, которые выброшены. Они и становятся настоящими друзьями. Стефан был выброшен вместе со мной, и таким образом он был единственным другом».

И я принадлежу к этой категории. Выброшенные метались, вступали в компартию, женились по недоразумению, у них были свои, но часто сходные по рисунку узоры судьбы. В Освенциме, говорят, велись «научные» исследования ладоней цыган: есть ли на них общий рисунок, отпечаток изгойства? Со Стефаном и Максом мы на этот предмет ладони не разглядывали, возможно, наши линии оказались бы схожими. Макс и Стефан спаслись, я – нет. Женская нерасторопность? Нет, вот этого обо мне не скажешь!

Вот он, предатель Гёльдерлина, – говорит Макс, похлопывая Стефана по плечу. – Больше он не сочиняет песен о любви, не пролетарское это дело.

До вечера, – говорит Стефан, усаживаясь на велосипед. Он на меня обижен. Не приехала на премьеру «Воццека», не явилась на свадьбу.

Пока Стефан будет гонять на велосипеде по всему городу и расклеивать плакаты, как велит партия, мы с тобой обсудим проект, – говорит Макс. – А потом устроим перемирие. Знаешь, что Оля мне сказала? «В вас вселился антихрист, люди с чувством юмора в партию не вступают!» А сама и улыбнуться-то по-человечески не может, лицо как маска.

«Нашей задачей было поставить искусство на службу рабочим – с его помощью они станут хорошими революционерами. Мы

начали с “Капитала” Маркса. Я собрал группу художников в Берлине, и мы решили делать фильмы».

Группа художников – это мы с Максом, и фильм мы сделали один, из сорока кадров. Каждый из них – фотоколлаж размером в четверть ватманского листа. Для одного только кадра «Настоящее и будущее детей» мы изрезали целый журнал «Советский Союз на стройке».

Из нашей прессы мы понастригли слащавых красоток, изможденных детей, беременных с голодными глазами, политических деятелей, уличные сцены. Что-то я переснимала в мельчайших деталях, что-то, напротив, уменьшала. Весь Гитлер уместился в спичечный коробок, а его физиономия, крупным планом, встала рядом с ребенком. Горько плачет новорожденный, летящий во тьме. В какой мир он рожден! Слева – мрачный фюрер, справа – перепуганная женщина в вихрях людских масс, беременная, обнимающая свой живот.

«Не знаю, здорово ли было бы иметь такое искусство сегодня, но в то время для меня, для Стефана, для Фридл это был единственный путь. Наши фильмы должны были быть посланы в Москву. Я показал фильм большому собранию, приблизительно 500 или больше рабочих в школе в Ньюкёльне, это район Берлина. Это было за две недели до того, как к власти пришел Гитлер. Фильмы не послали в Москву, это стало невозможно».

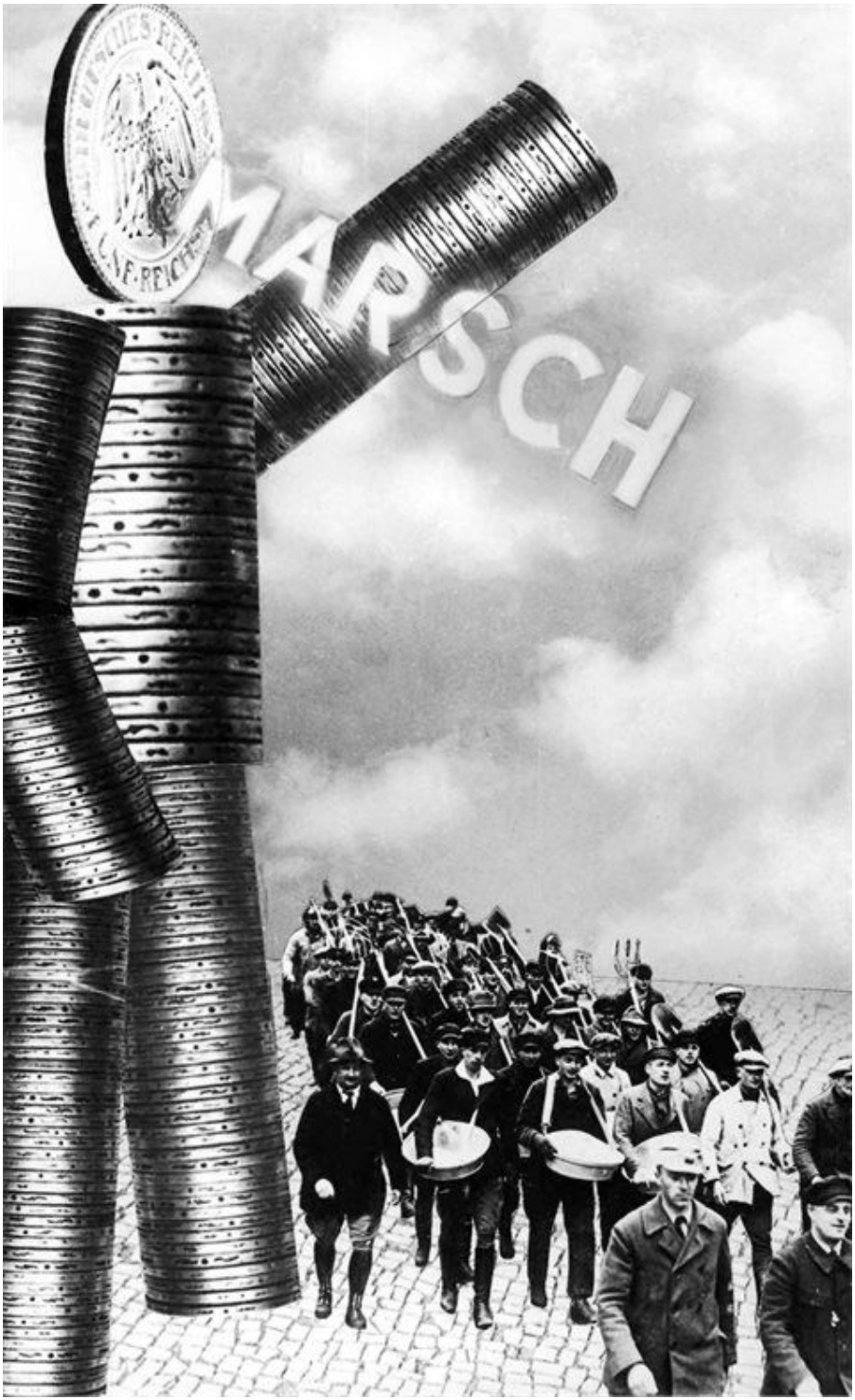
Макс, ты все путаешь! Производством фильма занималась совсем другая компания. Диафильм, который ты показывал рабочим, был готов в 1931 году. За два года до прихода Гитлера к власти.

В работе над «Капиталом» без Хартфильда было не обойтись. Мы пользовались изобретенной им техникой фотомонтажа. С пересъемкой и компоновкой мы справлялись легко, с ретушью тоже, но вот добиться того, чтобы коллажи не отличались от черно-белой графики, нам не удавалось.

Я пришла к нему за советом, но получила напутствие: «Рисуй методом фото, твори методом фото, используй фото как оружие! Мне ли тебя учить? Я начал карьеру художника с бумагообрабатывающей фабрики, а ты – с фотошколы. Дерзай!»

Gebrauchswert

Gebrauchswert


MARSCH

Хартфильду так понравился коллаж с Гитлером в спичечной

коробке, что он понес его Брехту. Тот выразил желание со мной встретиться. Я готова. Как товарищ по партии.

Мы встретились. Передо мной предстал Ваал, «тигр городских джунглей» – очки в никелированной оправе, кожаная кепка. Как тут не потерять головы?

Присаживайтесь, – Брехт пододвинул стул, но я не села. Наш драгоценный коллаж был посыпан табачным пеплом, на лице ребенка стояла чернильница. Я убрала ее в сторону и сдула пепел. Брехт внимательно следил за моими действиями. Я объяснила, что это наш совместный труд с Максом Бронштейном.

А что, если сказать вашему товарищу, что коллаж прожжен сигарой самого Брехта?

Прожжен? Где?

Шучу.

Его Ваал тоже был самоуверенным наглецом. Но правдивым. В глубине души многие считают себя гениями, только сказать стесняются. Брехт не стеснялся.

Брехт предложил мне сигару. – Спасибо, не курю. – Ром. – Спасибо, не пью по утрам. Может, присядете?

Да нет, я не сижу.

Тогда давайте говорить стоя, – улыбнулся он мне, и я потеряла дар речи. Но, как оказалось, дар речи мне бы и не пригодился. – Сюда бы железно встал мой маршевый стих. – Брехт поставил указательный палец на верхнюю часть работы, где мы думали оставить воздух, но он смотрелся как дыра. – «Вот так, майн кинд, таков наш мир, куда явился ты, одним здесь ножницы даны, других здесь будут стричь. Так выглядит, майн кинд, наш мир, коль честен будешь ты, вступай, майн кинд, в борьбу со злом, чтоб мир наш изменить».

Здесь можно было бы жить прекрасно, среди образованных, интеллигентных людей, если бы не страх быть отправленным дальше… Пришли Брехта…

Я мечтала поставить «Трехгрошовую оперу» в нашем терезинском детдоме и так рассердилась, что мне ее не прислали.

Изменить мир! Не дать людям «превратиться в зверей и машины». Я листаю «Утопию», не взять ли что-нибудь оттуда к плакату: «Победа пролетариата – гибель буржуазии».

«…Искорка вспыхивает… стремление к реальности загорается, пламя выбивается наружу, пробивает сферы обусловленности… в свете, который идет от Господа, лежит реальный мир. Тут колеблется сущее, и замерзшее плавится в пламени Утопии…»

Это чуждо массам, – говорит Макс, – им нужно коротко и ясно: «Австрия – нет работы, СССР – есть работа», «Там, где голод-

нужда из-за кризиса душат, – там детишки без хлеба свои жизни порушат», «Буржуазия фашизируется – предприятия сворачиваются: нужда – голод – болезнь – смерть… Вопрос власти может быть решен только при диктатуре пролетариата!»

26. Вилла Херриот

Доброе утро, фройляйн Дикер! – господин Херриот снимает передо мной шляпу и низко кланяется. Леопард в знак приветствия садится на задние лапы и разевает пасть. Рука в белой лайковой перчатке сжимает поводок. – Ваш подрядчик из Брно так и не доставил диван-кровать в Вену. Такой предмет не мог задеваться невесть куда, фройляйн Дикер. Свяжитесь с подрядчиком. Завтра мы с Хильдой и зверем покидаем дом, ключи есть у Франца. Но я вызвал вас по другому делу. Мы хотели бы, чтобы после реконструкции вы перенесли скульптуру из сада на второй этаж, как у вас отмечено на плане, и еще мы хотели бы приобрести рисунок леопарда. По стоимости дивана-кровати.

Да я этот набросок за пять минут сделала!

Этого, фройляйн Дикер, никому не рассказывайте. Не то кончите жизнь в бедности и разоре. Мы, австрийцы, странный народ. Несколько гениев, сравнительно большая группа интеллектуалов, остальные – идиоты. Не про вас будь сказано.

Херриоты уехали. Мы договорились, что каждую неделю будем посылать им фотографии, фиксирующие ход работ, и чтобы они ни в коем случае не появлялись здесь с леопардом, иначе рабочие обратятся с жалобой в профсоюз.

На аксонометрическом чертеже, который мы никак не могли завершить в срок, я «установила» Anna selbdritt на фоне коричневой стены, на втором этаже. Херриоты требовали крутого авангарда и буржуазных удобств – мягкой мебели, ковров, занавесок.

Перестройка виллы была затеяна из-за леопарда. Херриоты не могли принимать гостей. Для их безопасности мы надстроили второй этаж с внешней лестницей, ведущей к отдельному входу. Здесь можно будет устраивать большие приемы, без которых Херриоты не могли жить.

Мы застеклили второй этаж, что придало воздушность приземистой постройке, развели на крыше сад с дорожками и клумбами.

«Идиоты» разрушили виллу в 1938 году. Сохранились лишь фотографии, которые мы посылали чете Херриот для отчета.

27. Театр комедии

Я жду Франца в Берлине. В Театре комедии. Франц, как всегда, опаздывает – бежит, расстегивая на ходу плащ, машет портфелем. Брехт предложил нам сделать эскизы к постановке «Матери» Горького. Он в поиске. Назвал разных людей на пробу. Всем заплатит. Все должно быть предельно просто. Никакой русской экзотики с донскими казаками. Это пьеса о другой России, рабочей, революционной; не надо подчеркивать особенностей быта, одежды. Напротив, необходимо найти то, что сближает русских и немецких рабочих.

Разговор с Брехтом вышел коротким. А с Францем затянулся до утра.

Что же сближает русских и немецких рабочих?

Бедность и революционный дух.

Рисуй для Брехта, но без меня. При всем уважении к его личности… Тебя я люблю во всем… даже в дурацких фотоколлажах… Как тебе удается всю эту шелупонь собрать в грандиозное, не побоюсь этого слова, целое? Хартфильд – тот спец по крупным планам. Ленинский лоб на полплаката… Лапища со знаменем, как бульдозер… О, чудесная новость для вас с Йожи: оказывается, большевики не запретили танцев, фокстроты каждую ночь!

Откуда ты знаешь?

Получил сообщение из Москвы. Что до меня, предпочитаю детские игры. Конструкторы, машинки, домики…

Сиреневый вечер, желтый свет в окнах напротив… Убежище Бушманов. Постель предоставляет себя двоим сумасшедшим, которые накидываются друг на друга, расшвыривая подушки и одеяла… «Ну все, – думает постель, привыкшая исполнять свои обязанности, – пора на боковую». Но сумасшедшим не спится.

В первую терезинскую зиму я околевала по ночам. Павел в конце коридора выгородил угол и построил там нары, вместо двери была рогожа. Чтобы дотерпеть до утра, я перебирала в уме самые теплые воспоминания. Да простит меня Павел, одним из воспоминаний была эта ночь, ласковая, ничем еще не омраченная, теплая большая постель, теплые подушки, жаркое дыхание… Конструкторы, машинки, домики…

Каждый из нас по-своему переживает свои 1000 бед и огорчений, невозможно посвятить другому всего себя и все свое время, невозможно быть счастливым в соседстве с несчастьем. Об этом мы еще поговорим; я чувствую сама, что это очень неясно и могло бы, не приведи господи, дать повод к превратным этическим

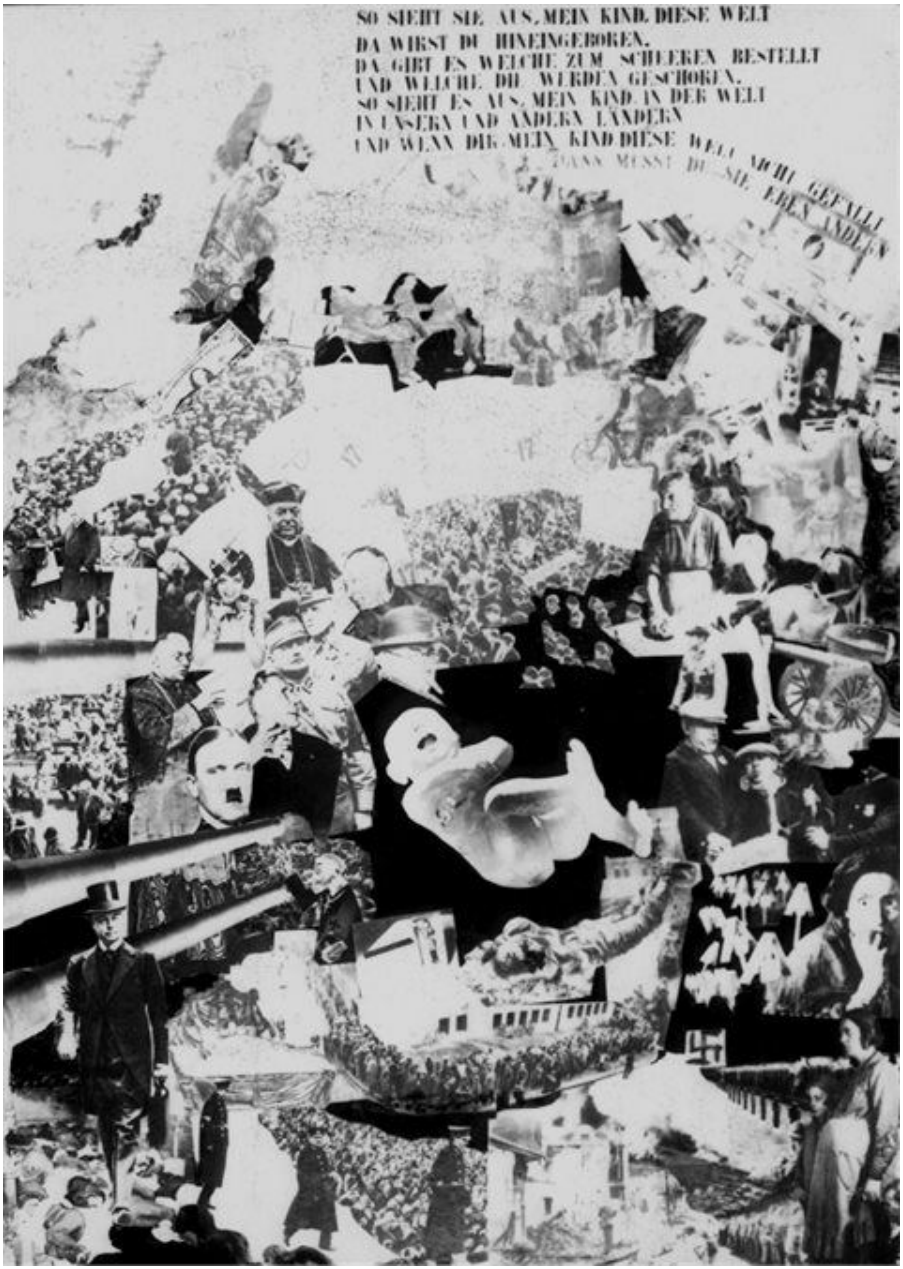
толкованиям.

Мы все замкнулись в своем, и при этом каждый из нас желает получить свою долю в общем счастье.

Когда я теперь слышу что-нибудь о ценностях искусства, на меня находит оцепенение; я знаю только одну ценность, и это – жить по-человечески. Я беру на себя смелость вживую обучить рисованию 80 из 100 человек, но при этом самой мне хорошо жить очень трудно.

Не заметила ли ты, что именно сейчас мы, друзья, вновь сошлись вместе? На этой спирали – знаке бесконечности – мы оказались на виток выше, прямо над отправным пунктом. И все начинаем заново.

Франц управляет ателье настолько хорошо, насколько это вообще возможно; в этой трудной ситуации из сомнительной, подчас ограниченной и зачастую рассеянной публики он сделал самостоятельных людей.



Кроме того, он живет или, скорее, жил слишком по-островному, но и это, полагаю, ушло в прошлое. Я хотела бы быть сейчас за городом, хотела бы написать ему сегодня, последние две субботы я думала, что он приедет.

Я рисовала картины с распыленными силуэтами только в Веймаре, но это была ерунда. Ты права, эта техника дает прекрасные возможности.

28. Вокруг детского сада

С Брехтом не вышло, зато мы получили интереснейший заказ на планировку детского сада. В рабочем квартале Вены, в здании районного клуба Гетехоф.

«Красный» детский сад по системе Марии Монтессори.

А что, если все сделать подвижным? Чтобы ребенок сам мог превратить свою кроватку в стол… Еще лучше – придумать такой ход, чтобы перегруппировывать, складывать и раскладывать мебель можно было только на пару, – так дети скорей найдут общий язык друг с другом. И они будут «играть в домики» не с кубиками, а с настоящими, в рост, легкими пробковыми щитами: поставишь так – стол, так – лежанка…

Биби это бы точно понравилось, – говорит Франц. – Жаль, что он уже школьник! И ты сможешь здесь работать, ты же любишь учить детей!

По Монтессори? Нет.

Значит, так: покроем пробковый пол линолеумом, поделим его на квадраты с разметкой. – Франц быстро зарисовывает идеи. – Откидная дверь-заслонка отделяет вход от гардеробной – она же спальня. Разворачиваем спальные щиты – гардероб превращается в столовую с большим круглым столом. После еды он снова становится спальней – стол складывается, стулья – друг в дружку и в сторонку. Для дневного сна из стен выдвигаются перегородки, делящие пространство.

Потом дети отправляются на прогулку. Это мы не рисуем. Гардероб, куда они складывают вещи, возвращаясь с прогулки, у нас уже есть.

Дети разбегаются по «классам». Щиты превращаются в рабочие столы.

На бумаге детский сад готов. Что до Монтессори, то ее метод вызрел в процессе работы с умственно отсталыми. Конструктор из простейших геометрических форм, незамысловатые, если не сказать примитивные пособия для развития интеллектуальных способностей. В Праге мне придется работать с такими детьми, и я попытаюсь применить некоторые упражнения Монтессори на практике. Ничего хорошего из этого не выйдет.

Меня пригласили преподавать на курсах для воспитательниц детских садов. Не ахти что, но все равно требуются две рекомендации.

Я обратилась к Иттену, и он тотчас отозвался. «Фройляйн Дикер была моей ученицей (16–23 гг.) в Вене и государственном Баухаузе в Веймаре. Она чрезвычайно одарена как художник и как

человек, что я очень ценил. Это самобытная личность. Рекомендую ее вам с наилучшей стороны».

Гропиус не поскупился на комплименты. «Фройляйн Дикер училась в гос. Баухаузе с июня 1919-го по сентябрь 1923-го. Она отличалась редким, необыкновенным художественным дарованием, ее работы неизменно привлекали к себе внимание. Многогранность таланта, невероятная энергия – вот причины того, что фройляйн Дикер стала одной из лучших и уже на первом курсе стала преподавать начинающим студентам. Как бывший директор и основатель Баухауза, я с большим интересом слежу за успешным продвижением фройляйн Дикер».

С такими рекомендациями меня могли бы взять куда угодно. Но я и воспитателей бы не стала учить, на это меня подбила Леа Сваровски, моя старая знакомая по Баухаузу. Мы встретились на партсобрании, где я демонстрировала проект пролетарского детсада.

Фотограф Антон Сваровски, сын красотки Леи, грузный старик с водянистыми глазами (моя память хранит его в виде толстощекого непоседливого ребенка), рассказывал, что у меня было потрясающее чувство юмора. И редкой красоты голос. Что стоило мне войти в комнату, как сразу все менялось. Что у его мамы при виде меня рот растягивался до ушей. Последнее – безусловная правда. Леа – первостатейная хохотушка, рассмешить ее ничего не стоит. Хотя на моих рисунках она не смеется.

«Мама вступила в компартию. Для женщин, воспитанных в буржуазной семье, это было нормой». Но я-то не была воспитана в буржуазной семье!

В то время как мы встретились с Леей в Вене, она разводилась с мужем, дирижером Гансом Сваровски. Тот, как и я, жил между Веной и Берлином, и в Берлине у нас случился с ним веселый роман. Потом он разослал всем знакомым открытки с моей фотографией с надписью: «Фридл покинула Берлин, Берлин опустел».

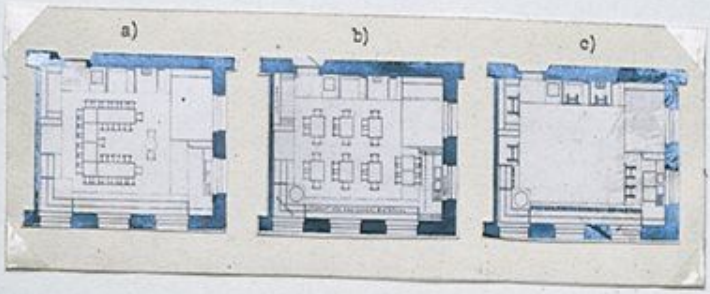
«Папаша мой был бонвиван, милый, талантливый, красивый, ни одна женщина не могла устоять перед ним. Он любил искусство и считал Фридл большим художником.

Второй муж моей мамы, умный еврей, перед тем как на ней жениться, сказал: “Я не могу взять в жены коммунистку. Поезжай в Россию, посмотри, что там происходит, и тогда решим”. Мама провела в России полгода. Где-то в начале 30-х годов она вернулась. И больше эта идея ее не увлекала. Я плох с датами. И не к кому обратиться для уточнения. Все на том свете».

Но я-то – на этом! И поскольку мне не довелось стать старухой и с памятью на даты у меня все в порядке, могу

напомнить, что Леа уехала в Москву в 1932 году и вернулась оттуда окрыленная. Единственное, что ей не понравилось, – отсутствие туалетной бумаги и гигиенических прокладок.

Георг Айслер, сын композитора Ганса Айслера, посещал наш детский сад. Маленький мальчик в белом передничке моет посуду – эта фотография сохранилась в альбоме старшей воспитательницы, но мне и заглядывать туда не надо, я отлично помню маленького Георга, я с ним потом и в Праге занималась.



Three different positions in which TABLES and CHAIRS could be used, converting the room into the dining room, the room for occupational activities or into the room for games and exercises.

a) Diningroom

Если уж выслушивать стариков, то Георгу Айслеру я

полностью доверяю. Хотя бы потому, что он художник, а не фотограф.

«Фридл – из атмосферы моего детства. Политический и культурный авангард. Радикализм во всем – во взглядах на политику и искусство… Круг левых художников… Они были высокообразованны – я помню книжные полки… Русская классика, Брехт, Ромен Роллан… Представьте, всемирно известные фигуры XX века – Шёнберг и Веберн были просто друзьями дома. Позже Фридл переехала в Прагу, мы с мамой тоже… Там я начал заниматься в ее кружке…

Теперь, когда живопись – дело всей моей жизни – принесла мне успех, я отчетливо сознаю, сколько им я обязан Фридл. Она “поставила меня на старт”, дала мне ощущение живописи как образа жизни. Этим я ей обязан. И по сей день благодарю ее. Горько думать о том, что все усилия вывезти ее из Чехословакии в 1939 году не увенчались успехом. Это было бы важно не только для нее самой, но и для всего мира искусства. Такие художники не растут на деревьях».

Когда тебя номинально нет – то есть ты не платишь за свет, газ и прочие коммунальные услуги, – о тебе начинают говорить в превосходной степени.

Оплатив все квитанции, я вольна вымарать последние слова Ганса Айслера. Мне-то ясно, что я несостоявшаяся. Но в моем положении сделать это физически невозможно. Плохое о себе приходится говорить самой.

29. Подполье

Эмми и Франц следуют за гробом. Внезапная смерть Биби расставила все точки над «i»… Высокое «i», как верстовой столб. «Приди, о сладкая смерть, побудь со мной…» Не пой!

Я проводила с Биби столько времени, питала к нему самые нежные чувства. А рисунок? Это было от отчаяния. Я никогда не испытывала к Биби ненависти. Видит Бог, никогда.

Психоаналитик позже объяснит мне, что смерть Биби стала для меня повторением травмы, пережитой на пятом году жизни. Едва осознанная и перемещенная в область фантазий, смерть материализовалась, стала реальностью – бессознательное не имеет привязки ко времени. То, чего я бессознательно желала, и то, что свершилось, слилось воедино.

Мой уход в подполье психоаналитик объяснит интенсивным переживанием вины. Но как быть счастливой *в соседстве с*

несчастьем?

Подполье, в прямом смысле этого слова, находилось в 19-м округе, на Хейлигенштеттерштрассе. В фотолаборатории мы с товарищами (их имена я утаила от следователя и сейчас называть не стану, мало ли что) подделывали паспорта. Профессия фотографа, которая, по мнению отца, была доходной, довела меня до тюрьмы.

Мы читаем с учениками «Коммунистический манифест» и создаем на эту тему «контрастные коллажи».

Контрасты. Борьба противоположностей: фашизм – коммунизм – капитализм – социализм. Два полюса.

Фройляйн Дикер, а что между ними? Оставить кусок пустой бумаги? Фройляйн Дикер, а можно сделать черную пропасть?

Я заболталась. В нормальные времена люди живут вдалеке от политики. Но бывают ли такие времена? Бывают. Любое лучше нашего.

О себе расскажу очень мало. Я сделала рисунок, который поистине прекрасен. Подарила его сегодня Эмми на день рождения. Я еще только наметила тканный из матерчатой полосы ковер для нее, но он мне уже нравится…

30. Проходной двор

С чего начать? Я кладу в сумку бамбуковые палочки, ракушки, цветные нитки… Чтобы было за что ухватиться…

Вхожу, быстро раздаю бумагу, уголь, говорю – представьте себе скалку, давайте катать ее по бумаге, рисуя: на себя – от себя, на себя – от себя…

Так началась моя карьера. С разгону и без объяснений.

«Никогда нельзя было угадать, что будет дальше, столько совершенно неожиданных вещей нужно было соединить вместе. Лестница вверх и лестница вниз, кто-то поднимается по лестнице, кто-то спускается. Или представить себе, как растет бамбук: скачок вверх – пауза, еще один скачок – и пауза, такие скачки может нарисовать любой ребенок».

Эдит, дочь моей подруги Пепы Крамер, присутствовала на том занятии с воспитательницами. В ту пору ей было тринадцать. Ее мама Йозефа, сокращенно Пепа, о которой я пока и слова не сказала, – столько народу проходит через проходной двор одной жизни! – была сестрой той самой примадонны, которой был тесен костюм, сшитый по моему рисунку. Именно она взрезала ножницами парчу на груди и не смогла выйти на поклоны. Звали ее Элизабет Нойман.

Безумное семейство Крамер проживало в одном из доходных домов на Еврейской улице, в центре Вены, на самом последнем этаже. Все там были под психоанализом и сексуально раскрепощались. Отец Эдит, инженер-химик, никогда не работавший по профессии, вступил в компартию и занимался агитацией и пропагандой. Сразу после мировой войны он решил ехать в СССР, но его родители не пожелали изучать русский язык. Потом, из-за фракционной борьбы внутри партии, он разочаровался в коммунизме. Пепа была душой молодежного движения. Там она и познакомилась с братьями Крамер, пустомелей Рихардом и поэтом Теодором. Возглавлял группу в ту пору еще студент психологии Зигфрид Бернфельд, человек, состоящий из одних острых углов. Длиннолицый, с резко очерченным подбородком и пронзительным взглядом. Не скрою, я готова была отдаться Бернфельду. Притом что не была в него влюблена. В фаюмца, кстати, я тоже не была влюблена.

В двадцатых годах Пепа с Элизабет уехали в Берлин, а Эдит осталась с бабушкой и дедушкой в Вене. В Берлине у Пепы случился изнурительный роман с известным сюрреалистом. Чтобы избавить Пепу от травмы сексуальной зависимости, Зигфрид Бернфельд влюбил ее в себя. При этом он жил с ее

сестрой Элизабет, на которой в 30-м году женился. Жениться на обеих он не мог, к тому же Пепа номинально была замужем за Крамером. Во всей этой неразберихе и росла Эдит.

Бернфельд был уверен, что наступает новая эра, в которой будет пересмотрены ключевые понятия – семья, роль женщины и в первую очередь сексуальные отношения. Влечение, как голод и жажда, должно быть удовлетворено. Неудовлетворенность вызывает невроз. В моем пересказе это звучит как пошлая агитка. Но все мы: и Труда Хаммершлаг, ушедшая с головой в изучение детских рисунков, и психоаналитик Анни Райх, объяснившая мое поведение гипертрофированным чувством вины, – были заворожены Бернфельдом.

Обилие имен и невнятно очерченных событий вызывают задержку дыхания. Говорить все, что приходит на ум, полезно разве что для психоанализа. Произведение искусства строится по иным законам. В чистой форме нет мусора, нет соединительных швов. Но *готовое совершенство практически никому не доступно. Ибо отсутствует масштаб, необходимый для анализа вещи.*

31. Труда Хаммершлаг

Она младше меня на год, умней на все сто. Яркая еврейская девушка, орлиный нос, лучистые глаза, мужской пиджак, белая рубашка, галстук в клеточку. У нее все шло с опережением графика: рано вышла замуж, рано начала преподавать, в 23 года написала диссертацию о сути детского рисунка, в тридцать один умерла. Она смотрела на детей и их творчество как психолог, ее занимала не эстетика рисунков, а их будничная суть. Меня же в ту пору волновала лишь художественность. Я начала интенсивно заниматься с детьми после того, как Труды не стало. Все, о чем мы говорили, все, что я читала у нее, стало находить подтверждение.

В Терезине, в снежной замети, я увидела Труду. Постаревшее, но хорошо узнаваемое лицо. Мы стоим в очереди за едой. Я слышу, что она говорит молодой воспитательнице из нашего детского дома: «У девочки на рисунке закрыты все окна, хорошо бы их открыть». В умопомрачении произношу имя «Труда». Она оборачивается. Смотрит на меня и не узнает. Потому что это другая Труда. Ее фамилия Баумел. Моя одногодка, психолог из Праги. Под ее руководством я научусь анализировать детские рисунки.

У одного ребенка возник дом с наглухо закрытыми окнами и дверьми, одиноким цветком, платьицем и мебелью; все без связи, без пространственных отношений друг с другом. Этот ребенок приехал из дома сирот, где с детьми очень жестоко обращались, их постоянно держали взаперти и все их вещи, включая деньги, у них отбирали и прятали. Спустя некоторое время в Терезине, где ребенок приобрел хороших воспитателей, на его рисунках появился уютный столик с лампой, в комнате на стене висит картина. Вещи связаны воедино, их много. Вместо сухих штрихов появились линии, имеющие толщину и наполненность (не отрывисты). Также в лучшую сторону изменились и другие дети.

Как было замечено одной очень любимой воспитательницей, дом (по словам доктора Баумел, дом всегда означает самого ребенка) на первом рисунке отправлен в самый угол, его двери закрыты, окна пусты, линии имеют депрессивный наклон. На втором рисунке, после того как ребенок пришел в себя от оцепенения, в условиях благоприятного обращения, дом вернулся на середину листа, на окнах – занавески, на двери – глазок, на лугу – цветы, и даже солнце нарисовано не так бегло, как на первом рисунке.

32. Эдит Крамер

Краснощекая, со сверкающими глазами, Эдит поджидала меня у двери с полным альбомом рисунков. И не то чтобы я приходила редко, нет, просто она очень много рисовала. Иногда я брала с собой Биби, и он, вероятно из ревности, отнимал у Эдит карандаши. Рисунки Биби не отличались изобретательностью. Прямоугольники с кружками – машинки. Большая машинка, маленькая машинка. Неосуществившийся Франц.

И по сей день я врываюсь в сны Эдит. Куда-то срочно уезжаю, кажется, в Москву… На самом деле уезжает она. Перед отлетом из Нью-Йорка на открытие моей давно посмертной выставки я вошла в ее сон и сказала строго: «Ты не выполнила своего предназначения». Не знаю, что на меня нашло, и Эдит совершенно справедливо возмутилась: «Я превзошла тебя, Фридл! На то и ученик, чтобы превзойти учителя». Увидев в Вене мою выставку, она сказала: «Моим предназначением было стать Эдит Крамер. И я ею стала. Я научилась рисовать то, что вижу. Один к одному. Но у вас, Фридл, даже в не самой удачной работе есть что-то, чего нет, что существует за пределами вещи».

Голос у Эдит не изменился, он такой же глубокий, полнозвучный, в нем слышны птичьи трели, да и сама она похожа на птичку. Трудно представить ее старухой. В Эдит моя энергия движения, она, единственная из всех, приехала сюда из Вены, чтобы продолжать учебу. Мы занимались живописью, работали вместе с детьми эмигрантов.

Нет, сегодня не мой день, за что ни примусь, теряю нить. Я хотела сказать, что она уехала, стало быть, спаслась. Сколько ей сейчас? Самому старому человеку, с которым мне довелось познакомиться, было около восьмидесяти. Несчастное существо. До таких лет лучше не доживать. Мне это удалось.

Складывая в чемодан детские рисунки, я думала: «Эдит». В роковой час мысли сокращаются до междометий, до назывных предложений в одно слово. Главное. Не забыть.

А что главное?

Запечатлеть присутствие отсутствующих.

Вот уж это увольте! У нас нет отсутствующих. Стопроцентная посещаемость занятий.

33. Проекты

Звонит Франц. Предлагает встретиться в центре. Обсудить новый проект – заказ от магистрата. Думаю, тебя это может заинтересовать, в свете твоих нынешних настроений.

Мы идем, отчужденные, по родным улицам: Францу везде мерещится Биби. Все мы призраки, если думать бесчувственно.

Так что же заказал магистрат?

«Работу – юным!» Проект мастерских для безработной молодежи. Под руководством специалистов там будет изготовляться мебель для малоимущих семей.

Мы останавливаемся у витрины кондитерской. Медь надраена до блеска, на красном мраморе – воздушные торты и сморщенные пирожные. – Хочешь? – спрашиваю Франца, он любит сладости. – Нет. – Сворачиваем к кафе «Централь». – Зайдем? – Нет. – Идем дальше. К Дворцу Харраха. Барокко, мраморные арки…

Франц закуривает. У него дрожат руки.

Мы в школе проходили про барона Харраха. Он был недурного мнения о себе. На фамильном гербе велел изобразить себя в виде Зевса, графа Пальфи – Одиссеем, графа Эстергази – Пегасом, а вот графа Баттиани он унизил, сделал из него пешку в свите Фортуны…

О чем ты?

Об эмблеме мастерской для безработной молодежи. В центре Зевс-Гитлер, справа Одиссей-Ленин, слева Пегас-Сталин. Безработная молодежь – пешки в свите Фортуны. Ярко-красный фон, на котором бледнеют благородные династии.

Франц больше не приходит ко мне в ателье. На прошлой неделе он явился без звонка, и я не могла его впустить – у нас было собрание. Впервые в жизни я закрыла перед ним дверь.

Мы возвращаемся в кафе «Централь». Устраиваемся у окна, за большим столом. Франц достает какие-то бумаги из папки, кашляет в шарф.

Нам придется обойти тридцать квартир малоимущих семей, вот адреса. Таково требование магистрата. Собрать информацию о жилищных условиях и написать отчет. После этого подпишем договор на хорошую сумму.

А что с Палестиной?

Францев брат Пауль, сионистский функционер, получил для нас заказ на типовые застройки в поселении Зихрон Яков.

Пока дело приостановлено.

Палестину заморозили?!

Не смейся. Нет, смейся, хорошо, когда ты смеешься.

Наши руки сплетаются, мы сидим как в поезде, который вдруг встал посреди пути – и ни с места. Куда мы едем, куда мы собирались? В Палестину? В Лондон? Мимо нас шествует город, а мы сидим, взявшись за руки, у окна, неподвижные, как надгробие этрусков. Вечность ощутима лишь на полустанках, на незапланированных остановках в пути, который, похоже, заведет нас в никуда, о чем и сообщает официант, составляя с подноса на стол чашечки с кофе, рюмочки с ромом, стаканы с водой… – господа, Гитлер пришел к власти.

Наши вагоны расцепят на узловой станции, и мы разъедемся по разным колеям. Пунктиры превратятся в линии, исчезнут пустоты – останутся две точки, соединенные прямой, – тот день, когда ты вошел в класс со здоровенной папкой под мышкой, и сегодняшний, на станции Бесконечной.

34. Вот бы зрячим – зрение слепых!

Зрячие видят поверхность, а слепые – то, что внутри. Скажем, они лепят портреты: глазное яблоко сделано, но прикрыто веком, зубы и язык тоже вылеплены и прикрыты губами… Или – два ученика рисовали, как они плывут на корабле, – карабкаются куда только могут: они и на палубе, и в машинном отделении, и в каюте. Они изображают все: и лестницу в целом, и детали… В конце концов прикрывают все «одеялом»; зрячий видит закрытый бот, а слепые знают все, что есть внутри. Один слепой рисует «Сон Якова». Изобразил ребра. Спрашивается, при чем тут ребра? Оказывается, под ними бьется сердце Якова, когда он подымается по высокой лестнице!

Вот бы зрячим – зрение слепых!

Тебе бы оно явно не помешало, – говорит Людвиг, рассматривая рисунки моих учеников, сделанные по скульптурам слепых. – Давай опубликуем их в книге, а обложку сделаем шрифтовой. А вообще, дорогая, будь подальше от политики. Ты не Гросс и не Дикс. В твоих картинах говорят блики на бутылочном стекле, поют плетеные веревки – и этой красоте ты пытаешься заткнуть рот. Во имя чего? Точно – не во имя искусства.

Музейное кафе. Соцветия плафонов, приглушенный свет. В зеркале – пламя свечи и мои глазища вполлица.

Я с детства влюблена в эту мягкую, кошачью полутьму. Помню, я устраивалась в уголке, так чтобы никто не подсматривал, выбирала «натуру» и раздевала ее донага. Женщин, разумеется. Мужчин – только до пояса. Полутьма придает отвагу. Не «раздевать» же при свете!

Сколько тебе было?

Лет тринадцать. Я пробиралась зайцем на все выставки, русский авангард, голубые всадники, дадаисты, штурмовцы…

Людвиг старше меня на девять лет. Целая эпоха. Он был ранен на войне, чуть прихрамывает, что не освобождает его от ежедневных оздоровительных прогулок по венскому лесу. Жена следит за его здоровьем. Вырвавшись из зоны контроля, он ведет себя как ребенок – ест запрещенные ему сладости, курит сигары и пьет коньяк.

Он дружил с художниками из «Голубого всадника», знал лично Марианну Веревкину. Ту самую, которая прострелила на охоте правую руку и научилась рисовать левой. Я ее в детстве обожала, за яркие цвета и героизм. Не знаю, понравились бы мне сейчас ее картины. Но тогда я млела перед темной улицей с

выводком французских детишек, бредущих парами за монахиней-наставницей. Смятение чувств. Как учиться, чему? Классики говорят: учись перспективе; авангардисты говорят: наплюй на перспективу; классики говорят: не путай жизнь с искусством; авангардисты говорят: жизнь и искусство – одно и то же.

А воля к искусству? – подначивает меня Мюнц. – Думал, дам оформить «Голландский групповой портрет» замечательной художнице, а получил исчерканную верстку. Муравьиные тропы восклицательных, заметки на полях: «Концепция воли к искусству – старье», «динамика эстетического импульса – плагиат»! «Людвиг, эти определения ввел еще Алоиз Ригль, который умер в начале века!» Ну все, думаю, Фридл сошла с ума. А оказывается, с ума сошел издатель – забыл послать тебе последнюю тетрадку с моим послесловием и выходными данными, и ты приняла текст Ригля за мой. Как я хохотал!

Последний привет от Мюнца я получу году в сороковом. «Искусство Рембрандта глазами Гёте». Из Лондона, с дарственной надписью: «Дорогая Фридл, жду тебя в кафе Британского музея». Он все рассчитывал, что вырвусь отсюда.

35. Опасные игры

У меня хранятся партбилеты немецких коммунистов. И нужно немедленно связаться с человеком, чей пароль я записала на бумажке, спрятала и теперь никак не могу найти.

Я хожу по явкам и сходкам, забываю пароли, прихожу вовремя, разве что сутками позже, как это было со Стефаном, или прихожу не туда. Какая из меня подпольщица?

Стены размалеваны – долой большевиков, долой евреев, – а от деревьев головокружительно пахнет весной… Грязный мартовский снег и зеленеющие стволы. Художники воюют против Тьмы силой своего искусства, а я иду на встречу к связному. Тень от ствола… Под фонарем видны все щербинки, написать бы эту тень… Человек в шляпе выступает из тьмы, по тени идет человек в шляпе…

Мы обмениваемся папками. Тот ли это был человек?

По мнению Ганса Моллера, я играю в опасные игры, расплачиваться за них придется не только мне, но и моим друзьям. Их не спросят, разделяют они мои убеждения или нет. Евреи и коммунисты – шаг вперед! Ты думаешь, вас выручит товарищ Сталин?

Повсюду шпики, мы даже ругаемся шепотом.

Читайте Достоевского, – советует Анни, – в «Бесах» все это уже описано. Революционерам плевать на отдельных людей, они и любимых за идею заложат.

Это камень не только в мой огород. Ганс заделался сионистом, изучает со своей новой подругой Ципорой иврит, собирается наладить бизнес в Палестине и в обозримом будущем перевезти туда текстильную фабрику.

Дорогая Анни!

Причина вспышки, которая сама по себе была смехотворна и постыдна, не была ни тем ни другим. Многословие обернулось своей противоположностью (в те моменты, когда не выяснены отношения, следует быть особенно аккуратным, некая небрежность относительно наших договоренностей была для меня оскорбительна), и сами недоразумения, в которых, наверное, стоило бы разобраться, обходятся молчанием; чтобы избежать неприятного разговора, ты сводишь все к пустякам и в конечном итоге не остановишься и перед тем, чтобы умалить человека, дабы с тем большей легкостью над ним возвыситься.

Я объясняю себе это в общем и целом так, как Шатов: «Мы слишком долго лежали на одних нарах». Если уж быть точной, вот тебе цитата: «Шатов и Кириллов, жившие на одном дворе, почти

не видались друг с другом, а встречаясь, не кланялись и не говорили: слишком уж долго они "пролежали" вместе в Америке». Пережив вместе слишком много несчастий, мы начинаем ассоциировать друг друга с самими этими несчастьями.

Хорошо, что я сегодня тебя увидела, все немного смягчилось. Подобно тому, как вид смертельного врага мог бы снова расположить в его пользу. По лицу можно так много понять; взгляд схватывает целое лучше, нежели ум, который пытается делать выводы из событий; когда видишь, пропадает зашоренность.

Я пишу тебе все это, потому что в разговоре уже не могу достичь взаимопонимания, потому что многое еще не созрело до того, чтобы о нем говорить, потому что не стоило бы говорить слишком много, потому что я уже необъективна и т.д. и т.п.

Дикая ссора в подобной ситуации была бы разумнее; куда страшнее затушевывать проблемы; но теперь в ней было бы мало смысла. Кроме того, это либо слишком много, либо ничего, почему так и происходит. Но я терпеть не могу поверхностного, пошлого стиля общения, хотя в данный момент, по правде говоря, вряд ли возможно что-то иное.

Никому не показывай моих писем. Говорю это не из скрытности, а ради тебя. Наилучшие намерения пропадают втуне; чужой не обладает достаточной для здравого суждения информацией, и ты лишь укрепляешься в дурных чувствах. Возможно, люди показывают другим письма, рассчитывая на их «партийную принадлежность».

В воскресенье я с тобой никуда не поеду, хотя в иной ситуации сделала бы это с большим удовольствием. Если у меня будет избыток энергии, я сама куда-нибудь прокачусь.

Не сердись. Целую тебя, Фридл.

Избыток энергии! По поручению партии я еду в Марианские Лазни. В папке, полученной ночью, деньги на дорогу, адрес и фальшивые документы товарищей, которых партия решила дислоцировать в Чехословакии. Тихая, неприметная женщина сидит у вагонного окна, вяжет крючком салфетки, кто ее заподозрит?

Неужели это происходит со мной? Крючок петляет, поезд волочится, очень хочется спать. Но нельзя. Ни в коем случае. Надо быть начеку.

В Карловых Варах меня встречает товарищ Икс, везет на другом поезде к товарищу Игреку в Марианские Лазни. Курорт. Отдыхающие прогуливаются по балюстраде, пьют воду из целебных источников, а тут я со своими бумагами, зашитыми в сумку, и зоркий товарищ Икс рядом. «Вы только взгляните – одни евреи!» – возмущается товарищ Икс. Я молчу. Подозрительный

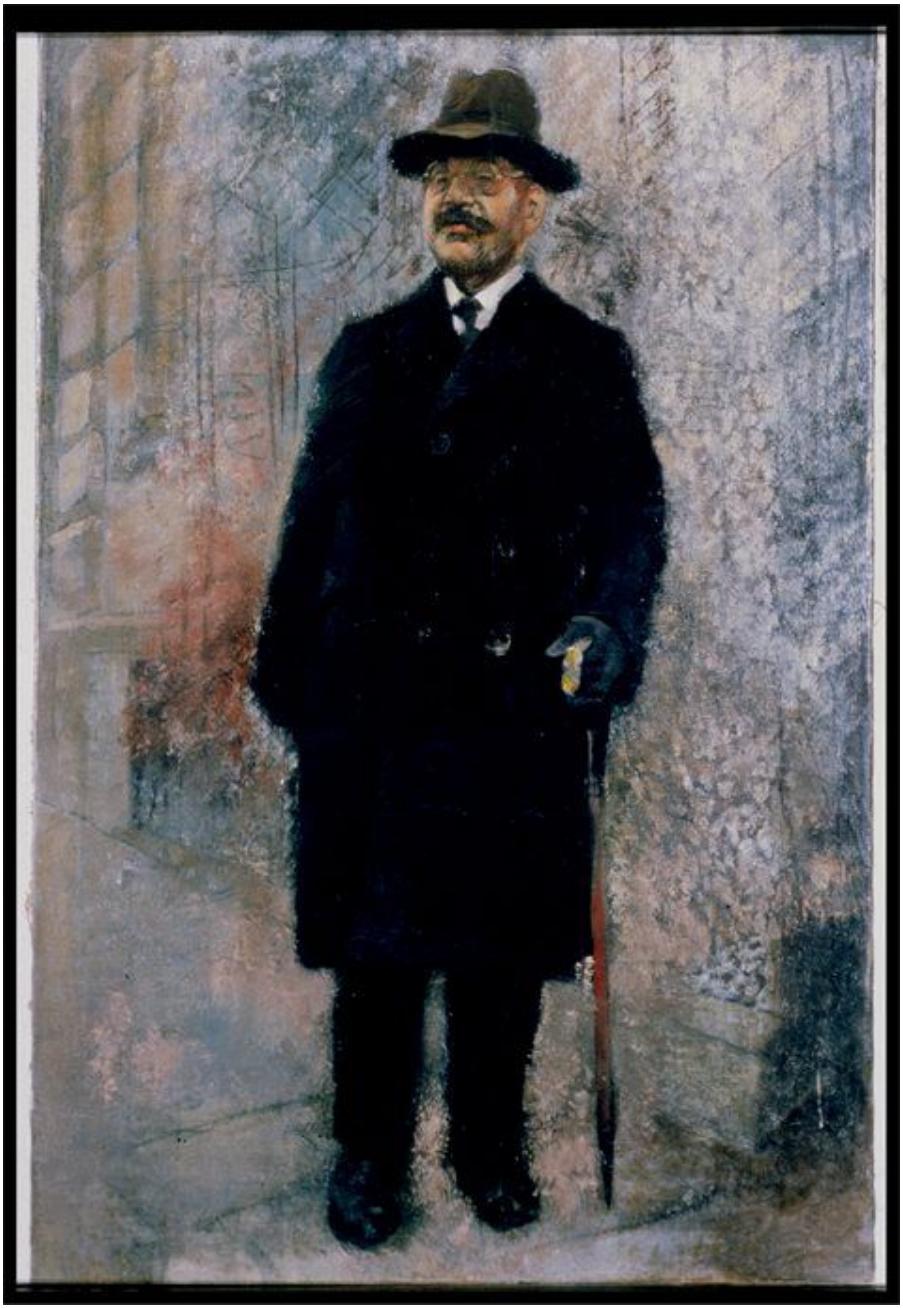
тип. Коммунисты не могут быть антисемитами. Провокатор? Тогда я точно угодила в капкан.

Товарищ Икс доставил меня к товарищу Игреку в целости-сохранности. Тот оказался вполне милым, ему даже удалось прописать меня в Марианских Лазнях – в случае неприятности я могу тотчас покинуть Австрию.

Опломбированный вагон не покинешь «в случае неприятности». Нестерпимая духота, нестерпимая жажда. Если продержаться, то там Павел встретит, на станции…

Не пора ли рассекретить имена товарищей? Рассказать, как работало наше подполье? Говорят, кого-то допрашивали по моему делу, даже били.

Товарищ Игрек интересовался моими родственниками в Чехословакии. Он нашел их адреса в Праге, но не советовал входить в контакт. – Сперва их надо проверить. – В каком смысле? – На предмет сотрудничества. – Пусть проверяет. Я не спешу знакомиться с родственниками.



Лето, от ветерка оттопыриваются поля шляп, раздуваются пышные юбки, взлетают в воздух шарфы, все такое цветастое – люди, дома, природа.

36. Тюрьма

Ателье «Зингер–Дикер» закрыто. С Вассербургассе Франц переехал на Шадекгассе. На фирменном бланке нового ателье значится только его фамилия. Нераспакованные ящики стоят вдоль стен, над столом, заваленным документацией к проекту «Работу – юным!», большая фотография Биби. Он сидит в лодке, гребет веслом.

«…Инвалид войны, семейный, три кровати на 8 персон. Семья безработных – 4 кровати на 17 персон…» – Франц диктует, я составляю список убогих.

Он получил еще два заказа: оформление спектакля «Николас Шнайдер и его душа» и проект постройки нового театра. Я рисую костюмы в духе соцреализма, Франц чертит эскиз здания театра – он похож на движущийся агрегат, который цепляется шипами за мостовую.

Вена замерла, следит за Берлином. «Закрыт Баухауз – рассадник жидов и большевизма».

Франц комкает кальку в руке, перекладывает на подоконник бумаги с грифом магистрата. Он строит мне рожи, я смеюсь, и он закрывает моими ладонями свои глаза.

12 февраля 1934 года – сплошь черный день. Выбраться из него на свет – рембрандтовский труд. Говорят, жизнь умнее нас. Еще говорят, что испытания даются тем, кто может их вынести. Всякое говорят.

А под окном кричат: «Рабочие, ваши еврейско-марксистские вожди раздавлены! Бросайте оружие!»; по радио трендят: «Музыка должна быть здоровой, вдохновленной народной песнью… искусство должно быть здоровым и изображать героя, солдата, молодость, силу… паразиты, угрожающие здоровому телу нации, в первую очередь еврейская гнида, должны быть уничтожены…»

Ночью явились молодчики с ордером. В первые годы правления Гитлера они работали преимущественно в ночную смену. Потом – круглосуточно. Они привязали меня к стулу, перевернули все вверх дном, добрались до ящиков с пряжей, перепутали все нитки, вывалили белье и одежду из стенных шкафов, нашли шкатулку.

Что в ней?

Посмотрите.

Где ключ?

Не знаю.

Фройляйн Дикер, вы арестованы.

Вместе со стулом?

Тюрьма меня не испугала. Тяжелы были только ночные допросы. Каждый как ослепление. Яркий свет повредил сетчатку, с тех пор меня мучают рези в глазах. Я не знала, что глаза могут так невыносимо болеть. В камере было холодно, под лампой невыносимо жарко. Я обливалась потом, у меня горели уши. На картине «Допрос» я нарисовала себя с красными ушами.

Днем меня не трогали. Я получила работу – чинить одежду заключенных – и вышивала на драном белье фантастической красоты узоры. В какой-то момент допросы прекратились, а белье для починки не переставало прибывать. Я ощущала себя Арахной, которой грозит незавидная участь. К счастью, я не успела превратиться в серого тюремного паука.

Меня вызвали в медчасть на осмотр. – Но я ни на что не жалуюсь! – Конвоир велел отставить разговоры. Он ввел меня в комнату, где спиной ко мне сидел врач в белом халате. Не подымая головы, врач велел конвоиру покинуть помещение. Пациентка вызвана для гинекологического осмотра. Это был голос Йожи. Конвоир вышел, оставив дверь приоткрытой. Йожи громко велел мне лечь в кресло и расставить ноги. «Ты с ума сошел!» – прошептала я. Йожи показал мне листок бумаги, где было написано, что меня скоро освободят. Прокаливая инструменты на спиртовке, он сжег листок и «приступил к осмотру». Он нашел, что я смертельно больна по-женски, записал диагноз в историю болезни. – Уведите арестованную!

Для дачи показаний вызывали и Франца. Он полностью отрицал мое участие в подделке паспоротов, объясняя это тем, что я не умею провести две одинаковые линии. Я уже где-то говорила об этом. Просто мне до сих пор не верится в то, что неспособность имитировать чужой почерк может явиться исчерпывающим доказательством чьей-либо невиновности. Скорее всего, главную роль в деле моего освобождения сыграло

заключение гинеколога по фамилии Гюнтер, под видом которого Йожи пробрался в тюрьму. Там тоже работали наши люди.

Психоаналитик Анна Райх описала мой тюремный опыт как «счастье садомазохиста». Мол, наконец эту Фридл наказали, избавили от чувства вины и дали ей насладиться собственными страданиями. Что сказать? Наверное, она права. Солипсисты, к коим я себя причисляла до поры до времени, нуждаются в психоанализе. Если я – это единственно несомненная реальность, то познание этого «я» становится задачей всей жизни. В Терезине мне не нужен был психоаналитик. Понятно почему. Ведь анализ связан с прошлым, с тюками обжитого времени. Настоящее анализу не поддается, а будущим занимаются гадалки. В Терезине я жила в настоящем. Прошлое перестало донимать, и, даже если моя память и выгрызала в тюке дырку, из нее просыпались одни осколки. Как цветные стеклышки из разбитого калейдоскопа.

Дорогая моя, меня так глубоко взволновал твой вопрос о будущем, он застрял у меня как кость в горле, я так на него и не ответила. Ведь даль – ничто без близи, без настоящего…

Часть третья
Бегонии на подоконнике

Nr. - Číslo P 13093/40

DEUTSCHES REICH
PROTEKTORAT
BÖHMEN U. MÄHREN

NĚMECKÁ ŘÍŠE
PROTEKTORÁT
ČECHY A MORAVA

ALLGEMEINE
BÜRGERLICHE
LEGITIMATION
DES STAATS-
ANGEHÖRIGEN
DES PROTEKTO-
RATES BÖHMEN
UND MÄHREN

VŠEOBECNÁ
OBČANSKÁ
LEGITIMACE
STÁTNÍHO
PŘÍSLUŠNÍKA
PROTEKTORÁTU
ČECHY
A MORAVA

Vorname - Jméno Bedřiška

Zuname - Příjmení Brandeisová

Es wird bestätigt, daß die Photographie den Legitimationsinhaber

Potvrzuje se, že tato podobizna zobrazuje majitele legitimace

Bedřišku

Brandeisovou

L. S.

dessen... welcher Inhaber... dig unterfertigt hat.

kterou se na ni před úřadem vlastnoručně podepsal.

1. Прага

В окне – серо-розовый день с проблесками синевы, одинокое деревце у края парапета. С балкона, выходящего на железнодорожные пути, видна желтая будка с красной крышей и надписью «Прага–Вышеград». С гудком паровоза из будки выходит толстая тетка в форме, подымает флажок. Когда поезд проносится, она опускает флажок и скрывается в будке. Такой ритуал. А что, если она забудет выйти и поезд промчится, не увидев флажка? Нет, она не может проспать. Она отвечает за безопасность движения.

Она выходит из будки ровно за 60 секунд до. Не знаю, какие у нее часы, я слежу по своим настенным, с большим циферблатом. Часовая стрелка не дрогнет при приближении поезда – зачем? Пусть дрожат подчиненные. Секундная, если за ней наблюдать, движется вовсе не стремглав, каждый шаг – засечка в пути. 60 секунд до появления поезда длятся куда дольше обычной минуты. Когда смотришь на часы, время растягивается, как тесто на картине Дали. Далекий глухой гудок переходит в свист – что-то из упражнений Иттена, на 58-й секунде из-за поворота появляется папаша-паровоз со своим выводком. Если уснуть, поезда будут проноситься сквозь сон неслышно.

Чувствует ли тетка, как я пялюсь на нее в ночи с четвертого этажа? А что, если и на меня кто-то пялится? Ловит мое отражение в оконной раме. Темные полукружия под глазами – отпечатки венских допросов и пражской бессонницы – ночью вряд ли видны. Кто тут не спит по ночам, кто тут разглядывает свою тень на стене, играет с ней, как котенок с клубком…

Я – станционный смотритель. Моя железнодорожная эпопея, начавшись в Праге, продолжится в Гронове – там наша квартира будет еще ближе к вокзалу, потом Терезин… Не помню, был ли вокзал в Освенциме, кажется, только платформа…

Поезд по-чешски – «влак», вокзал по-чешски – «надражи». Здание Главного вокзала – в самом центре. Я слоняюсь по городу с одной целью – устать и заснуть. Потом, когда время спрессуется и счет пойдет на секунды, я горько пожалею о вагонах пустого времени, ушедших на ожидания.

Сто ступенек ведут с Малостранской площади на Пражский Град. Отсюда виден весь город. Прага готики и барокко, Карлов мост, набережная, здание театра, отдаленно напоминающее развернутый свиток, и дворец Рудольфино в стиле ар-нуво. Вена плоская, шпили ее дворцов и соборов, как конусы взбитых сливок на праздничном торте. Прага извилистая, в ее скульптурах и

соборах как бы остановленное движение. Но стоит взмахнуть волшебной палочкой, и скульптуры, подобрав драпировку, сбегут с постаментов, и улицы помчатся им вдогонку.

Улицы не мчатся за мной вдогонку. Хотя кто их знает. Я смотрю только вперед, спешу неизвестно куда, хотя еще школьницей поняла: когда спешишь, видишь меньше, спешка сужает поле зрения. Пока я пытаюсь запомнить названия – Прашна Брана, Целетна. Староместская площадь… Это на будущее, когда я приду сюда снова, но в ином расположении духа.

Выставочный зал Манеса на набережной Влтавы. Влтава по-немецки – «Молдау». Ничего общего. Я прихожу сюда каждый день, чтобы посмотреть на работы своих друзей и коллег – Хартфильда и Гросса. На международной выставке художников-антифашистов мне не нашлось места. Фридл Дикер? Не знаем такой.

Экспозиция меж тем редеет. После протеста немецкого посла со стены исчезла огромная хартфильдовская карикатура на Гитлера. Через несколько дней убрали все антифашистские карикатуры, в том числе Гросса и Дикса. Скоро на стенах останутся одни подписи к рисункам.

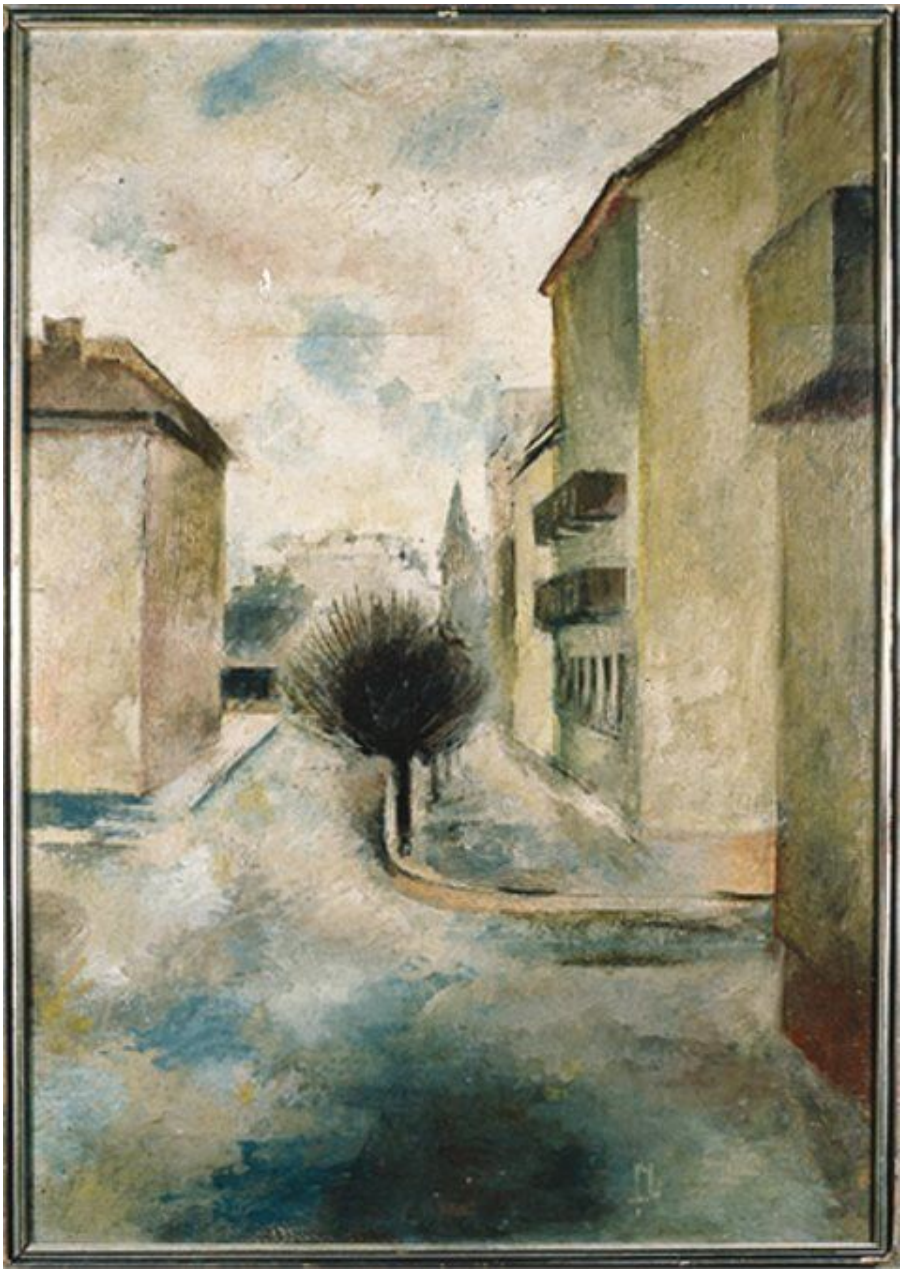
Кажется, я начинаю понимать характер чехов. Они послушно снимают с экспозиции все, что велит Берлин. И при этом открыто смеются над собой. На одном из рисунков, опубликованном в сатирическом журнале, посетители выставки, стоя у пустых рам с подписями, обсуждают художественные достоинства отсутствующих произведений.

По искрящейся воде плывут пароходы. Но и это не успокаивает. Меня преследует одна идея. Чтобы избавиться от нее, я пью на ночь молоко с медом, читаю все, что попадет под руку, взбиваю подушки, перестилаю постель. Проносится поезд… Всполохи по стене… И снова тьма. Но не усыпляющая, будоражащая.

Жаркий июль. В Вене путч национал-социалистов. Скоро там будет как в Германии. Но и этим, похоже, не кончится. Уехать из Европы? Решиться.

Дорогой Стефан! Я только и надеюсь на чудо, которое бы перенесло меня к вам в Палестину. Что вы все делаете? Что читаешь, чем занимаешься, какое у тебя там общество?

Если мне удастся соответствовать нынешним требованиям, ты снова увидишь меня веселой и жизнерадостной, я буду рисовать исключительно ради вашего, то есть сугубо частного, удовольствия. Ты для меня – истинный источник счастья и силы.



Я пребываю в поисках чего-то такого, в чем бы я не ощущала себя дилетантом, может, мне это удастся и я смогу себя в чем-то найти. Мой дорогой, я все еще борюсь с собой. Если бы я смогла создать что-то совершенно воздушное…

То, что ты говоришь о раскрытии личности в служении идее, затрагивает самую суть всех наших проблем. Когда увидишь Макса, передавай ему от меня большой привет. Скажи ему, что

многое в моем письме ему я считаю односторонне эгоистичным, многое, но не все. Впрочем, он сумеет отличить одно от другого. Я рада за вас и в последнее время чувствую, что снова вам понадоблюсь.

Думая о будущем, увязаешь в прошлом. Скетчи разлуки – Стефан, Макс, картины расставаний… мы с Йожи на лавочке в Саду роз. Последнее объяснение.

Я нужна партии в Праге в качестве связной. Партия знает, я держалась достойно, но «повторный арест чреват пытками – мы не вправе подвергать смертельной опасности своих членов».

Йожи слушает меня, попыхивая трубкой.

Конечно, с их точки зрения, ты вполне подходящая кандидатура. Одинокая художница… Экспансивная женщина…

Йожи прижимает меня к себе. Я беру из его руки трубку, закашливаюсь душистым дымом. Нет, Йожи курил сигареты. Лишь однажды, в день моего тридцатилетия, он заявился с трубкой, и я его нарисовала. Да и столь ли это важно, отчего я закашлялась. Важно, что время начинает быть удушливым. Гитлер открыл сезон в Дахау.

Так хочется *создать что-то совершенно воздушное*…

Кафе «Славия» похоже на венскую «Централь». Я жду Франца у окна. Сейчас он войдет, на ходу развязывая шарф, достанет из портфеля чертеж неосуществившегося. Кофе, ром… Пожалуй, из мужчин мне верен лишь печной уголь. Им и рисую, за неимением лучшего.

Фридл!

Я вздрогнула и столкнула локтем стакан.

Официант сметает осколки на красный совок.

Анни Райх. Она садится за мой столик, поправляет кудряшки на лбу, улыбается. Словно бы мы условились о свидании. Она переехала в Прагу в начале года. И все пациенты – следом за ней. Кто ходит к психоаналитикам? Евреи да коммунисты. Она слышала о моем аресте. Хорошо ли я устроена в Праге? Не нужно ли чего?

Да нет.

Имя Анни светлое, сотканное из воздушного кружева…

Две рюмки рома развязали мне язык, я говорила как заведенная. О детстве, утрате матери, о том, как у меня чесалась голова и как Добрая Душа подстригла меня и подарила бант из тюля… О том, как я не хотела сестру и брата, про цах ве адом, про фаюмца, аборты… про смерть Биби. Про чувство вины, которую я готова искупить, знать бы только, в чем она состоит, где ее источник… Еще и бессонница… Слоняюсь целыми днями… Чтобы устать и уснуть.

2. День длиной в жизнь

Далека, далека я от себя, и эхо не возвращает мне моего голоса. Время развернулось вспять, оно течет не от рождения, но от смерти, подымается навстречу из долины туманов. Там, внизу, пасутся кони, я вижу их головы и гривы, но не вижу ног – они утоплены в туманной заре вместе с моим голосом.

Но вот пешая смерть седлает лошадей. Мчит во весь опор к Праге, оттуда на север, к Судетам, с лету берет крепость Терезин – там первый привал. Коней – в стойла, и за дело – коси, коса, от зари до зари. *Так что я не строю планов даже на миг вперед…*

Успокойся, радость моя, ведь и смерть вольнодумна – возьмет и свернет с дороги. Да и у времени свой нрав – то даст день длиной в жизнь, то год сожмет до мгновения…

Надо на что-то решиться. Сдвинуться с мертвой точки. Найти родственников, например. Отец просил меня об этом перед отъездом. Будет, мол, на чужбине родственная душа. На что мне родственники? Я и от вас-то в 16 лет сбежала.

Человек взрослеет, Фриделе, даже такой, как ты.

В Еврейской общине старый архивариус долго листал амбарные книги. Указательный палец в черном колпачке елозил по страницам, толстые губы вышептывали имена… – Адела Фанта… Если она вышла замуж, так она уже не Фанта. – А кто же она? – Она Брандейс. А Брандейсов полкниги… Это берет время… А кто она вам? – А она мне – тетя. – Родная тетя? – Архивариус посмотрел на меня если не с осуждением, то с недоумением: где это видано, еврейка не знает, где живет ее тетя! – А три кузена, о них вы тоже без понятия? Двое женаты, один холост, прописан у матери, и зовут его Павел. Считайте, вы выиграли состояние. Одна тетя и три кузена! Мазл тов, – приговаривал он, выписывая адрес. От денег отказался. Мицва. Найти близких родственников – это мицва.

Живет ли мертвая мама в Адели, похожи ли мы с кузеном? В волнении я забрела в лес покосившихся надгробий, наверное, здесь похоронена моя пражская ветвь… дедушки-прадедушки…

Еврейское время течет от смерти – попав на кладбище с адресом в кармане, царапки слов, вороний след на снегу, – я двинулась в обратном направлении: от смерти – в жизнь. Здесь, в этом скопище вросших в землю камней с некогда выбитыми на них шестиконечными звездами, пятернями и закорючками, происходит нечто.

Чтобы дать этому *нечто* случиться, я прикладываю к глазам пальцы, сложенные в кольцо, ловлю в объектив картины. Ствол,

камень, птица, небо… Прочерк ветки, угол покосившейся плиты… Тут-то меня и посещает шальная мысль – вызвать кузена на встречу. Отбить телеграмму.

А что, если он не читает по-немецки?

В очереди рядом со мной оказался благообразный старик, из тех, что всегда готовы услужить даме. И услужил. Он не только перевел на чешский мое послание: «Приходите сегодня 8 вечера привокзальное кафе станция Прага-Вышеград Вас будет ждать сестра Фридл маленького роста белая шляпка», – но и присоветовал добавить к описанию личности опознавательную деталь. Газету в правой руке или гвоздику. Что, если в это время на станции окажется еще одна дама в белой шляпке, рост, как вы сами понимаете, понятие относительное…

Сошлись на газете.

А что, если этот благообразный человек – шпик? Ведь товарищ Игрек не велел мне входить в контакт с родственниками. Что, если они состоят на службе у рейха?

В нормальном мире такое никому бы и на ум не пришло. Но где он, нормальный мир? Мне, во всяком случае, жить в таковом не довелось.

Платформа на станции Вышеград плохо освещена. На вокзале ни души. Я то и дело оглядываюсь. Слова товарища Игрека не выходят из головы. Я пришла сюда раньше времени, что случается со мной крайне редко. Заглянуть в будку к смотрительнице? Я прибавила шаг. Вместо смотрительницы, в будке дремал узколицый мужчина в широкой форменной фуражке. При виде меня он вскочил и что-то сказал по-чешски. Я извинилась и закрыла за собой дверь. Сердце колотилось от страха. И тут я заметила выброшенный шкаф. Добротная фанера. То, что я искала. Но как его дотащить до дому? Где кафе, в котором я назначила свидание? Я постучалась в будку, узнать у смотрителя, где тут кафе. Он поднял густые брови вверх и указал рукой на выход.

Фридл!

Павел! – Молодой человек небольшого роста, в костюме и при галстуке. Смотрит на меня моими глазами. В протянутой руке – букетик фиалок.

Ну и сколько нам стоять друг против друга и глядеть на самих себя?

Кафе все-таки было, но не на платформе, а со стороны улицы.

Как сыграть эту сцену? Для начала пусть мы усядемся за столик, пусть Павел, испросив позволения, закурит трубку. И пусть я как дама непосредственная сразу заведу речь про шкаф, который надо выпросить у смотрителя, ведь зачем он ему, и приволочь на четвертый этаж. Потому я и назначила свидание на станции Вышеград.

Павел (смеясь): – Бедная моя матушка, и ваша тетенька, между прочим! Она мне этот костюмчик дважды через мокрую тряпку утюжила! Может, выпьем сначала для храбрости?

На меня смотрят мои глаза. Тот же цвет, глубина, разрез, те же веки, едва прикрывающие белки, зрачки, плывущие в направлении взгляда…

Я быстро пьянею. Изображаю в лицах отца и Шарлотту. Как они одно и то же говорят по два раза. Павел хохочет. Поздно вечером и изрядно навеселе мы идем к будке. Шкаф на месте, смотритель тоже. Он так рад, что нашлись желающие вынести отсюда этот хлам. Павел взвалил шкаф на спину, сделал шаг и свалился. Я бросаюсь на помощь, и мы падаем оба. Проносится поезд, освещая сцену…

Смотритель помог нам разобрать шкаф. Две ходки с дверками и полками – и мы дома. Так не хочется отпускать Павла… Если б

не на службу к семи утра, он бы остался. Но он все равно остался…

Человек с моими глазами ходит на службу!

Не всем же картины писать.

Павел простой, и немецкий его простой, по-славянски певучий, со смешными ошибками.

Фридл, а что ты делаешь?

Рисую.

А где твои картины?

Завтра увидишь. Если придешь.

Приду. Я тихонько встану, а ты спи… На фанере нарисуешь?

Да.

И уже знаешь что?

Знаю.

3. Веселое лето

Раньше я с разбега влетала в картину. Теперь ищу подступы. Промазала дерево олифой, распаковала гуашь, нарезала газету на полоски и наклеила их на ватман. Нарисовала гуашью улыбающийся рот, черные глазницы. Вырезала розовую бумагу, пришлепнула рядом… Первый эскиз «Допроса». Не нравится. Ударом кисти припечатываю к полотну белую, густую, бесформенную блямбу – по мордам! Руки, мои руки обагрены кровью. Ожог от яркой лампы – черные глазницы, опять черные глазницы! В тумане слева проступает фигура с косым штрихом на лбу. В глубине, вместо окна – темное пятно тюремной подворотни. Это получше. Но Павел не поймет. Ему нужна внятная картина.

Мне позирует память. Допрашивающий ощерился, подмял локтем грязный лист бумаги, я сижу перед ним, затылком к публике. Разве что публики никакой нет, мы вдвоем в комнате. Четкая линия стрижки – одним здесь ножницы даны, других здесь будут стричь, – красное ухо, часть стула, почти одного цвета с платьем, окно в глубине. В нем ничего не видно – оно забелено, напрашивается росчерк алый… Есть! Красное ухо – красное пятно, коричневое платье – того же цвета рама. Стол – охрой, на нем пепельница – продолжить вертикаль рамы доверху, стол уходит вглубь, рама превращается в крест. И еще идея… Печатная машинка, как инкрустация, как что-то чужеродное. Клавиши-кругляшки, останки нашего с Францем детского конструктора, посадить на столярный клей. Машинку вырезать… И руки машинистки… Пальцы-щупальцы… Сколько времени?

Двенадцать, – отвечает Павел. Оказывается, он уже давно здесь, сидит тихо на диване.

Как ты сюда попал?

Дверь была открыта.

Ты все видел!

И слышал. Как ты сама с собой разговариваешь. Вот, оказывается, как работают художники. Интересно. Похоже на сеанс гипноза. Твой кузен, чтобы ты это знала, совершенный пень в искусстве. Бухгалтер текстильной фабрики Шлойма… Главный, кстати. Что я умею, кроме как щелкать на счетах? Варить суп. Суп по-чешски – «поливка». Ударение на первый слог. Что еще? Согреть воду в баке, наполнить ванну…

Павел раздевается до пояса, взгромождает на плиту тяжелый бак, стирает с моего носа масляную краску. Вспоминается Стефан. Нет, они совсем не похожи. Но со Стефаном в самом

начале, когда я оформляла книгу Иттена, меня тоже обуревали два желания одновременно – слиться с ним, не переставая рисовать. Побеждало первое. Как и на этот раз. Перемазанные в масляной краске, мы лежим на ковре. Кипит вода. Павел снимает бак с огня, выливает кипяток в ванну. Окутанный паром, раскрасневшийся, он подставляет пустой бак под кран, наполняет его холодной водой, разбавляет кипяток и ставит греть второй, «на смывку».

Как ты со всем этим управлялась?

Плохо. Пришлось вызвать тебя телеграммой.

Сидя в теплой воде, я «вымываю» пузыри, а Павел варит свою поливку с ударением на первом слоге. Запах масляной краски смешивается с запахом овощей. Гудит поезд, варится суп, все, как и должно быть в нормальной жизни.

Павел встает по будильнику. Бреется, завтракает, глядя на часы. Утро далекого детства. Отец постукивает ладонями по бритым щекам. Жует, направив орлиный взгляд на ходики. Вот бы он удивился, увидев племянника Каролины, намыливающего щеки в моей комнате.

Я вкладываю в конверт открытку-коллаж, на ней венок с сердечком, в сети – большой улов подарков и моя «картина». «Дорогой Францерль! Поздравляю тебя с днем рождения! Вчера я нарисовала эту картину за 10 000 долларов, но в конце концов решила не продавать ее американцу по дешевке…»

Не женись Франц на Эмми, не делай я абортов, остались бы мы с ним, родился бы у нас другой ребенок, не Биби, все бы сложилось иначе. В продолжение сюжета мы бы уехали в Лондон, к Вейнгафам, которые давно хотят устроить мою выставку в их картинной галерее, я бы не попала в Терезин… И Франц не написал бы после войны Маргит: «Я слышал о том, что случилось с Фридл». Такими вот ничего не значащими словами.

Я вклеила в коллаж фото самоубийцы. Это Пепа, мать Эдит. В белой косынке, завязанной на затылке, она плывет по реке Стикс в царство мрачное Аида. Облизываю клей языком – поцелуй Францу, – кладу конверт в карман Павлова пальто – не забудь отправить – и ложусь спать. До прихода Эдит.

И вижу сон. Старенькая Эдит, в драной кофте, на какой-то выставке, неужели на моей? Да, это мой натюрморт с двумя тыквами… И Мария Брандейс за столом с вязаньем, в красном платье… Не глядя ни на тыкву, ни на Марию, она прямиком направляется к коллажу в металлической раме. «Что здесь делает моя мать?!» – восклицает она, и тут откуда-то возникает толпа. Обращаясь к ней, Эдит говорит: «Без знания контекста трудно понять замысел художника. Особенно такой путаной натуры, как

Фридл. Для вас лицо на фотографии – просто чье-то лицо. Попалось под руку. Пригодилось для коллажа. Ненавижу!» С этими словами она вскидывает кулачок и исчезает из сна.

Просыпаюсь и вижу настоящую Эдит, румяную, щекастую девушку с этюдником наперевес. Она приехала из Вены, чтобы заниматься со мной и помогать с учениками. Но ими я еще не обзавелась, берегу время на рисование.

Мы перекочевываем на балкон с пастелью и акварельными красками. Кстати, стрелочница, изрядно похудевшая, снова появилась на посту. Она родила мальчика от станционного смотрителя, того самого, узколицего, в форменной фуражке.

Молодая Эдит рисует рядом со мной вид на железную дорогу со станционной будкой, а старая продолжает говорить. Во сне ее рассердила фотография, наяву – торец дома.

Не будь торца, у тебя бы вышла открытка ко дню железнодорожника, – говорю я ей.

«У Фридл уже выстроена картина, вся гамма цветов на холсте, а я все еще ищу место, откуда торец был бы меньше виден. Подле нее я ощущаю себя бричкой, колдыбающей по ухабам деталей. Притом что энергии мне не занимать. Но Фридл – это скорый поезд, который на всех парах несется на свидание к возлюбленной станции. Та ждет ее, замерев. Жаром пылают безглазые стены домов, рельсы гудят…

Лучше, чем на самом деле, не бывает и быть не может, – говорит она мне, прильнув взглядом к подзаборному сорняку. На блеклых его цветочках лежит серая пастельная пыль – не дыши, не прикасайся…

Ее взгляд приставал к вещам, прилипал к ним. Я до сих пор вижу его то на матовом стекле бутылки, то на ободранной обшивке старого стула, то на фарфоровой чашке, из которой я пью чай по утрам. Но это не тот обнажающий взгляд, о котором она мне рассказывала. Она говорила, что в моем возрасте раздевала людей взглядом. Они шарахались от нее. Вполне могу себе это представить. Такой я и на себе ловила. Не раз. Нет от него защиты.

В Праге Фридл перешла на пастель и масляные краски, к углю почти не прикасалась. Теперь ее взгляд на цыпочках приближался к облюбованному предмету, мягко ложился на него и затихал.

Помню, стояла жара, все купались в Влтаве, у причала лениво покачивались лодки. Девушки с зонтами запрыгнули через бортик… Я была сосредоточена на девушках, Фридл – на

панораме: набережной, реке, взгорке с домами… Фигуры купающихся она наметила несколькими цветными штрихами. И вдруг на фоне этой идиллии выросла большая заводская труба – она действительно была там и портила весь вид. Фридл написала эту уродину с темным дымом на светлом небе. Зачем? “А затем, что без вертикали горизонталь не читается, не будь этой трубы, я бы ее придумала”.

Я люблю смотреть в ее окна. Через толстолистый фикус, через тюлевую занавеску, через рейки, натянутые для сушки белья.

Фридл столько смеялась тем летом. Часто без всякой видимой причины и так заразительно. Я хохотала вместе с ней.

Как-то я оказалась невольной свидетельницей жаркой сцены. Павел принес ей на день рождения бегонии. Белые и алые, в коричневых горшочках. Не успел он поставить их на подоконник, как она кинулась ему на шею с криком: “Я выхожу за тебя замуж! Таких цветов мне еще никто не дарил!”

Я хорошо знала Франца. В него влюблялись все. Даже я в свои шестнадцать лет была к нему неравнодушна. Но как можно влюбиться в Павла? Он, конечно, заботлив и мил как брат. Но выйти замуж из одной только благодарности за цветы в горшках!»

Эдит, ты ничего не поняла! «Бегонии на подоконнике» – это наш семейный портрет. Цах ве адом! Я выставила свою любовь на всеобщее обозрение, я так крупно написала цветы, что жители домов по ту сторону железной дороги могли окунуть взгляд в их белые и красные соцветия.

Зря я кипячусь. Сколько гнева обрушила я на свою преданную ученицу. На самом деле есть правота в ее словах. Это меня и злит!

Стефан, дружище, твой вопрос в лоб – «Как ты живешь и с кем?» – в нем ты весь; я так соскучилась по тебе и по этому вопросу. Ты всплыл из такого глубокого забвения. Мой кузен – простой, надежный и теплый человек. С ним я и живу, хотя это, конечно, громко сказано. Утратив способность анализировать, я решила его идеализировать. От этого нам обоим бывает не очень легко. Но он мужественный парень и отдает себе отчет в том, что происходит.

В остальном я живу, имея дело с гораздо более мелкими заботами, нежели до сих пор.

Мои планы довольно расплывчаты. Есть возможность в будущем году поехать в Англию. Я бы очень хотела это сделать, если позволят обстоятельства. В противном случае, скорее всего, пока останусь здесь. Со временем у меня будет много работы, пока же я использую все время для живописи.

Я бы страстно хотела послушать что-то твое, ну хоть что-то из твоих сочинений! И тебя самого очень бы хотела повидать. Посему пиши мне подробно и часто. Как жаль потерянного письма!!! Больше не теряй, пожалуйста!

Людей здесь мало. Не мои. Но я еще найду своих, если останусь здесь.

4. Хильда и «Черная роза»

Я осталась здесь и нашла своих. Это подпольная группа политэмигрантов из Австрии и Германии. Мы собираемся в книжном магазине «Черная роза», в самом центре города, на Пшикопах. В магазине уйма книг, главным образом политическая литература. Коммунистка Лизи Дойч, хозяйка магазина, и товарищи по партии нелегально переправляют антифашистскую литературу в Вену и Берлин. Меня приняли как героя. Та самая Фридл, которая подделывала паспорта и вывезла из Вены списки… Тсс!

Здесь я познакомилась с немкой Хильдой Котны. Роман с ней не похож на мои прежние женские романы. Она – товарищ по партии прежде всего. Умные серые глаза, простая, однотонная одежда с антуражем из цветных косыночек, шарфов и брошей. Одно ее платье мне особенно понравилось. Хильда тотчас сняла его с себя и дала мне померить. Цвет мой, сидит хорошо, но нужно укорачивать. Только в детстве у меня было платье, которое пришлось удлинять. Я из него выросла, и мама Каролина надставила подол и приторочила к нему рюшечки. Для отвода глаз.

Я рисую в Хильдином платье, а она в моем халате хлопочет по дому, даже цветы пересадила. Им давно было тесно в маленьких горшках.

В Средневековье так выращивали горбунов – в маленьких

кроватках, а потом продавали в качестве шутов. А китаянки, которые до сих пор деформируют стопы колодками!

Хильда не переносит насилия. Стоит ей вообразить несчастных горбунов и китаянок с деформированными ступнями, как ее захлестывает гнев. Однако средневековых садистов и далеких китаянок не перевоспитаешь, думать надо о тех, кто рядом. Вот, например, Павел. Лежит и читает детектив. Куда это годится?

Из «Черной розы» Хильда приволокла кошелку с брошюрами, объясняющими изъяны капиталистической системы, – это Павел изучит самостоятельно, а Маркса будем штудировать вместе.

5. Бедржишка Брандейсова

29 апреля 1936 года мы зарегистрировали наш брак с Павлом. Теперь у меня чехословацкое гражданство, что дает мне законное право на труд, и зовут меня Бедржишкой Брандейсовой. Поди-ка выговори!

На свадьбе присутствовали мои новые родственники. Тетя Адела, грациозная кубышка, долговязый и понурый кузен Бедржих, женатый на улыбчивой носатой Йозефе, кузен Отто, малорослый весельчак, с миловидной женой Марией и их дочь, «золотко Эвичка». Все они, как верно заметила Хильда, из среды мелкой буржуазии. Она соберет для них чемодан с политической литературой.

Ничего, она у нас заговорит по-чешски!

Ей не наливайте!

Пиво-то можно!

Можно, да не нужно!

Все знают, что я в положении.

Если родится дочь, назову ее Каролиной.

В семейном альбоме нет ни одного снимка моей матери. Может, она опозорила семью? Почему она уехала из Праги в Вену? Почему вышла за моего отца? Он был старик против нее. Адела на мои вопросы не отвечает.

Я ищу Каролину в Аделе, «омолаживаю» ее, стираю с лица морщины. Тщетно. Лицо моей матери так и остается черновой формой, бракованной маской, слепком невесть с чего.

И лишь однажды, глядя, как Адела взлетает на стул, чтобы достать с верхней полки банку, как плавным круговым движением руки она подхватывает ее и ступает на пол, покачивая бедрами, – я вдруг увидела в Аделе Каролину, но не лицо, а характер движения, унаследованный мною по женской линии.

При этом Адела твердо стоит на ногах, считает каждую копейку, на рынке пробует сметану у двадцати продавцов кряду, с ложкой наперевес марширует в молочном ряду – ложка должна стоять в сметане под прямым углом!

Каролина не продержалась во мне и трех месяцев. Не захотела она сюда. Моя мать ушла, оставив меня сиротой. Разве так поступают с маленькими детьми? Значит, у нее не было инстинкта материнства. И это передалось мне.

«Какая из тебя мать, у тебя нет и инстинкта материнства!»

Фридл, не выдумывай, пожалуйста, ведь врач сказал, что это могло быть последствием абортов, никакой патологии, в следующий раз все получится.

По совету врача Павел увозит меня в Карловы Вары, на лечение. Красивая дорога, холмы, леса – он смотрит на меня, я смотрю в окно. Стремительно меняются картины в раме, размазываются, теряют ясные очертания; при приближении к станции все проясняется, картины укладываются в формат и застывают с остановкой поезда.

Моя дорогая-раздорогая Аннилляйн!

Картина Родины – это всего лишь картина. Но мы не идолопоклонники. Хотя, вырванные с корнем из своей земли, мы исчезаем и из картины. Но кто говорит, что мы деревья? Мы подвижные создания. Мы можем плакать о своей выброшенности, о том, что остались вне… Недавно я видела в кино такое зрелище… Обилие сплоченного народа завораживает, видит Бог, я говорю это без иронии. Порой вид одураченной толпы вызывает во мне приступ смеха, хотя я понимаю, как все это серьезно, но что я могу поделать на чужбине?

Когда борешься за существование или наблюдаешь за борьбой, даже не ввязываясь в нее, – это отбивает охоту смеяться (как бы хорошо я себя ни чувствовала в редкие моменты удачных стечений обстоятельств, как сейчас, например), зрелище это может подавить полностью.

Не будь Павла, я бы, наверное, еще долго не смогла приспособиться, потому что в жизни все как в живописи; ищешь отношения между вещами – это уже интересно, когда их находишь – чудесно!

Здешние люди мне нравятся; не слишком взыскательны; просто живут; чешутся, когда у них чешется, – думаю, их запросы удовлетворить просто, их путь к совершенству связан с меньшим количеством претензий, ограничений, исключений, как это бывает у других (которых я, впрочем, как раз и не знаю). Мне свойственно суеверное восприятие озорства, благодаря чему я и нахожусь в согласии с собой. Есть вещи, к которым я испытываю лишь чистое любопытство.

Я упрямо настаиваю на своей способности проникать в сущность вещей, и это сопряжено с огромным соблазном иметь возможность рисовать у Макса, снова удобно устроиться и горько поплатиться! Но можно ли написать нечто подобное Гансу, с его всегдашней готовностью помочь и неизменной заботливостью? Посоветуй, что делать!!

Рисовать в Иерусалиме было бы так соблазнительно, но нужно же где-то и работать. В суровой Палестине художники бедствуют. Ганс обещает мне работу по росписи тканей на своей фабрике, неплохо на первых порах. А что будет делать Павел?

Ему подошло бы быть крестьянином (полезно для брюшка), но

отнюдь не буколическим (против этого я, впрочем, ничего не имею), а заземленным; ожесточенным, как сказал бы Макс. Макс необязателен, иначе написал бы хоть одно слово. Если необходимость принуждает, то расчет прост. Сделать выбор между двумя одинаково бессмысленными вещами – раз надо, я это делаю; но может ли меня это вдохновлять, с какой стати?

Павел очень мил, у него размеренная походка, а я ношусь вприпрыжку – ужасное и пошлое зрелище – то справа, то слева, то впереди, то ковыляю следом.

Всего хорошего, Аннилляйн, дорогая, родная, 1000 раз обнимаю.

6. Воскрешение Лазаря и психоанализ

Из темноты восстает огромная свеча и озаряет все вокруг – я вижу себя, валяющуюся у подножия свечи в какой-то странной позе… Нет, это не свеча, а Лазарь! Он пришел сказать, что смерти нет. Он выходит из гроба, обвитый пеленами, с лицом, закрытым погребальным платком, и Христос велит развязать его. У Джотто запеленатый Лазарь предстает пред Христом и его паствой, Мария и златокрылый ангел возносят молитвы Исцелителю. Лазурь и золото – вот цвета картины, в ней нет игры света. Рембрандтовский Лазарь, восстающий из гроба, светится.

Это сильнейшее ощущение величия Христа (свечение воздетой руки), фигуры, удаленные от света, производят впечатление неслыханного бесстрашия – и в этом нет преднамеренности. Картина возникла из такой эмоциональной переполненности, что само ее содержание становится как бы побочным, оно схватывается на лету. В течение всей жизни происходят события, которые формируют художника и формируются в его картине.

«Лазарь! Иди вон!» – говорит Христос мертвому, смердящему телу. И тот восстает в сиянии и чистоте… Может, мой Лазарь – это воплощение надежды на восстановление попранной правды? Пусть и потусторонней.

Джоттовская фигура, освещенная рембрандтовским светом…

Я переписываю картину, она становится все хуже и хуже, совсем не то, что я видела во сне.

Оставь на время, – уговаривает меня Павел. – Надо восстановить силы. – Он не понимает, что художник и человек – это разные люди. Выкидыш и творческая несостоятельность – разные по природе несчастья. Самое время идти к Анни Райх. Пусть делает со мной что хочет, лишь бы прекратить это безумие с переписыванием.

Я отправила Павла к Аделе, перестала посещать «Черную розу» и встречаться с Хильдой. Забаррикадировавшись, я что-то малевала и писала письма.

Мой дорогой Стефан! Внезапность, как сказал бы Макс, с которой ты вдруг о ком-нибудь вспоминаешь, а) ужасает, б) производит впечатление величайшего произвола и, главное, в) вызывает у человека, к которому ты столь непосредственно обращаешься с требованием любви, чувство неловкости оттого, что он вовсе не готов отвечать тебе с той же страстью; от этого возникает отвратительное ощущение – бессилие чувств.

Кроме того, есть еще один момент, а именно: обязательство по отношению к другому, отчасти связывающее руки. Впрочем, я не все понимаю. Видимо, твоя привязанность к подруге столь безответственна или у тебя все настолько просто, что ты говоришь, что хочешь спать со мной, и при этом что я должна с ней подружиться.

Сейчас в моем анализе большое место занимают разного рода оговорки. Из страха перед собой не хочу позволять себе ничего лишнего.

В том, что я не могу сообщить о дате своего приезда, в первую очередь виноват Макс, патологически не отвечающий на мои длинные настойчивые письма. Я ведь прежде всего могла бы попросить Ганса взять меня с собой, об этом уже давно идут робкие разговоры.

Что касается моей фотографии, то пришлю какую-нибудь при случае. С рисованием дела никак не наладятся. Капризное желание или, скорее, прихоть прямо сейчас работать у Макса и вместе с ним – проявление того же невроза. Так что я пытаюсь держаться подальше от своего первоначального порыва, позволить всему идти своим чередом.

Только что закончила небольшой пейзаж, в котором в очередной раз не уверена; он до такой степени лишен всякого блеска и настолько несовершенен технически, что я могу себе представить, как смеялся бы над ним Макс. В целом я достойна жалости. Поскольку все, то есть Макс, не тратят никаких усилий, чтобы помочь мне преодолеть трудности, каким бы неврозом они ни были вызваны, мне не остается ничего иного, кроме как забаррикадироваться. Прибавь к этому всех тех друзей, которые выражают недоумение и недовольство тем, что я решилась на психоанализ.

Поговори с Максом как-нибудь, чтобы я смогла наконец ориентироваться на факты, а не на фантазии и предположения.

Мой дорогой! Всякий раз, когда я перечитываю твое письмо, меня охватывает восхищение; кажется, я понимаю себя и нахожу понимание со стороны другого, а главное, я так любима, как никогда прежде и никем другим.

Мы очень изменились и повзрослели, не знаю, в какую форму могла бы облечься вновь наша глубочайшая связь, оставим это пока на волю случая.

«Волей случая» мог бы выступить и Ганс. Он заезжал из Находа и готов был взять меня с собой в Палестину – документы оформлены, виза есть.

А как же Павел?

Фридл, я поручился за тебя, гарантийное письмо на твое имя.

Как только мы окажемся в Палестине, я помогу тебе оформить все бумаги на Павла. У меня там все схвачено. Англичане – симпатяги, близким родственникам препятствий не чинят. Пока, во всяком случае. Но случись что, они будут жестко придерживаться квоты. Евреев в Европе много, и никто не представляет возможного размаха бедствия. Смотри на жизнь трезво.

Ты предлагаешь мне трезво смотреть на мираж?

Я предлагаю тебе выход из положения.

Мы стоим в полутемном коридоре у двери. Поблескивает цепочка на задвижке.

Дорогой Ганс!

Мне до сих пор стыдно за несоблюдение правил хорошего тона, в известной мере я пала в твоих глазах, хотя ты и слова не проронил по этому поводу.

Милый Ганс, благодарю тебя многократно за все! Тюльпаны, которые Маргит передала мне от твоего имени, были очень красивы и долго стояли, она выбрала на редкость темные и жгучие цвета, мне было от них жутковато. На твои деньги я куплю книги по искусству, еще не решила какие. В следующий приезд в Прагу ты будешь жить у нас. Ванна и все, что тебе нужно, будет на месте, а также, по желанию, – ненавязчивый или навязчивый сервис.

Анни мне давно не писала; что с ней? Как дела с Палестиной, много ли у тебя хлопот? Что слышно от Бронштейнов? Ты вообще-то еще приедешь сюда? Пока что будь здоров, большое-пребольшое спасибо за все. Фридл.

Дорогая Аннилляйн!

Перерыв был долгим! Меж тем я наделала много сплошного дерьма, но меня даже это не беспокоит, хочется одного – поскорей довести до конца эксперимент над собой. До предела осточертели настроения, которые овладевают мной снова и снова. Я бы с огромной охотой поехала к Максу, чтобы рисовать там, увидеть эту страну, которая, судя по твоему описанию, неслыханно прекрасна. Почему ты полагаешь, что я не вынесу тамошнего климата? Кроме того, можно было бы поехать осенью.

Ты пишешь, что мы скоро увидимся! Как, где? Скорей бы уже!!!

Я теперь преподаю слабоумным детям. Прочитала Монтессори и даже сделала несколько упражнений с детьми. Она во многом очень права, но упражнения ее не слишком многообразны и довольно бессистемны. Ах, я перескакиваю с пятого на десятое, болтаю после такого долгого перерыва.

Работать со слабоумными мне предложила Анни Райх во время курса психоанализа. У этих детей иной разум, но эмоционально они куда открытей нормальных. Когда им обидно

или больно, они плачут навзрыд, их не заботит то, как это будет воспринято окружающими. Они любят страстно, доверяют безоговорочно, до слез жалеют Бабу-ягу: ее никто не любит! Хочется плакать вместе с ними.

Дорогая Аннилайн!

Это отвратительное перо наверняка не даст мне написать столько, сколько я здесь о тебе думала.

Что делает Эмми? Как у нее дела?

Маргит приехала в Вену или так и не приехала? Я получила ее и твое письма почти одновременно, она писала, что приехать не получится. Я расстроилась, больше даже из-за тебя, чем из-за нее. Меня неизменно поражает имеющееся между нами тремя чувство сопричастности, и все же оно существует.

Что написать про Юдит? Анни жалуется на дочь-первоклашку: плохо учится. При том что сама – отпетая двоечница. Напомнить про Баухауз? Как Иттен ходил к Гропиусу просить за нее? Но не в этом дело, конечно.

Про Юдит скажу тебе из опыта анализа. Все ее недостатки суть недостатки воспитания в большей мере, чем образования (в самом серьезном смысле слова); это проявляется в неспособности наверстать упущенное, в сопротивлении обучению и т.д. Я верю и надеюсь, что это никогда не будет поставлено вам в упрек, так как вы обе делаете все, от вас зависящее. Но ты, Аннилайн, позволь вещам идти таким образом, чтобы как-нибудь отвоевать и себе что-то, ради вас обеих; Юдит наблюдает за мамой и бабушкой, за вашей тревожной заботой о ее успеваемости, именно ваша забота побуждает ее продолжать эту бессодержательную для нее учебу. Ваша паника по поводу нескончаемой неуспеваемости делает ее учебу пустой. Не злись на меня за все то, что я говорю! Ведь я сужу о ребенке издалека, отсюда все выглядит иначе, нежели вблизи.

Эгоизм есть «настойчивое желание чего-либо», тогда как сильная воля, умение поймать момент для удовлетворения желания совершенно не обязаны быть эгоистичными.

Мой детский страх перед появлением брата или сестры вызван острым нежеланием делить с кем-либо мать. Иметь ее в своем полном распоряжении – вот привилегия, которой я имела возможность пользоваться именно благодаря постоянным неурядицам между моими родителями, что, в свою очередь, наложило пагубный отпечаток на мой характер, а именно: печать эгоизма, как, вероятно, и у любого единственного ребенка (особенно в случае конфликтующих родителей). Постоянная борьба с этим постылым состоянием до сих пор не дает мне возможности справляться с ежедневными практическими

требованиями, в какой бы области они ни находились. Все это проясняется в момент, когда я об этом пишу.

Может, тебе заняться с Мюнцем историей искусств? На полном серьезе брать уроки?

Мюнца мне очень жаль. Его придурковатая сестра, никчемная, как ночь, не знает иных забот, кроме того, чтобы создавать для него проблемы, – притом не имея никакого представления о значимости его личности.

Ты спрашиваешь, чего я желаю на Рождество. Будь так добра, передай моей матери те деньги, которые я отложила на марионеток. Если бы я знала, в чем она нуждается (вероятно, во всем), было бы проще. Желаю сама себе, чтобы ты приехала и пожила у нас; и Павел желает себе того же. И еще я себе желаю, чтобы у тебя все шло хорошо, чтобы все тебе удавалось. Целую 1000 раз снова и снова.

Я прекрасно одета, снабжена чтением, есть несколько очень радующих меня книг, которые я до сих пор не прочла, и т.д. Ах да, все-таки одно желание у меня есть! Создать кукольный театр; если до этого дойдет, мне, вероятно, понадобится верстак и еще кое-какие столярные принадлежности. Впрочем, спроси все-таки Франца, мог ли бы он мне их дать, т.е. одолжить. В остальном все в порядке, я здорова, т.е. относительно.

Не забыть сказать Анни про архитекторшу Каролину Блох! С ней я тоже познакомилась в «Черной розе». Кажется, она единственная, кто хотя бы слышал здесь о нашем венском ателье.

Но там не работала никакая Бедржишка Брандейсова.

Там работала Фридл Дикер.

Про такую она слышала.

Этого Анни писать не стоит. Решит, что я набиваюсь на сочувствие.

Я не уверена, что тебе понравится госпожа Блох с первого взгляда, поэтому не знаю, стоит ли посылать ее к тебе. Но, во-первых, она частенько наезжает в Вену, а во-вторых, если захочешь, ты сможешь повидать ее, когда будешь в Праге. Она теплый и милый человек, близкий мне по убеждениям, весьма многообразна и своевольна, с ней непросто поддерживать отношения. При этом человек одаренный и мягкий.

Работы должно было бы прибавиться, но пока, по не зависящим от меня причинам, этого не происходит. После Рождества у меня будет на несколько уроков больше, а на декабрь мне удалось получить заказ на оформление журналов по архитектуре. Так медленно, как в этом году, дела еще никогда не шли – притом что наблюдается что-то вроде начала благоприятной конъюнктуры.

Я пишу маленькую картину. Кроме того, нахожусь в постоянных раздумьях о том, как лучше преподавать тем, кто продвинулся дальше, нежели мои прежние ученики.

Ганса я не видела, твое письмо получила в пятницу днем. Как у него идут дела, что он оттуда сообщает, когда приедет в Прагу? 1000 поцелуев, Аннилляйн, любовь моя.

Курс психоанализа – это единственная жертва, которую я принесла на алтарь искусства. Изнурение души, выворачивающей себя наизнанку, все-таки дало желаемые плоды, вернее плод – я дописала «Воскрешение Лазаря». Венграфы увезли картину в Лондон. Сбыв ее с рук, я ощутила облегчение.

7. Уроки на дому

Прагу замело. Из-под белого покрывала прорываются к небу шпили куполов, конная статуя святого Вацлава покрыта снежным чехлом. Мы с Павлом ездим домой на трамвае. Они ходят, машины стоят. Наша новая квартира на Виноградах, выше Вацлавской площади, выше Национального музея. Вниз летишь, как на крыльях. Но в гору, да по таким сугробам…

Мы перебрались сюда летом. Просторная квартира. Большая комната по пятницам служит студией для детей политэмигрантов. Дом открыт – приходи и уходи когда вздумается. На стенах – большие листы бумаги. Детям предоставлены кисти и банки с водой, в углу стоят два ведра, пустое, куда выливается грязная вода, и полное, откуда черпается чистая. Никакой дисциплины. Помогать, только если попросят. Я стараюсь не вмешиваться. Быть рядом.

Чудная погода, теплынь, чего думать о зимних холодах. Но они настали. Отапливать все помещение не по карману. Мы перебрались в студию, где камин. Там и обитаем. На кухне – холодрыга, чтобы согреться, мы держим воду на маленьком огне в больших кастрюлях. Она выкипает медленно, но все же выкипает. После того как я спалила две кастрюли, Павел взял обогрев под свой контроль.

Вечерами, лежа на диване, мы рассматриваем с Хильдой детские рисунки, а Павел спит при свете на кушетке. Хильда обожает слушать про детей.

Она запоминает все истории слово в слово. Потом она будет пересказывать их заинтересованным лицам. Если таковые найдутся.

«Одна девочка спросила Фридл, что такое церковь. Фридл сказала, что это дом Бога. Девочка сказала: нет, Бог живет на небесах, а церковь – это магазин, где он работает… В другой раз маленькая девочка появилась у Фридл в дверях и сказала: “Я должна с тобой поговорить”. Фридл сказала: “Ну заходи”. Предложила ей сесть за стол, все очень солидно, по-взрослому. Та села. Молчит. “Так о чем же мы с тобой будем говорить?” – “Можно я здесь просто так посижу?” – робко спросила девочка. Дети успокаивались подле Фридл».

Хотя дети около меня не успокаивались. Случай с соседской девочкой был, пожалуй, единственным на моей памяти. Нет. Я забыла про Терезин.

Приходили дети, которых я знала еще по детскому саду в Гётехофе. Тогда они были маленькими, теперь им было около

десяти. Среди них – и Георг Айслер, в будущем известный художник. С его отцом, композитором Гансом Айслером, мы были знакомы через Стефана. Я слушала его восторженную лекцию о Советском Союзе сразу после того, как он оттуда вернулся. Почему я не уехала в Советский Союз? Скорее всего, меня удержал Франц. Его скептическое отношение. Франц не выносил военных маршей, музыка Айслера выводила его из себя, а революционные произведения Вольпе он считал детской блажью.

Кого только нет в Праге! Русские эмигранты, белогвардейцы, ненавидящие большевиков. Они упрекают нас, политических беженцев из Австрии и Германии, в узости взглядов, а то и вовсе в слепоте. Мы-де не хотим признавать, что в Советском Союзе уничтожают людей в угоду массам. Сионисты ругают нас за то, что мы, евреи-коммунисты, вместо того чтобы строить Палестину, наводняем Чехословакию, в которой и без того безработица. Все это обсуждается в «Черной розе». Я теперь появляюсь там редко. По смешной причине. Хильда ревнует меня к Лизи, которая и на самом деле очень похожа на Анни. Привлекательная женская беззащитность – акварельное личико, мягкая улыбка, плавная поступь. Лизи осуществила детскую мечту Анни – стала хозяйкой книжного магазина. Мало того, она незадолго до нашего знакомства прочла книгу Хаузенштейна о Клее! Эта книга вышла в 21-м году, и мы выпивали за нее сначала в Баухаузе, а потом у Клее дома.

Тот факт, что я была дома у самого Клее, потряс Лизи и тем самым озадачил Хильду. В то время она понятия не имела, кто такой Клее. Я рассказывала Лизи о том, как мы подолгу рассматривали с Клее детские рисунки, на что он обращал наше внимание.

На что же? – спросила Хильда.

В них видны все элементы, которые в итоге дают форму, при этом они живут своей жизнью и не сливаются в единое целое. Понятно?

Не очень.

Ну, например, ты видишь девочку, одетую в платье, при этом видишь ее ноги целиком. Ребенок не закрывает их платьем, он рисует девочку и платье.

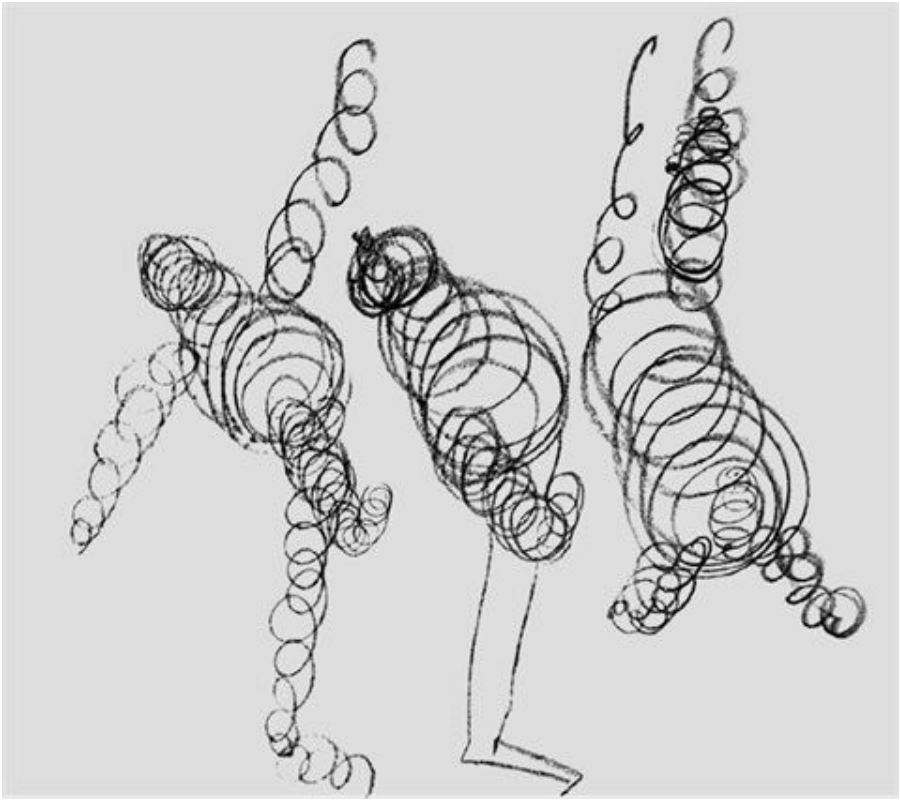
Нет, мне не хватает художественного воображения.

Разовьем!

Хильда стала ходить на мои занятия с детьми. Смотрит – и не понимает, в чем состоит метод. Дети увлечены, но какова моя роль? Дать полную свободу, и пусть себе малюют? Как оценить, что хорошо, а что плохо? В чем состоит обучение?

Увы, на этот вопрос Хильда не получила ответа. Я попыталась

ответить на него в Терезине. *Как нам, взрослым, относиться к детям и их творчеству?* Кажется, так начинался мой терезинский доклад… Мы с детьми подготовили выставку, что дало мне возможность опираться на наглядные примеры. Слушателями были молодые воспитатели, которые мало что понимали в нашем деле. Я не рассказывала им ни про Баухауз, ни про Иттена. Зачем? Им нужно было оставить конкретное руководство по работе с детьми. На тот случай, если меня отправят дальше.



«Все, что у меня есть, – это память и те импульсы, которые сохранялись. Когда настала пора решать, чему посвятить жизнь, сказалось влияние Фридл – она показала мне, что этим можно заниматься каждый день, регулярно, – это помогло определиться».

Это Георг Айслер, художник. Он в детстве учился у меня.

«Она была теплым человеком, в ее облике было что-то материнское. И необыкновенный голос. Рука вольно следовала за ним, выписывала круги и восьмерки, поднималась в гору, падала в пропасть… В конце нас ждала расправа – пропеть нарисованное.

Она давала нам любые материалы, какие мы хотели, не надо было ничего с собой приносить. Дисциплина у нее была не в

чести, этого мне потом вполне хватило в Академии. Она не показывала нам своих работ…»

Только этого не хватало!

«И не говорила: рисуй красным здесь, а зеленым там».

Кстати, в Терезине у меня был другой Айслер, Милан, способный мальчишка. Какие он ирисы нарисовал! Сопел, как паровоз, над каждым лепестком. Не знаю, что с ним стало.

Все же поначалу меня сбивал Иттен, я забывала, что он имел дело со взрослыми, а не с детьми.

У меня есть маленький ученик, необузданный милый паренек. Если бы я не поставила себе проклятую задачу научить его «правильно» видеть, сколько бы нового я узнала! Но трудно изменить точку зрения, когда преследуешь какую-то определенную цель.

Мы учились смешивать краски, дабы он смог упорядочить свое представление о цвете, обогатить его, затем начали малевать, беспредметно, чтоб создать атмосферу для того предмета, который он должен увидеть по-новому. Показываю ему цветные этикетки на сигаретных пачках… Он буквально влюбляется в Мадонну с младенцем Рафаэля и пытается рисовать… Все идет хорошо, но там есть маленькая красная форма рукава, которая выглядывает из-под мантильи, он рисовал ее раз десять и всегда одной длинной полосой. Я каждый раз ее стирала, он упорно повторял. Мне бы понаблюдать и понять, почему он это делает, – наверняка у него сложилось какое-то свое представление о соотношении этой формы и краски.

8. Серп и молот

30 июля 1937 года я нашла под подушкой конверт с билетами. Мы едем в Париж, на всемирную выставку «Искусство и техника в современной жизни».

После первого аборта Стефан возил меня в Лувр, а Павел, после выкидыша, – на международную выставку. И гостиничный номер точно такой же. Огромная двуспальная кровать перед зеркалом, прибитым к двери ванной, пахнет теми же мерзкими духами. Может, это та же самая гостиница? Какой там был адрес?

Парижа не узнать. Не в том смысле, что он изменился, нет, просто таким я его не помню. Словно мы со Стефаном были в другом городе. А Лувр? Я тоже помню его только изнутри.

Справа от Эйфелевой башни – высоченный пенал Германского павильона в форме римской цифры три. Мертвая неподвижная сила. Зато слева – грандиозная скульптура «Рабочий и колхозница». Они возносятся к небу. Самофракийская Победа!

Павел моего восторга не разделяет. Но что он понимает в искусстве? Ему нравятся мои картины, их он понимает. Нравятся скульптуры на Карловом мосту – их он понимает. А тут подавляют размеры. Ощущаешь себя винтиком, мухой, муравьем…

Эйфелева башня куда выше!

В ней нет идеологии. Она аполитичная. Как я.

Ты только подумай, сколько народу загнали на верхотуру, чтобы надраить и отполировать этот уродливый пенал из драгоценных камней…

А сколько людей погибли при постройке египетских пирамид!

Ну и кому нужны эти пирамиды? По нашим еврейским понятиям жизнь – это главная ценность.

Неужели? Библию почитай! Сколько там крови!

Серп и молот напротив флага со свастикой. Мирная воля Страны Советов и агрессивность Германии. В немецком павильоне показывают фильм Лени Рифеншталь. Страшно смотреть на Гитлера, а еще страшней – на оболваненный им народ. Берлина просто не узнать. И все это случилось в какие-то четыре года… Вот где культ личности, при чем тут Сталин? Фильмов про него не показывают, портреты его, правда, заполонили залы, где демонстрируется искусство соцреализма, но и Ленина там много. С соцреализмом можно поспорить – тут форма явно приносится в жертву содержанию, зато она доступна пониманию масс.

Павел гуляет по городу, даже на «Гернику» не пожелал глянуть. А я все думаю о ней. По первому впечатлению – заказная работа. Похоже, что восемь метров черно-белой живописи заполнялись в спешке подмастерьями, а Пикассо проходил кистью поверх. Быки, лошадиные головы, поверженные фигуры – все эти образы давно знакомы нам по его ранним кубистическим картинам… И при этом «Герника» – чуть ли не единственный прямой вызов фашизму на всей выставке.

Снова пошла в советский павильон, но в другой отсек, туда, с достижениями строительства. Канал Москва–Волга. Голос диктора, почему-то по-немецки, рассказывает о замечательном сооружении сталинской эпохи: «Одержана крупная победа большевистской организованности над природой. Ошибка природы, лишившая столицу советской страны мощной водной артерии, исправлена. Канал Москва–Волга строился по модели Беломоро-Балтийского, в рекордный срок…»

Противостояние двух держав… Но если быть честной до конца, в искусстве русских и немцев я обнаружила много сходного. Пафос парадов. Ликование масс. Помпезность портретов. Но об этом я не скажу Хильде.

На парижском рынке я отвела душу – нарисовала пастелью продавца рыб, в темно-лиловых тонах. По-моему, это одна из моих лучших работ. На Лазурном Берегу тоже рисовала, но как-то по-курортному. Курортники – вот разряд человечества, который я терпеть не могу. Хотя говорить такое – сущая наглость.

Дорогой Стефан!

Уже много времени прошло с тех пор, как я писала тебе в последний раз. Твое письмо – недотрожное, как мыльный пузырь. В нем много горечи, но, неуловимым образом, в одной и той же фразе ты говоришь что-то и тут же берешь слова назад. Ты пишешь исходя из того, что другой может и должен все понимать.

Твое намерение уехать в Америку меня прямо-таки успокоило. Макс тоже имеет подобные планы, вы это решили вместе? Или вы далеко друг от друга? Я очень надеялась его повидать и выспросить о тебе. Но сейчас все так неудачно складывается – если бы ты мог переписать что-нибудь из своих малых работ!!!! Мне бы так хотелось послушать что-нибудь из твоих новых сочинений.

Если бы мне удалось быть открытой и при этом недотрожной, как мыльный пузырь, я бы написала тебе, как провела лето, – это лето стало для нас отдушиной.

Я была с Павлом 12 дней на Лазурном Берегу и 8 в Париже. Фотография прилагается.

9. Дегенераты от искусства

Тем же летом в Мюнхене открылись две выставки. Экспозицию Большой выставки немецкого искусства составлял сам фюрер. Кто отбирал работы для Выставки дегенеративного искусства, не знаю.

Пока мы были во Франции, Хильда выполняла миссию «Черной розы». Как единственная «арийка», она посетила обе мюнхенские выставки и купила для магазина каталог «дегенератов».

Лизи созвала собрание при закрытых дверях. С выпивкой и закуской. Я рассказывала про Париж, а Хильда – про Мюнхен.

Как жаль, что вы не можете увидеть этого своими глазами, – сокрушается Хильда. – Представьте себе огромный сарай, заполненный яркими картинами от пола до потолка и скульптурами, расставленными по периметру. На каждом экспонате бирка – из какого музея прибыл. Как на заключенном. Около шестисот работ из тридцати музеев. Они разорили экспозиции, сожгли то, что никуда не поместилось, не знаю, сколько картин они бросили в костер. И себя не обидели – наворовали будь здоров! А публика! Расфуфыренные дамы с моноклями, молодчики из гитлерюгенда – зверинец! Вокруг снуют шпики. При мне из зала вывели женщину с неарийской внешностью. Никто не заметил.

Хильда говорит, я листаю каталог.

Макс Бекман, Георг Гросс, Иоганнес Иттен, Василий Кандинский, Пауль Клее, Оскар Кокошка, Оскар Шлеммер… Все мои учителя и друзья названы дегенератами. А импрессионизм, дадаизм, кубизм, фовизм, сюрреализм и экспрессионизм – дегенеративными течениями. Баухауз – исчадие ада…

«Варварские методы изображения… бесстыдное издевательство над религией, разжигание художественной анархии с целью разжигания “анархии политической”… изображение немецких солдат как идиотов, сексуальных дегенератов и пьяниц… отображение действительности как огромного публичного дома… систематический подрыв расового сознания; принадлежность к куче еврейского мусора… и, как результат, – общее безумие и высшая степень дегенерации».

«Общее безумие, высшая степень дегенации» – слова отдаются эхом в ушах.

Фридл, не пей, – просит Павел.

Верни вино и не перебивай товарища фюрера! «Дилетанты в искусстве, современном сегодня и забытом завтра… Дилетанты,

которых вместе с их каракулями следовало бы отправить обратно в пещеры предков…»

Я стою на стуле, каталог в руке, окурок Павловой сигареты под носом.

Не сходи с ума, Фридл!

10. Наход-1938

Маленькая Юдит на велосипеде едет по садовой дорожке, Макс окликает ее, и она возвращается, садится на подлокотник плетеного кресла, и Макс читает ей вслух не помню уж какую книгу. В один из приездов Анни засняла нас на кинокамеру. Звука в фильме не было. Меня она тоже сняла, как я ем бутерброд и таращу глаза.

Я пишу Анни из «летней резиденции» нашего общего прошлого и моего одинокого настоящего. Как я оказалась здесь?

Да очень просто. Меня привез в Наход Ганс Моллер. Фабрике Шпиглера нужны новейшие образцы гардинной ткани и тюля для августовской выставки. Кто может это сделать лучше меня? В Баби, так называется эта деревня около Находа, чудесная природа, окно выходит в поле.

Утро. Сенокосилка медленно катится по высокой траве, жужжит, перемалывая спицами высокие травы. Подвижный предмет в застывшем пейзаже. Я по очереди прикладываю образцы тюля к оконному стеклу и смотрю сквозь них вдаль. Живая радость.

Я люблю цвета и геометрические узоры, обожаю работать с нежной материей. Тюль с благодарностью вбирает в себя краску, главное не переборщить, не забить цветом структуру ткани. У Шпиглера умные станки, они вынимают продольные и поперечные нити, не оставляя на ткани ни одного узелка. В производство запущены несколько образцов, остальные я собрала в переплет. Получились маленькие книжечки с множеством тряпичных страниц, посетители выставки смогут найти в них подходящие расцветку и орнамент и сделать частный заказ.

Моя дорогая!

Я сижу с коробкой пастели (отсюда множество грязных пятен на бумаге) перед несказанно прекрасной геранью. Я так взволнована. Стоит мне что-то такое увидеть (я не говорю о живописи), я думаю о тебе. При виде этой красоты хочется рвануть ввысь.

На заднем плане тихое лютеранское кладбище с большими, густыми, пронизанными воздухом деревьями, там и сям из пышных крон торчат отдельные ветви, и повсюду этот неописуемый воздух. Нет, это не удивительно, десятки лет художники пытаются передать ощущение воздуха.

Если бы я смогла освободиться от гордыни и хоть на чуточку овладеть техникой письма маслом, снять с себя заботу о композиции и прочих шмонцес, может быть, из меня что-то бы и

вышло. Тот порядок, что возникает в композиции, – это, с одной стороны, общее напряжение, а с другой – нечто конкретное, скажем, то, что одна вещь расположена ближе, а другая дальше… Тогда в этом пространстве действительно можно дышать; градация расстояний не есть классификация, голубое пространство не заоблачный рай, оно реально, как дыхание.

Откуда эта проклятая романтика расстояний? 1. Ты – это ты! 2. У тебя есть ребенок. 3. Ты талантлива. К чему эта склонность к самоизоляции? Ценности; выстраивай, моя дорогая, любимая (если бы я когда-либо в своей жизни могла себя выразить, сказать так, чтобы другой в точности почувствовал то, что я имею в виду!!!), свою шкалу ценностей. Человеку непременно следует тренировать, развивать, реализовывать ту способность, которой он свободнее или эффективнее всего владеет, будь то в большом или в малом, это дает возможность углубления. Иначе скатишься в надуманность и дешевый символизм.

Работа реставратора при любых обстоятельствах требует системы (тогда как живопись сама по себе имеет эти гигантские по длительности перепады настроения); тут есть шанс прикоснуться к возвышенной материи. Тщательность работы позволяет вчувствоваться в самую суть вещи. Что за будущее будет у тебя, у нас – неважно, ведь настоящего нет, а прошлое изменить невозможно.

Когда ты пишешь пейзаж, ты ведь, боже сохрани, не начинаешь вдруг где-то ни с того ни с сего изображать пространство. Ты берешь некий «фрагмент» (как раз этого я сейчас сделать не могу по непонятным пока причинам) и на основе этого фрагмента создаешь что-то свое, правда? Это и войдет в фундамент будущего, то есть не факты, не ты сама – а некий вымысел.

Городок, откуда происходит семья Брандейс, называется Нове Место над Метуей и находится в нескольких километрах отсюда.

Дом, где родился Павел, стоит в глубине сада. Калитка открыта. К дому ведет дорожка, обсаженная кустами красной и черной смородины. Прозрачно-алое и иссиня-черное, матовое, в зеленом… Двухэтажный дом с застекленной верандой заперт, так что внутрь заглянуть не удалось. Разве что в окна веранды. Там все чужое.

От дома мы идем к речке, к тому самому месту, где Павел с братьями удил рыбу. Всю дорогу он рассказывает мне о детстве, а я думаю о смородине и о том, что Павел никогда не бывал со мной в Вене, не знаком с отцом и Шарлоттой. Как такое могло произойти?

Вот здесь мы сидели рядышком, Густав, Отто и я. Наживка одна, удочки одинаковые. У них клюет – у меня нет… Потому что

я маленький. И не могу смотреть подолгу в одну точку. На это способны только взрослые. Теперь я взрослый и умею подолгу смотреть в одну точку. На тебя.

Смотри, а я нарисую, как ты на меня смотришь.

Павел умеет сидеть спокойно и молчать. А я так и осталась невыносимым ребенком! Кручусь, верчусь, все хватаю, на всем оставляю отпечатки!

Отпечаток Павла. Видно, что он меня любит. По рисунку.

Жарко. Павел обмакнул в воде носовой платок, утер лоб. Еще бы, битый час сидеть на солнце без головного убора!

Если долго идти по дороге, можно попасть в Находь, оттуда уже рукой подать до Баби, так называется место моей «летней резиденции».

Останавливаемся у пивной, Павлу пора подзаправиться. Жидкий гуляш с кнедликами, пиво. Дешево и сердито.

Стефан, дорогой мой человек!

Пишу тебе, не успев перечитать твое письмо во второй раз; не успев даже все расшифровать, не говоря о том, чтобы понять, потому что, моя радость, теперь, когда мы снова стали ближе друг к другу, я не могу и не хочу сдерживаться.

Знаешь ли ты что-то о планах Макса приехать в Европу? Не хотел бы ты при случае приехать в Находь? Напиши побыстрее, и подробно. Пока перечитаю твое письмо основательнее. Обнимаю тебя от всего сердца. Фридл.

Павел не спрашивает, кому я пишу, он не любопытный. Я попросила его купить открытку с маркой, он купил. На ней замок и готический собор на горе – главные достопримечательности родного города.

Пиво выпито, сигарета выкурена, можно идти дальше.

Петляние вдоль вьющейся речки напоминает урок Клее. Пейзаж под диктовку.

«Художник ставит точку и от нее начинает движение. Появляется линия. Немного погодя она останавливается, как человек, переводящий дыхание. Линия прерывается, и не раз. Быстрый взгляд назад, насколько далеко мы продвинулись…»

Мы останавливаемся и переводим дыхание. Полная луна золотит своим светом колосья пшеницы, нежно пахнут придорожные цветочки, похожие на малюсенькие анютины глазки. Так хорошо, может, останемся здесь?

Нет. В Находе тебя ждет сюрприз, – говорит Павел.

Раз сюрприз, надо идти.

Луна раскачивается на шпиле замка, перекатывается по стенам, прячется за гору. Луна времен моей молодости. «Лунный Пьеро», лунные упражнения Иттена, «Мария на Луне»… Звезды

особого света не дают, разве что на картинах Ван Гога.

Ратушная площадь. Крученые скульптуры чешского барокко, как я их люблю… Может, это и есть сюрприз?

Нет. Павел открывает передо мной дверь ресторана – ну какой же это сюрприз! Хотя весьма кстати, тут есть туалет.

Возвращаюсь за столик – Павла нет. Пошел за сюрпризом?

На соседнем стуле висит плащ, точно как у Франца, с отвисшими карманами. Официант, не спрашивая, ставит передо мной кружку с пивом и ставит на квитке засечку. Одна палочка – одна кружка. У Павла этих засечек бывает и по пять, и по шесть, особенно в жару. Я пью пиво – раз дали – и стараюсь не думать про Франца. Откуда ему взяться в Находе? Вот это был бы сюрприз! Меж тем молодой человек надевает плащ Франца и уходит.

Хорошо, что у меня с собой пастель и бумага. Стефан, прождав меня сутки в кафе, сочинил увертюру. А я нарисую стул, на котором висел плащ. Помпезный старикан в потускневших розах и лилиях, с потертостями на насиженном месте. Старая вещность.

Людвиг Мюнц! Этому сюрпризу я рада ничуть не меньше, чем Францу.

Извини, мы заставили тебя ждать, – оправдывается Павел.

Это полностью моя вина, – вторит Павлу Мюнц, – я неточно понял твоего мужа и перепутал место…

Контрастная пара – большой Мюнц с сигарой в зубах и маленький Павел с сигареткой. Оба пытаются объяснить мне причину задержки. Но ведь сюрприз состоялся, и пора занять места за столом и заказать в честь дамы шампанского.

За большого художника! – Мюнц не скупится на комплименты.

Она себя не ценит, – говорит Павел. Вот это уже зря.

Ваша жена талантлива, как бог, и упряма, как дьявол. – Людвиг закидывает за ворот салфетку. – Я бы на ее месте с утра до ночи писал картины. О, грибочки во фритюре, этого я давно не ел… Блины с семгой… Как в старые добрые времена…

Гуляем по-купечески, – подхватывает Павел.

Вы похожи, – замечает Мюнц, разливая коньяк по стопкам. – Расскажи, как вы тут живете.

Мне, по сути, нечего делать. Я как пришибленная. Даю уроки на дому (к сожалению, слишком мало). Люди, уборка, что-то приготовить, но главным образом аккуратно соблюдать распорядок дня – время еды и т.п. Все это не лишено приятности.

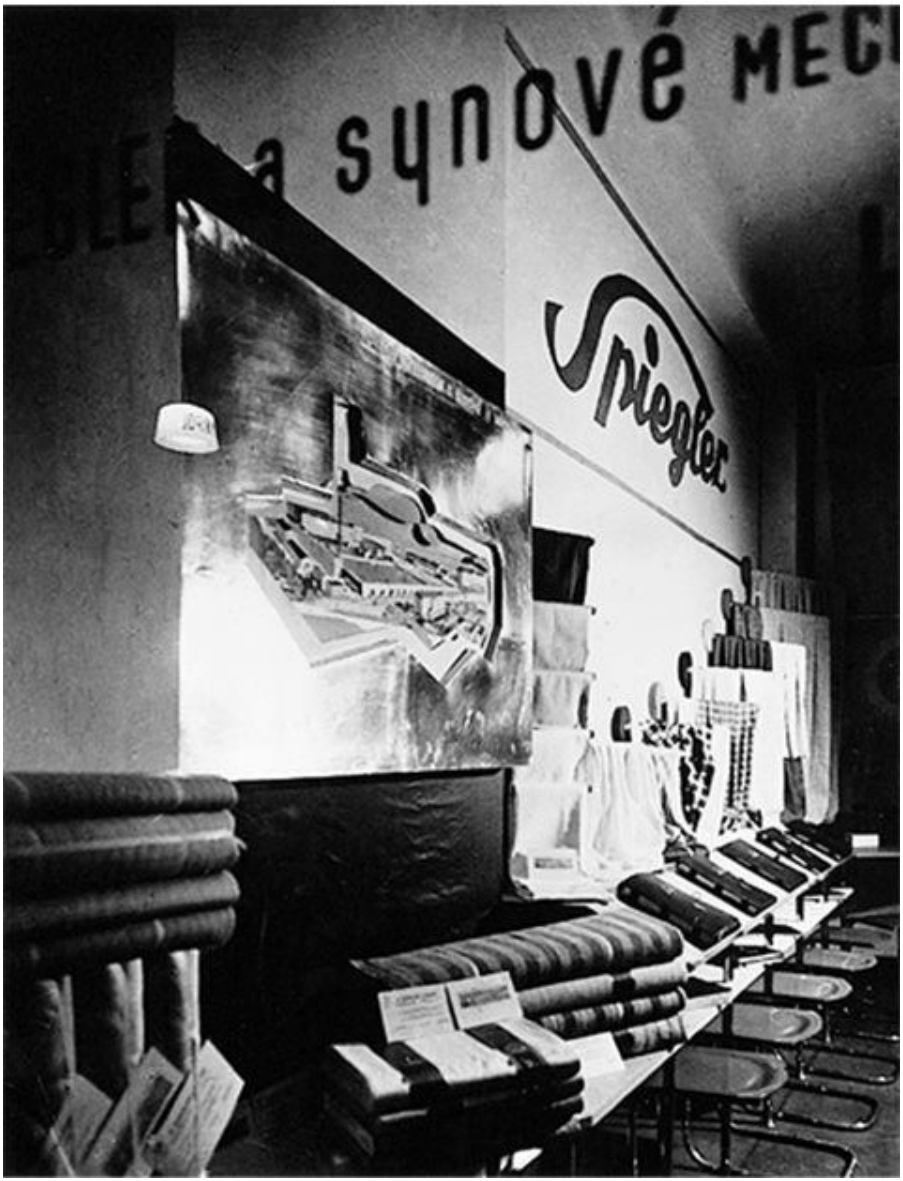
Что будет, что нас ждет? Об этом мы говорим утром на больную голову. Замок на вершине горы. Как мы сюда

взобрались? С веранды нашему взору открыт прекрасный вид, несколько напоминающий тот, с иттеновской крыши, где мы сидели с Бруно Адлером, Францем и Маргит и обсуждали «Закат Европы» Шпенглера. Разве что без столиков и галантной обслуги.

Что будет? Европейское искусство эмигрирует в Америку, и там его формы примут иной облик. Тот, кто думает, что может остаться в Европе и продолжать делать то, что делал, глубоко ошибается. «Дегенератов» убьют, если не перевоспитают. Как это происходит сейчас в Советском Союзе. Есть на кого равняться. Знаете, к Брехту обращаются за содействием родственники пропавших без вести компатриотов, на что наш любимый Брехт отвечает: у Страны Советов свой правовой институт, мы не имеем права вмешиваться в дела суверенного государства. Так почему же мы имеем право вмешиваться в дела Испании? Любая однопартийная система будет уничтожать своих врагов пачками, миллионами. Никто не имеет права вмешиваться!

Если верить Людвигу – а я ему верю, да и выставка в Париже подточила доселе незыблемую любовь к Стране Советов, – будущее черно. Разнонаправленные силы разорвут Европу на части. А мой любимый Брехт?! Разве он может ошибаться?

Страшно. Лучше не говорить об этом.



Дорогой Ганс!

Это очень мило, что ты у Макса и думаешь обо мне. Я хочу только сказать тебе, что в Находе было замечательно; я уже несколько лет не испытывала такого чувства отпуска, мирного и прекрасного. Я так тебе за это благодарна.

Я решительно не могла поверить, что Мюнцу здесь понравилось. С утра мы довольно бессмысленно шатались по городу; в полдень он сделался необычайно весел или по крайней мере остроумен.

Слышно столько тяжелых вещей, от самых разных людей. Я

тут прочла о событиях в Германии. Куда людям податься?! У меня все в порядке. Начиная с этого лета!!!

В белой шляпке и в белом платье я подхожу к трибуне, установленной в центре выставочного зала. В полуденном летнем солнце площадь выглядит как искрящаяся мозаика из булыжников.

Сейчас мне вручат диплом и золотую медаль за оформление стенда текстильной продукции фабрики «Шпиглер и сыновья». Я улыбнусь и бессловно пожму руку вручителю. Не дается мне чешский, а немецкий нынче не в чести.

11. Вести из Мюнхена

Павел, выросший в провинции, обожает столицу, я, выросшая в столице, обожаю провинцию.

Золотая осень. На трамвае мы доезжаем до Пражского Града, смотрим сверху на панораму. Внизу, за рекой, сердце Праги – старый город; здесь, на вершине горы, – ее душа.

Я вбираю в легкие прохладную пустоту, задерживаю ее в себе и медленно выдыхаю.

Дыши, душа моя, – говорит Павел, – правда же, хорошо здесь?

Да. Только вид уж слишком открыточный. Я бы не стала его рисовать. Мне нужен некий фрагмент, что-то, за что можно ухватиться, вроде цветных ниток, торчащих из потертого узора.

Посмотри, сколько труб, – шутит Павел, – выбирай любую, вот тебе и фрагмент.

Ему так хочется, чтобы мне было хорошо. От этого еще тяжелей на душе.

Дорогая Аннилайн! Дела у меня идут дерьмово. Скажу про свое ощущение: не чувствую себя дома; я так одинока, что порой теряю самообладание. Ясно – я должна опираться только на себя. Но меня не оставляет ощущение того, что все это так не останется, последуют другие изменения. То и дело учиняю Павлу скандалы.

«Другие изменения» не заставили себя ждать. Мюнхен, вот проклятый город! Ноябрь 1938-го. «Хрустальная ночь». Еврейский погром. Пока это там. А сегодня – уже здесь. В том же ноябре в том же Мюнхене принято решение сдать Судетскую область Чехословакии Третьему рейху. Дают – бери!

Письмо от Франца. Он зовет меня в Лондон. Разработанная им в содружестве с Гансом Билем идея «наращиваемого дома» привела в восторг королевскую фамилию. Их приглашают консультантами в «Джон Луис концерн». Большая фирма. Я им нужна, с моим темпераментом, фантазией, вкусом…

Хочется лечь и укрыться с головой. Но тревога проникает под любое укрытие.

Снова письмо от Франца. «Штурмовики разгромили ателье на Шадекгассе и наш детский сад. Неужели тебя не приводит в ужас публичная акция сжигания книг и “дегенеративных” картин? Там были работы многих наших друзей, книги почитаемого тобой Брехта… Пылающие ночные костры в Берлине… Воображения, как и упрямства, тебе не занимать. Опомнись, Фридл! Твой Францерль».

Я опомнилась. Сколько лет отдано обивкам, обшивкам, облицовкам и перелицовкам, выдумывалось, вычерчивалось,

выстраивалось, выкрашивалось, отдраивалось пространство «новой вещности», каждая его деталь, от крючка для полотенца до настенных шкафов с выдвижными кроватями… Беспризорные виллы и квартиры. Их обитатели уносят ноги, некогда, да и не по карману упаковывать все это в контейнеры… Идея «новой вещности» умерла, не достигнув совершеннолетия. А наши разработки конвертируемого пространства теперь пригодятся разве что для тюрем и лагерей.

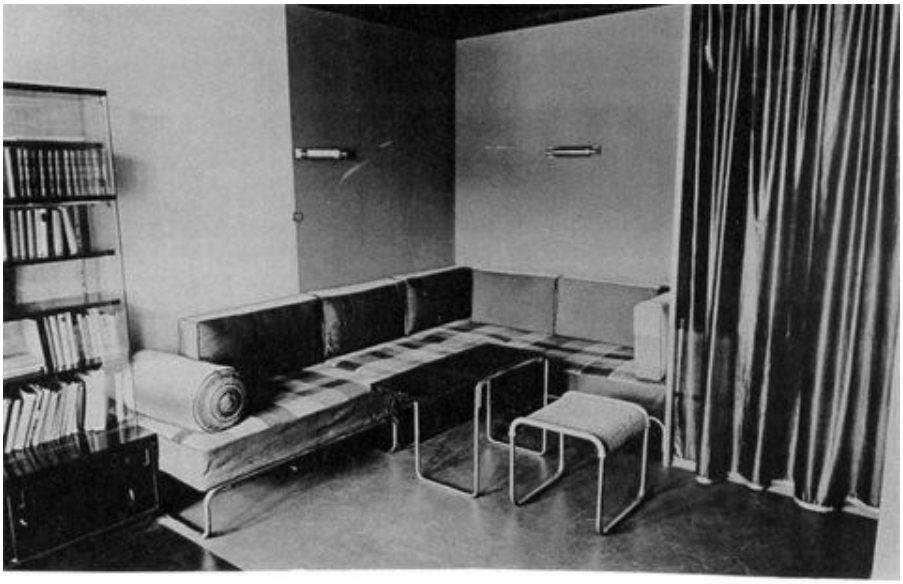
12. Вилла Ноймана в Либерце

Анни просит сделать ей одолжение – поехать вместе с ней в Палестину. Как это она себе представляет?

Дорогая Аннилляйн!

Не сердись, что пишу на конверте, но как раз сейчас у меня оказалось даровое, то есть неожиданное, свободное время, и я хотела бы написать тебе еще до того, как ты уедешь.

Страшное чувство того, что между настоящим и концом осталось так ужасно мало времени, заставляет напрячь все силы, чтобы сказать последнее прощай Земле обетованной, т.е. покою и ясности… Звучит высокопарно, но это так.



Ты запросто могла бы сейчас приехать. Я была бы так рада тебя видеть. Пусть у тебя все сложится. Привет Максу. Ваша идея отправиться вместе на лечение поистине удачна.

Чем же я так занята?

Делами, которые надо немедленно завершить, первое – это вилла Ноймана. Мы с архитекторшей Гретой Бауэр-Фройлих взялись за проект весной, разумеется, не подозревая, что к концу года Либерец будет под немцами. Про Грету я забыла рассказать. Мы работали вместе в Вене. Потом она приехала в Прагу… Нет,

не получится сейчас рассказать, нет времени.

Нойманы уезжают. Вилла должна иметь продажный вид. Для безликого перекупщика можно было бы все спланировать попроще. На что ему стеклянная дверь в лоджию, проворачивающаяся вокруг своей оси?

Поезд в Либерец въезжает в близкое будущее – все в свастике, гитлерюгендская молодежь вздымает навстречу прямые руки – хайль Гитлер!

Сядем в трамвай?

Нет, пойдем пешком.

В прошлый приезд мы были свидетелями неприятной сцены. На остановке собралось много народу, и, когда трамвай подошел, у самых дверей оказалась женщина не арийской внешности, с младенцем на руках. Водитель указал на нее рукой, мол, не давайте ей войти. Она пыталась пробиться, ее отпихивали. И тогда мужик, стоящий за ней, ударил ее кулаком в спину.

Мы идем вдоль трамвайных рельсов, на каждой остановке нас приветствует фюрер.

Прибыли. Подрядчик утверждает, что все выполнено по нашему чертежу, а дверь на штырь не садится.

Это саботаж, – говорит Грета, все просмотрев и перемерив. – Посмотрите, вы взяли стандартный профиль и приварили к нему изнутри кусок проволоки. Естественно, штырь не может сесть на место.

Вонючая еврейка!

Я не поднимала руки на подрядчика, она поднялась сама. Подрядчик вцепился мне в горло и чуть не удушил меня.

Грета не понимает, как после такого я продолжаю ездить в Либерец.

Судьба подает знаки, а ты притворяешься глухой, – говорит она мне. Слова Декарта: «Убегая, мы уносим страх с собой» – ее не убеждают. Она готова унести с собой страх, лишь бы не быть униженной. Никем и никогда.

В Терезине, собираясь на транспорт, я раскладывала по папкам детские рисунки. Урок за уроком, группу за группой. Я не уложилась к назначенным пяти утра. В 6.30 все было готово. Меня не искали. Судьба, по словам Греты, подавала мне знаки. Поезд мог бы уйти без меня.

13. Фотография на память

Госпожа Брандейсова, замрите и смотрите сюда! – Щелк, вспышка.

Павел фотографирует нас с Йожи у окна с бегониями. Они разрослись в новой квартире, заняли чуть ли не весь подоконник.

Прощальный снимок.

Но я не прощаюсь. Здесь не пересечемся – там встретимся. Мы все тут пассажиры с одной станцией назначения.

Покажи мне хоть одну новую картину.

Они в кладовке.

В кладовке?

Я боюсь на них смотреть. Хочется все переделать.

Не успеешь, у меня поезд через три часа.

Павел выносит работы. Самую большую – «Допрос» на фанере, с инкрустированной печатной машинкой, потом поменьше и без рамы – «Фукс изучает испанский», «Меланхолическая Прага», «Портрет Павла», натюрморты…

Пастели еще не оформлены, – говорит Павел, – но мы покажем, аккуратненько, да, Фридл?

Моя первая персональная выставка.

Кто-нибудь это видел? – Йожи взволнованно ходит от картины к картине, а Павел – следом за ним. Пат и Паташон. – Ты стала совсем другой художницей, Фридл. Я любил и прежние вещи, но это! Куда исчез весь Баухауз, ни чертежей, ни конструкций, абсолютная слитность.

Именно это меня и пугает. Из всего, что я вижу, интересней всего «Допрос», да и то из-за фактурности печатной машинки. По-моему, я отупела и довольствуюсь тем, что могу писать то, что вижу. Вчерашний день искусства. Есть одно утешение – я не придумываю картин. Они случаются.

Павел с Йожи уходят курить на кухню, я остаюсь на своей персональной выставке. Смотрю и думаю: что бы сказал Иттен? Да что бы ни сказал! Я не могу вернуться к Фридл Дикер, которая так и не осуществилась, но, может, я смогу стать Бедржишкой Брандейсовой? Другой художницей, как сказал Йожи.

Часть четвертая
Великое неизвестное

1. Короткое замыкание надолго

Я перестала носить часы. Время, которое отсчитывается от смерти, не помещается в плоский циферблат. Оно другой конфигурации. Оно глубокое, и ритм у него не тот, что мы слышим, отсчитывая время от жизни.

Только здесь я узнала, насколько сложны и причудливы все эти трансформации… В конечном счете все определяется выдержкой и безграничным преодолением.

Сегодня ты помогаешь ребенку не упасть с утеса, а завтра он может разбиться о камень. Конца этому нет…

Какие утесы?! Это была ровная платформа, без перспективы. Ни малейшей возможности увидеть то, что впереди. Спины, спины, спины…

Некрасивая, унизительная смерть.

Сто раз права Грета – нет ничего хуже унижения.

Буду держаться хронологии. Для этого мне не нужны часы. Время отмечено событиями, я знаю их ход.

Фабрика Шлойма закрылась, хозяин эмигрировал. Эти события, прямо связанные между собой, повлекли третье – Павел остался без работы. Отто звал его в еврейскую общину, завскладом, он сам туда только что устроился и доволен. Павел бы согласился. Но тут вмешался Ганс Моллер. На фабрике Шпиглера освободилось место главного бухгалтера, он берет Павла.

Грановская квартира напротив железнодорожного вокзала, на первом этаже. Дом номер 481 по улице Моравского Братства. Его выстроила фирма Шпиглера для своих сотрудников. Похоже, местные власти не в ладах с арифметикой. Откуда в маленьком городе столько домов?

Я отослала Францу чертеж нашей квартиры. Две большие комнаты, приличная кухня. Мебель, оставшуюся от старых жильцов, я велела Павлу снести в подвал. Жуткие пружинные кровати – одна из пружин в первую же ночь выскочила, хорошо, что матрац толстый, а то бы проткнула задницу – как тут не вспомнить иттеновских упражнений со спиралями – движение образует форму… Короче, спим на полу, едим на подоконнике… Вещей не распаковываем. Павел перед работой ходит к парикмахеру – не может найти бритвенного прибора, хотя в Праге аккуратным образом надписал все ящики. Ящики, ящики… Живем как на вокзале. Почему «как»? Вокзал перед самым носом. Ночью пускают тяжелые товарняки, и они стучат по рельсам штрихпунктирно – тадан-тадан, пауза – тадан… Но мы

привыкнем. Главное – привести дом в порядок. Пошли, если можешь, чертежи детсадовской мебели, что-то из этого хотелось бы построить. Я нашла тут столяра-мебельщика, недорогого, по пражским меркам, вообще бесплатно. Так вот, дорогой Франц. Разве я когда-нибудь думала, что окажусь в чешской провинции, что выйду замуж за своего двоюродного брата… А, чему тут удивляться? Жизнь сама по себе – непредвиденное событие.

К Рождеству мы все привели в порядок. Часть картин в кладовку не поместилась, и Павел испросил позволения повесить на стены виды Праги: Влтаву сквозь балкон с длинным поручнем и маленьким человечком вдалеке, вид с балкона из первой квартиры, с будкой стрелочника, но этого ему показалось мало, и он притащил еще десяток картин. Я промолчала, с ним сейчас лучше не спорить.

На новоселье Павел пригласил своего школьного друга с женой. Оба – художники! Сюрприз! Эмиль Тылш, высокий, узкоплечий и плешеватый, а Анна маленькая, широкоплечая, с тяжелой русой косой. Эмиль работает в типографии печатником, принес в подарок набор открыток – репродукции знаменитого чешского художника Яна Зрзави. Отличная печать. Анна думала подарить мне свою маленькую картинку с видом Находской площади, но постеснялась. Она слышала, что я известная художница из Вены. Что училась в Баухаузе. От кого слышала – от Эмиля. А он от кого? Павел рассказал. Так распространяется слава…

«Для нас было большим событием знакомство с Фридл. Мы пришли в гости, это было в их первом по счету доме. Окна выходили на вокзал, и, увидев приближающийся поезд, можно было выскочить из дому и успеть на него.

Фридл была маленькая, как ребенок, с большущими глазами. Она так нам обрадовалась. Мы прошли в комнату, и комната эта зачаровала меня. Я никогда не видела ничего подобного. Мебель очень современная, очень компактная, все одного габарита. Она легко складывалась и не доставляла больших хлопот при переездах. Как объяснила Фридл, мебель из ателье, Зингер ее придумал, а она оформила. Уникальный дизайн. Стулья как ящички, можно было сидеть на любой высоте, это как-то просто регулировалось. Там было много картин, ее и ее друзей. Оазис покоя…»

Ни одной чужой картины у нас не было! Все мои.

«У них всегда было много гостей, мы составляли столы в длину. Тогда, в первый раз, меня все потрясло, и Фридл, и обстановка – это было нечто целое. В темное, зловещее время она была полна энергии, мудрости, дружелюбия. Она всех

вдохновляла, всех – и простых людей, и художников.

У них постоянно замыкало электричество… Она столько рисовала! Даже когда готовила обед, рисовала из окна».

Анна Сладкова забегает вперед. Мы еще только обосновались на улице Моравского Братства, и я слышать не желаю о предстоящих переездах. Про электричество – точно! Но мы обзавелись свечами и выглядели точно как те двое на открытке Яна Зрзави: за столом в полутьме, посередине свечка. Только у него все нарочито вытянутое – и фигуры, и лица, и высокие спинки стула, – а у нас покруглей, поприземистей.

В провинции другое ощущение времени. Сезонное. Осенью с близлежащих полей несет навозом, шумят трактора, ездят телеги, груженные сеном. Зимой все погружается в белое безмолвие.

2. Важное и неважное

7 января 1939 года.

Дорогая моя Юдит! Я сижу у двух свечек, тепло, печка поет свои долгие песни. После сотой поломки отопительных труб, когда для обогрева осталась лишь печка, произошло сотое короткое замыкание. Вопреки всему, нужно уяснить, что для тебя важнее, и идти на компромисс, «покупая» вместе с «приятностями» и теневые моменты этой в целом приемлемой ситуации. Эта жизнь, с ее покоем, куда милее, чем Прага и шум. Будь благословен Гронов. Когда взвешиваешь, как важное относится к неважному, когда «покупаешь» небессмысленно, нечего так уж и привередничать, в этом все и дело, в конце концов.

Я сейчас уткнулась в маленькую картину – пятнышко коричневатых елок – и рисую ее из окна. Все возникло из коричневатого пятнышка, которое резко обозначилось на фоне розового и голубого отсвета снега (розовый стелется по горизонтали, голубоватый – под углом, а темно-синий – стоймя, вертикально уходит в глубокую тень), – деревья такие темные, и потому все за ними выглядит необычайно нежно, а синева вдали еще резче подчеркивает фиолетовую коричневатость… Но это не выглядит скучно, поскольку коричневый – рядом с фиолетовым, и дымовые трубы того же цвета, только еще более интенсивного, – и эти торчки не выпадают из картины, знаешь почему? А потому, что светло-коричневое и очень элегантное знамя дыма связывает их с вершиной холма, что напротив. Дым разрезает небо светло-серой полосой – и это как противовес снегу на первом плане… И так я рисую и рисую, вздыхая все чаще, думая о том маленьком мерцающем пятнышке, – но где же оно, куда запропастилось? Его нет…

Теперь попробую изобразить тебе мою здешнюю жизнь. Я постоянно в Гронове, оттого не видела маму Ирену уже 6–8 недель.

Устроилась, все оштукатурила. Убираю картиру, готовлю еду; вначале мои блюда выглядели так же (разумеется, только мучные), как те ваши, в «Бонде», от которых ты плевалась! Но я совершенствуюсь.

Ты не представляешь, сколько здесь всего происходит! А когда ничего не происходит, то все равно что-то случается, например, от меня удирает такса по имени Пегги. Она сейчас сосредоточена на поисках жениха; я, с половником или с чем попало, что у меня в эту секунду оказывается в руке, на ходу влетаю в сапоги и несусь в малознакомый лес, после чего пробегаю полгорода, свистя и вопя

«Пегги»! А та бежит за колесами велосипедов, совершает променад по городу, ищет…

…И я опять усаживаюсь рисовать, пока не стемнеет. Ко мне ходит в гости крошечный восьмидесятилетний старичок, из бывших рабочих. На нем голубая блуза, заштопанная, но чистенькая. Он беден и вынужден просить милостыню (фактически он получает 1 крону в день). И вот он сидит у меня, что-то бормочет беззубо… Когда он думает, что я его рисую, он подбирает отвисшую губу, приосанивается. Такое симпатичное лицо! С огромными темнокожими ушами и фиалковыми глазами. От раза к разу он выглядит все «приличнее», в последний раз, о ужас, он пришел в стоящем колом белом воротничке и галстуке с защелкой, к тому же подстриженный и гладко выбритый. Он у меня выпивает кофе или рюмочку водки и рассказывает о своих невзгодах, этого ему не занимать. Боже, когда я буду такой старой, я, наверное, и ползать-то не смогу, превращусь в совершенную маразматичку… Еще я учу чешский, при этом не особенно ломаю себе голову, – так что и успехи, увы, соответствующие. Иногда мы ходим гулять, и это так прекрасно, еще мы катались на лыжах при луне. Пегги похрустывает снежком, а мы идем тараканьим шагом сквозь тихий лес и великое безмолвие.

Хватит. Пора сказать Юдит то, ради чего я затевала это письмо.

Когда мне было столько, сколько тебе (12), конфликт между моими родителями обострился до предела. Жизнь дома становилась все более изнуряющей и мрачной; не сумев этого выдержать, я в 16 лет ушла из дома. …Мама так хотела, чтобы я осталась, я приняла ее сторону и всегда была готова ее защищать. Многие годы я злилась на отца. И очень зря. Родители поневоле втягивают детей в конфликт, но, кроме них самих, никто его разрешить не может.

2 марта 1939 года, Гронов.

Дорогая Аничка!

Здесь спокойно. Все в глубоком снегу. Вчера началась весна. У меня резко упало зрение. Я настолько плохо вижу, что даже не знаю, как выглядит пейзаж. Но каждый день я слышу поющих птиц. Это неописуемо… Когда я в семь утра иду в булочную, я слышу кудахтанье и квохтанье в птичнике. Это так связано с детством, каникулами, счастьем и свободой. Слушая кукареканье петуха, я бы и в свой смертный час не поверила, что происходит что-то злое… Эта здешняя жизнь, в ее малости и красоте, мне точно по силам. Она вызволила меня из тысячи смертей – живописью, которой я прилежно и серьезно занималась, словно бы

я искупила вину, так и не поняв, в чем, собственно, она состоит.

Я понимаю, все это от моей неспособности бороться со злом напрямую, теоретически ясно, что нужно бороться, нельзя быть такой пассивной. Будь у меня ребенок, я была бы побоевитей, я бы положилась на него, он бы исправил мои просчеты, он был бы лучше меня. Но близкие друзья еще способны меня терпеть, они-то меня и поддерживают. Как раствор или камень, я принадлежу маленькому зданию жизни, мне тепло и уютно в этом строении.

Слушать кукареканье петуха… А поступь солдатских сапог?

15 марта 1939 года в «великое безмолвие» вступает армия Гитлера. Страшный сон, от которого невозможно пробудиться. И нужно понять, что нет больше страны «Чехословакия», есть «Протекторат Богемии и Моравии» и Словакия. Бежать без оглядки, успеть на последний поезд, последний пароход.

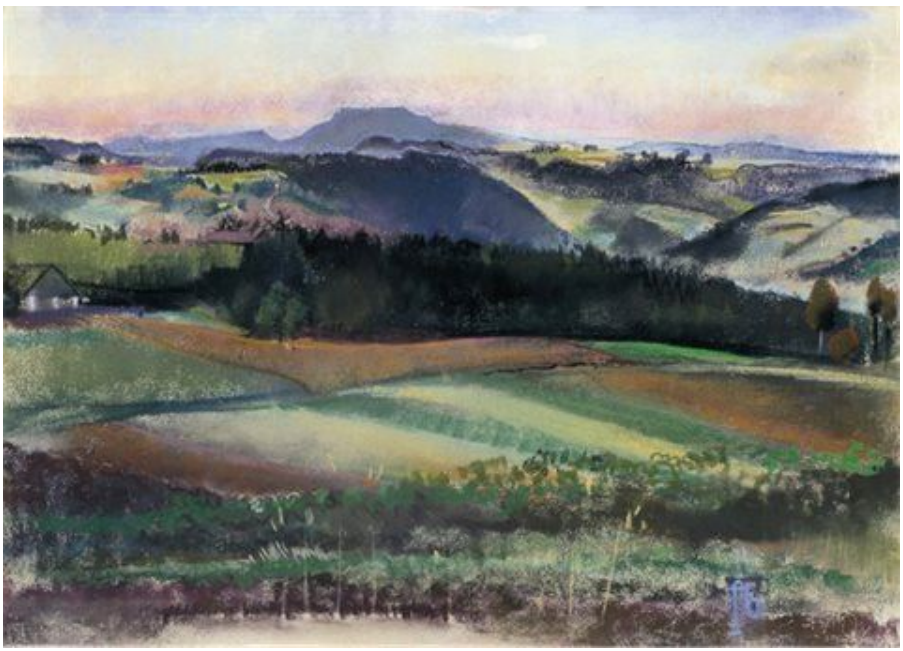
Георг Айслер не может понять, почему я не уехала в Англию по приглашению Пауля Венграфа, с которым мы были знакомы еще по Вене. Тем более что в его лондонской галерее «Аркадия» готовилась моя выставка и мне было бы несложно получить статус беженки.

«Почему она не уехала?! В этой деревне она была обречена».

Но я и в Палестину не уехала. Я ждала лета, чтобы нарисовать то поле с пшеницей, в полнолуние.

3. Красивые виды

Солнышко плавит снег, метит лучами сугробы. Я шлепаю по обледенелому мосту; речушка Метуя съежилась от холода, втянула в сугробы свою кривую шею. И хорошо, хорошо, что природа безучастна. Она отдает себя на растерзание дровосекам, а потом мы изображаем ее на бумаге, сделанной из ее же плоти. С чего бы ей жалеть нас!



Навстречу идет Иржи Дуфек с большим рулоном бумаги под мышкой. Тоже одноклассник Павла, учитель младших классов в здешней школе. Пока не совсем ясно, как именно функционирует система. Еврейская община уведомляет о поступательном ограничении прав, например, арийцам запрещено общаться с евреями, еврейским детям запрещено ходить в школу. Но чем чревато несоблюдение указов, в уведомлении не говорится.

Дуфек останавливается около меня. Похоже, он не в курсе дел.

Милый парень, ему тридцать четыре, как Павлу, а выглядит лет на десять младше. Он снабжает меня бумагой, красками и «маминым» вареньем – если б еще не рисовал…

Зачем вы скручиваете рисунки в трубку, вы же их портите…

Не буду. – Дуфек заливается краской. В провинции люди еще

не разучились стесняться. – Вот, – разворачивает он передо мной рисунок, – тренировался стакан рисовать.

Стакан – мертвец.

Где стоял стакан, откуда падал свет, где у вас окно в квартире?!

Оно было закрыто, ставнями… Госпожа Брандейсова, пожалуйста, позанимайтесь со мной. Как погляжу на ваши картины, чувствую – понял! А стану рисовать – и все какое-то не живое выходит.

Я не могу с вами заниматься.

Почему?

Потому что я еврейка.

Мы живем по заветам Отца нашего, – промолвил Дуфек, – а он был евреем.

Дуфек – прихожанин церкви Чешских братьев. Он привел к нам в гости пастора Яна Дуса, маленького, близорукого, с остреньким красным носиком. Тому так понравились мои картины, что он попросил меня нарисовать его дом и вид на гору Осташ, в память о здешних местах. Его, увы, переводят отсюда в Кутны Горы. Так что свой первый в жизни «художественный заказ» я выполняю для пастора.

Зденка Туркова, молодая расторопная прихожанка, отвела меня на то место, с которого пастор «любит глядеть вдаль».

«Гору Осташ в народе сравнивают с гробом», – объяснила она мне по-простецки. Из-за этого, наверное, картина и вышла темной.

4. Поездка в Прагу

Мама Ирена застряла в Праге, Анни волнуется. Теперь все въезды и выезды надо оформлять через полицейское управление. Для этого надо улаживать еще кучу каких-то формальностей. Это ей не по силам. А что, если просто взять билет на поезд? Я пошла в кассу, взяла билет и поехала в Прагу.

Говорят, евреям нельзя появляться в публичных местах, а мы с мамой Иреной гуляем по паркам и сидим в кафе. Скорее всего, нас просто запугивают!

Как давно мы не виделись! Она исхудала, лицо, за которым она так ухаживала, заморщинилось, волосы поредели, сквозь голубой перманент проглядывает черепушка, но глазки живые, она еще способна уколоть взглядом официанта, забывшего поставить на стол салфетки, или настырную продавщицу роз.

Любовь моя, мы тут сидим с мамой в кафе «Париж» и пьем кофе. Сегодня мы провели вместе весь день. Ее приезд ко мне в гости пришлось отложить. Мама показала мне фотографию картины Макса. Я поражена и разочарована. Не то чтобы я недооцениваю эту работу. Он видит краски по-новому. Я знаю, какого труда стоит подобное упрощение и уравновешенный покой, и тем не менее. После того как я увидела картину Макса, я живу с легким сердцем, а то я уже приготовилась к тому, что попаду в глубочайшую зависимость. Теперь нет, я могу учиться у него без спазмов души.

Распишитесь, мама!

Привет, Анниляйн. Целую, мама.

И это все?

Пока все.

Старые родители обижаются на своих великовозрастных детей. Мы с Анни теперь в одинаковом положении, разве что от моих стариков вообще ничего не слышно.

С Отто мы встретились в еврейской общине. Нам предстояло важное дело, так что я приехала в Прагу не только из-за мамы Ирены. Ганс Моллер прислал для меня аффидевит, и Отто взялся помочь разобраться с процедурой оформления.

С его подачи чиновник из отдела эмиграции принял меня без очереди. А так пришлось бы ждать несколько дней. Мыслями я уже была в Иерусалиме, а точнее, в мастерской Макса.

Значит, так, что нужно?

Заявление в визовый отдел в пяти экземплярах на регистрационном бланке, свидетельство о рождении в двух экземплярах и рекомендация из эмиграционного отдела. Мы

должны проверить, нет ли на вас досье в полиции, не сидели ли вы в тюрьме. Надеюсь, тут все чисто.

Вы говорите об Австрии или…

На мой опрометчивый вопрос чиновник резко поднял голову и вздернул брови.

Мы находимся на территории рейха! Еще есть вопросы?

Нет.

Заполните бланки и сдайте в четвертое окно.

Давай оформим, что мы теряем? Вдруг выйдет? Может, поленятся обращаться в Вену? – думает Отто вслух.

Нет. Йожи говорил мне, что досье в полиции автоматически перекрывает доступ к эмиграции. Ганс Моллер подкупил в Вене крупного чиновника, чтобы тот выкрал досье, и только после этого Дойчи подали на выезд. А с моей тюрьмой…

По дороге на Главный вокзал – чертовы флаги вокруг! – мне повстречалась Вали, продавщица из «Черной розы». От нее я узнала, что книжный магазин посетили гестаповцы.

Что с Лизи?

Все обошлось. Она закрыла магазин и куда-то уехала. На время. А вы не уезжаете?

И тут я произнесла сакраментальную фразу о том, что остаюсь здесь во что бы то ни стало, что это моя миссия.

Любители героики усмотрят в моих словах чуть ли не акт самопожертвования. На самом деле я была так подавлена этой историей с досье… Если начнут копать, я вместо Палестины окажусь в Дахау.

Миссия… Какая миссия у мыши, пойманной в мышеловку?

5. Рождество

Но и такие мысли рассеивает жизнь. На Рождество мы созвали гостей, Лаура нашила простыней и наволочек.

Обледенелая платформа поблескивает под фонарем. Едет поезд. Останавливается. Пассажиры выходят из вагонов. Мы следим из окна.

Хильда! – восклицает Павел и хватается за ушанку.

Не надо, чтобы вас видели вместе, – говорит Лаура.

Она появляется на пороге, закутанная до бровей в темный платок, в обеих руках сумки, на спине рюкзак – целоваться, обниматься, немедленно! Нет, сначала сумки поставить, снег с сапог смести… Пегги крутится вокруг Хильды, виляет хвостом, вот оно – собачье счастье: хозяйка пожаловала. Моя душа тает вместе со снегом на Хильдиных сапогах. Хильда деловито оправляет юбку, упирает подбородок в ямку между ключиц, смотрит на меня и хохочет в пригоршню.

Прошу внимания! Разбираем сумки. Эту не трогай, здесь яйца. Из рейха. Высиживать фюреречиков. Павел, проследи, чтобы она не замешивала желтки в краску! Глазам нужен протеин. И вот витамин Е, на курс.

Пошли выгуливать Пегги! – предлагает мне Хильда.

Мы огибаем дом, останавливаемся и падаем друг другу в объятия. Кружится снег, кружится голова.

Пегги кропит снег, мы стоим, обнявшись, под заснеженным деревом. Счастье – это вечность, спрессованная в мгновение. Не хочу ни с кем его делить.

Последним поездом прибывают Эльза, сестра Лауры, и Лизи Дойч. Забыла сказать, что Лаура теперь тоже живет в Гронове, у Зольцнеров, в качестве гувернантки. В свободное время шьет на заказ.

Лизи рассказывет нам про «Черную розу».

Входят два молодых эсэсовца: «Фройляйн Дойч, у вас хранится запрещенная литература». Я говорю: «Да, это правда. Спасибо, что пришли. Вот, все здесь» – и подвожу их к полке с немецкими порнографическими журналами.

Откуда ты их взяла? – спрашивает Хильда.

Это отдельная история, – отвечает Лизи. – Так вот, сопливые юнцы бросились листать журналы. Я говорю: «Пожалуйста, берите хоть все, я не знаю, как от этой мерзости избавиться!» Они взяли несколько журналов, остальные велели немедленно сжечь.

Ходжа Насреддин и компания! Как мы гордимся Лизи – обвела врага вокруг пальца, взяла его хитростью. Но откуда

журналы?

Я пошла по проторенному пути. В соседнем магазине был обыск, и его хозяин увлек немцев порнографическими открытками. У него этого добра было много, и он поделился со мной журналами.

Так теперь они думают, что все евреи торгуют порнографией!

Они ничего не думают, – говорит Лизи. – Они издают указы. Все евреи уволены, магазины или закрыты, или переданы другим хозяевам. На месте «Черной розы» торгуют тесемками и бечевками.

Что с книгами?

Что могла, пристроила, остальное сожгла.

Все как в Германии, – говорит Хильда. – У нас сожжение книг – явление обыденное. Как распятие во времена Римской империи. Все пахнет горелой бумагой.

Вещи, вещи…

Хильда еле отняла у меня ножницы – в порыве нарядить всех в маскарадные костюмы я чуть не изрезала парчовое платье, которое Лаура сшила для какой-то богатой клиентки, на нем были большие розы, из которых я думала сделать шляпку для Павла. Со шпулькой черных ниток под носом – деталь куда эффективней Павлова окурка – я произнесла речь от имени Гитлера… Хильда икала, Лизи прикрывала ладошкой розовый ротик. Если бы Иттен задал мне нарисовать Лизи в виде цветка, я бы изобразила душистую кашку – кудрявый венчик на трубчатом стебле.

Баухауз, Иттен, как растет бамбук… Я расстелила на полу старые обои и заставила всех рисовать углем под звук моего голоса: вот идет поезд – чух-хух-чух… под ним сотрясаются рельсы – тадам-тадам… тадам-пам-пам… Нет, вы скованные! Дам-ка я вам диктант! Маленький человечек – рисуем – дирижирует большим симфоническим оркестром… Смотрите на меня, я – маленький человечек, а передо мной море людей, и у каждого свой инструмент, и у каждого инструмента свой звук… сейчас раздастся первый аккорд, все замерли, и вдруг мы слышим тихонькое: «Цитравели цитравели триктранк тро…» Все. Концерт окончен.

«Фридл невозможно было унять. Иногда она бывала чересчур веселой. Такой веселой, что уже хотелось плакать, а не смеяться.

Мы редко встречались. В 39-м году я вернулась из Праги во Франкфурт – получила работу в Шпеер-Хауз, в химической лаборатории. В то время мой отец заведовал кафедрой биологии в Брненском университете, и под видом поездки в Брно я ездила в Гронов. На это нужен был специальный пропуск, его достал отец

через знакомого из гестапо.

Я была связной в антифашистском подполье, за одно это меня уже полагалось вздернуть. Не говоря о контактах с евреями. Этого я не могла объяснить Фридл, ни письменно, ни устно.

Например, она сердилась на Маргит – почему та ей не пишет? Но у Маргит были на то веские причины. Они с мужем, немцем Хуго Бушманом, работали на советскую разведку. “Красная капелла” была раскрыта. Бушманов допрашивали в гестапо. Когда их взяли, мать Хуго попросила меня достать яду, на случай если за ней придут. Она не выдержит пыток. Я достала. Когда Маргит и Хуго вернулись, мать была мертва. Этого я не могла рассказать Фридл. Закон подполья».

В свете происходящего все кажется бессмысленным. Мой взгляд теперь прикован лишь к тем предметам, которым все равно, что сказал Гитлер и что случилось с «Красной капеллой». Чеснок на разделочной доске, свечение лимона на срезе, разверстые поля под снегом… Открытые глазу просторы, где гуляет ветер, где можно дышать.

6. Увертюра

19.01.40

Моя дорогая Хильда!

Я непрестанно думаю о тебе! Твое письмо, прибывшее так скоро, было настоящим сюрпризом!

Сегодня я не буду писать тебе ничего о живописи, потому что с 5-го числа все серо, туманно, дует ветер и снег летит; ничего философского, потому что иногда невозможно и слова подобрать, и даже ничего человеческого! Я только не хочу, чтобы оборвалась нить или чтобы тебе показалось, будто я не думаю о тебе. Но мне так грустно, я вся цепенею, думая о том, как ты, моя храбрая, мужественная девочка, сидишь там одна и упорно работаешь. Такая обида, что я сама не способна и нитки в иголку продеть, что не могу завести граммофон и поставить для тебя прекрасную увертюру «Леонора» или просто тебя приласкать.

Из-за внутреннего оцепенения я теперь не могу писать картин, но зато я нашла в тебе свою публику, т.е. адресата, к которому можно обратиться, когда хочется что-то сказать. В следующий раз, когда ты приедешь, мы более обстоятельно побеседуем о современных художниках. Ведь в их живописи столь многое предугадано, и даже неудачные работы объясняют многое, что не исчерпывается одним текстом.

Как только я отправлю это письмо, сразу начну новое, со всеми пустяками и мелочами, которые можно собрать в этой пустыне, в этой красивой пустыне.

7. В ладу с собой

Дорогая Хильда!

Я много думаю о тебе. Ты теперь присутствуешь во всем, что я читаю и смотрю. Благодаря различным работам (это, пожалуй, слишком выспреннее слово – скорее благодаря тоске по работе) я наткнулась на множество самых разных вещей, которые, казалось бы, далеко отстоят друг от друга и тем не менее составляют единое целое; вкупе с особенностью нашей ситуации и прогнозами на будущее они представляют собою благодатное поле. Тут есть все необходимые условия роста. (В моем случае, естественно, речь идет об уроках рисования, я ведь, к сожалению, ничего другого не умею, да и в этой области знаю ничтожно мало.)

Предварительные условия таковы: знания, достаточно обширные, чтобы устроить приличного живописца (над этим придется поработать, будем надеяться, что такая возможность нам еще представится, черт возьми, если б я только могла достать все необходимые книги). Может, ты сумеешь мне что-нибудь одолжить: Дворжака, Ригля (все равно о чем, дело в методе работы; хорошую историю искусств и соответствующие труды по истории).

Что мне необходимо? Знание психологии, чтобы побудить детей к творчеству, но в то же время суметь распознать их трудности; работать самой – только тогда можно работать с ними, не вызывая отторжения, лучше всего одновременно и самой, и вместе с ними, контролируя себя и соизмеряя все это с теми неприятностями и сложностями, через которые необходимо пройти со всей ответственностью, дабы раз и навсегда расстаться с пагубной привычкой быть не в ладу с собой!

Метод: все это нужно не для того, чтоб втиснуть молодых людей в какие бы то ни было рамки, а наоборот, чтобы дать им широчайшее пространство для самостоятельного развития. Чем меньше умеешь и чем меньше из себя представляешь, тем сильнее желание втискивать других в рамки. Ведь проникновение в чужой внутренний мир требует обширных и глубоких знаний, а профессия «учитель» – прежде всего работоспособности и железной самодисциплины. Не навязывать, даже исподволь, собственных представлений; отказавшись от амбиций, стараться увидеть в той или иной работе характер и устремления ребенка, пусть это и не имеет непосредственного отношения к рисованию. Это означало бы, что в известной степени, по крайней мере во многих случаях, пришлось бы принести в жертву «успешность», т.е. результат. Внутренний подход подведет ребенка к той области, в которой у

него действительно есть способности. Я считаю рисование, вообще искусство, возможностью открыть для себя очень сложный конгломерат явлений, из которого лишь некоторые вещи поддаются обособлению. Оно увлекает и согревает душу тем, что переводит радость и сознание того, кто творит, непосредственно в действие, минуя слова. Учитель должен быть готов к небывалому объему работы, при этом еще и обладать исключительной гибкостью и скромностью.

Чтобы добиться чего-то существенного, лучше бы преподавать совместно с несколькими людьми, то есть с историком искусств, историком, философом, психологом, художником.

Я недавно нашла годовой комплект журнала «Kunstblatt»; как раз за 1918 год. То, что опубликовано там и в то время, когда люди находились под тяжелым психологическим гнетом, демонстрирует как частности и ничтожности, так и действительно значительное искусство, совершенно внятное для нас и сегодня. Выходит, тяжелые обстоятельства оказывают положительное влияние – они представляют нам вещи во всей наготе.

В Терезине именно так и будет. Неукротимый творческий дух в неволе… Духовное сопротивление… Слышать не могу этих слов!

Читаю «Путешествие в Италию» Гёте. Следовало бы иметь по крайней мере часть упомянутых там сочинений и рисунков, чтобы это чтение имело смысл; иначе оказываешься затопленным радостью самораскрытия и раздражением на бессистемность собственных знаний.

У меня-то образование дырявое, я всегда изучала то, что мне было нужно в данный момент, нет общей платформы знаний, потому-то так трудно учить Хильду с ее естественно-научным подходом к жизни и железной логикой. Вот уж чем я никак не обладаю.

Непременно прочти там «Идеи» Гердера! Я немало дала бы за то, чтобы их раздобыть. Достань «Воспитание чувств» Флобера. Есть ли у тебя Клейст? Я его уже нашла и, если хочешь, пришлю тебе.

Прощай, Хильделяйн, и всего наилучшего!

В марте у Дивы заканчивается работа. Наша же продлится, может быть, еще три месяца. Серые дни и 26-градусный мороз подходят к концу, снег снова падает мягкими хлопьями, и я снова пробудилась и жду солнечных восходов. От всего сердца обнимаю тебя, моя дорогая девочка!

8. Шрам

Павел лежит на диване, одна рука под головой, на валике, другая – на весу, с книгой, одна нога на диване, другая на полу. Разбросанная поза. Зато при галстуке. И глаза мои. Хотя их не видно. Я выбрала ракурс Монтеньи, рисую сверху.

Так что, читать дальше? Спарта… Пракситель… Лисипп… О, тут начинается про евреев! Моисей говорит: «Будь проклят тот, кто сотворит себе идола, отольет его из металла; горе хозяину, тайно поклоняющемуся творению рук мастера. Будет он говорить с немым, призывать хилого к здоровью, просить жизни у мертвеца, помощи – у негодного, благополучного путешествия – у неподвижного, удачи в делах – у бессильного». Отрицание идолопоклонства свидетельствует об определенной ступени общественно-культурного развития, характеризует общество, перешедшее к земледелию и потому ставшее оседлым. Отмирает примитивный анимализм. Формируется способность к погружению в себя, к самопознанию, и так формируется еврейский интеллект.

Пегги лает – значит, к нам кто-то идет. И точно. Стук в дверь.

Только не шевелись, я сама открою.

Немец в форме. Один. Значит, не заберет. Забирают по двое.

Семья Гросс? – Нет. – Все равно вошел, посмотрел на рисунок, провел по нему острым ногтем. Поднес коричневый палец к носу, понюхал, брезгливо поморщился, подошел к Павлу. Выхватил у него из рук книгу, прочел имя автора – Хаузенштейн – и швырнул в угол. Яволь!

Ты думаешь, он действительно ошибся адресом?

Ушел, и на том спасибо, – я поднимаю книгу с пола, – читай, пожалуйста, дальше. Сегодня он чиркает ногтем по рисунку, завтра – ножом по горлу. Читай…

«Евреи познали тягость господства иноземных династий, египетский плен и вавилоно-ассирийское нашествие. Именно они-то и совершили переворот в мировоззрении, существовавшем на протяжении всей древней истории. Идея всемогущего единого и незримого бога, живущего в каждом из них, не нуждалась в олицетворении. При таком повороте колеса истории великие превратились в малых, малые – в великих. Духовное поднялось над физическим».

Тертуллиана не удовлетворял облик Христа, этих не удовлетворяет форма нашего черепа.

Фридл! Ты это говоришь, а я это же читаю: «Облик Христа не вызывал у Тертуллиана доверия. Исайя описывает Его как

существо внешне неприглядное: “В нем не было ни представительности, ни красоты; презренное создание, униженное, исполненное скорби и недугов”».

Чему тут удивляться?

Шрам от росчерка протянулся от края дивана через подмышку, подбородок, руку, книгу – до самой стены. Ничем не замажешь, разве что нарисовать заново.

Модель переместилась на кухню – готовить ужин.

Луковиц не трогай, пожалуйста!

Картошку можно чистить?

Картошку? Да. Она тут ни к чему. Сюда бы бутылку синюю, из-под масла…

Масло давно кончилось, но бутылок мы не выкидываем. У меня с ними роман. По замечанию Анни Райх, мой воскресший Лазарь, в форме свечи, бутылки и трубы на картинах, суть фаллические символы, свидетельство активного мужского начала. Этим объясняется мое влечение к женщинам… Каролина, видимо, была недостаточно ласкова со мной, а может быть, и вовсе меня не любила…

Булькает вода, варится картошка, а я рисую белое полотенце, синюю бутылку и золотые луковицы на фоне черного окна. Золото кожуры бликует на синем стекле, тень от бутылки стелется по полотенцу…

Дорогая Хильда!

Я с таким упорством ищу путь, который помог бы тебе проникнуть в суть искусства; бóльшая часть того, что я в настоящее время читаю, интересует меня лишь в той мере, в какой это может служить цели.

К сожалению, мне не хватает школы мышления, т.е. умения систематизировать, выстраивать, отбирать… Гёте как-то писал об одном одаренном скульпторе, который добился бы гораздо большего, живи он в иной, питательной среде: тогда ему не пришлось бы черпать все из себя. Нацелимся на профессионализм и классическое образование, твержу я себе, притом что сама не знаю, как вытянуть из клубка ту самую нить, которая привела бы к поставленной цели. Истинный мыслитель забрасывает читателя внезапными идеями, как это делает, к примеру, Гердер. У него есть именно то, что называется позицией, а это исключительно ценно. У нас тоже она есть, поэтому мы способны учиться, переучиваться и снова учиться!

Гердер говорит…

Где он? На кухонном столе. Мы с ним собирались готовить ужин. За окнами темнеет. Скоро придет Павел, а дома, кроме двух бородатых картофелин, ничего нет. Образец гардинной ткани валяется на полу запятнанный – видимо, Павел со сна принял его за половую тряпку. Точно, рифленая подметка его ботинка. Гердер считает, что, если бы та ловкость, которой обладают животные, была дана человеку изначально, он бы так и остался животным.

Пегги слушает меня, задрав ухо. Налить воды в миску… Стоит отвлечься, как на тебя обрушивается шквал сторонних мыслей. Словно бы они собрались у двери приемной, с нетерпением ожидая, пока начальник освободится. В волнении я принимаюсь бегать по квартире, Пегги – за мной.

Гердер! Что мне показалось интересным? Разговор о детях.

Детство само по себе – внутренне законченная стадия развития, по своей ценности не сравнимая ни с какими другими.

Интересно смотреть рисунки художников в детстве. Клее показывал нам свои как доказательство того, что все там уже было. В три года он рисовал фигуры в профиль, помню высокую даму с изысканной прической и юбкой с воланами. Моими рисунками разжигали печи. Где сейчас Клее? В Швейцарии? Иттен в Швейцарии, это я знаю точно.

Что же касается твоего видения, то оно должно

разворачиваться примерно так: нужны отправные точки, исходя из которых ты сможешь разобрать сложный процесс на составные. Например, тебе очень нравятся Микеланджело и богемские мастера. Спроси себя почему и ответь по мере возможности, что именно тебе нравится в том и в другом, постарайся определить принцип, по которому сравниваешь.

Обрати внимание на цвета, есть ли среди них доминирующие, какого цвета – в зависимости от важности – каждая из фигур, обладает ли она бросающейся в глаза, превалирующей и организующей, обобщающей формой. Ты должна дать картине воздействовать на себя с близкого и с далекого расстояния, целиком и отдельными деталями. Как работает светотень, в соответствии или вопреки закону? Например, фигура Христа в самом освещенном месте картины – это, ясно, блеск славы. Второстепенные фигуры, освещенные ярче главной, превращаются тем самым в главные, скажем, если на переднем плане жанровая сцена, а сцена распятия – на заднем. По возможности найди информацию относительно содержания картины. На сегодня довольно!

Я очень много работаю, утешая себя пустой надеждой, что мне, быть может, удастся заработать на портретах или что-нибудь другое продать. Может, из этого что-то и выйдет в Рейхе. Мои друзья обещали попытаться помочь. Скорей всего, ничего не выйдет, у людей теперь другие заботы; но все бывает. Я делаю сейчас четыре вещи: одна полностью в моем вкусе, одна вовсе не выходит, одна безумная и из одной пока еще не знаю, что получится.

Гердера читаю очень медленно, как только прочту – пришлю. Обнимаю и целую тебя, моя хорошая девочка.

Свет отключился ровно в ту секунду, как я поставила точку и подняла голову к окну – по вечерам оно заменяет мне зеркало. Отражение исчезло, на его месте возник освещенный вокзал. Грановская платформа въезжает в окно, везет за собой в темень источник света – чудесная иллюзия материи.

Павел! Идет не спеша, вобрав голову в плечи, несет домой очередные новости. Теперь еще и огорчится, что света нет.

Сейчас я его рассмешу! Я заворачиваюсь в простыню и с горящей свечой в руках встаю на пороге. Воскресший Лазарь.

Молитва дня – не принимай жизнь всерьез!

При виде говорящего привидения Павел разражается громким смехом. Свеча гаснет, мы погружаемся во тьму. И тут включается свет. Театр Фиртеля!

Что еще за Фиртель?

Дяденька, у которого мы работали. Пьеса «Пробуждение». Все

происходит в темноте. Так, говори мне: «Тебе что-то приснилось».

Павел, разуваясь, повторяет: «Тебе что-то приснилось».

Я отвечаю: «Я спала…»

Теперь ты садись на кровать.

Павел идет в комнату и садится на кровать.

И говори мне: «Так давай спать дальше».

Так давай спать дальше.

А поужинать?

После представления, в буфете. Вот ты и развеселился, правда?

Еще бы! А то я шел и думал, как сказать тебе про фабрику…

Ее закрывают?

Где-то через месяц.

Значит, не придется отстирывать образец, о который ты по ошибке вытер ноги.

Опять замыкание. Куда подевалась свечка?

Да зачем она нам? По твоей пьесе можно спать дальше!

А старшая сестра, дабы выручить братца, обведет зло вокруг пальца, – шепчу я ему на ухо.

9. Лицо и руки

12.2.1940

Дорогая Хильда!

Я знала и любила некоторые выдержки из «Идей» и помнила, что они прекрасны, но в книге они гораздо лучше. Да понимаешь ли ты, какое сокровище ты мне подарила? Но больше я не буду просить у тебя никаких книг, вообще ничего. Не хочу, чтобы ты отрывала от своего скудного приварка. Ты исхудала, ешь, пожалуйста, как следует. Обнимаю тебя тысячу раз. Я совсем сошла с ума от этой книги. Размышляю и обдумываю вместе с тобой и за тебя все, что попадается на глаза, тебе наверняка это передается, ты должна чувствовать эту постоянную связь. Я не писала, по глупости думая, что все, связанное с искусством, тебя уже утомляет, что я навязываю тебе свои интересы – при всех многочисленных делах, коими ты занята, они скорее будоражат, нежели радуют. Однако посланная тобою книга развеяла мои опасения. Ты должна сказать мне прямо, когда это тебе надоест. (Была бы ты здесь сейчас! Еще вчера и позавчера вечером мы катались на лыжах – это было прекрасно!)

Ты говоришь, что когда я преподаю, то думаю только о способных. Так и есть. Способные работают сосредоточенно, они пытаются воссоздать вещь в ее сути и отношениях с другими; для остальных рисование – это средство для выражения содержания. Я так к этому и подхожу, пытаясь понять то, что ученик хочет сообщить о самом себе. Вот что ему важно, а не обучение нашему ремеслу.

То, что тебе нравится Микеланджело, и то, как ты воспринимаешь его, уже хорошо. Одно плохо: все вы смотрите лишь на завершенные произведения, вы не знаете эскизов. А совершенство практически недоступно. Ибо отсутствует масштаб, необходимый для того, чтобы правильно анализировать вещи.

Так, например, живопись Микеланджело бедна нюансами, он не пользуется светотенями. Но ему нет равных в лепке пластического пространства. Именно в этой области его идеи могучи, на все века вперед; обрати внимание на его «Рабов», выступающих из камня, на скорбную Пьету, похожую на оползень, – потом взгляни на работы его современников, и тогда тебе откроется другой Микеланджело, дерзкий, бесстрашный, по сей день озаряющий нас своими идеями. Художник устанавливает свои соотношения между размерами, формами, красками, светом и тенью; но целиком его можно узреть лишь в связях и

противопоставлениях современникам и их техническим приемам. Тогда станет ясно, в чем его принципиальное отличие, что он позаимствовал, кто он на самом деле.

Я ломаю голову над тем, почему именно руки и лицо производят на непросвещенных самое сильное впечатление. Должно быть, 1) это связано с тем, что непросвещенный взгляд выхватывает из вещей взаимосвязанных отдельные фрагменты. В портрете лицо и руки действительно имеют огромное значение, хотя осанка, цвет кожи, фон куда более характерны, чем нос, которому художник придал ту или другую форму.

2) Поскольку непросвещенные смотрят лишь на руки и лица, у них не развивается чувство пространства и целостности, столь важное при рассматривании картины. Восприятие цвета, формы, пропорций есть и у них, но на подсознательном уровне. Чтобы глубже понять ту или иную картину, важно знать легенду, с ней связанную, идеи, вокруг которых шла борьба современников. Например, в период Ренессанса определенные архитектурные формы вдруг начинают играть большую роль; определенные сюжеты выходят на первый план: сцены поклонения святым, исцеления больных и т.д. Как-то Мюнц описал картину Караваджо, которая на первый взгляд кажется совершенной условностью, он же разглядел в ней мощную идею пространства, которое «закрыто» от нас холодным совершенством живописи… и мы видим лишь красивые руки и лица…

У богемских мастеров руки и лица лишены всякого значения. Общее впечатление от картин чрезвычайно сильное, детали же не имеют такого веса, быть может оттого, что психологическое состояние персонажей не имеет ничего общего с нашим. У этих художников великолепные краски, тончайшая техника, что создает ощущение орнаментальности, они владеют внутренним строением вещи – ясными соотношениями между вертикалью и горизонталью, между элементами, несущими на себе тяжесть конструкции, и элементами свободного декора, правда, в живописи эти вещи менее важны, чем в архитектуре.

Посмотри на Рембрандта с его серо-коричневым фоном, у него каждый луч света вырван из тьмы, личность подчеркивается самое большее костюмом. Сравни с импрессионистами, для которых человек равнозначен его окружению, то и другое одинаково случайно, любовно изображенные природа и человек одинаково восхищают зрителя. Средства, то есть свет и цвет, говорят здесь больше, чем сюжет.

После революции люди были в согласии с самими собой. Экспрессионисты. Человек проникает в пространство и соотносит себя с ним, часто он впихивает себя туда силой, разбивается в пух

и прах, чтобы проникнуть туда, при этом разламывается как пространство, так и он сам (смотри Пикассо). Какая же это страстная попытка соединиться со всем, что вокруг! А мы получаем сколок с души художника, которая сама по себе так фантастична…

Сюрреалисты. Неуверенное, на ощупь, подражание всем стилям, поиски связей между вещами и человеком, поиски ментальные, что не так уж хорошо, но зато остроумно, часто талантливо и со вкусом. Человек уже не способен воспринимать себя всерьез, а серьезность окружающего мира провоцирует его на «мыслимые» фантазии. В столкновении с миром серьезности возникают странные образы. Так умирающий оставляет после себя бесформенные кучи хлама, разъятое время на фоне покинутого им девственного пейзажа; тесто, висящее на ветвях, часы, расползшиеся блинами.

10. Рисунки с натуры

Принцесса позирует мне обнаженной, у нее породистое тело, широкие бедра, крутые икры и высокие груди колокольчиками. Вдобавок по всему – крестьянская усидчивость. Бедняжка беззаветно влюблена в еврея, двоюродного брата Лауры и Эльзы. Сидит передо мной голышом и рассказывает о любви, от этого выходят такие рисунки, что хоть прячь их. Слушая ее, я переживаю то, что казалось уже навсегда забытым. Принцесса молода и простодушна. Все упирается в то, что принцессин возлюбленный – еврей. Родители не разрешают выходить за него замуж. И они правы – в наше время с евреями разводятся, чтобы выжить. А так они добрые. Посылают мне булочки с маком.

Все это пройдет, – говорю я.

Любовь?

В комнату врывается Лаура. Глаза безумные, волосы растрепаны, как у Медузы Горгоны. Что случилось? Убили ее мужа. В Словакии. Ушел в партизаны… вместе с принцессиным возлюбленным.

Принцессиного возлюбленного убьют там же. К тому времени она будет на сносях и родит мертвого ребенка. Ее спасут.

Мы с Павлом забрали Лауру к себе. На выходные все вместе отправились пешком в Находь. Долгие прогулки лечат.

У Анны Сладковой сделали привал. Выпили пива с гостями и присоединились к обсуждению перспектив, которое, видимо, шло с самого утра, ибо пустых бутылок было не счесть.

Война проиграна, скоро все изменится к лучшему, надо продержаться, – убеждал нас пьяный Эмиль Тылш. Мы слушали его скептически, видимо, выпили мало.

Терезин с его многолюдьем стер из моей памяти многие имена. Из памяти Сладковой их стерла старость: «Там был еще молодой педагог, пианистка, мой муж тоже был музыкант, не только художник, и мой брат, который учился оперному пению. Учитель играл на пианино, все пели, лишь Лаура была грустна. Потом мы ушли ночевать к моей маме, гостей оставили у нас.

На следующее утро, когда я пришла домой, там уже все было чисто убрано, очень чисто. Павел пылесосил. Он отозвал меня в сторону и сказал, что мужа Лауры убили».

26.4.1940

Моя дорогая старушка!

Не удивляйся моему долгому молчанию. Только сейчас я пишу тебе 16 страниц, несмотря на то что Павел уже в конце этого месяца увольняется (тогда он сразу же бросится столярничать и

очень этому рад); у меня все это очень медленно просачивается сквозь множество слоев, плотно проложенных ватой, такая уж я есть. Но иногда это заходит так далеко, что отказывают все функции, хотя и ненадолго. Из головы не выходит смерть мужа Дивы. Не пиши ей об этом прямо; она ушла в себя, все время шьет, в понедельник начинает у новой портнихи. Швейная машинка у нас, так что Дива заходит часто.

На лето мы, вероятно, переедем в деревню в часе езды отсюда, я хочу там много работать и зимой быть либо здесь, либо в Находе. Возможно, мы даже снимем только одну комнату, чтобы у меня было не так много работы по дому. Сейчас мои картины в Праге; очень любопытно, каков будет успех.

На самом деле картины в Лондоне, где откроется моя выставка. Первая – и без меня! Вместе с каким-то американцем Джеральдом Дэвисом, у меня есть две странички со списком работ: у американца десять, а у меня целых двадцать четыре.

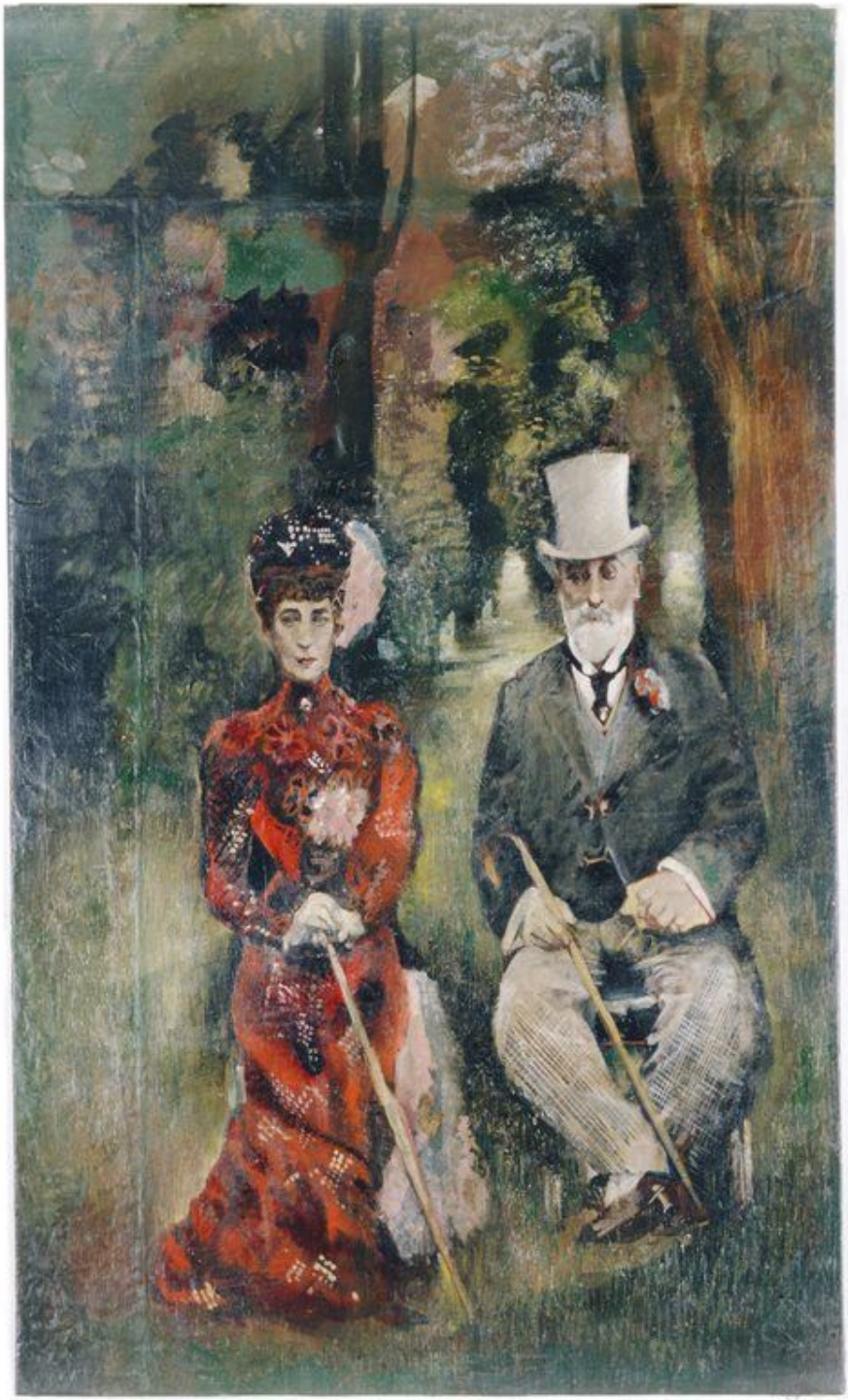
Думая о выставке, я написала «Двойной портрет в парке», самую большую и самую нелепую картину. Король Эдуард в белом цилиндре и королева Александра в пурпурном платье сидят неподвижно на фоне тенистой аллеи. На квадратной фотографии 1880 года они занимают все место. Я взяла вертикальный холст, чтобы дать место деревьям и прочей зелени,

а самих героев написала с фотографии.

Вейнграф, владелец «Аркад Галери», – наш с Францем общий друг. Он наверняка позовет Франца на открытие. Там много свежих работ. Интересно, что скажет о них Франц? Может, напишет мне наконец?

Если захочешь развлечься и действительно что-то узнать, читай прозу Лессинга. Гердера скоро получишь назад. Обнимаю!

Лаура поднимает на меня глаза хазарской царицы. Напутешествовались ее предки – из хазарского царства в Испанию, оттуда в Богемию… Глаза как косточки сливы. Лицо плоское, широкоскулое.



Швейная машинка с темно-синей фактурной тканью – Лаура

шьет Павлу пальто – вышла превосходно, нога на педали – тоже, а вот сама швея не выходит.

Смотри на машинку, не крути головой!

Лаура щурится, морщится, улыбается, хмурится.

Тебя бы в кино снимать, крупным планом.

Я крошу пастель, размазываю пальцами улыбку, стираю морщины, провожу резкую линию под глазом, поворачиваю веко внутрь – строчи дальше, подруга.

11. Пифагоровы штаны

Моя хорошая девочка!

Прежде всего – самая горячая благодарность за Дворжака; он очень интересен, не так уж легко читается, но я ему очень рада. Я тебе напишу подробнее, когда прочту несколько глав.

Ты не представляешь, какую радость доставляет мне твой интерес к искусству, сколь многому я при этом учусь (главным образом распознавать слабые места в попытке передать смысл искусства человеку непосвященному, нерисующему, к тому же на расстоянии), как ты заставляешь меня продумывать все до конца. Сколько же мне еще предстоит исправить в том методе преподавания, которого я придерживалась до сих пор. (Кроме всего прочего, я должна поскорее тебя обнять.)

Между тем я прочла Гердера. Несмотря на всю радость, которую приносит доброта, прозорливость, щедрая человечность, мне кажется, что это скорее введение в книгу, нежели собственно книга. И все же она меня бесконечно радует. Хорошее введение с прекрасными отдельными фразами – это уже что-то.

Дорогая моя! Теперь все совсем не так, как было полтора часа назад. В квартире наступил глубокий покой. Между дневной суетой и тихой-тихой ночью я урвала время для стирки белья. Мама и Павел уже спят, тикает тишина, и я с большим удовольствием снова сажусь за письмо к тебе; время от времени я слышу мирное похрапывание Павла.

У нас гостит Адела. Ей нравятся эти края – столько воспоминаний! Как вышла замуж за Густава, он был таким высоким, что, и встав на цыпочки, в щеку не чмокнешь, как пошли дети, как не успела глазом моргнуть – и полжизни за спиной, а с учетом происходящего, может, и вся.

Адела преисполнена боевого духа. Утром она сражается с пылью. Проведет пальцем по книжной полке, поднесет его к носу, рассмотрит содержимое. Эта убирается мокрой тряпкой, а вот застарелый жир мылом не возьмешь, нужно специальное средство. А накипь-то на дне чайника! Побегу в магазин, пока на перерыв не закрыли.

Усталость снимают ножные ванны. Адела греет воду в большой кастрюле, переодевается в полосатый Павлов халат, опускает ноги в воду по самые икры. У нас с ней одна и та же форма ног – низкие икры и тонкие лодыжки. Но и тут она без дела не сидит – то дыры латает на чулках, то свитер вяжет. Процедура завершается растиранием пяток грубым полотенцем. После этого обязательно надеть шерстяные носки. И все – она

новый человек. Не то что мы! Утром глаза открыть не можем, вечером с ног валимся, а по ночам блуждаем. Это – ко мне. Павел рано ложится и рано встает.

Мне теперь иногда плохо спится, и, просыпаясь, я думаю о том, с чего нам с тобой начать. Я вполне согласна с твоим предложением обсуждать какой-то один определенный вопрос, но именно здесь и начинаются трудности. Мы думаем, смотрим, обучаем исходя из обстановки, собираем материал для размышлений и преподавания из ежечасных наблюдений.

Твое замечание не начинать с современного искусства наводит меня на предположение, что ты (как, видимо, и любой человек) хочешь иметь некое представление об истории искусства в его становлении, чтобы навести первичный порядок в хаосе форм. Вместе с тем мой основной принцип состоит в том, что учащийся «не учась», не работая самостоятельно, может бесстрашно нырнуть в этот хаос. Разобраться с историей искусств помог бы, к примеру, Хаузенштейн, у него много иллюстраций, и можно читать разные главы без всякой последовательности. Главное, что можно оттуда вынести, – это рассмотрение каждого стиля в отдельности, без выделения какой-то определенной эпохи. Любая эпоха содержит ровно столько же своеобразного, сколько и унаследованного от других, почерпнутого из иных источников; часто обнаруживаются совершенно неожиданные вещи, позволяющие выявить влияния или заимствования.

Можно, конечно, для собственного спокойствия изучить отличительные признаки разных стилей. С другой стороны, не обязательно рассматривать кажущийся примитивизм как начальный этап развития и, соответственно, его недооценивать и считать усложненность вершиной искусства и, соответственно, ее переоценивать.

Есть и другой метод, и он мне близок: взять для рассмотрения что-то одно, например негритянскую скульптуру, – и обратить твое внимание на пропорции и ритм.

Скажем, у Микеланджело большую роль играют руки и ноги. Напомню тебе об Адаме с лениво протянутой рукой, касающейся Божьей длани, о толстом Адаме в «Изгнании из рая» (я упоминаю его потому, что каждую часть его тела буквально распирает от информации, которую она собой несет; Рембрандту, напротив, важна не «отдельность», а цепь взаимосвязей). Посмотри на офорт Рембрандта «Воскрешение Лазаря», насколько там несущественна (не в том смысле, что неважна, но – играет подчиненную роль) рука, вызывающая лежащего в гробу Лазаря. В ранней работе Рембрандта на ту же тему жест воздетой руки, напротив, еще очень важен.

Устала писать. Болят глаза, хотя я честно выполняю все предписания Хильды. Ем желтки, принимаю витамины. Работники фабрики Шпиглера в день увольнения преподнесли Павлу подарок – печатную машинку «Мерседес», один к одному как на картине «Допрос». Денег на ней явно не заработаешь. Евреи нынче диссертаций не пишут, а арийцы нам на перепечатку не дадут.

Если бы что-то из картин, которые увезла Лизи, удалось продать в Праге. Пока что я раздарила пятнадцать работ, а продала только пять. Два портрета и три вида Гронова, те, что рисовала для пастора.

Картина, которую я сейчас пишу, явно не для продажи. Она мне приснилась, и пока все получается так, как привиделось во сне.

Пифагоровы штаны, память школьных лет, под копытом белой вздыбленной лошади. На лошади – всадник, на фоне темного неба. Он развернулся так, чтобы дотянуться рукой до плеча идущего к нам с картины человека. Луч света, исходящий от всадника, бьет в спину идущего: плотная фигура в контражуре, лицо и одежда лишены очертаний. Безликий движется во тьму, которая впереди.

Указующий перст безликого – вот почему я пишу Хильде про жест воздетой руки – направлен на пифагорову развертку и

горшок с гортензией. Вот, мол, решая там свои теоремы, не забывайте о цветах.

Если тебя заинтересует «Дон Кихот», художница подарит тебе его с большой радостью, и ты должна принять его без фокусов; для другого это бы стоило 200–300 марок. Несмотря на большой формат, это эскиз, но как осуществить пересылку?

Дорогая, твое желание помочь дает нам с Дивой столько радости и мужества, что ты едва ли можешь себе представить. Она сейчас серьезно взялась за шитье, и это ее очень занимает. Каждый день начальница говорит ей, что очень скоро она всему научится и что она уже работает мастерски. Ей предложили два места работы, оба каторжные…

Лаура снабжает меня разноцветными обрезками: ситец, шифон, маркизет, гофре, твид, байка… Когда никого нет, я в них играю. Раскладываю на столе темную ткань прямоугольной формы, не черную – на черной все выглядит эффектно, но резковато – и не квадратную – квадрат фокусирует все внимание в центре, и делаю первый ход. С закрытыми глазами достаю из мешка первый лоскут. Первая нота – узкая полоска шифона с незабудками – это вертикаль, поставим ее где-то сбоку. Со вторым лоскутом опасно, он может оказаться и другом, и врагом шифонового. Желтоватенькая байка кругляшком ложится рядом, но, как только я достану третий лоскут, может статься, что кругляшок придется перенести в другой угол. Обрезок белого ситца величиной в ладонь. Он смотрится везде и нигде. Но если на него положить лоскуток шифона, тогда желтоватенькой байке здесь точно не место. Стоит трем первым элементам занять верные позиции, материал берет власть, и дальше все происходит само.

Девочек захватывает возня с тряпочками, мальчиков – нет. Им нужно что-то взрывное, что-то, что помогает выпустить пары. Все у них «чересчур». Чересчур ранимы, чересчур обидчивы и при этом – чересчур рассудительны. Даже мелочь пузатая знает слово «несправедливо».

Еврейские дети приходят ко мне два раза в неделю на два часа. И я вижу, как по мере занятий они отходят душой, даже осанка меняется. Если мы, взрослые, изнываем от каждодневной пытки под именем «нельзя», каково тогда им?! Туда нельзя, сюда нельзя, с тем нельзя играть, это нельзя купить… Но если подумать, ребенок и на свободе поставлен нами в жесткие рамки, по сто раз на дню слышит он слово «нельзя».

Да и чешским детям не позавидуешь. Дочери Зденки Турковой рыдали, когда в ратуше на общем собрании городской староста строго-настрого запретил не только играть с евреями, но

и приближаться к этому отродью сатаны. Родителей непослушных заберут в гестапо.

Я связала Зденкиным дочерям носочки с инициалами, положила в них конфеты и отослала с Дуфеком, который, несмотря ни на что, ходит ко мне заниматься.

Гроновская «мастерская» куда скромней пражской. Рисуем мы за столом, где от силы помещается восемь человек. С одной стороны, евреев уплотняют, с другой – запрещают сборища. Можно встречаться, когда стемнеет, но тут другая опасность – комендантский час. Бумага и краски становятся дефицитом. Переходим на коллажи, газеты и журналы еще не перевелись.

У меня есть один мальчишка-юморист, он построил дом из картона, а окна заклеил фотографиями вещей, запрещенных евреям. Он вырезал из разных газет и журналов кинотеатры, радиоприемники, телефонные будки, школы, бассейны… Часть окон еще пустует – перечень запретов обновляется каждый месяц.

С 1 июня Павел будет работать у одного крестьянина и только осенью начнет столярничать. Я почти ничего не делаю: у нас сплошные перемены, визиты и т.п., но все уладится. Не беспокойся, обещаю писать все как есть.

В той деревне, где Павел будет работать, мы сняли домик, состоящий из помещения для коз (там сейчас четверо очаровательных козлят), сеней, уборной. Если мы не найдем здесь другого жилья, то переедем осенью в Находе или в Нове Место над Метуей. В доме нам ничего больше не нужно – он полностью обустроен. Свою мебель мы храним на складе, чтобы не быть ничем связанными.

Скажи Х., что все мы будем страшно рады, если она приедет, она с ума сбрендит от тамошней красоты. Я уже пишу совсем бессвязно, от усталости, но так неохота с тобой расставаться… Продолжаю бормотать. Дива скоро напишет тебе, ты не можешь представить себе, как она тронута. Прощай. Обнимаю, привет и поцелуи. Вероника, Павел и Дива шлют тебе самые теплые слова.

Скажи Х. Не напишешь по-человечески: Хильда, мы тебя ждем. Сплошная конспирация, все под псевдонимами. Хильда – Старая, Долговязая, Блонда; Ленин – Или; Эльза – Эльзинко, Ослик; Лизи Дойч – Уточка, Фогель; Лаура – Дива; я – Вероника.

12. Ждарки

Каждый день я хожу на почту, это далеко, и возвращаюсь ни с чем. Хильда знает здешний адрес, но вдруг письма попали в Гронов? И вот сегодня – ура, есть! Правда, всего лишь открытка. Но драгоценная. Хильда дает понять, что собирается к нам, скоро, через две недели.

Я несусь на крыльях ветра по крутой тропинке вдоль склона. Волнами ходит зеленый покров, машут головами ромашки. Ветер гуляет в еловом лесу, сшибает шишки с ветвей, иголки шипят, ветви шумят – никогда не устану я радоваться живому движению ветра, звукам, падающим в цезуру тишины, жужжанию пчел в безмолвной сердцевине цветка… Хильда приедет!

Перед самым подъемом я приземляюсь на лугу и рисую пастелью портреты алых маков, с нежными лепестками бабочкиного крыла; лиловые полевые ирисы выстроились в ряд и ждут своей очереди. Этот парад цветов предназначен для Хильды, на тот случай, если она не доберется до нас до конца лета.

Последний виток к хутору самый крутой – я вползаю на вершину, как гусеница, на брюхе, в лицо ударяет ветер.

Ветер времени. Ветреное время… В Ждарках время и ветер сплелись в один неразрывный образ.

Дорогая девочка!

Мы испытали облегчение, получив от тебя ожидаемую весточку. К нам ненадолго заскочит Старая, это будет великолепно, это обязательно должно состояться. Ей здесь понравится, тем более далеко за городом. Для такой, как она, здесь найдется место.

В козьем загоне время застывает, как холодец. Шум ветра заглушают хозяйские часы. По мнению госпожи Книтловой, они создают уют. Превращают хлев в человеческое жилище. И то правда – на что козам циферблат с бегущими стрелками!

Я устала сверх всякой меры. Поэтому напишу коротко, бедная ты моя заработавшаяся! Выражение «импрессионисты» происходит от названия картины «Impression». Художественный критик назвал этим именем целое течение. Затем появились экспрессионисты, которые выражали то, что происходит внутри них в процессе созерцания. Оба направления, как следует из названий, имеют чисто личностную природу, т.е. психологически исключительно чисты и честны. Об их теориях и произведениях поговорим при встрече, когда я смогу тебе что-то показать.

Далее идут футуристы, которые, собственно говоря, тоже экспрессионисты, только оставляющие за собою право давать

живописное выражение и иному содержанию, вплоть до изображения процесса движения во времени. Почти все современные художники в той или иной мере отдали дань кубизму.

У сюрреалистов тоже есть своего рода четкая программа, они преимущественно любят выражать нечто психологическое, в том числе психоаналитическое, а также фантастическое, т.е. то, что не существует само по себе в нашей обыденности; кроме того, все оптически новое, чарующее и привлекательное для глаза, в частности диковинные и при этом обыденные предметы, заимствованные из кристаллографии, рентгенологии, астрологии или изображений, полученных при микроскопических исследованиях.

Сюрреалисты устанавливают связи между никогда не наблюдаемыми одновременно вещами и переосмысливают предметы, например пейзаж с деревьями, на ветвях которых висят тряпки из теста; часы, также изображенные как тряпка, висящая над креслом, – таким образом они выражают свое отношение к категории времени.

Однако все эти «измы» имеют слишком мало крупных представителей и слишком много имен. Их можно начертать в пространстве с помощью полос, линий, дуг. (По мне, все это обходные пути к новому, более развернутому реализму, преимущественно психологического содержания.) Они относятся критически к китчу и вводят его в свои композиции в виде цитат: так, в натюрморте могут сосуществовать вещи самых разнообразных видов и стилей (причем отдельные предметы подчас очень хороши и изображены вполне натуралистично). Между тем уже снова появились чистые художники, без претензий на «измы», хотя их смехотворно мало.

13. Умер Пауль Клее

Сегодня 29 июля, Клее умер 29 июня. Известие пришло с опозданием на месяц. Ровно месяц, как его нет. По мне, так давным-давно никого нет. Кто-то говорил мне, что воспоминания прошлого греют, что в тяжелые минуты ты можешь приникать к ним как к печке: гляди-ка, мол, ведь это случилось с тобой, какая радость была в твоей жизни. Нет, это не для меня. Я ревную к прошлому, вернее к себе той, свободно бредущей по тропинке от домика Гёте в Баухауз, к себе той, способной броситься в новогоднюю ночь на вокзал, обидеться – и уехать. Куда я уеду, обидевшись на одинокую жизнь с Павлом?

На этом богом забытом хуторе нет ни единой души. И какими бы ни были хорошими Книтлы и как бы мы ни кланялись им в ноги за то, что приютили, дали Павлу работу, подкармливают, – тошно от одной только мысли, что отсюда – никуда.

У порога бродит разлапистый индюк. Умер Клее. Худосочная лошаденка тянет за собой воз с сеном, на нем восседает Павел с вилами. Умер Клее!

Ветер уносит мои слова, и Павел разводит руками – не слышу!!! Но он понимает: что-то произошло, останавливает лошаденку – тпру! – втыкает вилы в сено, спрыгивает на землю. На нем грязные сапоги, индюшачьи перья на куртке. Это ли мой младший брат Павел, с букетиком фиалок, в отутюженном Аделой костюме?

Я размазываю слезы по лицу, Павел молчит оторопело. Он никогда не видел меня плачущей.

Пауль Клее умер.

Лошаденка ржет, закинув морду на сторону.

С тех пор прошел еще один день, я наконец взяла свое вечное перо и сижу в деревенском замке у керосиновой коптилки, сейчас гроза, вокруг глубокий покой (чуть не написала «мир»!), стало быть, глубокая тишина. Я бы хотела, чтобы Старая была уже здесь, чтобы она обезумела от волшебства здешнего ландшафта и снова успокоилась; у меня такое впечатление, что именно теперь ей это необходимо. Это и тебе бы понравилось, и я смогла бы показать тебе примеры из разных направлений искусства, показать наглядно, более основательно, во взаимосвязях, которые кажутся мне важными для чувства и понимания, и более осмысленно, нежели возможно в этих письмах-руинах и мыслях-лохмотьях. Кроме того, мы вместе собрали ровно за пять минут целый кг шампиньонов и приготовили блюдо, которое мы бы сочли настоящим совершенством, если бы кто-нибудь из тех, кого мы

любим, мог им насладиться вместе с нами. Старая была бы самой подходящей кандидатурой. Обнимаю тебя, передавай ей от меня привет и добавь, чтобы она пошевеливалась. Всего наилучшего, привет и поцелуй. Вероника.

14. Проливные дожди

Хильда так и не увидела Ждарки, по которым я мысленно гуляла с ней все лето. Проливные дожди с порывистыми ветрами обрушились на хутор. Наш хлев оказался не приспособленным для таких ударов природы. Книтлы позвали нас в дом, погреться. «Такого скверного сентября отродясь не бывало, – сетовали они, – весь урожай коту под хвост. Заголодуем». Но переночевать не пригласили.

Давай уедем! А не то сгнием здесь, как Книтлово сено!

За триста крон Книтл свез нас в Находа на тракторе. Мы выгрузились с Пегги и со всеми нашими пожитками недалеко от дома Анны Сладковой. Павел побежал к ней, а я осталась на улице. С черной фетровой шляпы стекают струи воды, зонта нет, Пегги рвется с поводка.

Не знаю, сколько времени.

Я не ношу часы.

Серая завеса покрыла город, не видно ни домов, ни людей.

Вечность прошла, а я так и стою под дождем с вещами.

15. Гости

Какой огромной кажется наша квартира после козьего хлева! Я лежу, закутанная в одеяло, Павел капает мне капли в уши и в глаза. Точно как когда-то Стефан.

После обеда (наверное, я никогда не наемся!) братья Брандейс курят в кухне. Забыла сказать, что Павлу стукнуло тридцать пять и по этому поводу у нас гостят Отто с Марией.

Отто в курсе всех событий. В еврейской общине готовят новые инструкции, скоро они дойдут и до нас. Сдать рейху все, от теплого белья до грампластинок…

Мария, убрав со стола, принимается за вязание. Но вскоре оставляет его, сидит, подперев одной рукой голову, другая покоится на колене. На Марии красивое красное платье с маленьким белым воротничком. Откуда в ней этот безмятежный покой? Может, она не слышит, о чем говорят мужчины? Мария – чешка. Приезжая в Гронов, она сперва наносит визит пастору, который живет при церкви, неподалеку от переезда, так что является она к нам в настроении благостном. Впрочем, другой я ее не помню. Отто считает, что им лучше развестись, фиктивно, разумеется, тогда ей и дочке Евичке полагался бы больший паек, да и вообще… кто знает, что нас ждет… Но Мария и слышать об этом не желает. У нее один ответ – все в руках Божьих.

Мария излучает спокойствие, и оно передается мне, когда я ее рисую. Где теперь понять, что хорошо, что плохо, что правильно, что неправильно! Заниматься изъятием и переписью еврейского имущества – позорное дело! Выносить мебель из квартир, складировать ее в помещении синагоги… Но не Отто же учредил этот закон… И на такой службе можно оставаться человеком, а можно превратиться в подонка. Отсчет по шкале подлости. Более подло – менее подло…

Отто пообещал замолвить за Павла слово в общине. Бедржиха он уже устроил. Тогда все три брата будут вместе таскать на себе чужую мебель.

Насчет шкафов у меня есть кое-какой опыт, – смеется Павел. – А что, переедем в Прагу?

Мы останемся здесь.

Подумай, в пяти километрах от нас идет война!

Польша – страшное место. Но я все равно не хочу, чтобы ты, Павел, работал в общине. Отто – дело другое, у него есть дочь, ради нее можно всем поступиться.

Я запрокидываю голову. Очередные капли. А что, если, открыв глаза, я увижу перед собой Стефана?

Открыв глаза, я вижу перед собой Хильду, упакованную в серый клеенчатый плащ.

Еле добралась! Из-за идиотских глобалистов никак не могла выехать из Генуи и только накануне отъезда получила место в спальном вагоне, еле наскребла на билет – могла бы продать твои картины, но нет, нет, нет, это невозможно, это невозможно, я не могу с ними расстаться. Ты в моем возрасте не была, не знаю, как бы тебе это понравилось. Хромаю, закидываю ноги так, словно пытаюсь оседлать лошадь, – каждый шаг труден, – но надо держаться. Вожу машину, о, Мадонна, если бы ты отважилась со мной прокатиться, ты бы знала все итальянские проклятия, – сама себя обслуживаю и, как видишь, еще способна предпринять такое путешествие. И это ты, родная, даешь мне силы.

При всей моей общительности, при всей моей любви готовить и кормить досыта… нет никого рядом… и я веду с тобой длинные беседы, в уме, разумеется… Представь себе, за столом сидит старуха, напротив – Дон Кихот и Ленин, слева – портрет дамы с размытым глазом, справа спиленное дерево акации, на мне твои бусы, в секретере твои стаканы… Но чтобы сесть за письмо…

Ферштейн зи? «Wo bist du, wo bist du, meine liebe, тра-та-та…»

«*Где ты, где ты прячешься, любовь моя…*»

Хильда снимает плащ и плюхается рядом со мной на кровать. – Ха-ха-ха, немецкая женщина, роди солдата! Такой плакат повесили на двери нашей лаборатории – женщина с зародышем во чреве, на зародыше каска и надпись: «Немецкая женщина, роди солдата!»

Я знаю, что все может быть. Но призрак Хильды-старухи слишком вещественен, куда более вещественен, чем Эдит, пришедшая из сна в Праге. Я не спала, Стефан капал капли в глаза. Последнее письмо, которое я писала ему из козьего хлева, размыло дождем.

Дождь и сейчас барабанит в окна. С плаща на пол стекают глазные капли.

Несвоевременность Сальвадора, как и всего направления, заключается в срывании масок, которыми закрыты лица всех времен и эпох. Наше сознание многослойно, между этими слоями в результате разных процессов возникает взаимодействие. Результат этого взаимодействия и проявляется в искусстве, и его формы тем отчетливей, чем больше мы знаем об этих слоях и о процессах, которые эти связи обнаруживают.

Мы сидим при свечах – электрика отсырела – обе счастливо-потерянные: я – от внезапности счастья, Хильда – оттого, что

достигла заветной цели, и, как всегда, не без приключений.

Павел готовит что-то выдающееся на кухне. Света нет, зато керосин есть! Запах мяса с жареным луком щекочет ноздри. Мясо из рейха. Лук местный. Его нам еще не запретили. Запретили чеснок. Знай Хильда об этом, привезла бы чеснока на всю зиму. Да зачем, у нас в Гронове столько чешских друзей, чесноком точно снабдят.

Гибельная проза!

Неужели больше не о чем говорить?

Хочется мяса! Павел, скоро уже?

Мы перенесли свечи на кухню, собрали свет в одной точке, посреди стола. Хильда и вино притащила. Сколько же она везла на себе из рейха?

Нет, это из Праги. А вот масло топленое и тушенка – из Берлина. От Маргит. Ты не представляешь, как она за вас переживает! Мы всю ночь говорили о том, как вас перебросить в Берлин.

В Берлин?!

Да. Там активное подполье, евреям очень помогают. Кроме того, действенная опека общины. Есть еврейская больница, даже еврейский приют для слепых. Это с одной стороны. С другой – масса культурных мероприятий, театральные постановки, даже свой симфонический оркестр. Курсы разные, ты могла бы там преподавать.

Курсы переквалификации есть и в пражской общине, Отто готов все устроить…

Они говорят, а я бессовестно пожираю мясо.

16. Асинхронизм

25.9.1940. Я совершила всегдашнюю ошибку. Бросилась писать Долговязой сразу после ее отъезда. Чтобы письмо настигло ее дома. Но неопределенность, неточность формулировок заводят меня в тупик, и досказать не могу, и отослать не решаюсь. Поэтому я решила написать главное, а уж потом досылать пояснения. По мере надобности.

Основной тон этого письма можно определить понятием «асинхронизм», то бишь «неодновременность».

Сальвадор отказывается от общепринятых норм, от того, что принято считать «добром» и «злом». Он лишь черпает сведения о контактах между слоями сознания, например, как сочетается высокоразвитое сознание с сексуальностью, проходящей через всю жизнь, от самого детства.

С одной стороны, такой контакт обусловлен свободным развитием определенного содержания в определенную эпоху, с другой стороны, кажущаяся безудержность есть продукт общей зрелости и свободы, которая и позволяет непосредственно, без внутренней цензуры, бесстрашно выявлять глубины собственного «Я».

Современность в картинах Сальвадора представлена, например, в изображении рояля с ужасным существом под крышкой, или автомобиля, едущего по разрушенному мосту, или женщины с дырой в теле, в которую видна часть пейзажа, или маленького ребенка в матросском костюме с дерьмом на голове, или железной дороги у греческой колонны, или коллекции наколотых бабочек на фоне морского пейзажа. Это означает 1) созвучность всего этого эстетическому сознанию, 2) полную свободу от всяческой стыдливости и комплексов.

Не стоит рассматривать его картины с той точки зрения, повесила ли бы ты их в своей квартире или нет. За себя могу сказать – ни за что на свете. Но наступит время, и они будут висеть в музее вместе с картинами величайших представителей духовной культуры своего времени, по ним будущий исследователь сможет судить о степени свободы, дерзости и уровне художественного мастерства человека нашей эпохи. И если эти картины не доставляют удовольствия, то дело не в художнике, а во времени, которое он представляет. Невозможно отказать ему в мастерстве и той честности, которая открывает перед нами океан отчаяния. И это не его личное, человеческое переживание, но его точка зрения на искусство, которое не есть средство для доставления удовольствия, но портрет среды и нашего состояния в

ней.

Будний день, утро. Павел дома. Осознание очевидного происходит с большой задержкой. Только что поняла, что Павел безработный. И потеряла мысль.

Диктуй, – Павел барабанит пальцами по столу, он нервничает, когда я «зависаю».

Многих поражает сочетание техники с романтикой, сентиментальности с жестокостью или грубости с крайней нежностью. То, что в нормальной жизни предполагает разграничение «добра и зла», не имеет места в изобразительном искусстве. Работы Сальвадора несут информацию о подобных сочетаниях между двумя слоями: неслыханная техника, богатство форм – одним словом, в высшей степени развитая интеллектуальность и притом совершенно детская, отсталая сексуальность.

С одной стороны, у Сальвадора такого рода контакт есть прямое следствие внезапного обеднения содержания в нынешнем искусстве, с другой – мнимая распущенность, плод общей зрелости и свободы, которая позволяет ему, нисходя до предельных глубин, непосредственно изъявлять подобную непосредственность.

В картинах Сальвадора – это отождествление с объектом, выход за рамки индивидуальности, он и рояль с вымышленным чудовищем под его крышкой, он и автомобиль, проезжающий возле разрушенной арки.

Соположение разнородных предметов на картине как их сущностное отождествление… Нет, это не пиши. Она не поймет.

Признаться, и я не понимаю.

Тогда ты ничего не смыслишь и в моих картинах!

Твои картины я люблю.

Ты любишь меня, а не картины.

Понял! «Сущностное отождествление» – это ты и твои картины.

Павел, что бы я без тебя делала!

Именно поэтому меня и уволили с работы. Ты бы столько двумя пальцами не настукала. Продолжение следует?

На первый взгляд все это – пустое. Но вспомним о нашей собственной любви к обломкам, фрагментам, о том удовольствии, которое мы получаем, покупая ненужный хлам на ярмарках. То же можно сказать о цирке и эстраде (что до цирка, мне сейчас пришло в голову что там мы видим клоуна рядом со знаменитостью и клоун оказывается в сто раз талантливей; льва, перед которым мы испытываем страх; котят, обряженных в идиотские костюмчики) – вот тебе ярмарочный букет, имитирующий полноту жизни. Что сие означает? Всеобщее стремление к

полноте жизни, которое не есть потребность в результате. И именно потому произведение искусства столь редко вызывает ощущение счастья, оно лишь возбуждает аппетит и изредка его удовлетворяет.

Не проголодалась ли ты, моя дорогая?

Да, подогрей хлеб… Хочется теплого.

Хлеба нет. Но есть мука.

Хочешь, я испеку блины? Неси машинку на кухню.

Аккуратней, пожалуйста, – Павел сдувает мучную пыль с черного корпуса.

Кадр из «Метрополиса». Крупный план: клавиши, рот, сложенный в трубочку, белое облако. Монументальные полотна, приведенные в движение тяжелой немецкой энергией. Рабочие строем движутся к шахте, мы видим их со спины, в это же время шеренга рабочих движется из шахты прямо на нас. Полная синхронность… Но при чем тут Павел, сдувающий мучную пыль с машинки? Прежде мысли, возникавшие по ходу дела, были прямо связаны с ним.

Керосинка воняет, жидкое тесто липнет к сковородке. Какие блины без яйца!

Асинхронизм. На этом мы и остановились.

Блины вышли комом. Не первый, а все до одного. Посмеиваясь друг над другом, мы запихиваем в рот теплые комочки теста, запиваем чаем.

Давай не будем уносить машинку в комнату, здесь тепло.

Павел возносит растопыренные пальцы над клавишами, смешит меня, а я настроена серьезно.

Во времена импрессионизма искусство развивалось в гуще производственной сферы, для появления выдающихся произведений не было ни возможности, ни надобности. Тем не менее наряду с критикой общества у какого-нибудь Дега ясно прослеживается пристрастие к необычным сценам, например к парящим под куполом акробатам, к необыденным материалам, кружевным пачкам его танцовщиц, лепным украшениям его театра оперетты. Тот факт, что выбор падает на кулисы, а не, скажем, на захламленную и пыльную квартиру патриция, означает как захват новых позиций, так и бегство от них. Но это бегство возможно именно там, где вторжение «нового» перспективно, в то время как Сальвадор принадлежит новой эре, когда бегство уже совершено, а вторжение нового еще невозможно.

Павел останавливается, перечитывает.

И все равно ничего не понимаю про бегство и вторжение!

К сожалению, последнее наблюдение было отступлением, которое увело меня несколько в сторону от основной линии.

Это ты мне?

Нет, Хильде. Я бы хотела перейти к опере…

Это печатать?

Да.

Если в опере асинхронизм настроения, содержания и художественных средств еще допускает создание слитного произведения, то в нынешнем изобразительном искусстве все разваливается, оно совершенно разложилось и тем внушает отвращение.

Из «расово чуждых» асинхронизмов могу напомнить тебе «Доброго самаритянина» Рембрандта – великий сюжет: набирающая воду служанка, какающая собака и безучастный человек, выглядывающий из окна; к такого рода асинхронизмам лежит пусть длинный и разветвленный, но вполне прослеживаемый путь.

В конечном счете сюрреалисты типа Сальвадора – это уже чисто клинический случай. Они защищены от хаоса тончайшей кожей под именем эстетика. Эстетика – последняя инстанция, последнее прибежище, последний мотор, заставляющий нас работать, дабы защититься от сил, совладать с которыми мы уже не властны.

Последнее предложение подчеркни.

Подчеркнул. Но не понял. Как-то путано. Что за силы, над которыми мы не властны?

Силы, которые держат в неволе. Например, я не могу сейчас уехать в Палестину и рисовать там с Максом оливковые рощи. По-моему, понятно.

Я еще посмотрю, что сами сюрреалисты говорят о своих работах, и тебе об этом сообщу. Добавлю то, что мы забыли упомянуть, а именно: название книги Леви-Брюля «Мыслительные функции в низших обществах».

Обнимаю тысячу раз. Привет и поцелуй. Вероника.

Неужели все? – смеется Павел, потирая ладони. – Будет ли дозволено секретарю присовокупить словечко?

Если в тексте встречаются ошибки, то следует приписать их исключительно царящему в комнате холоду, пальцам, привыкшим к навозным вилам и граблям (см. асинхронизмы), и недостатку навыков. Следует обратить внимание на содержание этого письма, а не на внешний вид. Пусть его скрепит печатью поцелуй в твой задумчивый лоб. Муж Вероники (еще один асинхронизм).

17. Павел-плотник

Как только до меня наконец дошло, что Павел по утрам не ходит на работу, Дуфек нашел ему место у знакомого плотника. Пока в подручных. Я мастерски залатала (вот где пригодился опыт тюрьмы!) его рабочий комбинезон, и он размышляет, брать ли его с собой или идти в нем.

Возьму с собой!

Давно я не видела Павла таким довольным. Он вернулся к многолетней привычке отправляться по утрам в присутствие. Прежде он имел дело со счетами, бланками и печатями; теперь контору заменяет холодный сарай с ко́злами в четыре ряда. Зато там можно потрепаться, пошутить. С пилой он все еще не ладит. Снова порезался.

Так складывается его судьба. Останься он бухгалтером, не прошел бы селекции, не женился бы после войны на вдове терезинского музыканта, не родил бы троих детей… Он очень хотел детей. Со мной не вышло. Разумеется, не значит, что из-за этого меня следовало удушить, тут нет линейной зависимости. Но то, что он научился работать физически, было знаком благорасположения судьбы.

Дорогая моя!

Мы ни о ком не имеем вестей! Увы, наши письма разминулись. На этот раз, как и всегда, мне стало тепло на душе; меня осаждают 1000 мыслей; приходится ждать, пока все это успокоится и я смогу сочинить понятную фразу; в этом фарше смешиваются тысячи разных вещей. Все это кристаллизуется, но они – эти кристаллы – обтягивают меня таким панцирем, что почти перестает ощущаться пульсирующее тепло, эта радость вопреки всему ужасу.

Когда же вещи выстраиваются в порядке значимости, они плесневеют, все делается унылым. Вероятно, еще и оттого, что в настоящий момент повергающие в ужас события не всегда ощущаются как самые важные, от этого стыдно.

Сегодня в Диве прорвалась такая глубокая печаль, такая неуверенность в том, что она сможет все это пережить! Я была совершенно потрясена! Я уже видела это у других, но не понимала, вернее, не могла осознать. Теперь и депрессия твоего нового знакомого стала для меня очевидной, объяснимой.

«Иной отличает день ото дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума. Кто различает дни, для Господа различает; и кто не различает дней, для Господа не различает».

Я нарочно цитирую из «Послания к Римлянам». Последнее письмо Хильды полно нападок на религию. От веры в никем не доказанное существование высшего мира один шаг до культа личности. Божества заменяются земными суррогатами. Как только Гитлер проиграет войну, его причислят к лику святых, ведь он принял страдание за свой народ! Он хотел, чтобы его народ стал чистым, новым, красивым! Ради этой великой цели он умыл его кровью, но в первую очередь пожертвовал собой. В письме Хильды Гитлер – «Г» с точкой, немецкий народ – «нн».

Мы с тобой все же похожи друг на друга в своих стремлениях, по крайней мере, мы умеем радоваться жизни. В этом плане у нас прекрасное наследство!

Я часто думаю, что, если бы между мною и моим отцом было возможно взаимопонимание, я бы сказала ему огромное спасибо за свою способность бурно радоваться; признательность, которая была бы значительнее того, чего обычно ждут от «дочерней любви».

Хильда навещала моих. В отчете о выполнении миссии мой отец представлен весельчаком, человеком невероятно легким, общительным, чуть ли не шаловливым. «Ты так на него похожа – и улыбкой, и милой манерой смотреть исподлобья».

Своего отца Хильда описывает как «доброго и бесстрашного человека». А что, если бы я поехала в Брно и увидела бы противного старика, производящего опыты над животными?

Из психологических наблюдений: человек видит, скажем, с балкона четвертого этажа лежащий на земле предмет и принимает его за глиняный черепок; вдруг кто-то говорит, что брошенный им кусочек шпика все еще валяется внизу; в глазах человека, глядящего сверху, предмет, не изменивший ни формы, ни цвета, ни смысла, преобразуется в шпик.

Из лаборатории Хильда привозит нам пшено и чечевицу, которыми кормят подопытных тварей, преимущественно крыс. Кроме того, она передает от отца «подарки» одной еврейской семье, а та, в свою очередь, в еврейский детский дом. Возможно, оголодавшие крысы не оправдают научных гипотез Хильдиного отца. Ради нас он идет на жертвы. По нынешним меркам его доброта и бесстрашие неоспоримы.

18. 1000 поцелуев

Наш дом приглянулся эсэсовцам. Утром нагрянула комиссия во главе с инженером. Пегги их облаяла. Инженер велел забрать собаку и убраться из комнаты, шнель! – мое присутствие мешает вести переговоры по поводу капитального ремонта. Они вошли в квартиру, им закон не писан, долго там заседали, а мы с Пегги торчали на улице. Может, они хотят устроить в нашей квартире штаб? Станция как на ладони…

Дождь прибивает к земле опавшие листья. Мы ждем. Ждем, пока комиссия покинет наш дом. Такое настало время, Пегги, не скули! Но Пегги скулит по другой причине. Любимый хозяин возвращается с работы побитый.

Опаздывал, вскочил на ходу в арийский вагон. Какой-то болван разорался: «Вонючий жид»; все стали оглядываться, самое смешное, и я тоже. И тут кто-то дал мне в спину. Я пролетел полвагона, упал… Хорошо, что остановка короткая. Этот осел схватил меня за отворот пальто, вцепился, зубы скалит… как следователь с твоей картины…

А немцев в вагоне не было?

На наше счастье, не было.

Они у нас дома.

За мной пришли?

Нет, по поводу квартиры.

С этим мы разберемся, уладим.

Павел еле стоит, а немцы, похоже, не собираются покидать нашего дома.

Пошли, – говорю я Павлу.

Нет, лучше пусть они уйдут.

Они ушли. Захлопнули за собой дверь. Хорошо, что у Павла был ключ.

Я выкупала Павла в теплой воде, перевязала ушибленную руку, выстирала пальто. Весь следующий день мы просидели взаперти, прислушиваясь к шагам. Вечером я вышла с Пегги. Чудесный вечер, никакого ощущения тревоги. Липы бесшумно скидывают с себя меленькую листву, клены с вызовом бросают наземь яркие перчатки…

Через день:

Когда ты думаешь о деревьях в чешской живописи, или у Фра Анжелико, или у старых немецких мастеров, идущих проторенной дорогой, а потом у Пуссена или Ван Гога, то мысли эти собираются в «идею дерева». Мы знаем о дереве все, при этом всякий раз видим его иным. Таким образом, всякий раз нам

открывается новая грань явления, называемого «деревом», стало быть, оно может быть новым бесчисленное количество раз. Это правда. Но всякое философское рассуждение далеко от абсолюта, оно зависит от обстоятельств, а они переменчивы.

Представь себе вращающийся шар. Мы смотрим прямо на него, наш взгляд – это мгновение физического процесса преломления точки на сетчатке глаза, все остальное – искаженное отражение. Так же и с философией. Ты можешь менять точку зрения на существование, но это не избавляет от обязанностей, не отменяет продолжающегося во времени вращения шара, на который упал луч нашего взгляда… (см. асинхронизм).

Советую тебе немедленно разобраться в этих жгучих вопросах. Спроси своего приятеля прямо, как он думает прийти к новой жизни, и особо, почему современная наука есть бегство от безысходности, и каковы новые проблемы, например, в области медицины, и есть ли результаты, и если да, то какими средствами достигнуты? Он должен очень много знать обо всем этом, или по крайней мере кое-что, так как это связано с проблемой исцеления. Было бы хорошо, если бы ты смогла познакомиться с Кутемайером, автором книги «Врач и больной», я бы дорого дала за то, чтобы послушать его лекцию!

К платформе подходит поезд. Это из Праги. Местные электрички тарахтят, а этот подкатывает неслышно, секунд тридцать отдыхает, а уж потом отворяет двери. Платформа темнеет от немецких мундиров. Офицерский состав. Солдаты на пассажирских поездах не ездят, а эти устраивают в Гронове привал, отдыхают перед Польшей. «Нажрутся и спят, сидя за столами, – говорит Зденка Туркова, она теперь моет посуду в ресторане на площади и наблюдает “ихнее безобразие”. – Один разозлился на официанта и пригрозил повесить его на фонарном столбе». После такого рассказа хоть в окно не смотри. А куда же смотреть?

Я начала две работы, и обе напоминают мне ту мою картину с Лазарем, восстающим из гроба. Видимо, эффект психоанализа ослаб. В одной Христа заменяет бутылка на подоконнике, в другой – фонарь, на обеих – убитый на рельсах, в проеме платформы.

Мне так мешает старая кожа! В то же время, преследуя заранее намеченную цель, трудно изменить точку зрения. Одолевают сомнения: стоит ли стремиться к чему-то единственно правильному.

Ты поешь песни жизни – и это прекрасно, другой в тех же обстоятельствах теряет к ней вкус. А теперь, милая девочка, 1000 поцелуев, напиши поскорее и побольше.

Солнечный луч согнул в дугу рельсы в бутылке. Вот это отражение! Сферическая форма ломает крестовину…

Луч пропал, бутылка потускнела. А на картине все уже есть. Я успела ее закончить до прихода Павла.

Кусочки морковки, картошки и лука бурлят в подсоленной воде. Как в луже, все плавает по отдельности. Не выходят у меня супы. Зато желе выходит, да еще как. Адела научила меня заваривать крахмал и добавлять туда фруктовую эссенцию. Получается красиво.

Павел доволен новым местом, но чувствует себя страшно разбитым, всего слишком много. Он несколько раздражителен, а я – так ужасно! – но самоотверженно борется с трудностями.

Дива почти не работает, с нею тяжело общаться, чего сама она, увы, не осознает.

Это письмо запросто могло бы стать вдвое длиннее, так как

самого важного я еще не написала.

Тебя удивляет дологическое мышление. Может быть, когда-нибудь будут так же удивляться и нашему образу мысли. Мы привыкли приписывать определенным действиям определенные причины, тем не менее как мы, так и дикари с их дологическим мышлением делаем и делали уйму вещей, руководствуясь интуицией. Некая часть нашей личности, которая вовсе не обязательно являет собой высшую ступень сознания, устанавливает с ней связь то верно, то ошибочно.

Дуфек взял для нас в библиотеке Леви-Брюля. Старое, потрепанное издание. Я люблю такие книги. Их запах, замусоленные края, оставленные кем-то закладки… Я всегда читаю книги с кем-то, в последнее время в основном с Хильдой. На полях библиотечных книг нельзя писать, это большой минус, приходится делать пометки на отдельных листочках, они выпадают, и потом поди разберись, с какой страницы. Павел предложил мне пользоваться скрепками. По мере чтения книги толстеют и становятся похожими на драконьи пасти с железными зубами.

Народу Книги нет доступа в библиотеку, – возмущается всякий раз Дуфек. Мы его утешаем – читать нам пока еще никто не запретил.

В Терезине у нас будет такая библиотека, которая Дуфеку и не снилась. Туда свезут из Протектората и рейха все ценные еврейские книги, и их будут каталогизировать ученые-заключенные. Сортировать обувь и одежду может любой народ, а вот в книгах своих, кроме евреев, никому не разобраться.

Суп выкипел, загустел и все равно невкусный. Чем-то подобным нас будут кормить в Терезине.

Павла все устраивает, лишь бы у меня было хорошее настроение. А оно сегодня хорошее – мне удалась картина.

Та, что не получалась?

Да!

Желе дрожит в ложке.

Наверное, так же дрожат наши мозги…

Фридл!

Нет, ну правда же, ты можешь представить себе, что это аморфное, отвратительное на вид вещество производит мысли? Откуда, например, сейчас в моей голове вот это: как мало осталось времени и как многое хочется понять!

От Леви-Брюля, наверное… – Глаза Павла уже подернуты сонной поволокой.

Немецкие офицеры, наевшись, засыпают за столом.

Фридл! Десять минут… Прости.

Все-таки я жуткое создание. Обязательно нужно на кого-то обрушиться. Павел спит, возьмусь за Хильду.

Переписывая Леви-Брюля, я слышу голоса Клее и Иттена.

«Для первобытных людей жизнь была сплошной мистикой, их сознание спокойно принимало тот факт, что одно и то же существо может в одно и то же время пребывать в двух или нескольких местах, им было наплевать на противоречия, которых не терпит наш разум.

Пралогическая и логическая системы мышления не отделены одна от другой глухой стеной – различные мыслительные структуры сосуществуют не только в одном обществе, но и в сознании каждого человека».

Наши учителя порой забывали ссылаться на источники. Со мной такое тоже случается.

До сих пор я преподавала под определенным давлением (моего страстно почитаемого учителя, который помог мне вылезти из уже отработанной формы, – это была очень твердая скорлупа). В конце концов я осознала, что вопреки всем возражениям я вообще не учитель. Тогда я серьезно взялась за живопись и теперь преподаю совершенно иначе, намного успешней.

Вещи, которые я когда-то изучала, кажется, полностью вошли в меня. Признак того, сколь хороши они были, состоит в том, что они меня полностью изменили, без них это было бы немыслимо, но теперь я не ощущаю их прямого воздействия.

19. Текущее время

Мы с Аделой, обе в двубортных пальто, с двумя рядами пуговиц, почти в одинаковых шляпках, гуляем с Юленькой по улицам Гронова. Знакомые принимают Аделу за мою мать. И мы их не разубеждаем.

В ноябре Адела привезла нам Юленьку – белого пуделя с черными ушками. Вместо Пегги. Сдуру я выпустила Пегги погулять одну. Вернувшись домой после бесплодных поисков, я нашла ее на пороге. Видение мертвой окровавленной Пегги в свете произошедшего далее, кажется, могло бы не вызывать у меня сегодня прилива скорби. Но нет, одиночные потери режут по сердцу сильнее массовых.

Павел занят ремонтом будущего дома, Адела готовит вкусности буквально из ничего. А мы с Юленькой ходим рисовать пасмурные картины с трубами на горизонте.

Да, нам предложили другую квартиру в небольшом двухэтажном доме. Поменьше и похуже, напротив дома, где живет евангелический пастор, тот, что занял место Яна Дуса. Мы с ним еще не знакомы. Наша мебель туда войдет, но многое придется перестроить. На этот раз я не посылаю Францу чертежа.

26.11.1940

Моя любимая девочка!

Дом готов, все сверкает и ласкает глаз. Павел упражняется с пилой, рубанком и собственным телом.

Я так много думаю о тебе, я живу с тобой и в промежутках между письмами веду с тобой нескончаемые беседы, потому и задерживаюсь с отправкой.

Неудивительно, что тебя взволновал Ван Гог, хотя книга Стоуна, на мой взгляд приторная, полна фальшивой романтизации (например, эпизод с отрезанным ухом). Прочти после Стоуна три тома вангоговских писем, это так здорово, и ты поймешь, почему мне не нравится Стоун. Ван Гог – возмутитель спокойствия, у него есть замечательные вещи. Но есть художники и более глубокие, например Сезанн. Его картины беспристрастны, их глубина содержит в себе многочисленные элементы, которых ты пока не умеешь различать. Рисунок, цвет, качество краски, принцип ее нанесения, светотени, пропорции, содержание (я умышленно поставила его ближе к концу), качество тона, фактура материала. И сколько существует видов мастерства, столько и школ, сколько школ – столько и мастеров. Чем более подготовлен художник, тем более свободно пользуется он всем этим неисчислимым богатством. С другой стороны, мастер может

быть ограничен в средствах и все же очень силен. Вспомни «Танец» Матисса. Бедная по цвету, тусклая, плохо прописанная, но с живым ритмом – это, безусловно, очень хорошая картина. Или, с другой стороны, Леже, который ритм поставил во главу своего искусства, у него и пропорции на месте, и цвет не врет, и тем не менее это насквозь надуманный художник.

Мне случайно попался номер «Музея» (где кроме всего прочего оказались две чудесные репродукции Клее 1931 года), и там я нашла кое-что такое, что сама тщетно пыталась делать в течение многих лет. Это картина Руо 28 года. Мне не хватает его тяжеловесности, его полного отсутствия кокетства. У него все сделано одним махом, и притом мастерски.

Художнику следует находиться в согласии с самим собой и с сюжетом, его техника должна не только стремиться к этому, но и быть в состоянии этому соответствовать. Какими бы ни были его возможности или желания, по отношению к картине все должно отойти на второй план; если же он не может сбросить с себя или на время устранить того, что к ней не относится, картина не будет написана мастерски. Мастерство, техника сама по себе должна выражать нечто определенное. Готику, которая, чтобы выразить нечто определенное, сбрасывает с себя бремя античного мастерства, ты поймешь и примешь, как только прочтешь Дворжака. Иногда с помощью одной интуиции можно понять, чего хотел художник и удалось ли ему это. Вспомни Рубенса и Рембрандта – примеры из книги Мюнца. Оба – зрелые признанные мастера, но, судя по приводимым у Мюнца версиям «Воскрешения Лазаря», трактовка Рубенса ошибочна. Какое отношение имеет это буйство к воскрешению?

После того как Ланге порисует со мной один или два раза, я смогу начать заочное обучение, а пока основа для взаимопонимания еще слишком слаба. Кроме того, в качестве необходимого звена в цепи (не для рисования, а для представления об искусстве – того, что я бы с огромным удовольствием хотела ей передать), не хватает одной книги или, вернее, автора, которого, как я очень надеюсь, Ланге сможет достать, а именно Франца Кафки и особенно его «Процесса».

Это гротеск, но не карикатура. Жанр карикатуры на сегодня исчерпал себя, если что и появляется, то лишь нечто низкопробное, питающееся запасом старых форм, вернее, формул. Кому теперь интересно, имеет ли богач жирный загривок с непременной складочкой? Вещи и без того стали резко выраженными и понятными, и посему, видимо, этот жанр утратил свою действенность.

Кстати, Дива передает тебе привет и обещает скоро

написать. Она так радовалась твоему письму, что я твердо уверена, что она действительно скоро это сделает.

Обнимаю.

Эпилог – за Павлом.

В этом объятии я принимаю живейшее участие. Поскольку моя жена уже намекнула на то, что я приношу себя в жертву рубанку и будущему дому, не могу тебе не сообщить, что кое-что я уже умею. Хотя дело это оказалось весьма непростым – приходится справляться не только с инструментами и собственной физической слабостью, но и с внешними обстоятельствами, такими как доски, упрямо не желающие обстругиваться; намеченные линии, по которым пила не пилит принципиально; гвозди, которые гнутся во все стороны; винты, которые не входят в дерево; клей, который мажет все вокруг и вместо досок склеивает пальцы, и т.д. Так что даже из этого маленького отрывка ты можешь судить, как трудно привести дом в порядок. Придется подождать еще какое-то время, пока мастер преодолеет все препятствия, поставленные перед ним матушкой-природой. Павел.

Какой ты у меня замечательный!

Ну что стоит сказать – как я тебя люблю! Сколько раз говорила я это Францу, Анни, Хильде…

Запечатываем? Я готов идти на почту.

Пойдем вместе, с Юленькой. Я вас сфотографирую.

Итак: черная шляпа с полями сдвинута на лоб, глаза смеются… Павел прыгает вокруг нас с фотоаппаратом, никак ему не удается найти верный ракурс. То Юленька не помещается, то неба мало.

Наконец-то все на месте – я зачем-то сняла перчатки, одной рукой держу поводок, вторая – в кармане, Юленька у моих ног. За нами белая мгла, сквозь которую едва проглядывает гора Осташ.

20. Незавершенное

На ночь я устриваю Павлу читку по ролям. Говорю басом за начальников и тихим голоском – за господина К.

«Замок» Кафки! Как же все похоже на нас! Мы тоже приехали сюда на работу, Павел бухгалтером на фабрику, я оформителем тканей. Господин К. никак не может приступить к работе землемера, вокруг него плетутся интриги, он и сам уже не понимает, кто он, и зачем он здесь, и как ему выпутаться из этого криволинейного пространства. Так и мы с нашей новой квартирой, куда нам не дают переехать, при том что требуют освободить эту. Павел обошел все возможные инстанции, в точности как господин К., и с тем же результатом. Кафка пожалел нас и не дописал романа.

Выпал первый снег. Закончились масляные краски. Эти два события, вроде бы никак не связанные другом с другом, предопределили как технику, так и само содержание моих зимних работ. Я перешла на пастель, а зимой на улице ею рисовать невозможно. Зимними вечерами мне охотно позируют и учительница чешского языка – рисование мне явно дается лучше, чем этот шипящий-кряхтящий язык, увлажненный долгими гласными, – и царственная еврейка, госпожа Хирш, с копной шикарных волос, и все та же принцесса, поставляющая новости из Праги и деньги от Лизы Дойч. За проданные картины. Кто покупает их в наше время?

9.12.1940

Моя дорогая!

Мы приближаемся к решающим во всех отношениях событиям. Мы очень ждали твоего письма и очень ему обрадовались.

Вначале – о самом важном. Мой отец тяжело болен (вернее, так было в тот момент, когда я писала тебе письмо). Сейчас физически он чувствует себя лучше, но сознание еще очень спутанно. Ему 84 года, и я боюсь, учитывая все сложности, больше его не увидеть. Мы всю жизнь существовали порознь; я всегда была настроена против него. Сейчас, когда всякая неприязнь к нему, в том числе из-за страданий, которые он причинял матери (основная причина наших с ним ссор), исчезла, моя мечта увидеть его, чтобы окончательно помириться, вероятно, так и не исполнится. Что с мамой, я тоже не знаю; все ужасно. Я бы так хотела быть там и показать ему, как я ему благодарна. Мне никто не будет благодарен! Постарайся родить ребенка!

Отец мечтал прокатиться по Вене на машине с открытым верхом. В нашем окружении такая была только у Хильдебрандтов.

Что мне стоило попросить их об этом? Нет, я была занята собой. Мы колесили с Хильдебрандтами по летней Вене – деревья кружились, дома летали, Ганс жал на клаксон, а мы с его женой Лили подпрыгивали на заднем сиденье. Ветер свищет, машина летит. Хильдебрандты ценили меня, прочили мне большое будущее. И я самоуверенно думала: брошу ателье, уйду от Франца, займусь живописью. На мне тогда была бежевая вязаная шапка, как крышечка на молодом желуде, под ней прятались волосы и уши.

На картине я в берете. Одинокая дама, прислонившаяся к стеклу автомобиля. На шее голубой платок, на губах помада, белый треугольник блузы в разрезе голубого пиджака, цвета неба в стекле автомобиля. Она смотрит вперед, на дорогу, за ее спиной остается улица, гроновские дома с алыми крышами ложатся под колеса. Дама, упакованная в сиреневый автомобиль, совершает путешествие в приятной задумчивости. Шофер знает дорогу.

Маргит писала, что есть возможность устроиться химиком у ее мужа, она надеется, что сможет с тобой основательно познакомиться. Время летит так быстро! (До нас уже дошла радостная новость о вашей переписке.)

О различиях между нею и мною напишу в конце. Несомненно одно: как бы тяжело ей ни было – а ей сейчас тяжело, – она бесконечно честный и мужественный человек. Твои сомнения по поводу соответствия Хуго и Маргит не лишены оснований. Она как тот (если тебе известна эта китайская легенда), в ком просверлено 7 отверстий (возможно, слишком больших), и ее муж наверняка получил от нее несколько штук и тем самым приобрел разные подходы к жизни. По природному складу они с Хуго, вероятно, сильно друг от друга отличаются. Маргит была бы чудесна, если бы не была вынуждена черпать из себя самой все жизненные силы.

Что за история с дырками?

Это даосская легенда. У Иттена было кольцо с изображением Хаоса – существа с четырьмя крыльями и шестью лапами. Кстати, в Баухаузе я сделала такую гравюру. Так вот, до того как Вселенная получила форму, в центре ее царил Хаос. У него не было ни лица, ни семи отверстий для глаз, ушей, ноздрей и рта. Однажды его друзья, владыки морей, решили, что для полного счастья Хаосу не хватает органов чувств, и просверлили в нем семь отверстий. Из-за этого Хаос умер, а из его останков возникла Вселенная.

Про даосскую легенду вписать?

Нет, пусть пороется в книгах, она это любит.

Благодаря тебе происходит нечто невероятное (хотя по сути дела естественное): мы возвращаемся к жизни, к себе самим, и – о чудо! – когда-нибудь и из этого что-то возникнет.

В ответ на твое письмо посылаю тебе Сезанн, и буду посылать еще, пока ты не насытишься. Постараюсь раздобыть Ренуара.

Стремление к выразительности у Матисса (сравни его «Музыку» и «Танец» с картинами Ван Гога) варьируется от картины к картине; тысячи разных попыток, тысячи узловых точек, в которых отражается его суть. У Ван Гога – одна-единственная. Это оппозиция «свет – движение»; он не проявляет

никакого стремления к разносторонности и разнообразию; впрочем, он очень многое исключает из сферы творчества (так же как и в своей одинокой жизни, мыслях и работе). Клее, даже при его односторонней манере, вбирает в себя все предметы; Ван Гог представляется мне бешено вращающимся огненным колесом (похожим на его солнце), оставляющим вокруг себя пустое пространство. Клее похож на кратер вулкана, который, втянув в себя все, переварив и преобразив, воспроизводит некий неизмеримо чистый мир. Но все это слова, картины невозможно описывать посредством картин. (Я впервые увидела удивительное отсутствие глубины в живописи Ван Гога на Всемирной выставке в Париже.) Когда я теперь об этом размышляю, то думается, такая поверхностность куда лучше фальшивой глубины и сентиментальности.

Сочинение г-на Стоуна можно оценить исходя из того, какую картину он выбрал для фронтисписа: «Художник, стремящийся к солнцу…» Это безусловно один из худших портретов Ван Гога, если не наихудший. Видишь ли, идея Стоуна носит чисто литературный характер. Картины в большинстве своем выражают нечто, что в словах оказывается преувеличенным или преуменьшенным, то есть неверным; или, в исключительных случаях, представляют собою сгустки (как, например, у Рембрандта), заключающие в себе целую философию без прямых намеков на нее. Но для Стоуна стремящийся к свету учащийся народной школы, увы, всего лишь штамп: образ художника, который ищет света и от него погибает.

У меня есть только два тома писем Ван Гога (третий остался у одной из тех книжных гиен, что держат все при себе, засунут куда-нибудь и не возвращают), но тебе тем не менее я их посылаю. Мне надо было бы получить их обратно побыстрее, поскольку они относятся к основному фонду. Лучшее (Сезанн) не всегда самое востребованное, так что его я могу подержать подольше.

Пример чистого художника большого масштаба, который за всю свою жизнь не создал ни одной символической работы, ни разу не подвергался критике (как, например, Моне), а только писал картины, представляет собою Ренуар, но его надо смотреть только в цвете.

Фридл, сделаем перерыв.

Павел нервничает, у него кончились сигареты. С пяти до семи – еврейское время покупок. А сейчас полпятого.

Почему же так темно?

Сегодня самый короткий день в году.

Послезавтра Рождество?

Купим шампанского!

На ратушной площади сверкает наряженная елка, подвыпившие немцы играют на губных гармошках, распевают тирольские песни о желанных женушках.

Ненавижу!

Мы им столь же отвратительны.

Только они могут сделать с нами все, что им прикажут…

Пойдем отсюда, Фридл.

Прогулялись. Купили сигареты. Шампанского нам Кшен не продал – только для арийцев. Рождество – это арийский праздник. Взяли пива.

Умница, хорошо, что не ввязалась в полемику, – хвалит меня Павел. – Кшен – мужик темный, но не злой. И мы от него зависим.

Не кури, избавишься от зависимости. Хотя бы от продавца Кшена.

От пива стало еще муторней.

Тут Хильда спрашивает тебя, что ты понимаешь под «содержанием картины», – говорит Павел, игнорируя мои слова. Чего заводиться!

Тогда возьмем снова рембрандтовское «Воскрешение Лазаря». *Архетипический образ времени. Глубокое религиозное чувство человека времен барокко. Взгляд со стороны, сильное ощущение величия Христа, сюда же – одеяние с подбоем, уверенность в том, что фигура Христа тем не менее не должна быть освещена. Это и производит впечатление неслыханного бесстрашия. Пребывание с Христом и одновременно с самим собой.*

Погоди, я бумагу не заправил!

Тогда скажем просто:

Содержание картины нельзя выразить словами (если не углубляться, подобно Мюнцу, в суть вещей), т.к. оно есть общее достояние и посему имеет бесчисленное множество индивидуальных образов, или попросту лиц.

Не очень понятно, – замечает Павел. Он успевает не только печатать, но и следить за зигзагами мысли. Вот какое мне досталось сокровище!

Рассматривая картину, мы имеем дело с чем-то гораздо бóльшим, чем некое содержание, причем акцент можно сделать как на слове «некое», так и на «содержании».

Ты хочешь сказать, что картина и зритель – это симбиоз? Каждый воспринимает картину по-своему. Зритель приобщается к картине, ничего у нее не отбирая, а она дает ему то, что он ищет в данный момент. Через несколько лет он изменится и увидит в ней, неизмененной, что-то совсем другое. Вот и выходит, у каждой картины бесконечное число образов.

Павел, я тебя люблю!

Перерыв?

Наша любовь – тоже своего рода симбиоз. Она не такая страстная, как с Францем, не такая пылкая, как со Стефаном, в самом акте нашего соития есть что-то родственное, старшая сестра отдается младшему брату заботливо, чтобы ему было хорошо в первую очередь. У Музиля в «Человеке без свойств» – вот еще одно незавершенное творение, которое я так люблю! – главный герой Ульрих любит свою родную сестру Агату. Они совершенно разные, если бы они не знали о своем прямом родстве, не было бы и романа Музиля.

Хорошо, что мы двоюродные, правда, Павел?

Знать бы, что в Терезине нас разведут по разным углам, мы бы из постели не вылезали. Это все я! Письмо дописывать, Юленьку выгуливать.

Павел послушен. Выгулял Юленьку – на улице холодрыга, – подогрел вчерашний суп – фирменную «поливку», которую он мне сварил в первый день нашего знакомства, – это мы тоже вспомнили за столом, улыбаясь друг другу нашими глазами, – и за дело. В письме Хильды, как в школьном изложении, помечены параграфы, требующие разъяснений, вопросы вынесены в конце.

Когда художник сосредоточен на живописи, множество вещей, вероятно, проходит его личную цензуру, а потом писатель – я не говорю о таких прорывах, когда это происходит преднамеренно (как, к примеру, импрессионисты, экспрессионисты и сюрреалисты, которые целенаправленно провоцируют конфликт), – стирает эти вещи или их переписывает.

Не понимаю. Что ты хочешь сказать?

Я подхожу к машинке, читаю и тоже не понимаю. Может, не писать сегодня?

Зачеркни это. Я хотела сказать о силе конвенции.

Павел уже и не переспрашивает.

Рубенс не верит в Христа, но подстраховывается на случай, если Он все-таки есть, за счет подчеркнутого пиетета в изображении Славы Господней; соответственно, его вера ничуть не страдает.

Но почему вера? Это его неверие не страдает, по-моему.

Забей «веру»!

А что написать?

Напиши «неверие»…

Внутри себя я застряла совсем на другой мысли – о незавершенном. Жизнь – это набросок или рисунок? Незавершенное – это не незаконченное. Незавершенное не достигло вершин, незаконченное не достигло конца. Можно ли закончить незавершенное? Дописать «Замок» или «Человека без

свойств»? Если не считать смерть концом, то можно со спокойной душой оставить после себя незавершенное.

Фридл!

Да.

Тут Хильда спрашивает, что значит *«Быть созвучным самому себе и сюжету».*

Пусть вспомнит Ходлера.

Написать в форме обращения: «Вспомни Ходлера»?

Да.

Ходлер проповедует позицию духовного романтизма. Его целомудрие (причем довольно пылкое), нежность, не выходящая за пределы орнамента, симметрия, которая в природе встречается лишь в единичных случаях и посему не есть природа, смахивает на китч с его стереотипами – домик в снегу, красный глаз окна, укутанные снегом ели с птичкой, – разве это природа!

Неповторимость художника – в многократном воспроизведении, воссоздании повторяющегося (вернее, повторяемого) явления.

Вот так всегда: нацелишься на умное – получишь безумное.

Фридл, скажи проще: «Неповторимость художника – в многократном воспроизведении повторяющегося явления».

Что в лоб, что по лбу. Оставь как было. Или все зачеркни. Дальше. Над чем я сейчас работаю? Обьяснить простыми словами очередное безумие?

Вещь, которую я хотела создать и которая удалась бы любому другому на моем месте, такова: женщина с поднятыми руками наклоняется вперед; она изображена в трех стадиях наклона. От ее рта до земли простирается образ ангела, состоящий из кривых линий. Название: «Женщина, из уст которой исходит мольба». Идея была такая: во-первых, изобразить движение (точно так же я изобразила прыжок с шестом по кинокадру); во-вторых, ангел – тоже из кривых, это – результат поиска материала, который я вела, когда пыталась сделать прыжок с шестом. Первая фигура женщины была вырезана из оловянной пластины, вторая – сделана из плоской проволоки, третья – из тонкой круглой проволоки. Ангел представлял собою кривые, сплетенные из еще более тонкой проволоки. Что мне особенно дорого – так это название (в соответствии с моими нынешними ощущениями).

Желание передать движение (к примеру, в фильме это возможно через фиксацию отдельных фаз) внушено определенным временем. Кино дало мне импульс, но в силу отсталости сознания мне так и не удалось найти форму. Прорыв не удался. Я хотела выразить процесс движения в материале. От плоскости до линии. Что меня всегда занимало, это изображение непрерывного

процесса.

Композиция, которую я тебе описываю, должна была бы представлять собою пространственное сочетание различных измерений, взаимосвязанных символических изображений, плоскостей, линий и поступательного движения.

Павел закатывает глаза. Мой жест, один к одному.

Тогда добавь: *«Попытка описания тоже кажется мне неудачной!»*

Что там у нее дальше?

Реализм и абстракция. Понятость и непонятость обществом.

Я знаю нескольких художников, писавших абстрактные картины с одной целью – немедленно сообщить свои ощущения широкой публике. Теперь им хочется, наоборот, писать с натуры, но они уже не могут и по многу лет не работают; или другие, которые не могут найти адекватного художественного решения своих идей в этической сфере и вообще больше не работают! Строгая нравственная самоценцура. Возьми Маргит. Она говорит: «Все, что я делаю или могла бы сделать, – сущие пустяки по сравнению с тем великим и трагическим, что сейчас происходит». Возьми Толстого, считающего собственные произведения греховными, или Кафку, велевшего сжечь его труды после смерти.

Тот, кто пока еще признает цвет, светотень и нюансы, продолжает работать. Такого человека Мюнц нашел в Рембрандте.

Я очень заинтересована в том, чтобы ты поближе узнала Маргит. Ее ничегонеделание отчасти объяснимо недостатком творческой ярости. Я понимаю, что тебе ее жаль, но тем не менее ты найдешь у нее много такого, чему можно позавидовать, – см. выше.

Те вещи, что создаются с напряжением всех сил и по множеству побудительных причин, как правило, хороши. Чем более человек раскован в работе, тем лучше, но крупные произведения, преследующие множество целей, – это те моторы, что придают всему размах, та парализующая значительность, что призывает баловство к порядку.

Маргит могла бы усомниться, допустимо ли использовать эти моторы для таких пустяков. Она права. Я как раз таки выскользнула из сетей и благодарно радуюсь жизни. Надеюсь, если когда-нибудь мне придется за это заплатить, я успею, именно работая, накопить достаточно сил для расплаты. Возьми, к примеру, яркость красок в моей «Даме в авто»!

Ты могла бы получить пару сапог тридцать седьмого размера почти до колена, из войлока, с кожаными носками и хорошей подошвой за 350 крон – напиши, хочешь ли ты их. От Фогель мы

получили очаровательное письмо, а дела у нас идут катастрофически хорошо.

Павел приписал:

Несмотря на усталые пальцы, в плане содержания полностью присоединяюсь к предыдущему оратору.

21. На свалке страхов

Нас засыпало снегом. Но есть лыжи! Я гоняю на них, как заправская спортсменка. Чтобы согреться. В доме жуткий холод, нам отключили отопление под предлогом того, что по договору мы давно должны освободить квартиру, а во вторую, отремонтированную Павлом, нас не селят. Приезжал Отто, пытался разобраться с управдомами и высшим начальством – тщетно.

Дорогая моя!

Мне сейчас очень трудно живется. Я кажусь себе зверем в клетке и веду себя соответственно. В такие времена воспринимаешь людей, не во всем тебе близких, почти враждебно. Но это у меня такие приступы, они всякий раз проходят. Надеюсь не натворить безобразий, хотя могла бы. Я не работаю уже пять месяцев или даже больше. И как можно работать?! При этом меня тянет рисовать. Все, что я делаю, посвящено тебе. Домашнее хозяйство отнимает уйму сил, я чувствую себя Золушкой, при этом постоянная нехватка времени на что бы то ни было; ощущение расплющенности. Посылаю тебе Кафку. Прочти хотя бы одну главу – «В соборе». Если не понравится, переправь книгу Маргит, о которой я давно ничего не слышала.

Как будет развиваться история с нашей квартирой, мы не знаем. Опять все отменилось и таким же омерзительным образом, как в первый раз. Люди гроша ломаного не стоят.

Я подумываю, не нанять ли на один или два раза прачку, мне необходима отдушина, не получается у меня работать в таком бедламе.

Длинное письмо (черновик) к тебе я тоже выбросила, при подготовке к переезду в пылу борьбы с избытком вещей. В нем была куча уточнений к моему позапрошлому, по-видимому, весьма сумбурному письму.

Я спрашиваю себя, будет ли вообще существовать искусство, когда восстановится порядок. Жертвы, которых он требует и которых стоит, настолько чудовищны, что начинаешь думать, что все приближается к концу и что в этом хаосе искусство попросту утонет – кому нужна эта муть! Всего наилучшего, обнимаю и целую много раз.

Цитравели цитравели тринк транк тро.

Я упорно держусь хронологии, притом что абсолютно свободна и имею полное право на вольное обращение с материалом хотя бы собственной жизни. Видать, проштрафилась я перед временем. Слишком жадничала, слишком много пыталась

вместить в эту осажденную смертью крепость. Страх небытия переживают все, бояться, в принципе, не стыдно и уносить страх с собой не зазорно. Но жить на свалке страхов – никуда не годится. Я всеми силами пытаюсь разгрести ее, отсюда и длиннейшие трактаты, обращенные не столько к Хильде, сколько к самой себе. Попытки осмыслить материал жизни оставляют горькое чувство. Разве что в момент, когда я пишу, становится легче. Я читаю все, что может пролить свет не на происходящее, а на всегдашнее, на то, что было до и будет после. А свалка растет. Страх от безвозвратно уходящего, пусть и не потерянного времени расцветает на ней черно-красными цветами смерти. При всем прочем меня упорно держат в плену факты и даты, этот материальный арсенал жизни.

Piper Verlag München - lesen könntest. Es ist gerade über Inhalt so aufschlussreich; aber inzwischen werde ich Dir einige Auszüge daraus machen, über die wir dann des Näheren noch reden können.

Um kurz zu sagen was ich selbst darüber denke: "Ein Bild hat meist nur Rudimente von " Inhalt " //literarischem//. Aber aus einer Anzahl von Kunstwerken der Zeit lässt sich auf gewisse Inhalte dieser Zeit = Grundstimmungen oder Gedanken schliessen. / Der Apparat müsste übrigens recht gross sein, um einigermassen sicher zu sein, dass diese Schlüsse berechtigt sind/. Ich zitiere Dir dann Einiges, was nur sagt dass und was man darüber denken kann. /

Wie leicht Irrtümer der Auslegung selbst vom Stoflichen her, noch vom inhaltlichen abgesehen, vorkommen können, möchte ich Dir an folgender Missdeutung der Form zeigen / sonst gehört dieses Beispiel nicht hierher /. Ein Prager Bildhauer erklärte uns, d man die plastische Grundqualität z.B. daran erkennt, dass, wenn man einen Kopf von unten her, also dass man Kinn, Nase Augenhöhle aus der Untersicht, sieht, er sich möglichst der Halbkugel entgegenformen. so Ein schlechter plastischer Kopf lässt von unten gesehen die Nase über das Kinn einfach vorspringen und sonst nichts d.h. der Kopf i wie ein Zylinder geformt und die Nase, wie es auch ein Kind macht, einfach aufgepickt. Der Blinde macht keinen Hinterkopf; die Stirnbu wölbt er nicht noh vor, sondern noh oben, sodass sie wie Hörner oder eine Kappe aussehen, wie Du Dich vielleicht noch aus der Blindenplatik von M. erinnern kannst. Das berühmte archaische Lächeln ist, sagt der Prager Plastiker, keineswegs als Lächeln gedacht, sondern die Mundlinie, die, wenn Du Dir den Kopf als Zylinder denkst, um ihn herumgelegt sein soll, in der Senkrechten statt in der Wagrechten gezogen ist.

Ich erinnere mich dass Frobenius über die Höhlenmalerei der Jäger, die natürlich Zauber-Magie bedeutet, schreibt, dass sie möglichst naturtreue angestrebt ist um den Zauber wirksam zu machen. Es ist ein Weg vorgezeichnet, den das Tier gehen soll, um vom Jäger sicher erlegt werden zu können. Verworn " Zur psychologie der primitiven Kunst ": Jedem, der in einem Ueberblick der Kunstprodukte des prähistorischen Menschen von den ältesten bis in die jüngsten Zeiten vor seinem kritischen Auge Revue passieren lässt, wird der gewaltige Gegensatz auffallen, der zwischen den künstlerischen Leistungen der paleolitischen Mammut- und Renntierjäger und denen der neolitischen bronzezeitlichen eisenzeitlichen Völkern besteht. Die Renntier- Bison- und Pferdezeichnungen der Ersteren sind in ihrer überwiegenden Mehrzahl von einer erstaunlichen Lebenswahrheit und Naturtreue; die Idole und die Tier- und Menschenfiguren auf Urnen und Bronzegeräten der Letzteren erscheinen ausnahmslos in steifen, konventionellen durchaus stylisierter Form ohne jeder Spur von Naturwahrheit und lebendiger Bewegung Jene flott in skizzenhafter Weise, durch wenige Linien das charakteristische in richtiger Perspektive wiedergebend, sodass man lebendig Objekte vor Augen zu haben glaubt, diese in vollkommener Vernachlässigung aller anatomischen Proportionen und aller Perspektive in rudimentärer Entstellung und nicht selten ornamentaler Umgestaltung einzelner Teile, das natürliche Vorbild verzerrend etc. .....

22. Пертурбации

13.2.1941

Дорогая Хильда!

Вот уже несколько недель Фридл собирается ответить на твое последнее письмо. Ответ уже даже, в принципе, готов, но обстоятельства таковы, что, для того чтобы его закончить, нет ни времени, ни сосредоточенности. В течение 14 дней у нас здесь жил один друг из Праги, который, хотя мы и были ему очень рады, занимал все время до поздней ночи…

Кто был этот друг?

…кроме того, у нас много забот и неприятностей с квартирой, о которых я пишу ниже, каждый день с утра до вечера здесь толкутся люди. Лаура тоже нездорова, живет сейчас в доме Зольцнеровых, но эти люди плохо на нее действуют, что приводит ее в уныние и еще более ухудшает и без того дурное настроение, вызванное скверным самочувствием.

Сам я уже неделю дома, поскольку слегка расшиб себе ребра, поскользнувшись на обледеневшей улице.

Несмотря на все беды, мы не теряем присутствия духа, разве что менее бодро настроены. Есть ли у тебя новости от Бушей?

Буши – это Бушманы, Маргит и Хуго.

На последнее письмо Фридл, посланное в начале января, до сих пор не было ответа, чему мы не находим объяснения. Не будешь ли ты столь добра, чтобы поинтересоваться у них?

Мы переселяемся из своей квартиры в маленькую комнату с кухней в соседнем доме, поскольку наши комнаты, плюс еще одна, обустраиваются для бывшего директора, который переезжает из служебной квартиры. Сам по себе этот эпизод не имел бы значения, но обстоятельства, при которых нам пришлось об этом узнать, и форма, в которой все это было преподнесено, были столь неприятны, что нам потребовалось почти две недели, чтобы все это переварить. И до сих пор нам это «отрыгивается».

Забудь, что Фридл не ответила тебе, пришли хотя бы открытку, чтобы мы поняли, на каком ты свете. Сейчас, когда стало невозможно свободно ездить в Прагу и обратно, мы ни с кем оттуда не встречаемся, и нам этого не хватает, поскольку, как ты легко можешь себе представить, общение со здешними людьми не приносит радости.

Даже Павел, который так старается никого не огорчать, тем более Хильду, не мог не написать правду. А было так. Явился тот самый инженер. С разъяснениями. По новому постановлению евреев будут уплотнять, и мы – в числе первых. Он сообщает это

нам конфиденциально, чтобы мы успели подыскать жилье. Чтобы не попали в общую волну. Он видит, какой необычный у нас дом, и мебель, и картины. Не рядовые евреи, люди с культурным багажом…

Далее нас посетил совершенно бессмысленный молодой человек из еврейской общины Градца Кралове, к которой мы причислены как проживающие в данном регионе. Он сообщил нам, что еврейская община не вмешивается в истории, связанные с арендой арийского помещения. Наш дом принадлежал фабрике, мы обязаны освободить квартиру. А поскольку с фабрики нас уволили и мы пребываем в статусе безработных, к тому же бездетных, наша продуктовая карточка урезается вдвое.

Бездетные и безработные должны голодать. Насчет того, что теперь стало невозможно *свободно* ездить в Прагу, Павел написал неточно. Для цензуры. Свободно стало невозможно с лета 1939-го, но мы ездили и будем ездить. В последнем вагоне поезда. Для евреев. Что, если такое правило введено для того, чтобы в случае указа отцепить вагон и отправить его с другим составом в Польшу?

23. Наскальная живопись

Мы снова у вокзала, но дальше от платформы; увидев из нашего нового окна приближающийся поезд, было бы невозможно на него успеть. И не столько из-за расстояния, сколько из-за приусадебных участков, огороженных заборами. Шума здесь меньше. Если смотреть вдаль, виден переезд со шлагбаумом.

Промежуточная квартира, которую Павел отремонтировал, досталась немцам. Им понравился наш дизайн.

От большей части мебели нам пришлось отказаться, сюда вместились лишь стол, стулья и кровать. Мы разгородили комнату высокой книжной полкой. Шарлоттин шкаф! Он отделял от меня отца с Шарлоттой, полка выполняет ту же функцию: в одном помещении спальня, в другом – моя мастерская. Ателье Дикер-Брандейс. Конвертируемое пространство.

Моя дорогая!

У меня было совсем плохо на душе, сейчас чуть полегчало. Я очень занята работой. Мы закончили все дела по устройству квартиры и понемногу ее обживаем. Труда было затрачено немало. Видно, как многому научился Павел, это дает надежду на будущее. Большую часть из того, что было нужно, сделал он, и уже без страха и волнения. Это лучший признак. Ты удивишься, как он похудел, это ему очень идет; вопрос только в том, как он все это выдержит?

При виде Павла, зашкуривающего рейки полок, покрывающего дерево лаком, привешивающего консоли к потолку, примеряющего новые шторы, у меня ноет душа. Завтра нас могут попросить и отсюда.

Дива устроилась хорошо, как никогда, работает очень усердно. У нее прекрасный сад, сама она хорошо выглядит. Вопрос в том, как долго она там пробудет. Надеюсь, что до конца лета. Мы переезжаем и не заботимся об авансе. Художнице посчастливилось продать 4 картины за два дня, в том числе известный тебе пейзаж Влтавы. На этой неделе к тебе прибудут две картины.

Я думала, что мы на лето уедем в Ждарки. Природа… и деньги не летят там с такой скоростью. Картошку и прочие овощи покупаем за полцены, молоко и творог Книтлы ссужают нам за бесценок. Так было прошлым летом. Но кто знает, что будет этим? Может, и они уже побоятся взять к себе евреев?

Так мы и живем. Лечим глаза, волнуемся за Юленьку, которая не так покакала, пьем витамины в таблетках, чтобы как-то компенсировать скудость питания, словом, пытаемся сохранять форму. Но достаточно прочесть газету, не между строк вовсе, а

именно то, что там написано, сомнений не остается – нас хотят уничтожить. Это не способствует вдохновению, но придает кураж. Все нарисовать, все записать. Сдать дела.

24.4.1941

Моя дорогая девочка!

Твоему письму от 22 или 25.03 мы все трое были, как всегда, очень рады, а я особенно, поскольку ты постоянно вытягиваешь меня, как скрипящую телегу, из дерьма, и на какое-то время все возвращается на круги своя. Если ты соберешься с силами и еще раз изложишь те возражения, ответ на которые потерялся при переездах, то на сей раз я отвечу вразумительно и по порядку. Меня радует, что ты действительно достала и прочла все книги, о которых мы говорили. Я тоже ухватила кое-что из книг по искусству, которые, как мне кажется, тебе подойдут.

Частью комплексного представления об асинхронности переживания своего «я» является также и то, что известная сумма способностей падает на благоприятную почву и расцветает; другая часть продолжает питаться прежними представлениями; и еще одна часть, будучи лишена почвы, атрофируется или инкапсулируется, как инфузория, ждущая живительной капли непредсказуемо долго и кажущаяся мертвой до тех пор, пока не придет ее время.

Надеюсь, вскорости смогу послать тебе что-то из Клее.

Я поселилась внутри своих писем и, как червячок, прогрызаю дырки в памяти. Кого-то вижу как сейчас, а кто-то так и остался буквой, не номером, нет-нет, обычной буквой без человеческих очертаний. А господин К. – разве не буква? Буква. Но за ней стоит собирательный образ. Это – высокая литература, а не эпистолярный жанр, которым я спасаюсь от тоски в гроновской безнадеге.

Не знаю, смогла бы я изложить все это кому-нибудь, кроме тебя. Ты снова спрашиваешь меня о «содержании». Проще всего было бы прочесть «Искусство и общество» Вильгельма Хаузенштейна, два тома, вышедшие в изд-ве «Пипер» в Мюнхене. Это сочинение весьма интересно именно в том, что касается трактовки понятия содержания; пока приведу тебе несколько выдержек, которые мы обсудим более детально.

Попробую коротко сформулировать то, что я сама об этом думаю. Картина, как правило, несет лишь рудименты «содержания» (буквального). Но на основе ряда произведений искусства, принадлежащих определенной эпохе, можно сделать некоторые заключения о ее содержании, а именно о доминирующих настроениях или течениях мысли. Для того чтобы быть хоть в какой-то степени уверенным в правильности этих заключений,

необходим солидный аппарат знаний.

К сожалению, я весьма смутно помню, что пишет Фробениус о наскальной живописи охотников (служившей, разумеется, целям колдовства, магии). Суть в том, что она стремится к максимальной достоверности, чтобы придать колдовству действенность. Намечается также путь, по которому должен пройти зверь, чтобы охотник наверняка мог его убить. Ферворн в «Психологии примитивного искусства» пишет: «Каждому, кто окинет критическим взглядом произведения искусства доисторического человека начиная с древнейших эпох и вплоть до новейших, бросится в глаза разительный контраст между искусством палеолитических охотников на мамонтов и оленей, с одной стороны, и народов эпох неолита, бронзы и железа, с другой.

Изображения оленей, бизонов и лошадей эпохи палеолита в подавляющем большинстве случаев отличаются поразительной жизненностью и верностью природе, тогда как идолы, петроглифы, фигуры животных и людей на урнах и бронзовых сосудах, относящиеся к более поздним эпохам, все без исключения выполнены в неподвижной, конвенциональной, стилизованной манере, без малейшего намека на достоверность и динамизм. Те – передают характерные особенности животного свободно, в виде наброска, скупыми линиями и в правильной перспективе, так что зрителю кажется, будто у него перед глазами живой объект, эти – с полным пренебрежением к анатомии и перспективе».

Ни мифология, ни легенды не составляют содержания, скорее они являются поводом или отправной точкой. Импрессионистам и повод неважен, для них главное – впечатление; абстракционисты считают, что можно отбросить предметность, чтобы наконец сосредоточиться на цвете (а сюрреалисты – на психическом состоянии).

Откуда этот переворот? От концепции души и основанного на ней разделения человеческого существа на тело и душу.

Негры, индейцы, островитяне южных морей, т.е. те народы, у которых представления о душе и религиозные идеи разрослись до такой степени, что поглотили всю их жизнь, являют нам примеры идеопластического искусства.

Пахнет паленым. Пшенная каша! Сверху еще ничего, есть можно, но нижний слой превратился в хрустящую коричневую массу, а уж что под ним… Я перекладываю то, что не спалила, в миску, черпаю ковшом воду из ведра и заливаю кастрюлю. Дом очень старый, трубы в нем проржавели настолько, что вода из крана стала коричневой. Умываться ею можно, но для варки приходится носить воду из колодца. Благо он во дворе.

Что у нас здесь замечательно, так это сад под самым окном.

Весной это особенно радует глаз. Нарциссы и тюльпаны выстроились в шеренги, бело-желтая справа, красно-бордовая слева, мирный парад во время войны.

Павел спит, уронив голову на клавиши «Мерседеса». Адела засыпает прямо посреди разговора, а Павел – в паузах между делами. И просыпается легко.

Продолжим?

У тебя на лбу отпечатались кругляшки! Посмотри в зеркало! – Павел передергивает плечами, сгоняет сон. Притом что глаза у нас одинаковые, мои с трудом закрываются и с трудом открываются. Его же – в одно мгновение.

Мы стоим перед зеркалом, Павел стучит пальцами по лбу, набирает текст: «Хаузенштейн, прочесть два тома, издательство “Пипер”…»

Ой, у нас с тобой и лбы одинаковые!

Прогуляемся?

Ни за что! Загнанный зверь должен завершить свой трактат об охотниках.

Хаузенштейн говорит (опираясь на множество примеров), что искусство охотников развилось из чистой потребности в изображении (искусство ради искусства, никакой цели, никакой магии). «Изменения климата согнали оленей и мамонтов с насиженных мест и заставили людей изыскивать новые средства существования, а именно: скотоводство и земледелие. Новым художественным феноменом стал орнамент. Его шаблоны служили магическим целям; тот, кто изображает другого, завладевает его душой. Еще и по сей день австралийские аборигены не дают себя изображать; одна мать из суеверия не дала мне нарисовать ее годовалого ребенка, считая, что он может из-за этого умереть».

Мне тут тоже повстречалась цыганка с ребенком. Полнокровная, большеротая, в яркой цветастой косынке, она несла на прямых руках иссиня-бледного ребенка – голова откинута, глаза закрыты. Увидев меня с альбомом, она выставила вперед растопыренные пальцы. Как заклятие. Я написала эту картину по памяти и показала Зденке Турковой, а она и говорит: «Это была наша, гроновская цыганка». – «Почему была?» – «Потому что в Гронове больше нет цыган, их выслали с территории Протектората как расово чуждых». Зденка знает все. Нет, не все. Вот этого она наверняка не знает: напротив того места, где нас уничтожили, был цыганский лагерь.

Женщина наделена тонкой, высокоорганизованной нервной системой и мускулатурой глаза и руки. Она играет ведущую роль в новом типе хозяйства, в том числе в производстве керамики;

свойственный женщине суеверно-заботливый дух становится одним из наиболее существенных факторов в возникновении геометрического орнамента (но я полагаю, ей не хватало тысячелетнего зрительного и чувственного опыта живого движения, присущего охотникам).

Если охотнику, кроме собственного существования, терять было нечего, жизнь примитивного земледельца и скотовода уже нуждалась в защите. Утратив первоначальную дерзновенность борьбы за существование, он переживает чувственные впечатления с мистическим страхом и пытается преодолеть их с помощью религиозной схоластики».

Нужно очень много знать, чтобы с пользой для дела продраться сквозь все эти гипотезы. Добавь к этому твои новоприобретенные сведения из Леви-Брюля, новые знания о методике, основательности и интуиции, почерпнутые у Мюнца, и ты поймешь, сколь ничтожно малое значение имеет буквальное или заданное названием содержание картины. Видишь, какой огромный период накопления и утрамбовки сотен сюжетов понадобился людям для того, о чем ты, собственно, спрашиваешь.

Так как Павел уже устал, на сегодня я заканчиваю и хочу только сообщить тебе еще несколько наиболее актуальных вещей.

1. Вероятно, нас посетят Буши – это плюс.

2. Наш договор истекает 30 июня – это минус. Надеемся, что сможем передать для тебя через Бушей красивый жакет.

О прочих наших личных обстоятельствах они тебе расскажут. Все передают тебе привет и обнимают. Ф.

Надо было закрыть миску крышкой и обернуть полотенцем. В чем теперь греть кашу? Бытовые неурядицы портят настроение. Я хватаю ни в чем не повинную кастрюлю, сыплю в нее песок, скребу железякой по дну.

Как только кончится это безобразие, мы наймем кухарку, прачку и полотера. Заживем как герои романов. Приемы, лакеи, ливреи…

Павел думает, что такое бывает только в книгах.

24. Берлинские новости

Нас навещают на дому. Как больных. Прибыли Буши. Легко нашли дом. Маргит все та же – темненькая и яркая, как тюльпан. Разве что полностью раскрывшийся. Растолстела на нервной почве. Ей все время хочется есть. Чтобы прекратить это безобразие, она курит папиросы.

Здесь можно курить? Я открою окно… Мужчины пусть посидят на кухне… Помнишь, как Иттен разбил нас на пары и велел рисовать друг друга в виде цветка?

Да! Ты еще так обиделась на Олю, когда она изобразила Франца чертополохом! Интересно, где она?

Где Франц?

Все еще в Лондоне. Я слышала краем уха, что Эмми оставила его и уехала в Канаду. Но, может, это сплетни…

Помнишь, ты мне прислала с Гансом тюльпаны в Прагу, черного цвета? Признаться, они меня испугали, в них что-то хищническое… Я бы хотела тебе их вернуть.

Надеюсь, не в засушенном виде… Цветы выбирал Ганс, никаких подспудных мыслей тут не было.

Я вытаскиваю из-под кровати папку с пастелями, разворачиваю одну за другой, Павел сложит.

Где же они, твои тюльпаны?

Может, я нарочно выдумала эту историю, чтобы показать Маргит свои работы? Мол, есть еще художники, которых и в жуткую пору волнует *цвет, светотень и нюансы*…

И мертвецы на рельсах…

Обожаю твои пастели, давай продадим те, что тебе не жаль…

Понятно. Теперь я знаю покупателя в лицо. Маргит врет Хильде про каких-то любителей искусств… Мы живем на деньги Хуго. То есть на подаяние.

Вот и тюльпаны. Что в них зловещего? Стоят в красивом горшке, один свесил голову, но остальные держатся прямо.

Всю жизнь Маргит пытается мне помочь. И всю жизнь я на нее обижаюсь. Я ставлю ей в вину все, даже отсутствие творческой ярости…

Ты хочешь купить пастели? Бери. Хуго заплатит.

Маргит вдавливает окурок в пепельницу, вот-вот расплачется. Это у них с Анни выходит легко.

Какая я свинья! Прости.

Маргит не ослышалась. Да, я впервые прошу прощения. Прежде затеяла бы скандал. В Веймаре, в самом начале, мы сняли комнату на четверых – Анни, Маргит, я и Оля. В первую же

неделю я со всеми перессорилась. Сейчас и Оле была бы рада.

Фридл, мы приехали поговорить о серьезных вещах.

А я думала, повидаться.

Опять я за свое! Ведь прекрасно понимаю, что такое приехать в Гронов из Берлина, да еще с внешностью Маргит. По паспорту она немка, но по лицу ее распознать ничего не стоит, было бы желание. Или указ. Больные эгоистичны. Им и дела нет до тех, кто их навещает.

Конечно, повидаться. Мы обсуждали здешнюю ситуацию с отцом Хильды, он приезжал к нам из Брно. В этой глухомани, да еще рядом с польской границей, вы обречены. Отец Хильды знает положение изнутри. Чехи безынициативные. Убивать не будут, но и помогать не будут. В Берлине для вас есть надежное место. Как выбраться? По вашим паспортам – не выйдет. Ты ведь опытная в этом деле, подумай.

Маргит взбудоражила меня. Пересечь границу с фальшивыми документами – серьезный шаг. Кому-то удается. Кто-то таким образом попадает в Швейцарию. Нужна подъемная сила. Если бы у нас был ребенок… Франц и Эмми следуют за гробом…

Павел слушает, обняв меня крепко. Ему про себя и рассказать-то нечего. Словно бы его до меня не было. А я до него была.

25. Еврейский дом

Истек договор на квартиру, но, к счастью, его продлили. Наш дом стал еврейским. По новому указу мы не имеем право проживать в одном помещении с арийцами. Из соседней квартиры выехала чешская семья, оставив на наше попечение сад и теплицу с огурцами. За всем этим теперь ухаживает новая соседка, госпожа Фукс. Ее массивная фигура, склоненная над водокачкой в туманном рассвете, напоминает картины Милле. Увы, эти картины имеют и музыкальное сопровождение – звенит вода, бьющая по дну оцинкованного ведра, стучит тяпка, вонзающаяся в камни, стонут под граблями сорняки, сопротивляющиеся усилиям госпожи Фукс. Замечательную натуру подарил мне новый закон фюрера! Устроившись у окна так, чтобы госпожа Фукс меня не заметила, я рисую ее в разных позах. Этюды, посвященные госпоже Фукс и нашему саду, уже заняли полквартиры.

С нами она не разговаривает, даже не здоровается. За все время сделала одно замечание, касательно Юленьки: «Чтоб в сад не выводили!» А мы и не выводим. Она сама туда бегает.

Не знаю, удастся ли в обозримом будущем сдвинуть Хильду с ее «естественно-научной» позиции. У нее все как в аптеке. Лекарство содержит в себе такие-то и такие-то элементы, это и есть его состав. Будет ли оно в форме таблеток, капсул или инъекций – значения не имеет.

Эпигоны Леонардо тупейшим образом придерживались его формы или подражали ему без его глубины и научной образованности, без его мировоззрения, и именно поэтому у них нет и быть не может того очарования Леонардо, которое состоит не только в форме. Например, улыбка Леонардо – прямое противоречие глубокого знания и невинной миловидности – ощутимо создает тайну, в противном случае нет никакого противоречия – есть только форма и никакой тайны.

Ходлер выражает свое время, которое не имеет ни глаз, ни чувств, посему и требуется «содержание». Оно призрачно. Представь себе поле боя в форме правильного орнамента!

Обнаженные Ходлера несут свою наготу как платье и могли бы висеть в доме каждого швейцарского советника, ему бы и в голову не пришло, что это тело.

Обывателям по вкусу ландшафты, в которых ничто не печалит, не огорчает; симметрия гарантирует покой и безопасность.

Как мне нравится рисовать из нового окна! Все в зелени, не видно ни платформы, ни уж тем более фонарей. Госпожа Фукс

вползает в теплицу, по траве тянется черный шланг. Стоя на коленях, она что-то там щупает, похоже, проверяет степень зрелости огурцов. Как я это вижу? Сквозь полупрозрачное покрытие.

От Павла меня отгораживает высокая книжная полка, куда приятней глухой стены. В хаосе всеобщих уплотнений (госпожа Хирш, которая позирует мне вечерами в своей квартире, уже приняла к себе две семьи с маленькими детьми) Павел пытается создать мне «все условия для творчества». Мой младший брат во всем положился на меня, что решу – то и будет. Если бы Бушманы посетили нас в то время, когда разразилась вся эта история с ремонтом и переездом, я бы пошла и на подделку паспортов. Но сейчас… Я только и делаю, что ищу оправдания своему эгоизму.

Даже если нам дан один день, надо прожить его по-человечески, – говорю я Павлу, держа на вытянутых руках тень от госпожи Фукс.

Ты гений! Но и твой секретарь не последний бездарь. Разобрал твои каракули. Прочти и подпиши.

Караваджо был из семьи каменщика, Маттео Чивитали из Лукки был в юности цирюльником. Отец Шардена был столяром, Давида – жестянщиком, Ватто – кровельщик, Буше – медник. Это эпоха спора плебея Санчо Пансы с в высшей степени нелепым представителем вымирающих идальго Дон Кихотом о смысле жизни.

Эпоха Людовика XVI ознаменовалась решительным вторжением буржуазии в искусство. Галантный Буше стал живописцем домашнего быта. Дух буржуазной и, позже, мелкобуржуазной семейной сентиментальности заправлял в сфере культуры. Подвижное или неподвижное искусство? Дворянство, как и вся феодальная культура, склонялось к неподвижному абсолюту – к масштабным полотнам. С творчеством Жилло начинается новый этап движения в искусстве: жанр, жанровые сцены… Стиль и по сей день ощутимо зависит от интерьера. Пастели Латура приспособлены для овальных стенных ниш.

От резких эскизных линий Энгра до цветовых пятен Курбе и расплывающейся нежности Коро прослеживается усиление тенденции к замене абсолютного относительным (не одиночка творит во имя вечности, а все они, вместе взятые, стремятся ухватить ускользающее мгновение, вместе создают фундамент).

Греческие художники той великой эпохи, к которой отчасти принадлежит и Пракситель, создавали портреты, не имеющие конкретной модели. Фидий еще наделял свою Палладу традиционными божественными чертами (фигура закрыта одеждами). Пракситель создает свою Книдскую Венеру с

красивейшей гетеры своего времени.

26. Пантеон

Хильда прислала на оценку работы своего нового знакомого. Он художник, пишет на стекле диковинных тварей. Ей они нравятся.

Какие-то гуси с общей шеей, бесформенная помесь таксы с совой… Изрыгающее пламя чудовище выглядит жалким. Зрачок чудовища неубедителен, белые штрихи под глазами таксы-совы также излишни. Какое отношение имеют звезды к изрыгаемому пламени? Он явно не владеет техникой живописи на стекле, не умеет использовать ее преимущества. Курильщики с общим глазом еще куда ни шло, но цветовая гамма! Шляпы на безволосых головах небрежны. Руки выписаны реалистично, но между ними нет ритмического соответствия, хотя к этому обязывает общий глаз. Почему рты не имеют четкой формы, а трубки – четкого направления?

Только не выплескивай все это на Хильду. Вдруг она влюблена?

В кого? В художника или в человека?

На твоем месте я написал бы что-то обтекаемое.

Хорошо, пиши.

Автором картины владеет чисто детское восприятие мира с его склонностью к параллелям. Попытка же передать его имеет жалкий вид. Художник колеблется между натурализмом и так называемым абстракционизмом, заметь, как написаны лицо и ноги.

Стоп, давай лучше про Клее, – говорит Павел, – тут есть конкретные вопросы!

Альбом с рисунками Клее (я думаю, с десятью) можно купить за 40 марок, может быть, люди там хотели бы его иметь. Репродукции действительно превосходны! Тот, кто их делает, – привлекательный художник, о котором я тебе уже рассказывала и чьи картины у меня здесь есть (некоторые очень хороши), – не отказался бы от подобных заказов; я могла бы поручить ему заняться изготовлением таких альбомов. Эти листы – к твоему дню рождения, моя дорогая девочка, который когда-нибудь должен же у тебя быть, если даже ты упала с неба, все равно же это произошло в какой-то определенный день! Получила ли ты неудачную серую репродукцию Клее вместе с картиной, кажется, Руо?

Поговорим о Клее. Как бы ни была хороша его графика, она отражает лишь одну сторону из тех многих, которые нет смысла объяснять. Он глубок, весел, загадочен и исчерпывающе полно владеет изобразительными средствами. Понравился ли тебе

«Ботанический сад» – так, кажется, называется эта картина, изображающая кристаллизацию? Я люблю этот лист так же, как и «Поток колючек» и «Бегущего». В них запечатлены и долгое дыхание, и невиданная сила, последний предел в одновременном стремлении все взять и все отдать.

Напомни мне дать тебе удивительное сочинение Мюнца о Караваджо, к которому ты должна прислать открытку, – мы рассмотрим все это вместе (Розенкранц, Мадонна 1606–1607 гг.).

В поисках трактата, где упоминается название этой картины Караваджо, я наткнулась на сочинение Мюнца, которое читала раньше, но могла забыть, и в нем – несколько высказываний, помогающих понять Клее; когда я это увидела, то прекратила рыться в книге. Мюнц критикует немецкую живопись за столетие и говорит при этом о Каспаре Фридрихе, Рунге и т.д. В заключение он очень обоснованно утверждает, что «не было работ Файнингера, Ральфа Кирхнера, цветогармонии Клее, которые открыли бы многим глаза на творчество Рунге».

«Рунге перенимает у Рембрандта лучистость, поэтому его природа выглядит такой светлой и ясной, это не хаос, из которого рождается свет… Он радостно воспринимает нематериальную силу чистых красок и чувствует жизнь каждой краски во взаимодействии с природой, перед которой он преклоняется, как ребенок…» (Обязательно посмотри «Утро» и вообще Рунге!)

«Иногда, – писал Рунге, – цвет волнует своей бледностью, а подчас привлекает своей глубиной. Когда зелень луга, насыщенность цвета росистой травы, нежная листва молодого букового леса или прозрачная зеленая волна привлекают тебя больше? В сверкающих лучах солнца или в покое тени?»

В многообразии красок, в сложных соотношениях цвета, света и тени художник видел ключ к тайнам Вселенной, откровение Мирового Духа – так некоторые романтики называли Бога, который представлялся им растворенным в природе.

«Мы не в состоянии выразить, как трогает нас каждый цвет, – отмечал друг Рунге, немецкий писатель-романтик Людвиг Тик, – ибо краски говорят с нами на более нежном наречии. Это Мировой Дух, и он радуется, что может дать понятие о себе тысячами способов, одновременно скрываясь от нас… Но тайная магическая радость охватывает нас, мы познаем себя и вспоминаем о некоем древнем, неизмеримо блаженном духовном союзе».

В Пантеоне учителей Иттена Рунге занимал верховное место. Мюнц и Иттен боготворили Рунге. Мюнц как искусствовед, Иттен как еретик. Он считал Рунге реинкарнацией Христа, который служил своему богу – цвету – и умер в муках в тридцать три года. Книгу Рунге с витиеватым названием «Шар цветов, или

Конструкция соотношения всех смешанных цветов и их родственных связей, с приложением опыта выведения гармонии соотношения красок» Иттен называл «Евангелием от Цветов». Она была издана в 1810 году и оказала громное влияние на Гёте, что было особенно важно Иттену: он считал Гёте мерилом истины.

«Шар цветов…» он читал нам стоя, как поп перед приходом. Он расчертил специально для нас болванку глобуса. Полюса – это белый и черный, а вот экватор составлен из чистых красок. Меридианы – это светлые и темные оттенки каждого цвета, они проходят от черного полюса к белому через цветной экватор. А что же внутри? Иттен разрезал глобус ножом, и мы увидели на срезе, как разнообразные цвета поверхности шара постепенно меркнут в его недрах, сливаются в серую точку в центре сферы. Тут-то и есть начало и конец всех красок.

Серость же, образовавшаяся в центре, и есть Бог, или «Великое Ничто». Такое определение было дано еще в Средневековье мистиком Якобом Бёме, духовным наставником Иттена.

Философы, по мнению Иттена, слуги Учителей, не более того. Они преподносят Учителю умственные яства, как Бёме с его «Великим Ничто». Учитель практикует философию, но учит в материале.

Разделенные временем и пространством, мы все больше сближаемся с Иттеном. Он этого, конечно, не знает. Но я знаю. Он заразил меня Учительством. Вовсе не от тоски шьются эти длинные простыни – я передаю Хильде знания. Какое там! Иттен черпал из целого, я пригоняю друг к другу разрозненные лоскутки. Иногда, когда я в ударе, они собираются в красивый коллаж.

Чувственное восприятие картины – это бесконечно сложное переживание – трепетный полет с его страхом ощущения бесконечности: неопределенность направления, опасность падения, блаженство невесомости…

Так не закрывай сама себе путей к пониманию картины из-за отсутствия четкой мотивировки. Если бы ты не бралась учить своего приятеля, я бы не стала и говорить об этом. Понимание картины, возникнув, легко улетучивается. Лучше копить ощущения и ждать проверки опытом. Он или подтвердит их правильность, или будет отрицать их, или сформулирует по-новому. Это тот самый случай, который описывает Мюнц в связи с творчеством Рембрандта, или Марри, или Караваджо.

Твой приятель, вероятно, очень мил, но либо слишком молод, либо нетребователен к себе. Покажи ему «Ботанический сад» Клее. Сравни мазок Клее с его мазком – он слишком облегчает себе

жизнь!

Может, и этого бы не стоило говорить… Все, закругляемся.

Я обнимаю тебя. Лизи не пишет тебе потому, что она несколько недель провела у постели своей больной матери, которая недавно скончалась. Просто чудовищно, сколько горя она перенесла за такое короткое время. Всего хорошего. Съезди к Маргит.

Я просматриваю убористую печать на предмет имен, немецкий и проверять нечего. Павел аккуратен. У него особый пиетет перед документом – интервалы, красная строка, все как положено.

Мы с Хильдой уже можем выдержать экзамен на искусствоведов.

Устроить тебе экзамен?

Нет, с меня хватило «Капитала»!

И мы хохочем, памятуя далекие дни, когда Хильда с суровым выражением лица спрашивала про прибавочную стоимость, базис и надстройку.

Да, у нас уже долгое совместное прошлое.

27. Внутренняя дисциплина

Моя дорогая девочка!

Сейчас утро, светло; Павел уехал на работу. Сегодня он первый раз у нового мастера. Мы оба очень рады: он – нормальному заработку, признанию своего труда и способностей, а я – гибкому рабочему дню, позволяющему, как сегодня, писать тебе это письмо шесть дней. Павел жаловался, что ему трудно таскать мешки с углем и прочими тяжестями, не хватает привычки и сноровки, но я надеюсь, что он и этому обучится и, что самое важное, привыкнет к частой смене занятий и, пожалуй, начнет действовать самостоятельно.

Выбитый из привычного ритма жизни, Павел несколько месяцев слонялся по дому. Это было невыносимо. Помог муж Зденки Турковой (он же будет перевозить нас в третью квартиру, но это еще не скоро, следующим летом), устроил Павла в мебельную мастерскую господина Веселого, ударение на первое «е» – этих чешских ударений мне никогда не освоить, – и Павел приободрился.

Я же буду использовать свое время по назначению, днем готовить для себя, на следующий день – для него. Мы теперь меньше времени сможем проводить вместе. Нервные и рассеянные, мы, хоть и на короткое время, станем более собранными, осмотрительными и сдержанными. Я так этому рада.

Как сказано в Новом Завете: «Не спорьте о мелочах, ибо милость Божья (а для женщины – благоразумие, непосредственность) куплена дорогой ценой». Избранный народ, без пафоса вступающий в новую эру, достоин многих жертв.

Я должна укротить свои желания или вовсе отказаться от них. «ОНО», бесконечное, непонятное, существующее вне понятий добра и зла, – инстанция, дающая возможность преодолеть страх, действовать по велению совести (милосердие – это значит вопреки всем страхам, вопреки всем путам ясно осознать, что ты среди всей этой суеты не утратил представления о добре и духовности).

Милосердная Хильда не выносит слова «милосердие»: «Оставь христианскую лексику»! Зато такие слова, как «политика» и «социализм», она обозначает одной буквой с точкой.

То, что ты чувствуешь, не мог бы выразить Клее (как ты бы сказала), в этом различие между живописью и литературой, но, может быть, Кафка сформулировал бы проблему, а Кьеркегор – решение (не обязательно единственное или единственно верное). Содержание живописи слишком общо, это срез, а не точка пересечения, оно охватывает один (безразлично какой длины)

отрезок времени. Скорее останутся те картины, в которые художник вкладывает свою философию.

Второе, что приходит на ум, – твоя чудовищная тоска, доводящая до состояния прозрачности. Моя дорогая, дорогая, как же все это долго тянется! Счастье, что мы дожили до момента, когда время стало таким долгим, насколько легче становится все, даже тяжелое. Что касается меня, я чувствую ненужность любой аллегории или иносказания; при чтении первого тома Тибо, показавшегося мне очень слабым, мне пришла в голову одна мысль: реализм становится правдивым только тогда, когда обстоятельства складываются так, что аллегории и иносказания становятся ненужными.

На днях я прочла в дневнике Музиля, что многословие порождается меланхолией и неврастенической неуверенностью в себе. Медленный поток мыслей, постоянные заторы и т.д. вынуждают возвращаться к уже сказанному, отсюда и бесконечные вариации. Вот и я – думаю коротко, пишу длинно.

28. Освобождение или бегство

Влажный воздух пьянит. Недавно был дождь, на асфальте пятнышки-веснушки. Разлапистые листья платанов с белыми, еще нераскрытыми бутонами похожи на подсвечники. Кружится голова, но это скорее не от весны, а от натюрморта. Я теперь рисую как Ван Гог, не в смысле стиля, разумеется, а в смысле скудности предметов. Картошка, лук, чеснок, изредка наведывается лимон, но не тот сочный, с фламандских натюрмортов, а заскорузлый старикашка с вдавленным боком. Да, еще тыква однажды объявилась, эту красавицу я написала маслом. Ну и, конечно, бутылки – как же без вертикалей!

Лаура заканчивает урок в четыре, после нее прихожу я. Она строгая учительница: ставит двойки за невыученное стихотворение, заставляет по нескольку раз переписывать диктанты. Это ее позиция – вы нормальные школьники, хотя и не ходите в школу, а мы учителя, а не тетеньки, которые вас развлекают. Хаос можно одолеть только дисциплиной. Лаура и в Освенциме будет заставлять девочек расчесывать лысые головы пучком соломы. В мире тонкой материи Арахна будет вечно ткать паутину, а Лаура – сражаться с хаосом.

Госпожа Зольцнерова встречает нас с тряпкой – вытирать лапы Юленьке. Чтоб не наследила на паркете. Тут все так. Не сорить, не пачкать… Рисовать только карандашами!

Из Находа привозят двух десятилетних мальчиков: худого, почти прозрачного Ивана и крепкого, коренастого Мишу. Они неразлучные друзья и «работают над иллюстрациями к роману с продолжением, который никак не подходит к концу». Говорят они как взрослые, длинными предложениями со многими уступительными. На каждое занятие привозят рисунки к «предпоследней главе» и перевод подписей к картинкам, который лично для меня делает отец Ивана, бывший директор банка в Находе. Разумеется, в романе ищут клад и очень скоро найдут. «Но совсем не там, где ищут, и в этом вся соль!» Отец Ивана возит мальчиков на машине, но ее вот-вот отберут. Евреям машины не положены.

Иван то и дело бегает гладить Юленьку, с таким трепетом заглядывает ей в глаза… Но и его убьют. Нет в этом мире милосердия. Но слово такое есть.

Продолжаю после некоторого перерыва. Когда люди сходятся, пьют, смеются или плачут, возникает ощущение, что все ясно с полуслова. Быть эгоцентриком (выражаясь на языке психологии) или эгоистом (выражаясь на языке этики) с привкусом неприязни и

нетерпимости – худшее препятствие для жизни. Может быть, нынешний момент представляет наибольшую трудность для освобождения или бегства – слишком велика опасность тех решений, которые необходимо принять вопреки тому, что тут с тобой твой младший брат. Нужно признать свой страх (разве он неправомерен?) – стыд трусливее, чем страх.

Я замышляю бегство. Подделать паспорт, уехать в Словакию, оттуда добраться до границы с Румынией, из Румынии – в Югославию, оттуда в Италию. У одинокой женщины больше шансов. Какой стыд – я готова предать Павла! Но если подумать, Павел остался в живых не из-за меня. Ему повезло. А я погибла, бросившись за ним следом. Мне не повезло.

Обнимаю тебя от всего сердца и надеюсь, что наша переписка принесет нам облегчение. Теперь я иду делать уборку, хотя хотелось бы говорить с тобой часами, держа тетрадь на коленях. Моя дорогая, я сейчас прохожу курс лечения глаз, который продлится 3–4 недели, хотела бы успеть его закончить.

У художника Эмиля Тылша есть старые картины, которые могли бы тебя заинтересовать. Сейчас – малые голландцы; он живет в Находе, на Ригерова, рядом с ателье портного; номера дома не знаем, но его можно спросить. Павел пришел после первого дня новой работы очень довольный.

29. Неестественный переход от тьмы к свету

Скоро мне стукнет сорок три. Русские отогнали немцев от Москвы. Серп и молот побеждают. Трудно представить войну. Первая происходила рядом, и вторая рядом. В нескольких километрах от нас. Тылш рассказывал, что кто-то из его друзей получил из Польши письмо с просьбой о сигаретах, в нем сообщалось про концлагеря. Хорошо, что мы не там. Пока. Эмиль хочет купить «Цыганку с ребенком» и садовые пастели. С одной стороны, это нас очень выручит, с другой – он предложил это после рассказа о Польше, и меня пробрала жуть. Чехи скупают у нас «культурные ценности», подчас за бесценок. С другой стороны, если нас отправят в Польшу, им все достанется бесплатно. Нет. Наше имущество перейдет к рейху. Так что в любом случае лучше продать картины Эмилю.

Моя дорогая девочка!

В понедельник я смогу сбыть с рук свои великолепные творения. Картины все никак не хотели высыхать, а я слишком вымоталась, стала невнимательна и поэтому бесконечно долго возилась с рамами, пока не добилась нужного цвета (очень уж долго это длилось). Цвет нужно было освежить. Так и проходит время!

Я стала слишком впечатлительной. Посторонний взгляд может сбить меня с толку, надолго отвлечь внимание. А на тебя я сержусь – с твоим здоровьем непозволительно ложиться спать в два часа ночи. Пожалуйста, не делай этого!

От Маргит я получила необычайно радостное письмо; о тебе она отзывается очень хорошо. (Написала, что чувствует, как ты становишься ей ближе.)

Павел усердно трудится, может, будет что-то делать самостоятельно, хотя лучше бы еще год проработать под руководством мастера, развить в себе то, что ему труднее всего дается, – воображение, способность легко запоминать, технику ремесла, – за короткое время он многому научился, по здешним меркам этого более чем достаточно.

Подготовка к дню рождения в самом разгаре. Сегодня Дива, кажется, отослала свою работу. Она опять на высоте. Не знаю, удастся ли связать здесь для тебя еще одну кофточку, я спрошу. Шитье и вязание идут полным ходом. Снимай мерку!

Моя любовь, меня в третий раз прерывают, сплошная суматоха, только что заходили шесть человек насчет картин, не

знаю, что из этого выйдет.

Моя дорогая и уважаемая покупательница! Совсем коротко о посылке. Она придет сегодня – потому что я решила кое-что переделать в цветастом платье. Юленька цела и невредима, я передаю ей от тебя поцелуй.

Два дня назад мы с тобой говорили о душе, такие беседы имеют смысл только тогда, когда они падают на благодатную, с любовью возделанную почву.

Как быстро у меня меняется настроение. Хотелось бы знать, чем ты сейчас живешь – внешне и внутренне.

Я употребила термин «сюрреализм» в отношении Брейгеля Адского и Босха. Возникает чувство, что они хотят выразить явления, еще не вполне осознанные. Они употребляют иносказания – и при этом выражаются необыкновенно ясно, они стремятся высказать все – хотя там, где уже произошел прорыв в неизведанное, страдает точность, это происходит из боязни упустить что-то существенное, они не уверены на сто процентов, к чему приведут их поиски; бывает противоестественный переход от тьмы к свету, эта тьма может скрывать нечто, еще не высказанное (неизвестно, каким будет следующее темное пятно), они сами немного боятся тьмы, но не так, как взрослые (например, Рембрандт), для которых тьма – бесконечно удаленный источник света.

Чтобы успеть отправить письмо, я на этом закончу. Много раз целую и обнимаю.

30. В ночи

Под песни гитлерюгенда поезд летит с откоса в пропасть, я смотрю в его окна и вижу рыб, они бьют хвостами и пучат глаза…

Это чужие сны. Они попали в меня по ошибке.

Что ты говоришь такое, Фридл! Успокойся…

Я не ребенок, не надо гладить меня по голове!

Зачем я кричу на Павла? Ну а на кого мне кричать?! Мы с ним одни в этом распределителе сновидений. Этому – про белочку с золотыми орешками, этому – про Бабу-ягу, а вот этому…

Стук в дверь.

Ну, все!

Нет, пока еще не все! Это принцесса, от Хильды. С очередными партийными поручениями, лекарствами и деньгами под кодовым названием «утята».

Отменили все поезда, кроме ночных.

Почему отменили поезда? Поезда, поезда… одни поезда в башке.

А кто их знает?

Принцесса пыхтит, развязывая шнурки на ботинках.

Ваши любимые привезла, госпожа Брандейсова!

Мы сидим среди ночи за столом, лопаем вкуснейшие булочки с маком, запиваем кипятком – чай вышел.

Какие новости, что передать Хильде?

Я достаю из шкатулки желтые звезды.

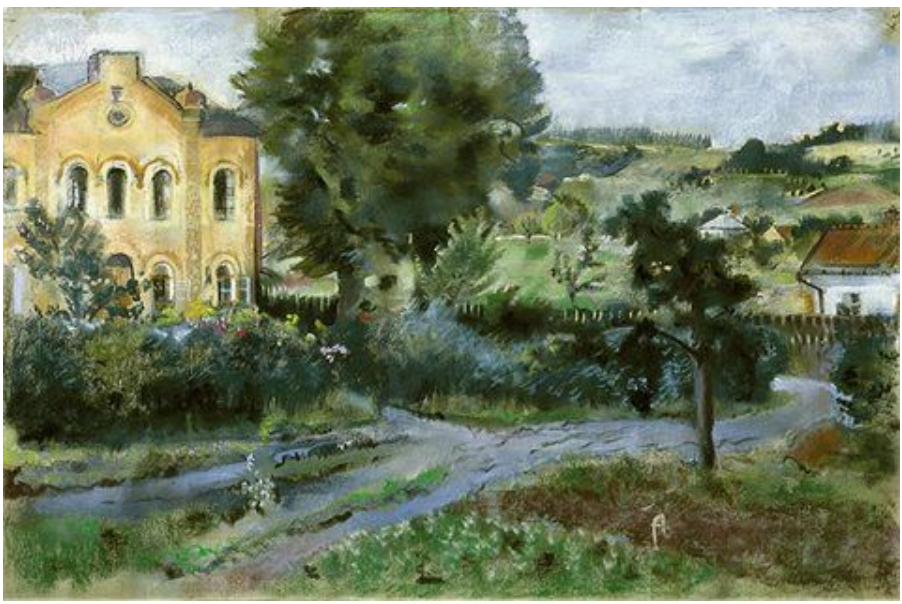
Вот это и передай. Видишь, какую красоту мы теперь будем носить, – но это не грязно-желтый цвет позора. Наши чистенькие и нарядненькие. Ну-ка, Павел, приложи к груди!

Дорогая девочка!

Когда получишь Дворжака, прочти его! Он понравится тебе – отрывки, которые я приводила, легко найти и понять. Там же и исследования о Брейгеле. Конечно, у Мюнца все глубже, основательней, но я получила от чтения огромное удовольствие. Как только прочтешь, отправь мне при первой возможности.

Поводом для моего письма стал футляр для ключей. Сначала сделай выкройку и по ней режь кожу. Если хочешь, чтобы боковые части сгибались внутрь, сделай их из двух половинок (каждая из них длиной 2–3 см и обрезаешь отдельно). Внутренняя часть, к которой крепится кольцо для ключей, кроится вместе с одной из частей – передней или задней, в боковой части – отверстие, через которое кольцо с привешенными к нему ключами можно вытащить за ремешок. Другой конец ремешка не дает ключам выпасть

наружу. По-моему, мягкая кожа здесь не годится, лучше возьми жесткую. Шить удобнее жилами, размягченными в воде. Они бывают натурального цвета или красные; если достанешь оба цвета, можно сплести вручную, если натуральные – шить иглой. Если возьмешь красные, нельзя использовать красную коду, лучше сделать одну сторону голубой, другую – желтой, а боковые части – белыми: получится красно-сине-белый. Я думаю, сказанного здесь достаточно. Не пришивай на футляр звезду – с 19-го числа здесь всех евреев заставили носить звезды, и это было бы нехорошо. Обнимаю тебя много раз. Твоя Ф.



За домом пастора растут елки. Во мгле светится одинокое окошко. Шаги. Юленька навострила уши. Так и есть, пастор вышел на прогулку.

«На все воля Божья, настоящий христианин не ведает страха смерти!» Подумешь, какое бесстрашие – встречаться со мной под покровом ночи.

Лаура его терпеть не может. Она – атеистка. Мне он не симпатичен, но по другим соображениям.

Какие тяготы терпит ныне богоизбранный народ, – вздыхает пастор.

Знаете, если когда-нибудь *явится нам наш Бог, который заставляет нас терпеть такие тяготы, мы этого не вынесем, мы окаменеем на месте.*

Господь милосердный, – пастор вздымает руки к черному небу, – спаси и помилуй!

Тьму прорезает яркий луч света. Поезд. Судя по времени, последний поезд из Праги. Эту секундную вспышку пастор воспринимает как знамение – его молитва услышана, спасительный свет ниспослан. Пора на покой.

В тот момент, когда пастор произнес слово «милосердный», я подумала о Хильде. И вот она здесь, ниспосланная пасторовой молитвой!

Она очень, очень устала. Чудовищная Германия, страшная страна, уроды со свастикой… как смерть с косой. Когда все это кончится?!

Мы стоим, окаменевшие, друг против друга, Хильда с сумками в руках, я с поводком. В ногах крутится Юленька.

Моя дорогая, дорогая девочка!

Целую тебя до изнеможения. Крепче, крепче, пока не устанешь.

Мы бросаемся друг другу в объятия. Какие сумки, какой поводок! Нет, поводка я из рук не выпускаю.

Кажется, все наши встречи с Хильдой происходят в ночи. Или на темной улице, как сейчас, когда шуршат под ногами опавшие листья, или в квартире, вернее в разных квартирах, при зашторенных окнах, которые я заставляю Дуфека открывать хоть на время рисования, чтобы прогнать серость с рисунка. На самом деле мы встречались и зимой, и наша последняя встреча на этом свете произойдет зимой, когда если что и шуршит под ногами, так это снег, но это совсем иной шорох.

При Хильде все происходит как бы само собой. Кажется, и минуты не прошло, а мы уже сидим за сервированным столом, пьем Хильдин шнапс, едим настоящие сосиски и громко хохочем над идиотизмом Гитлера. Идиотов легко передразнивать.

В полутемной комнате Хильда является источником света, притом не бесконечно удаленным от нас, как у Рембрандта.

Да, ведь у меня есть кофе, – спохватывается Хильда и достает из сумки пакетик. Венский!

Павел покидает нас, ему рано вставать. Нам подарена целая ночь. Лишь бы не удариться в споры.

Куда там! Сначала я разнесла приятеля Хильды, вернее его художества, затем, запивая душевную горечь шнапсом, закусывая огурчиком, я бросилась защищать веру, без нее не прожить, не за что уцепиться. Хильда тоже не сдавалась без боя, выдвигая в качестве доказательства бездоказательность существования Бога.– Слепая вера порождает зло, вспомни крестоносцев, вспомни то, вспомни се!

А культ личности Сталина разве не порожден слепой верой?

Сталина?! А кто, по-твоему, воюет со злом – Христос? Нет, дорогая, с ним воюет именно Сталин и его доблестный народ. И

они победят!

А если не победят?

Не смей и думать об этом!

Тогда я тоже могу упрекнуть тебя в слепой вере.

Мы дошли до точки. Опомнились под утро. Раздвинули оконные занавески и бросились друг к другу в объятия.

31. Сильнее стали контрасты

Моя дорогая девочка!

Я обманщица, которая дает больше, чем обещает или имеет. Говорю это потому, что, перечитав письмо к тебе, не обнаружила в нем ничего, что имела в виду сказать, вообще ничего достойного упоминания. Можно писать лишь о пережитом, о свежих впечатлениях – но их нет. Надеюсь услышать о них от тебя. Пиши чаще. Посылаю тебе свои отрывочные записи, как костяк, который попытаюсь обтянуть кожей и мышцами. Я могу высказать свои мысли только в диалоге, а не в монологе. Для законченного сообщения мысли должны быть более взаимосвязаны.

Ты хотела узнать о содержании картин Клее. Для этого я достала несколько репродукций его ранних картин и одну позднюю, сюрреалистическую. Содержание у Клее меняется со временем. В период критического отношения к действительности он создавал нечто вроде карикатур, всегда на очень высоком техническом уровне (о карикатуре смотри в моих предыдущих заметках, Георг Гросс не напрасно покончил с этим в Америке).

Клее – неутомимый творец. Будучи поэтом и хорошим рассказчиком, он позже начал изображать свои фантазии. Последние его работы – это сюрреализм. Ты легко поймешь, что означает сюрреалистическое содержание по сравнению с его фантазиями более раннего возраста. Сильнее стали контрасты, например, освещенной плоскости с тем, что ее окружает. Небо кажется бесконечно высоким. Пространство становится настолько неизмеримым, что возникает ощущение страшного одиночества и вещи меняют свою материальную сущность (тесто, стекающее по ветвям дерева), часы из теста, неартикулируемая связь живого и мертвого, ничем не мотивированная, без тени иронии. Из его работ пропадает все веселое, светлое. К сожалению, ты не увидишь его вещи в цвете. Я даже не знаю, существуют ли вообще цветные репродукции. В Музее кайзера Фридриха была золотая рыба, неподвижная на совершенно темном фоне, окруженная причудливыми растениями и маленькими темными рыбками (масло). Кроме того, есть декоративные, заполненные по всему листу узором акварели, например «Соловьи», репродукция которой есть и в твоей книжке. Что больше всего привлекает – так это искренность, ощутимая в каждой линии, в каждом мазке, это сила, которой обладает только он, не знающий удержу, ты сама поразишься его способности задерживать дыхание, его внутреннему зрению, позволяющему видеть все насквозь, со всех сторон. Посылаю тебе «Маленькие манекены» и «Кристаллы» (это

одна из моих любимых работ). Он называет их растениями из ботанического сада, есть еще листы, изображающие самоубийцу, или зверей, или воинственное племя, или стареющую Венеру. Это мечтатель, не связывающий себя одной узкой темой.

Расскажу историю, из которой видно, как он относится к своему творчеству. Однажды один из учеников принес ему показать свой пейзаж или что-то другое, не помню. Другой ученик раскритиковал картину в пух и прах – плохая композиция, неверные пропорции между землей и небом, цветовое несоответствие.

«Ох уж эти молодые люди! – воскликнул Клее. – Они хотят привести в соответствие небо и землю!» Для него важнейшая задача – установление особых, ему одному понятных взаимосвязей между отдельными частями – будь то земля и небо, название картины и изображенное на ней. Он не только художник, но и математик, имеющий дело не с цифрами, числами, а с величинами и связями между ними.

32. Танец на пуантах

В середине октября приехали Эльза с Лизи. Прощаться. Лизи получила повестку в Польшу. Отправка через неделю. Эльза в черной шляпе с вуалью, как на похоронах. У нее отбирают единственную подругу, с которой они жили вместе, ухаживали за Лизиной матерью, скончавшейся месяц назад. И только-только стали приходить в себя – Лизи нашла работу в читальном зале при общине, она, Эльза, записалась на курсы медсестер и массажа, – случилось это. Как быть с вещами? Совсем недавно из квартиры Лизиной матери они перевезли к Лизи фамильное имущество. Веками нажитое… Были оценщики из общины, на днях приедет бригада за мебелью. Все это страшно, дико, но главное – несвоевременно. Дали бы хоть две недели, чтобы со всем разобраться. Скажем, что делать с деньгами матери? Лизи сможет получить их в банке лишь по возвращении. А если к тому времени произойдет инфляция? На что она будет жить?

Эльза говорит, Лизи молчит.

Мои родители могут взять на хранение ценные вещи, – говорит принцесса. – За них я ручаюсь.

Моя дорогая девочка! На прошлой неделе мы видели Ослика, Фогель и грустную и уже очень толстую принцессу. Впрочем, мне кажется, что ее состояние – единственная гарантия благоразумия. К сожалению, на этот раз у меня не получилось с ней контакта; вероятно, потому что я была целиком занята Лизи. Всем нужно было какое-то время, дистанция и осмысление.

То, что ты теперь начинаешь учиться игре на рояле, настолько же смешно, насколько умно, это будет для тебя источником наслаждения! Не занимайся посылками! Пока что Дива работает и начинает, пусть очень скромно, зарабатывать. Она очень похорошела, это всем бросается в глаза, хороший признак! У ее сестры появились добрые друзья, которые в порядке исключения заботятся о ней, а не наоборот.

Я вдруг случайно подумала об опере. «Самсон» Сен-Санса (кажется, я правильно пишу его имя), на сцене сильная гроза, трагическая сцена между Далилой и Самсоном, а на переднем плане балет, танец на пуантах.

Подумай об опере Глюка или об античной трагедии, насколько в них больше единства, или же я вовсе ничего не смыслю в музыке.

Для меня было большим счастьем, что Мюнц пришелся тебе по вкусу. Если попадешь к Бушам, постарайся посмотреть у них побольше всего и возьми книжек почитать.

Дорогая моя! Я устала и бормочу что попало, но мне так

трудно с тобой расставаться, ну, обнимаю и целую тебя цитравели цитравели тринк транк тро.

33. Остров сокровищ

Вещи-сироты, вещи, потерявшие своих хозяев, приживутся ли они в чужих домах? Нет, так пойдут на помойку. Если наша жизнь не стоит ломаного гроша, почему нас волнуют вещи? Кому они достанутся, что с ними будет?

От Лизи никаких известий. Лаура говорит, что еще рано, на новом месте надо обжиться. Обжиться?

Куда пойти? Проведать мальчишек в Находе? Закончили ли они роман? Где был обнаружен клад? Ивана и Мишу больше не возят на занятия, видно, отобрали машину.

Павел носит звезду на груди, я – в кармане. Когда иду заниматься с детьми, то на пороге квартиры прицепляю ее к пальто. Зольцнеры любят порядок.

Конец октября, оголенные стволы деревьев – и россыпи разноцветных листьев. Летом все приближено к взору, крыши домов прячутся в пышных кронах, а осенью в прозрачном воздухе отчетливо видны вдалеке дома, колокольни и шпили костелов.

Дом Полака, бывшего директора находского банка, на ратушной площади. У ворот табличка с именами жильцов. Одни еврейские фамилии. Приходи и бери!

Мать Ивана – красавица с плакатов Альфонса Мухи. На удлиненном лице – голубые глаза с огромными черными ресницами, полные вишневые губы, волнистые русые волосы шапкой стоят вокруг головы. Алый шелковый халат с широкими рукавами перепоясан шпагатом для перевязки картонных ящиков.

Квартира похожа на антикварный магазин. Роскошные люстры стоят на полу, распластав по паркету граненые подвески из чешского хрусталя, бидермейеровские стулья с мягкими пузатыми сиденьями расставлены в ряд, как на аукционе.

Прежде Полакам принадлежал весь дом, а теперь одна лишь квартира на третьем этаже, да и то, говорят, к ним кого-то скоро подселят. Они думают объединиться с семьей Краусов, Иван и так целыми днями торчит у них.

Госпожа Полакова говорит со мной как с близкой знакомой. Из одного кармана она достает сигарету, из другого – мундштук, снимает трубку с большого черного телефона, прикуривает от зажигалки, крутит блестящий циферблат пальцем.

Миша? Давайте-ка с Иваном сюда. Сюрприз!

Вы пока устраивайтесь, пожалуйста, – указывает она мне на красный диван в конце комнаты, – извините за беспорядок, мы только завезли в квартиру все ценное… Ни к чему. Ведь мы этого с собой не увезем.

Вы уезжаете?

А вы? – Госпожа Полакова заливается колокольчиковым смехом. – У вас звезда на пальто для украшения? Вы не хотите снять пальто? Все это достанется рейху… Наши вещи, наши жизни… Вы рассуждаете точно как мой муж!

Но я и слова не сказала. Понятно, почему Иван «торчит у Краусов целыми днями». Бедная госпожа Полакова…

Мы все уедем. Рано или поздно. Просто надо было поднять все наверх из нижних комнат, понимаете? Мужа разбил радикулит, он не привык таскать тяжести.

Монолог госпожи Полаковой прервали мальчишки. С возгласом: «Где сюрприз?» – они влетели в квартиру.

Госпожа учителка Брандейсова! Вот это сюрприз! Давайте лепить!

Пещеру из «Острова сокровищ»!

И пиратов! Только настоящих!

Я сняла пальто по предложению госпожи Полаковой. Где можно тут примоститься?

Мама, можно мы пойдем в детскую? – спросил ее Иван.

Идите, только там не убрано.

Будто бы где-то убрано!

Детская заставлена мебелью. Иван протиснулся между секретером и полкой, достал книгу и коробку пластилина, и мы втроем уселись на кровать.

Совершенно новый пластилин! Папа купил, когда мы собирались ехать к вам на урок. И именно в тот день у него отобрали машину.

Нетронутые разноцветные брикеты покрыты прозрачной бумагой, в лунке – деревянные стеки.

А вот и наш «Остров сокровищ»! Откроем наугад и назовем строку. Что написано, то и слепим. Госпожа учителка, называйте.

Третья сверху.

«Просмоленная косичка торчала над воротом его засаленного синего кафтана», – прочел Иван.

Я же говорил, что так нельзя лепить!

Почему нельзя? Слепить человека…

В засаленном кафтане? Как ты его засалишь? А как ты сделаешь просмоленную косичку? У него еще черные ногти были, поломанные… А как ты сделаешь сабельный шрам на щеке? Написано, что он грязновато-белого цвета, со свинцовым оттенком.

Миша, похоже, знает «Остров сокровищ» наизусть.

После долгих споров мы решили больше не заглядывать в книгу, вылепить трех пиратов, кто какого хочет, и «целую гору

золотых монет». Несколько часов полного счастья, как в детстве. Ни одной взрослой мысли.

Заигравшись допоздна с мальчишками, я бегу по темной дороге. Одна рука в кармане, чтобы в случае чего быстро достать звезду и прицепить к пальто. В случае чего… На главном шоссе полно немецких машин и мотоциклов, они светят фарами в лицо и в спину. Лучше не бежать, идти спокойно, как ни в чем не бывало. Пять километров… В Праге немецкая машина задавила молодого поэта, шел вот так один…

От страха занимается дух. Такой трусихе нечего и думать о побеге!

В состоянии тревоги мысли и чувства существуют как бы порознь.

Это уже я говорю Павлу, дома, допив последнюю рюмку шнапса и наевшись картошки. Оказывается, он тут тоже с ума сходил. Куда бежать, где искать. Юленька скулит…

Пригревшись возле Павла, я рассказываю ему про дом Полаков, про обезумевшую красавицу мать и бидермейеровскую мебель, про то, как долго мы лепили одно предложение из книги…

34. Монохром

Что делает дождливым утром госпожа Фукс? Раскладывает пасьянс. Я зашла за солью и тем нарушила ее покой. Вставать, открывать дверь, ведь она отдыхает! Но соль дала. Одну щепотку. Из-за явного гормонального сбоя (госпожа Фукс болезненно толста, у нее тяжелая одышка и густая волосистость) ее организм функционирует в двух фазах – работы и отдыха. Промежуточная фаза – встать, открыть дверь – приводит к сбою системы. Попусту ее лучше не беспокоить.

Я режу яйцо, солю каждый кружочек, раскладываю на белое блюдце, в середку кладу кусочек хлеба. Получился цветок. Я медленно, как в детстве, поедаю «лепестки», продлеваю блаженство.

Дождь сшибает последние листья с деревьев, все серо-коричневое, разве что зеленые ели расцвечивают этот монохромный пейзаж.

В такую погоду я могу рисовать, стоя у окна, не боясь, что меня заметит госпожа Фукс. В струях дождя на стекле причудливо преломляются цвета и формы, можно, конечно, создать футуристическое или кубистическое произведение на тему текучего сада, но нет во мне тяги к отвлеченности. Меня вдохновляет то, что я вижу перед собой. Темные пятна стволов, зелень, растекающуюся струями, резко очерченную колючку на размытой ветви ели… капсулы света в серой одежде неба… Сад наваждений.

Я вкладываю в конверт контактные копии с последних картин, они хоть и малюсенькие, но четкие. Осталось ответить на последний Хильдин вопрос и бежать на почту.

Во-первых, я сама не получила достаточного воспитания, во-вторых, училась в бессмысленной, беспорядочной школе, где блестящие учителя с самыми благими намерениями, витая в облаках, постепенно теряли свои хорошие качества, и, глядя на них, я думала, как вырасту взрослой и буду оберегать своих учеников от неприятных впечатлений, от неуверенности, от отрывочности знаний. Сегодня мне представляется существенным только одно – пробуждать тягу к знаниям, сделать ее привычкой и научить преодолевать трудности, незначительные по сравнению с целью, к которой стремишься. Я вижу это на своем примере. Мне совершенно ясна ограниченность моих способностей (порой совсем не хочется работать – несоответствие цели затраченному труду кажется мне несущественным), и я вижу, что у меня получается, когда я стремлюсь к успеху, и что – во имя осуществления

действительных замыслов. Лишь благодаря трудолюбию я довожу этот замысел до конца, все, конечно, зависит и от того, насколько я свободна в своих действиях. Иногда я отдаюсь во власть внезапных озарений, но особого значения этому не придаю.

В детях нужно развивать любознательность и смекалку, увязывая это с историей искусства и историей вообще, с широким привлечением наглядного материала, чтобы они могли двигаться вперед, не чувствуя стеснения; следуя собственному вкусу и применяя добытые знания без предрассудков и ложного тщеславия, они найдут свой почерк, своим путем придут к пониманию совершенства. Чтобы предоставить им большую свободу действий, полезно показывать различные способы рисования, но выбор должен оставаться за ними. Не стоит давать конкретных заданий, потому что ни обманом, ни принуждением работать не заставишь; рвение не должно пропадать.

Посылаю тебе несколько контактных копий, их нужно рассматривать через увеличительное стекло: а) как раз для тебя. Негатив и позитив силового поля и вьющаяся лента (не ищи особого смысла, поймешь, если обратишь внимание на цвет); б) «Влтавский пейзаж», Вышеград (к сожалению, по памяти); в) египетский рельеф как пример иного пространственного мышления, замечательная вещь!; г) давно обещанный рисунок, который я бы закончила, если бы ничего не мешало; д) «Резатель камней». Интереснейшая композиция: три креста образуют замкнутое пространство, почти комнату, фигура на первом плане функционально связана с бесконечно глубоким фоном.

Муж сегодня слишком устал, чтобы написать тебе. Прощай, моя дорогая!

35. Истерика

Мои старики живут во втором округе, в еврейском квартале. Цирковая улица, дом 33 – в двух шагах от того места, где стояла главная синагога. Отец ходил туда по праздникам – ермолка в одном кармане, молитвенник в другом. Эта синагога на Леопольдштрассе сохранилась в детской памяти как театр, с трехъярусными балконами и сценой с большим кругом, внутри которого было семь малых, обозначающих семь дней творения. Отец считал, что, если бы время на циферблате обозначалось не цифрами, а семью кругами творения, человек помнил бы о Создателе и так бы не оскотинился. Когда отец говорил мне это, он и представить себе не мог, что доживет до того дня, когда Создатель устранится, даст спалить дотла святилище его духа, даст погибнуть его народу.

«Старые Шнееры храпят за стенкой, как три медведя, – пишет Шарлотта. – Соседство с руинами разрушает твоего отца, он плачет из-за синагоги как маленький, вообрази себе это, Фридл!»

Отец превращается в образ. Я знаю, что он жив, что ходит согнувшись в три погибели и опираясь уже не на трость, а на костыли, которые ему выдала напрокат еврейская община, что он очень худой и очень нервный, возможно, даже повредился в уме. При этом я вижу его молодым, и не тем, из детства, с рукой, приставленной к уху и вобранным внутрь ртом, а юношей из альбома – насмешливый взгляд, чистое лицо, без бороды и бакенбардов. Где теперь этот альбом из Унгвара?

Моя дорогая девочка!

Я не в состоянии поверить, что исполняется то, что я тебе пожелала. Можешь себе вообразить, какая это для меня неописуемая радость.

Ты поедешь через Прагу? Тогда у меня еще одна просьба! Мне бы очень хотелось что-нибудь для Дивы, лучше всего книгу; что-то вроде «Красного и черного» Стендаля на немецком языке, выбери по своему усмотрению, что могло бы ей подойти.

Я под сильным впечатлением от Пруста, больше всего потрясает его великодушие. Моя дорогая девочка, большое-большое спасибо, я уже радуюсь.

Поедешь ли ты в Вену? У меня там бесконечно любимый подопечный, которому ты нужна как воздух!

На сегодня все; письмо кажется мне совсем глупым. Твоя Ф.

Хильда приехала в начале ноября. Опять дождь, опять она, как средневековая плакальщица, в сером дождевике до пят, опять с полными сумками. Знает ли она о том, что Лизи депортировали

в Лодзь? О том, что из Праги начали отправлять в Польшу? Отто сказал, что за неделю до отправки люди получают извещения от общины. Лизи отправили первым эшелоном, 1000 человек. Бедная, она совсем не в форме, она этого не выдержит! Теперь все так и будет, по очереди и в неурочный час. А когда отсюда выставляли в урочный? Упустишь момент, решат за тебя. Привези цианистый калий, Хильда! Или как Петроний, перерезать вены на пиру… Я хочу расстаться с собой по собственной воле!

Хильда укрывает меня, как маленькую, подтыкает одеяло под ноги. Ее рука, как тяжелый утюг, ездит по моей голове.

Дождь стучит по черному стеклу. Серебрятся струйки. Скоро не будет и этого. Скоро. Но не сейчас. Сейчас я включаю свет и иду на кухню.

Господа, я сочинила стих!

Весной преобразится природа.
Летом будет много цветочков.
И все это души твоей тепло,
Мой добрый гений, ишь, как развезло
Меня в тепле твоем.
Как трудно быть поэтом –
То смысла нет ни в чем,
А рифма есть,
То рифмы нет, а смысла и подавно…

У Павла дрожат губы. Он устал от моих истерик. Расставание с жизнью, возвращение к ней.

Пойми, Хильда, я была по-настоящему потрясена, опустошена, доведена до крайности. Сейчас мне лучше. Пока нас никто не трогает, все наши трудности не так существенны. Нас с Лаурой напугало именно то, что мы упустили шанс. Когда Лизи уехала, Лаура заплакала и сказала, что нам надо сделать последнюю попытку убраться отсюда. Нет, она не раскисла, она продолжает бодриться.

При всем этом иногда возникает необыкновенная ясность мысли. Все человеческое, что во мне осталось, поможет нам с тобой держать связь, где бы я ни была. Просто чудовищное одиночество, которое я здесь испытываю, создает все эти трудности. Страх лишиться тебя из-за наших разногласий отнимает у меня силы, лишает стойкости. И именно эти разногласия вдруг кажутся мне первостепенными.

Требования, предъявляемые нам сверху, мы выполним, в противном случае мы будем сломлены, приговорены – и должны будем вынести все пытки. Ты написала мне: «У тебя есть друзья,

которые будут с тобой столько, сколько это возможно». Я поняла твой намек. Ты, в которой любви больше, чем во всех нас, вместе взятых, держишься своей доктрины. Но какое утешение могу я найти в материализме? У меня нет друзей, с которыми я могла бы говорить о Высшей воле, – у тебя эти слова вызывают оскомину. Остаются книги. В них я ищу защиты. От того, что предстоит. Найти ее – и больше ни о чем не беспокоиться.

36. Стремление к простоте

Госпожа Фукс полдня подпиливала дерево, но силы покинули ее, и одна ветка спаслась, теперь она торчит в небе, как длань Всевышнего.

Явился Павел с новостями. По закону о регистрации жена Отто не имеет права жить с ним в одной квартире, и он с маленькой Евичкой должен съехать невесть куда… У другой знакомой арийки тоже муж еврей, у них двое детей, одному из них год, а с собой можно брать только детей старше двух лет.

Куда брать? Зачем их брать? Детей надо прятать.

Чудесный тихий вечер, лазурное небо, все так хорошо шло, из-за Павла я все перетемнила. Небо поправить можно, а вот с тенью от дерева уже ничего не поделаешь.

Если сможешь, почитай Евангелие и Кьеркегора. Мне жаль, что ты не читала «Великое Неизвестное» Даллаго, я бы с удовольствием поговорила с тобой о нем. Ты найдешь там то, что меньше всего ожидаешь найти.

Надеюсь, ты получила посылку. Маргит не хочет отдавать картину с веткой. Может, вышлю тебе сегодняшнюю, посмотрим.

Что касается твоей комнаты, пришли мне ее план и укажи: где находится печь, какова глубина окон и дверных проемов, в какую сторону открывается дверь. И еще мне нужны такие данные: высота подоконников, дверей, размеры оконных переплетов.

Есть ли место под подоконниками? Какую ты предпочитаешь мебель? Какие светильники, где хочешь их разместить?

Павлу нужна серая шапка. Для прогулок нам не хватает только рюкзака, у меня есть, но маленький, и двух пар шерстяных носков – кроме этого, у нас все есть. Платяные щетки и щетки для рук не нужны.

Моя любовь, я целую тебя много раз. Ты не можешь себе представить, чем для меня стали письма. Как обстоят дела с кожаным футляром? Ф.

10.11.1941

Моя дорогая девочка!

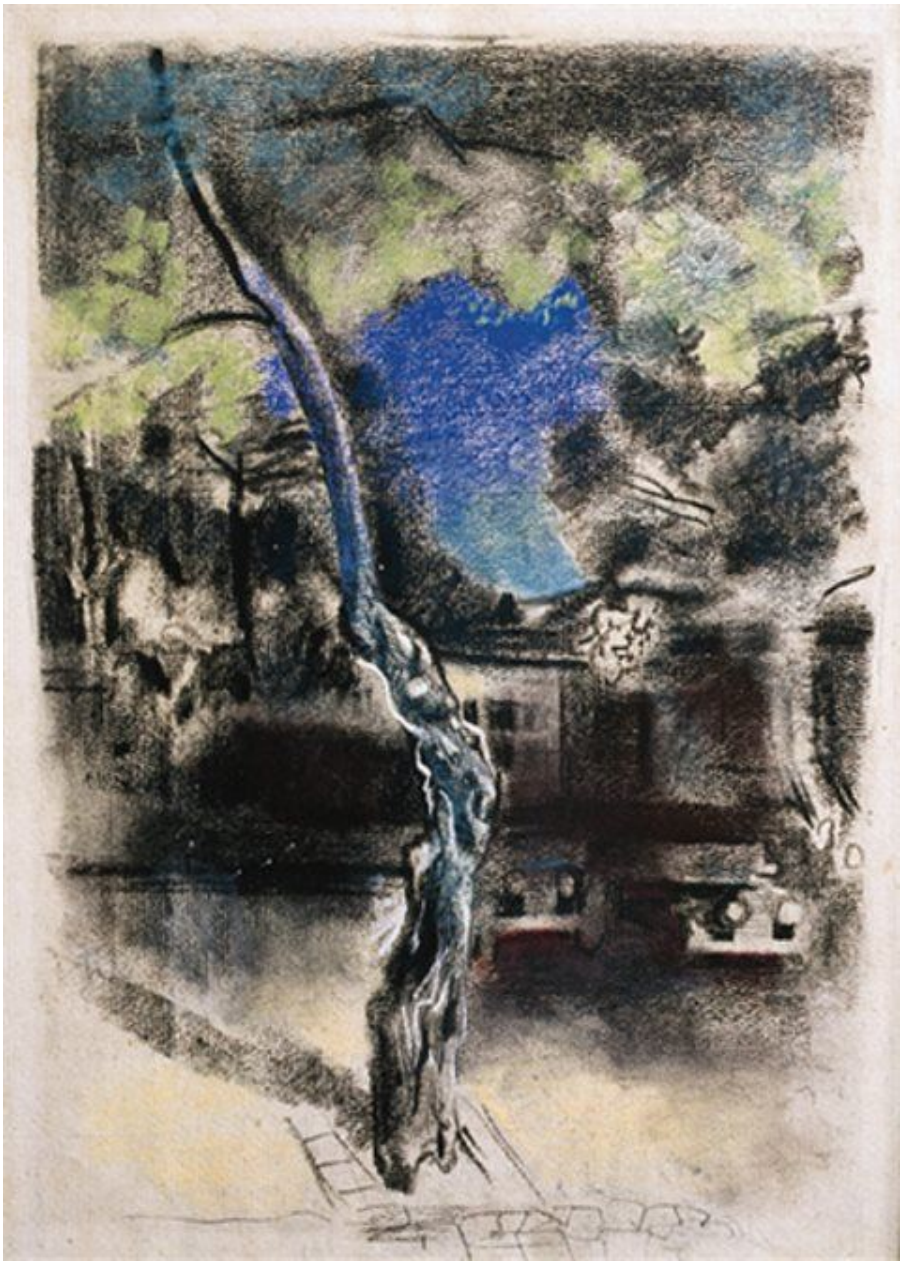
Сегодня получила твое письмо, решила устроить себе отдых от мытья посуды и т.п. Сяду поговорить с тобой – имею на это право еще и потому, что немного простужена.

Твоя надежда, что Ланге сможет приехать к своим друзьям еще на Рождество – это маленькое окошко в черной завесе, покрывающей собой все вокруг. Но будь осмотрительна! Мое предупреждение основано на странном и жутком обстоятельстве, о котором ты, возможно, еще узнаешь. За это время мы видели

людей, совершивших не столь долгое путешествие. Нас потрясло, насколько они были вымотаны. У всех какое-то странное выражение на лице, которое тем просветленнее, чем лучше человек, и тем более пустое и печальное, чем он хуже.

Замечание твоего друга насчет светотени в картине «Спиленное дерево» вполне резонно. Из-за беспокойного состояния картина не совсем удалась, замысел не доведен до конца.

Я невольно стремлюсь к простоте, вернее к непосредственности, которая порой нападала на меня и раньше, и это стремление заставляет искать новые приемы – не ради собственно новизны, а для того, чтобы проще выразить как бы внезапно увиденное. Поэтому сперва я пытаюсь запечатлеть то, что вызвало во мне вспышку внезапного озарения, пока ощущение не стерлось, и только потом привлекаю к делу уже испытанные приемы. Вообще у меня есть несколько набросков к «Светотени», некоторые из них намного лучше варианта в цвете. Цвет не решил поставленных задач. Ты права насчет окраски рамы, она слишком светлая, но дерево еще потемнеет. Я должна была натереть ее воском, чтобы она сохранила естественный мягкий цвет дерева.



Ты верно заметила про наши отношения с Дивой. Так как я разобралась в собственных проблемах, я стала гораздо лучше относиться к ней, чем очень довольна. Пастор, который ей вдруг понравился, а мне – стойко не нравится, навестил меня. Это очень темпераментный человек, который много цитирует Библию, – я ее теперь читаю сама, а Дива знает только с его слов. Ей нравится Библия, а мне не нравится, что он ломится в открытую дверь и излагает Библию в отрыве от реальности, – по-моему, из страха

перед жизнью, который все мы испытываем. В Библии сказано: «Дай кесарю – кесарево, а Богу – Богово»; «Посеешь ветер – пожнешь бурю». В кесаре олицетворено все светское, значит, не нужно бороться и отдавать на попечение властям то, что предназначено Богу. Бояться нужно не людей, а Бога. Христос изрек: «Бог накажет не того, кто говорит против Меня, а того, кто отрицает Дух Святой».

Дива чувствует себя хорошо, у нее много работы, ей дарят подарки. Пальто оставь себе, вещей у нас предостаточно. У меня уже три пальто, и подарили новое. У Дивы чудесный материал, и она собирается шить у лучшего портного. Мы обеспечены. Если бы у нас было еще полгода, было бы совсем хорошо, и я после того, как наведу порядок, буду много рисовать, чтобы заполнить невыносимую пустоту. Живи счастливо, моя дорогая. Держи себя в руках и живи легко!

Павел все так же заботлив, но, к сожалению, плохо выглядит. Из-за лени и рассеянности я не очень хорошо готовлю. Если захочешь, напиши ему отдельно, хотя он не ревнив и любит читать твои письма вместе со мной. Он очень мил, но, к сожалению, слишком нервен и нетерпелив. Не со мной, нет, на работе.

Обнимаю тебя много раз, пиши чаще, это единственное, что нам осталось. Если у тебя есть хорошая книга для долгого и вдумчивого чтения, мы были бы тебе очень благодарны. Недавно прочли кое-что о Муссолини, очень интересно. Я никак не могу расстаться с тобой и ищу любую уловку, чтобы, заполучив тебя, подольше не отпускать. Будем жарить на пикнике сосиски! Я надеюсь скоро вместе с тобой напиться чаю, воды, пива и наесться рыбки! Ф.

37. Вопросы без ответов

Бывают времена, когда зло уходит в долгосрочный отпуск. Нас угораздило родиться именно тогда, когда оно после долгого отдыха вышло на работу. Едва мы пришли в себя после первой войны, началась вторая. Неужели нет никакой возможности выпутаться из сетей госпожи Истории, жить спокойно, любить простые вещи – пузатую сахарницу с лиловым оттенком, отблеск луча на матовом стекле…

Я взялась за философов. Читаю Кьеркегора и Адорно. Они помогают облечь в слова смутные представления: «Кто думает, что сознание созерцательно, не понимает себя, сознание – это “деяние”». Наверное, время Кьеркегора минуло, все лучшее в его подходе усвоено и исчерпано; воздействия страхов его эпохи прочувствованы, осознаны и усилены нашими страхами, парализующими всякое развитие мысли. Все идет к тому, чтобы уничтожить саму способность к созерцанию.

Твои упреки и требования ничего не таить, дабы понимать, «на каком ты свете», касаются и меня. Но со всей своей интуицией тут ты ошибаешься. От ТЕБЯ скрывают только то, что в первую очередь хотят скрыть от себя.

Личная трусость начинается там, где теряется чувство верного направления. Сказать по правде, чтобы написать эти строки, мне понадобилось больше мужества, чем для всего, сделанного раньше. По-видимому, чувство всевозрастающего страха уже давно существовало в моих письмах к тебе, а осозналось лишь в результате длительной переписки. И поскольку в данный момент я совершенно не представляю своей судьбы, попытка объяснения внушает еще больший страх. Я ощущаю страх как личную вину, и это невыразимая мука.

Прошу тебя интенсивнее переписываться с Дивой, она очень одинока. Хотя физически я присутствую в ее жизни, но разговаривать, в моем нынешнем состоянии, могу только с тобой. На этот раз не пишу чернилами, т.к. приписываю по предложению иногда днем, иногда ночью. Пока, помни обо мне! Такое трудное время. Ф.

Я упрекаю себя в том, что так много занимаю тебя собой, но важна не я лично, а вопрос, насколько ошибки, которые я расцениваю не как случайное явление, а как следствие однобокого мировоззрения, значимы для всех нас.

Хильда требует от меня однозначного ответа – верю ли я, как прежде, в идеи Ленина, в справедливость советского строя, в то, что будущая победа над фашизмом уничтожит капитализм.

Сказать ей, что моя вера пошатнулась, – значит потерять дружбу.

Прочти, дорогая, Адорно. Даже если он не способствует ясности, то хоть держит начеку. Он левак, он против буржуазии, но подвергает «идею» ревизии. Притом что его нападки обусловлены дружественной позицией.

Сегодня я вспоминала «Ботанический сад» Клее. Принцип этого рисунка великолепен; внезапно в верхней четверти листа последовательность прерывается. Формы становятся бессмысленными, вернее, случайными. Это аритмия, или диссонанс. Кажется, понять это невозможно. Однако недавно кто-то, совершенно далекий от искусства, был у нас, долго рассматривал репродукцию и сказал: «Это мог бы быть сад, наверху ворота и там так же есть деревья». Таким образом, наше требование к структуре меняется, и высокое искусство вполне допускает непоследовательность.

«Кесарю – кесарево». Ты права, эти слова отменяют спокойствие и уверенность, вызывают внутреннее колебание: что и сколько – для кесаря? что и сколько – для человека? На колу мочало, начинай сначала. До свидания – множество поцелуев!

38. Марш Радецкого

Велено сдать зимнюю одежду и теплые вещи на нужды немецкой армии. Лыжные костюмы и шапки тоже в списке.

Гитлер в твоих кальсонах… и на лыжах… пробирается в тыл врага… За ним Геринг в моем двубортном пальто…

Смеясь, мы раскладываем все по кучкам: тебе, мне и немецкой армии. Себя не обделяем. Ведь не сказано, какое именно количество следует сдать. А можно утеплить немецкую армию неглаженными вещами?

Чайник звенит крышкой. Я заливаю кипятком сухие цветы ромашки. За этим цветком я наблюдала в детстве, стремясь уловить момент раскрытия бутона, а теперь вот готовлю из него отвар для Юленьки. Доверчивость, с которой она распластывается, чтобы я положила тампон на ее набухшие соски, и тотчас переворачивается и ласково лижет мне руку, исторгает слезы у Павла. Но не у меня. У меня забиты слезные каналы. Вот почему и болят глаза! Они не умеют плакать. В Терезине я не раз теряла зрение, иногда на несколько минут, иногда на несколько дней, но каким-то чудом оно восстанавливалось. Если бы меня не убили, я бы ослепла.

Моя дорогая!

Собственно, написать я хочу о Юленьке. У нее обострение молочницы. Сейчас, когда я пишу, краснота уже сошла. Но она все еще просительно глядит на тарелку с отваром ромашки. Температура пока еще повышенная… Такая она милая!

Что с Маргит? Пиши! И скорее приезжай! Вчера получила твое письмо. Оно излучает столько тепла! Мы очень смеялись над твоей «холодностью», причина которой – расстояние.

У Дивы все так хорошо, как давно не бывало. Я убеждена, что в этом есть и твоя заслуга, хотя ты с ней даже не разговаривала. Я начала писать ее портрет, сразу как только ты уехала, и, может быть, я изображу на нем одно растение необыкновенного вида – для тебя. Проповедник, которым восторгается Дива, был здесь и только усилил мое предвзятое отношение к последним событиям. Он многое прояснил во мне. Если бы у меня не отнимало так много сил и времени чтение, я написала бы ему. Он обличает евреев. Они жадные, они собственники и т.д. Это подействовало на Диву и все поставило на свои места. Возможность в ближайшем будущем увидеть Ланге волнует меня все сильнее, внутри у меня все переполнено, голова идет кругом.

Я смотрю из уединенного окна на черные деревья и мягкие белые крыши и мечтаю о том, как когда-нибудь мы будем сидеть с

Ланге в полной тишине и молча смотреть в окно.

Мы отдаем целый ворох теплых вещей.

Я не могу писать дальше, поэтому прощай и всего хорошего, много раз целую. Пришел Павел. Он теперь работает до ночи, поэтому я пишу одна, а он передает тебе привет.

Моя дорогая девочка!

От Лизи никаких вестей. Я хотела ответить тебе сразу, но не получилось. Поздравительные новогодние открытки Дивы и Ланге вернулись обратно.

Мне очень жаль, что ты не пишешь подробно. С Юленькой еще не все ясно, мы считали, что она полностью выздоровела, до сих пор не было никаких признаков болезни, но мне кажется, что у нее опять какие-то выделения. Не знаю, следовало ли этого ожидать, но говорят, что такое может продолжаться еще месяц или два.

Ты знаешь книгу Рота «Марш Радецкого»? Местами она напоминает мне Кафку.

Книга всегда пишется сообща, даже если соавторы не ведают друг о друге и их разделяет промежуток в пятьдесят лет.

Пока на сегодня! Целую тебя!!! Ф.

Читая в гроновской мгле «Марш Радецкого», книгу, написанную евреем Ротом, который, как и я, родился в Австро-Венгерской монархии, только не в Вене, а в провинциальном городке Броды, возможно, совсем неподалеку от того места, где я его читаю, я вдруг осознала простую вещь – я не только выросла в столице, но и застала период расцвета и умирания родимой монархии. Портрет императора Франца-Иосифа в белом фельдмаршальском мундире, с кроваво-красным шарфом через плечо, висел в магазине отца над кассой. В романе Рота он висит на кухне, белое одеяние императора густо засижено мухами. Отцовский император блистал, отец сдувал с него пылинки. Он боготворил императора и всю высокочтимую династию, благодаря которой евреи стали равноправными членами общества. «Спасибо Францу-Иосифу Второму, не будь его, разве мог бы я работать в центре города, в уважаемом всеми магазине канцелярских товаров». Вена, теплое лето, оркестр в городском парке, выдувающий вальсы из труб. Именно там герои Рота вышли из экипажа и выпили кофе. «Среди зеленой тени светились белые круглые столы террасы, на скатертях голубели сифоны. Когда музыка переставала играть, слышно было ликующее пение птиц. Широкая волна летнего золота текла по домам и деревьям, трамваям, прохожим, полицейским, по зеленым скамейкам, памятникам и садам. Слышался быстрый звонкий цокот копыт по мостовой». На такой вот зеленой скамейке я уснула, удрав из дому, получается, что это случилось в самом начале войны, ведь

она началась за день до моего шестнадцатилетия. На той же скамейке, проснувшись, я пробовала сочинить пьесу. Дальше пролога дело не пошло, но каков эпиграф! *«Я – дурачество, я к вашим услугам – пожалуйте в могилу»!*

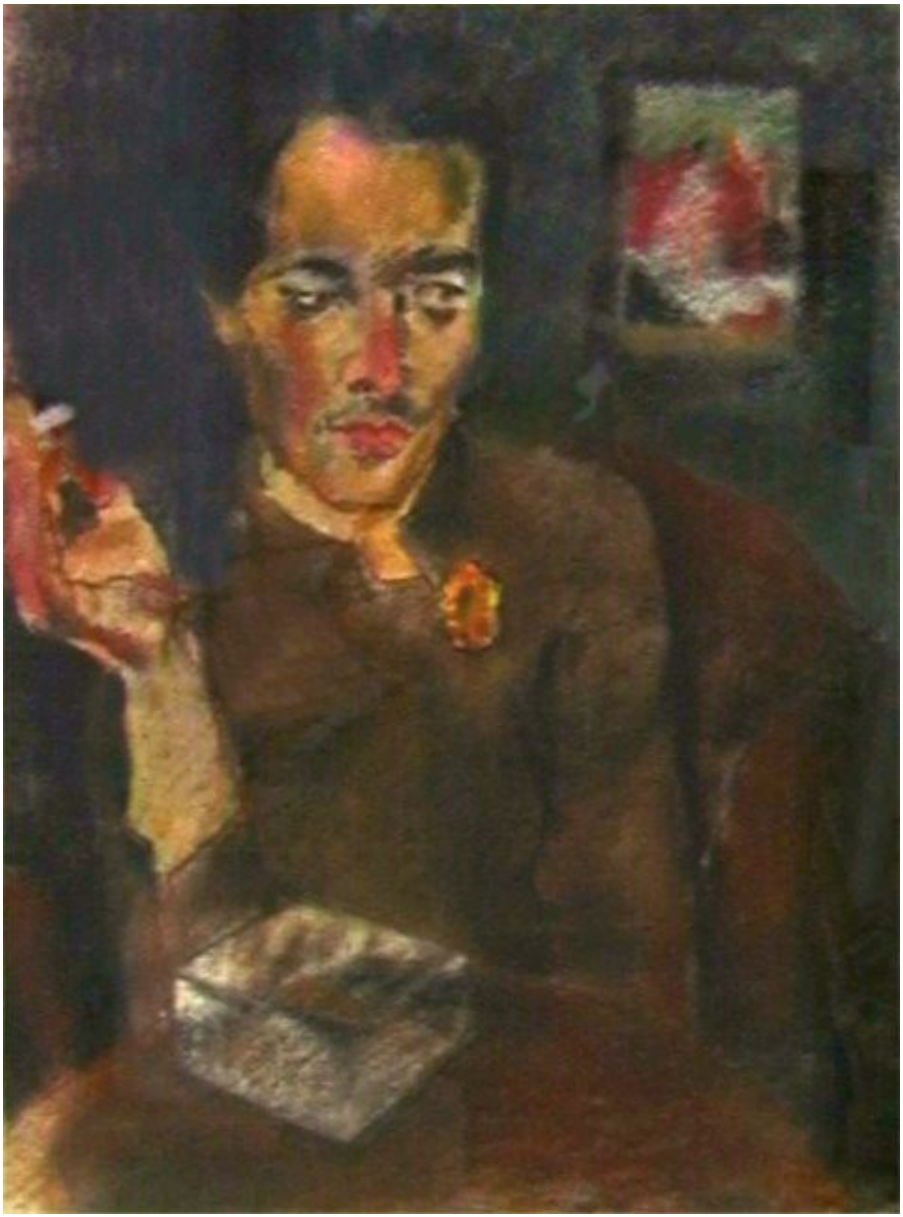
39. Отдаться живописи

Моя дорогая!

Наши письма должны были встретиться в пути. Я очень рада твоему – оно наполнено волей и энергией. Написанное тобой о музыке могло бы стать началом новой серии объемистых писем. К сожалению, я так мало знаю, и вообще это сложно – описывать ассоциации, вызываемые музыкой. Захватывающий голос Буша! Решающим все же является то, как музыка соотносится с текстом и в какое время она была написана. Через 15 лет она будет воздействовать совершенно иначе.

Я с придыханием слушала, как Буш исполнял марш на слова Маяковского. Это было давно, в Берлине, мы со Стефаном сидели в первом ряду как почетные гости. Революция, построение нового мира, где все мы будем хозяевами… Сейчас куда с большим удовольствием я пела бы со Стефаном кантату Баха в той нелепой веймарской квартире, где посреди комнаты возвышался сверкающий белизной умывальник.

Расскажу тебе кое-что о последних открытиях, и, может быть, ты посмотришь на меня иначе. Новое самоощущение: я – простая труженица, не более того. Мое открытие состоит вот в чем: я прочла «Марш Радецкого». Рот – это австрийский Кафка, немного другого направления, но с тем же чувством правды, еще слишком много внимания уделяющий материальному, со слишком четким сюжетом, но с мастерством, достойным Кафки. Эта книга (может быть, я об этом уже писала) представляется мне продолжением коллективной работы, начатой писателями-юмористами в рассказах на военную тему. Пройдут годы, произойдут перемены, и появится какой-нибудь новый писатель, который будет способен мастерски использовать тот же материал. Я же не способна выявить во всем объеме увиденные мною закономерности, и посему зритель не может их прочувствовать, не может сопереживать.



Это не срез моего сегодняшнего или вчерашнего настроения, это мое ощущение, менявшееся на протяжении ряда лет под влиянием окружения, событий и способности к самовыражению, тут я довольно объективна. Кто же будет добровольно умалять свои достоинства?!

Я ощущаю свою несостоятельность, но иначе, чем это было летом. Я теперь настроена только на живопись. Жизнь усложнилась, и гадких свойств моего характера не смягчает даже груз усталости, как это было прежде. Теперь у меня есть

возможность работать спокойно и упорно, как следует. И хотя моя надежда достигнуть цели слабеет (а цель совершенно не ясна), я не хочу ни преподавать, ни заниматься чем-либо иным. Буду избегать всяческих решений и целиком отдамся живописи, чтобы реализовать то малое, чему я научилась, то, что должно составлять мою работу. Это не аллегории, а выражение мира таковым, каков он есть. Не будучи ни современной, ни несовременной – я по-прежнему страстно люблю Пикассо и Клее, – я не стану прибегать к их живописным приемам – они изломаны своим стремлением к потусторонности. Я ни в коем случае не настаиваю на своей манере живописи, потому что она – выражение моей замкнутости и ограниченности, равно как и моей тяги к созерцательности. Она защищает меня от той опасности, против которой бессильна живопись.

Можешь ли ты себе представить (не принимая во внимание ограниченности таланта) человека, который, постоянно прислушиваясь к советам случайных друзей и время от времени от них отдыхая (он изолирован от внешнего мира), делает что-то, о чем можно сказать, что именно так нужно рисовать сегодня?

Пейзаж с куклой радует меня, потому что в нем есть что-то от позднего Ренессанса (еще не испорченного), романтического и в то же время декоративного, сдержанного по цвету; что эти слова велики для меня и висят на мне, как кожа на молодом бернардинце, наглядно показывает тебе, как я хотела бы говорить и как жить, – но у меня не хватает на это смелости. «Детский натюрморт» был отчаянной попыткой вырваться из когтей страха. Я видела простой синий молочник и писала его синим, без всяких изменений – с чувством, будто я лечу с четвертого этажа и вот-вот сверну себе шею.

К «Вокзалу», если ты имеешь в виду его, нужна широкая вогнутая рама. К сожалению, он написан на мятом картоне. Я убеждена, что ты способна выбрать подходящую раму; живя здесь, я в этом деле поднаторела. Хорошо, что у тебя есть старинные или старомодные рамы – они по-хорошему нейтральны. Ты можешь сама научиться подбирать рамы к картинам. Самый лучший метод – метод проб. Если картина написана в холодных тонах – зеленых, синих, серых, белых, иногда содержит коричневый, – требуется рама холодного оттенка, светло-серая или под серебро. «Теплая» картина – желтая, охристая, оранжевая, теплых красных тонов, требует раму теплого оттенка. Часто достаточно одной золотой или серебряной планки, акварели наклеиваются на паспарту из неотбеленного льна, и иногда бывает трудно установить, нужен ли картине воздух или ее сразу же следует заковать в раму.

Павел сейчас читает мне отрывки из «Войны и мира»

Толстого, удивительные сведения о войне с Наполеоном, очень достойная книга.

Дива по-прежнему держится бодро, мы с ней ладим, и меня утешает мысль, что мы будем вместе. Целую много-много раз, моя дорогая девочка. Юленька все-таки доставляет нам больше радости, чем хлопот, именно потому, что она далеко не ангельское создание. Мы влюбились в нее по уши, даже Павел.

40. Черная дыра

Отто с Марией привезли жирные сардельки, картошку и сливовицу, так что мы пируем! Очередные новости из Праги: депортация в Лодзь закончена, в Польшу нас вроде бы отправлять не будут. Только в Терезин. Маленький городок, со старинной крепостью и огромными казармами. Уникальная постройка, возведенная в честь императрицы Марии-Терезии, матери Франца-Иосифа. Казармы будут заселять евреями. Все лучше, чем Польша. В Терезин уже отправили первую еврейскую бригаду, она будет готовить для нас спальные места. Видели бы вы, из кого состоит эта бригада! Художники, музыканты, актеры… Если один из ста попадет по гвоздю молотком, уже хорошо!

Отто смеется. Смех как у Павла, но глаза другие, поменьше, с прищуром, с хитринкой.

Говорят, мы будем отсиживаться в этой резервации до конца войны. Ни выпить, ни покурить, – на это строжайший запрет. Берегут наше здоровье. Не представляю, как нас всех там уместят…

В тесноте, да не в обиде, – вставляет словцо Мария, которая при разговорчивом Отто обычно молчит как рыба.

Мы согрелись, развеселились, нам не страшен Терезин.

Дорогая Хильдочка!

Пользуясь оказией, поздравляю тебя с Рождеством и с Новым годом! Пиши скорее! Мы так много думаем о тебе! Обнимаю! Отцу опять лучше. Другие трудности еще не кончились, особенно с матерью. Я не могу попасть в Вену.

Я уже несколько недель не работаю. Можешь опять исследовать мою черную дыру. С брюками получилось очень странно. Утром я подумала, где бы их достать, а днем они уже были здесь! Так что благодаря тебе, дорогая, мой зад теперь в тепле!

Эльза в Терезине. Мы получили от нее открытку в тридцать слов. Из них пять о том, что она в порядке, двадцать – перечисление тех, кому она шлет привет, и пять – что она медсестра.

Лаура приходит без предупреждения, садится рядом со мной и молчит. Я нервничаю, но продолжаю рисовать.

Все же крендель какой-то елочный, правда?

Лаура молчит.

Это картина для Мици, по ее заказу. Она попросила куклу, конфеты и крендель, кукла вроде получилась, как ты думаешь?

Я могу сказать тебе то, что думаю, – Лаура стоит надо мной,

глаза-щелочки, губы сжаты. – Я проклинаю тот час, когда решила переехать в Гронов. Хотела быть ближе к тебе. Да любой гость ближе к тебе, чем я, которая живет напротив. Если бы я осталась в Праге, мы бы сейчас были вместе с Эльзой!

Лаура уходит, громко хлопнув дверью. Потом будет укорять себя. Мне бы броситься вдогонку, вернуть ее, успокоить. Я сама склонна к истерикам, но чужая, и притом своершенно внезапная, действует на меня как нервно-паралитический газ. Вдохнул – и отключился. Жаль, я с таким удовольствием рисовала…

Моя самая любимая! (II)

Меня так обрадовало нежданное второе письмо от тебя. Так как у меня страсть к неожиданностям, мне вдруг почудилось, что это то же самое письмо, только распыленное длинными предложениями. Хотя у тебя и разборчивый почерк, в письме много непонятного.

Это 1-е предисловие. Теперь 2-е. Вопрос остается открытым, однако это не значит, что надо меньше видеть, размышлять, с меньшей ответственностью принимать решения или, боясь потерять время, выбрать путь наименьшего сопротивления.

Ни один человек не имеет преимущества перед другим, ни одна нация – перед другой. Христиане, которые считают, что человек не судья другому человеку, спасают величайшего грешника и тем дают и нам нравственное мерило. Тот критерий, который

невозможно изменить по нашему произволу.

То, что трудно для одного, по-видимому, гораздо легче для всех, для человечества, но опять-таки трудности переносит каждый отдельный человек, поэтому один произвол следует за другим. Мы все растеряны, сбиты с толку.

О Кьеркегоре не могу сказать тебе ничего исчерпывающего. Меня больше всего потрясло полнейшее совпадение жизни и работы. Создается впечатление, что он использует не более 1000 слов. Каждая фраза понятна, каждый вывод логически выдержан, нигде нет просто игры ума, «искусства для искусства». Вышло несколько его тонких брошюр, возможно, они есть у Маргит. Он как Христос, с такой же несентиментальной силой, без всякой агрессивности, но из-за своей чистоты и силы такой ужасающий и неумолимый, что его книгу, которая называется, кажется, «Страх и трепет», я читала со страхом и трепетом. При этом он не пасует ни перед дерзким обобщением, ни перед выводом, от которого никуда не деться.

Лизи находится на Гнезнерштрассе, 26 в больнице, это первое письмо к нам. В следующий раз я напишу тебе об очень близких людях. Ослик сейчас работает медсестрой. Это хорошая профессия для нее, лучше, чем бесконечная готовка.

В письме Лизи говорилось, что она довольна диетой, весит тридцать пять килограмм и чувствует себя легко. И подпись: «Лизихлеб». Куда же девались посылки, которые ей отправил Отто? Знает ли она, что Эльза в Терезине, можно ли оттуда писать в Лодзь?

В жар бросает от этих мыслей. Я запечатываю письмо и иду с Юленькой на почту. Снег липнет к сапогам, но к Рождеству обещают морозы.

«Добрый день, госпожа Брандейсова», – приветствует меня Йозеф Вавричка, импозантный продавец из магазина верхней одежды.

И такие магазины есть. И парикмахерские есть. И маникюрные салоны. Населению оказываются все необходимые услуги.

Как самочувствие?

Хорошо.

Если что понадобится, заходите. Не стесняйтесь.

Спасибо.

Вот и поговорили.

Дорогая моя!

Как только рука опускает письмо в ящик, ноги уже несут домой дописать упущенное. Мои знакомые, у которых я беру книги, – несчастные жертвы моей любви к тебе. Они спрашивают,

что это за значки на полях +Х. А это значит, что я читаю вместе с тобой. Иногда с Маргит, но редко. Мы мало видимся с ней, и потому взаимопонимание затруднено. Каверн в моих письмах к ней еще больше, чем в письмах к тебе.

Тоненькие книжечки – это Кьеркегор. Вершина, которая дает масштаб, перспективу и направление. У Гегеля я нашла основу, она тверда, он приводит мысли в порядок. Но в моем случае она не так продуктивна. Он берет во внимание и окружающий мир, до определенной, конечно, степени. То, что он называет частными целями и интересами – т.е. не общее, под чем он обычно понимает государство, а общечеловеческое (успех и поражение, провал попыток идти вглубь, а не вширь, отсутствие последовательности), – все это не имеет развития. Это всего лишь накопление, суммирование. (Хорошо ему – он отчетливо разделяет свои интересы на государственные и религиозные.) А мир пусть использует это как хочет. Полнота же, на мой взгляд, – и тут ищи причину моего постоянного обращения к религии – содержится в самом зародыше, там, в этой точке, уже есть все, т.е. цельность, без всякого «отрицания отрицаний». Возникший, вероятно, как реакция на нынешнее время (и очень понятный) отход от религии и осуществляемая больше на практике, чем в теории, установка на экономику – вот в чем я вижу причину внутренних неполадок, нашего поражения, наших неудач.

Например, извращенное понимание национального, что как следствие проявилось в уступках велениям чувства: государственный праздник вместо Рождества и т.д.; книги, не разрешенные к чтению, направления в искусстве, считающиеся роковыми, и пр.

Павел принес в судке гуляш с кнедликами, Зденка Туркова передала через мужа.

Господа офицеры не доели?

Он молчит.

Так все и идет. С утра поругалась с Лаурой, теперь обидела Павла. Не пора ли взять себя в руки?

Пахнет мясным. Павел разогревает гуляш. Не приглашает меня к столу.

Павел!

Он сидит, слезы капают в тарелку. Никогда не видела, как плачут мужчины.

Моя дорогая!

(Извини за карандаш.) В сущности, я в ужасе от хаоса внутри себя. Ланге сделала несколько очень интуитивно верных замечаний о причине моего поведения, среди них о том, что я сердита на друзей по партии и потому ищу чего-то нового. Это верно, но

выводы иные, чем она предполагает. Я тем самым свободнее в отношении их и могу четче осознавать долю своей вины в ссоре. (Свобода – это лишь миг до того, как берешь на себя новые обязательства.) По крайней мере, я надеюсь на этом опыте отвыкнуть от поспешности суждений.

Страшно подумать, какие обязательства накладывает малейшее слово и как следует все просчитывать наперед, чтобы не дать этому малейшему разрастись до полной нелепицы, причиняющей вред тебе или другому, будя доверие, которое не хочешь или не можешь оправдать, указывая направление, тупиковое или сомнительное, которое хотя и уводит от ложного, но не приводит ни к какой определенности.

Фридл, иди сюда, сюрприз!

На столе разложены цветочками мои любимые бутерброды с яйцом.

Я был страшно голоден, гуляш сводил меня с ума, так хотелось его съесть, но я всю дорогу держался. Донес…

И тут тебя встречает злобная фурия…

Ты тут ни при чем. Это стыд и страх. Что будет там, если уже здесь голод лишает разума?

Павел смотрит не на меня, а на тарелку с бутербродами.

Мне столько не съесть, давай пополам.

Нет, пойду прилягу на полчасика.

Неверным шагом Павел доходит до кровати и тут же засыпает.

Меня сейчас преследует еврейская история, она позволила мне сделать некоторые обобщения, но об этом позже. Вот несколько слов, ставших для меня большим утешением и радостью; они ободряют дух, что при нынешнем унынии просто необходимо.

«Какого бы рода наблюдения мы ни производили, следует исходить из сложного эволюционно развивающегося содержания. При таком подходе меняется вся картина. На месте средневекового ступенчатого космоса возникает единое и органическое целое, отдельное происходит из того общего, где целое является оттиском абсолютного: общее представлено отдельным, бесконечное – конечным. И речь уже идет не о различиях в родах на примере отдельных экземпляров, а о том, что многообразие индивидуумов во вселенной есть признак единого. Как в физическом, так и в духовном. Даже единая божественная мысль воплощается на Земле в естественное разнообразие религий, ни одна из которых в своем своеобразии не уничтожает другую, более того, должна развиваться в своем направлении так, чтобы в ней воплотилась часть абсолютной религии; подобно тому, как единичное может существовать лишь однажды, так и в абсолютном смысле может

существовать лишь одна истина (изначально заданная!); подобно тому, как единичное проявляется в многообразии, так и единая истина в ее различных проявлениях многообразна, и именно разнообразие есть признак подлинности ее существования».

Вот аргумент против тупых последователей Гегеля, которые считают иудаизм мертвой религией. Тут, в местной школе, как рассказывал мне один учитель, пастор ведет урок Закона Божьего. И он все объясняет просто: «Бог посадил бобовое зернышко – это иудаизм. Из зернышка поднялся росток – это христианство. Бобовое зернышко умерло, дав жизнь зеленому ростку». Кто не поверит в такую складную притчу!

С появлением христианства иудаизм не прерывается и не завершается. Речь идет о нас, живых людях, жизнь и дух которых попали в затруднительное положение, и на весьма неопределенное время. Представится ли случай вывести нас оттуда? Представится! Разве что неизвестно когда.

Ты спрашиваешь, как назвать нас – нацией или народом, что есть наша вера. Я не смыслю в терминах и не стану «для порядка» давать неправильное или любое, тормозящее становление, название. Это моя позиция. Можешь поверить, что подобный процесс не остановится на полпути и не прервется по чьему-либо желанию или предвзятому мнению. Все закончится оправдательным приговором, но мысль о том, что всепоглощающая любовь, страстная, вобравшая в себя все доброе и дорогое, не помогает понять другого человека, – этому горькому осознанию не помогут ни время, ни опыт прошлых переживаний. Единственные вещественные реалии – это мои личные переживания и процесс их кристаллизации, против этого бессильны все возражения, даже под угрозой смерти. С удовольствием избавилась бы от занудства, да не вижу как!

Представления обо всем бывают более или менее ложными, когда знают или подразумевают только вокабулы. Нервничая, я представляла себе все, что угодно, только не нашу окончательную ссору. Я бесконечно раскаиваюсь во всем, что тебе наговорила. Будь проклято вечное похмелье!

Ланге я люблю больше, чем когда-либо, и втайне надеюсь, что и с ней происходит нечто подобное.

За приветы большое спасибо; сейчас начну вырезать тарелки и страшно разбогатею. О нас совершенно не стоит беспокоиться.

На сегодня все. Пиши поскорее. Если хочешь сделать доброе дело, пришли книжек – историю, философию в доступной мне форме. У меня есть философия древности и Средневековья; следующих томов, к сожалению, нет. Очень хотелось бы узнать Канта и о Канте.

Не понимаю, почему ты находишь книги Вассермана слишком мягкими для нынешнего времени? По довоенным масштабам они содержали достаточно, чтобы объяснить сегодняшнее. Напротив, гораздо более талантливый Достоевский – такой индивидуалист, что на нем можно отдохнуть благодаря уникальности стиля. Когда ты написала, что читаешь его, я тоже попыталась найти в нем нечто, чтобы почувствовать, что ты думаешь, но читала, по-видимому, впустую, кроме того, ты, к сожалению, выражаешься намеками, так что я не поняла. Всем приветы. Целую от всего сердца!

Мы потихоньку собираем вещи. Отто сообщил, что один транспорт уже ушел из Брно. Если Отто не отправят до нас, а шансы невелики, поскольку у него жена арийка, этих вроде оставят на закуску, то мы будем в курсе событий. Нас не застанут врасплох.

Январь, 1942

Моя дорогая! Я страстно хочу увидеть тебя. От тех, кто уехал, я получаю открытки с видами, какие деятельные люди, но какие мрачные пейзажи.

Я только что от Дивы, посмотрела ее новую квартиру и огорчилась. Но сама она все принимает оптимистично – вот что значит хорошая школа.

Шапочки очень хороши и сослужат нам службу. Рюкзак немного тяжеловат, но, думаю, пригодится.

Прошла целая вечность с того письма, которое было написано скорее под влиянием прошлых событий, чем в результате мгновенного озарения, и каждый день я жду ответа от тебя и думаю о том, что бывают же чудеса и знаки свыше и будут всегда – почему бы и здесь не произойти чуду. Я все это время была как парализованная.

Теперь наша встреча кажется мне такой нескорой, и я, как бы эгоистично это ни звучало, опять смогу заняться живописью. Странно, что нельзя просто жить и самовыражаться (имею в виду себя), мне обязательно нужен посредник; это смущает меня, но лучше жить как есть, чем так, как хотелось бы, к этому нужно стремиться; не знаю, можно ли приблизиться к такому образу жизни. Те немногие, кому это удается, имеют или великие сердца, или великие таланты. В математике это выглядит как гипербола, бесконечно приближающаяся к оси. Хозяин идет, а собака бежит в ту точку, где он в данный момент находится, и они никогда не сойдутся друг с другом. Это сюжет для романа, как у Кафки, не хватает только настроения, побуждающего творить, а линия может быть как прерывистой и дрожащей, так и уверенной и четкой. Даже если собака не сможет догнать хозяина, процесс

весьма увлекателен.

Счастливы люди, живущие не образами, а плотью.

Ах, черт возьми, пишу в третий раз то же самое.

Что же остается – стремиться в неизведанные края, чтобы все встало на свои места… нет, это было бы скандальным бегством.

Я запуталась, тщетно пытаясь жить так, как мне бы хотелось, и это, естественно, не очень-то мне удается, я все еще не догнала хозяина. Нужно больше работать, а не витать в облаках, только работа может дать желаемые результаты. Помнить, что я писала о согласии с самой собой. Ты видишь, моя дорогая, я живу фантазиями, а не внешними тяготами – может быть, когда они окончательно добьют меня, тебе уже не придется обо мне беспокоиться. Правда ведь, человек живет не хлебом единым.

Павел настолько окреп, что готов сражаться с любыми трудностями. В его душе живет тот лоскуток тепла, который необходим этому чистому человеку с детской душой. Я очень-очень люблю тебя – и использую для выражения этой любви все возможные окольные пути, не говоря о прямых. Павел тебе скоро напишет, он очень обеспокоен тем, что не знает, останется или уедет. Я целую тебя тысячу раз. Ф.

41. Поезда, вышедшие навстречу друг другу

Бригаду еврейских мужчин допенсионного возраста грозятся отправить на лесоповал, с проживанием в общем бараке. Павел попросил мастера написать ходатайство в еврейскую общину Карловоградской области. Говорят, в некоторых случаях это помогает. Отправив ходатайство заказным письмом, Павел успокоился. Все, что можно сделать, сделано. В Терезине транспортная комиссия будет завалена ходатайствами, которых и читать-то никто не станет, однако мало кто может смириться с тем, что именно он подлежит отправке на восток. Сосед не получил повестку, а он получил – почему? Именно там, где и речи не может быть о «справедливости», это слово станет ключевым.

Прошло две недели. Ни повестки, ни письма из общины не поступило. Продолжаем жить!

Чудный воздух, пахнет снегом, на деревцах, высаженных вдоль дороги, огромные белые шапки, они не искрятся на солнце, поскольку его сейчас нет, скорее тихо мерцают в подсиненной белизне.

Мы теперь ходим к Зольцнерам вместе. Вместо немецкого Лаура преподает чешский, и я учусь вместе с детьми. Это их веселит: «Пани учителка Брандейсова, скажите: “Чтыжесточтыже сребраных стжижи…”» И заглядывают мне в рот. Словно бы все четыреста сорок серебряных чижей должны разом вылететь из моего горла и, пощекотав нёбо и язык, раствориться в звуках чешской речи.

В маленькой движущейся точке Лаура угадывает пастора. Точка вытягивается в вертикальную линию, утолщается и действительно принимает очертания пастора. Он быстро идет нам навстречу. По правилам, завидя нас, он должен перейти на другую сторону. Наша улица – это не проспект, от силы десять метров шириной, так что можно переговариваться через дорогу, не повышая голоса. Как выглядит пастор? Желтое лицо, коричневое пальто до пят, бурая шапка на распущенных седых волосах. Почти поравнявшись с нами, он переходит на другую сторону, кивает в знак приветствия. И мы киваем. Сцена из Достоевского.

Я прицеливаюсь к картине. Желто-бело-коричневый пастор неплохо смотрелся издали, но на первом плане – нет, ни за что! Даже на таком расстоянии его фигура непомерно крупна для композиции. Пастор переминается с ноги на ногу. Хрустит снег,

придавливаемый его подошвами. Он стоит, мы стоим.

Лаура толкает меня локтем в бок.

Чужие друг другу, как два поезда из школьного задачника, вышедших из точки А и В, достигших друг друга в точке С и двинувшихся одновременно в противоположенном направлении, мы продолжаем путь. Пастор незнамо куда, а мы, училки с желтыми звездами, нашитыми на пальто согласно инструкции, выданной еврейской общиной, – никаких булавок: к Зольцнерам.

В Терезине звезды будут намертво пришиты к одежде. Замеченная в этом деле небрежность будет приравнена к преступлению и уголовно наказуема. Еврейский суд, внутренняя тюрьма, все там будет. Как в идеальном государстве, воспетом Конфуцием и Платоном.

42. Врач и больной

Господин Зольцнер открывает дверь. Строгий взгляд черных глаз, сведенные брови. Что-то случилось? Да. Он должен с нами поговорить. Мы, как принято, разуваемся и идем за ним по узкому коридору в комнату.

Он не предлагает нам сесть. Мы стоим перед ним без обуви, но в пальто. В этом есть что-то унизительное. Он не хочет, чтобы мы занимались у него дома. Наше мировоззрение не только чуждо ему, но и опасно для окружающих, для детей в особенности. Но раз мы уже пришли, он нам заплатит. С этими словами господин Зольцнер извлекает из кармана брюк купюру в десять крон.

А в чем, собственно, дело?

В политической платформе. От вас за версту разит коммунизмом.

За десять крон и гримасу отвращения, с которой господин Зольцнер их протягивает, он получает удар поддых. Выше рука не дотянулась.

Не помню, как мы обулись и вышли. Всю дорогу меня трясло, а Лаура хохотала. И вовсе не нервным смехом. – Видела бы ты себя в зеркало!

Ударила бы я Зольцнера, зная, что он погибнет в Освенциме? Глупый вопрос. Даже зная, что нас всех ждет, мы бы не вели себя иначе. Будущее не влияет на настоящее.

Зольцнера отправят из Терезина тем же транспортом, что и Павла. А дочки его будут жить в нашем детском доме, и Лаура будет их воспитательницей.

Моя дорогая!

Я пожираю витамин С, чувствую, становится легче. Меня продолжают колоть, лечение пока усваивается, надеюсь, все установится. Комичные ситуации преподносит нам любовь!

У меня случился выкидыш на малом сроке. Но этот раз мы оба этому рады. Абсурд. Кто-то потом скажет, что терезинским детям повезло, – не имея своих детей, я смогла полностью отдаться чужим. Возможно, так оно и есть.

Порой мне кажется, что я еще вырвусь отсюда. В этой надежде я с жалостью думаю о Диве, у которой куда меньше шансов. Напиши Диве, ей это нужно как хлеб. Письма хороши еще и потому, что позволяют размышлять!

В книге «Врач и больной» приводятся именно те аргументы, которых мне не удавалось формулировать. Врач и больной – это как учитель и ученик, возможность брать и давать, двусторонне.

Лечение, дорогой мой человек, протекает в течение всей жизни и в определенный момент времени требует операции, есть лечение с помощью проповедников, являющихся одновременно и терапевтами, и хирургами. Что это так, показывает опыт: с помощью порошка можно сделать людей счастливыми или печальными, возможно воздействие на желчный камень с помощью какого-то антилогического влияния; для спасения жизни иногда необходима операция, которая уж никак не является терапией.

Возьмем Маргит. Она не возводит вокруг себя стены и при этом прекрасно защищена от организмов с отравляющим действием, она «отталкивает» от себя токсины. Организм подвергается воздействию различных микроорганизмов; он пытается их ассимилировать, и, пока их немного, это ему удается; когда же эти чужеродные вещества, разделенные и раздробленные до мельчайших частиц, попадают внутрь, не встречая сопротивления, начинаются серьезные сбои, поскольку их количество уже не может регулироваться. В настоящее время эти процессы глубоко не исследуются, притом что явления такого рода наблюдаются все чаще. В результате не оказывается ни одного образованного врача, который мог бы поставить мало-мальски приемлемый диагноз; мало врачей, занимающихся этой причиной и ведущих борьбу с интоксикацией.

Я все время перечитываю твое письмо и, в зависимости от настроения, вычитываю в нем то одно, то другое. Твои письма – это признак жизни. Я так боюсь наскучить тебе и все равно всякий раз «пересаливаю», пытаясь осветить проблему с разных сторон.

Утверждение, что сейчас не время для того-то и того-то, сместило понятия, подавило многое, но это многое не исчезло, оно просто застряло в отдаленных областях. Придет время, и именно оттуда и забьет ключ. Вот пример незаконченного дела, механизма, который многие вещи оставляет нетронутыми до определенного времени.

Ты сердишься на меня в последнем письме, ты считаешь, что я тщусь расширить чей-то кругозор, сама мало в чем имея ясность. Смутное может быть прояснено, но это происходит так медленно… Хватит ли времени? Если не довести процесс кристаллизации до конца, на дне останется мутная взвесь. Неизученный остаток… А если дело именно в нем? Эти мысли доводят меня до отчаяния. На сегодня я не вижу пути, который приведет меня к ясности. Существуют, правда, ситуации, когда решения лежат на поверхности, но это обычно на уровне ощущений: «предполагается», «считается» и т.д. и т.п.

Однако человеку нужна уверенность, и он ищет ту инстанцию, которая была бы неподкупна и отвечала самым высоким

требованиям! Для этого-то человеку и нужен бог!

Я намеренно пишу «бог» с маленькой буквы. Иначе получу от Хильды взбучку на десяти страницах.

43. Круговой бег любви

Мои деревья со снежными шапками Хильда увезла в феврале. Они напоминают ей хризантемы – первую картину, которую она получила от меня в подарок в Праге. Гроновских у нее уже чуть ли не десяток, пока все, что она увозит, хранится в Брно, у ее отца, там надежней. Часть рисунков увезла в Берлин Маргит. Это правильная идея – держать картины порознь. У Павла все записано, после войны можно будет разобраться.

Хильда приезжала с Маргит, и именно в тот день, когда я была в совершенно разобранном состоянии. Знай я наперед, что вижу Маргит в последний раз, я и тогда бы не встала с постели. Я лежала, подруги щебетали в изголовье. Как я рада, что сдружила их. Вверять друг другу собственных друзей – самое лучшее, что можно сделать.

Начитавшись про психосоматику, я, как герой Джерома Джерома, поставила себе диагноз. Глаза болят, потому что устали смотреть на чужой пейзаж; желудок болит, потому что устал переваривать однообразную пищу; температура низкая, потому что снижен жизненный тонус; а общее нездоровье – от ожидания, когда нас пересадят из одной мышеловки в другую. И хотя я душевно переношу это легче многих, у меня нет депрессии, я много рисую, читаю, пишу, занимаюсь с детьми, теперь у Хиршей, – но организм бунтует.

Маргит сказала, что Анни с Юдит уехали в Палестину. В Лондоне у Анни обострилась легочная болезнь, и Ганс забрал ее с дочерью в теплый климат.

Анни, Анни…

Никогда не кончится круговой бег любви
Ты слеза, что вечно искрится, но никогда не утоляет жар…
Лишь въедается горько
В лицо того, кто плачет…

44. Пчела

В день получения твоего письма.

Моя любимая!

Итак, у меня опять праздник! Сейчас четверть двенадцатого (полдень), я сижу на солнышке с трубочкой, первая пчела ползет по оконному стеклу и жужжит озабоченно, а мне весело смотреть, как это глупое создание бьется в стекло, а не в открытое окно.

В действительности же я совершенно подавлена, и это выражается в таких «запрещенных», но инстинктивных маленьких радостях, которые отделяют меня от всего мира с его страстями, заботами, самодовольством; одновременно и наказанием, и раем для меня являются угрызения совести (а вот и вторая пчела). В данную минуту я абсолютно удалена ото всех, и в этом мы схожи с пчелой. Разница лишь в том, что у меня нет выбора и мое сознание усыплено. Человек без страха чаще всего поступает правильно – я бы выбрала открытое окно (там временем пчела улетела).

Павел теперь курит трубку. Сигареты стали непозволительной роскошью, а пачки табака хватает надолго, иногда и я балуюсь.

Новые картины мы выставили в сад, дома все еще сыро, и они никак не желают высыхать. К тому же, когда они в доме, руки чешутся все переделать. Краски старые, и, высыхая, картины блекнут. Я даже смотреть боюсь на них. С рамами творится то же самое. Когда я наконец добилась насыщенного цвета, они побледнели. Придется снова доводить их до кондиции.

Сложность происходящих процессов, неразрешимость, неясность мучительных событий, которые приходится переживать, производят разрушительное действие. При наличии твердой веры можно заменить нечто, считавшееся этичным, моральным, на другое, новое и неопределенное (которое пока еще кажется ошибочным).

Я выступаю перед тобой, как перед судом, в качестве представителя достаточно большой группы колеблющихся. Временами сомнение охватывает меня с такой силой, что я готова скорее столкнуться с предстоящими трудностями, чем оказаться не на той стороне.

Моя «мания преследования» заключается в том, что я боюсь обмануть товарищей, которые мне доверяют, или быть застигнутой ими врасплох. Моя «жестокость» есть лишь проявление моей неуверенности. Неясное упоминание об ошибке и о моем расхождении с вами, товарищами, наводит на мысль, что и

«другие» иногда бывают правы. Будь у меня твердая уверенность в том, что товарищи правы, все получило бы свою истинную цену, но только не те вещи, которые завтра будут считаться неверными.

Тот факт, что я могу высказать тебе все, что чувствую, помогает мне набраться терпения и ждать. Кроме того, ты забываешь, что у меня есть сильный противник (Дива), прототип того самого суда, к которому принадлежат и люди типа Лизи и Эльзы, обладающие невероятной способностью к деятельной помощи, я преклоняюсь перед этим качеством, но обладаю им куда в меньшей степени. Ты забываешь, что стремление к объединению, единству жизни, которое встречается повсюду и которое так легко принять за фальшь, у меня является признаком здоровья. Твое умение придавать известным утверждениям товарищей новый смысл мне кажется просто невероятным.

Да, почему человек должен верить в рай? Если бы можно было отнестись к вере без предрассудков, это уже само по себе было бы счастьем.

Я ощущаю теперь (в те лучшие часы, когда я не слишком разбита), что требования Маргит и прочих слишком высоки; я не способна им соответствовать, хотя понимаю их правильность.

Пока что меня спасает регулярное рисование и пребывание на свежем воздухе. Что же касается глаз, им уже не помогут никакие инъекции.

Моя самая дорогая! Пожалуйста!!! Ложись спать пораньше! На тебя столько всего свалилось. От отца я получаю тревожные письма. Он совсем сбит с толку и ничего не может поделать. До свидания, любовь моя. Ф.

Я потому так широко толковала психологию, что пытаюсь найти всеобъемлющий способ объяснить себе людей.

45. Прогулка

Я люблю запах весенней земли (я уже где-то говорила об этом), люблю солнышки-одуванчики и меленькие незабудки с фарфоровых тарелок Фаберже… Люблю молодую ярко-зеленую траву. Люблю весеннее небо с перистыми облаками. Люблю смотреть вдаль сквозь зеленеющие стволы голых деревьев. А уж как все это любит Юленька, человеческими словами не передать.

Мы устраиваем привал под платаном, Павел расстилает скатерть – у него все предусмотрено: торжественно выставляется бутылка пива, стаканы, два яйца и четверть батона. Юленьке вручается сахарная кость – подарок Анны Сладковой. Анна навещает нас, приносит книги, милая, стеснительная девушка, а какая бесстрашная. Кроме Хильды, арийцев в нашей квартире не бывает. Нет, вру. Дуфек приходит показывать рисунки, он упорный, и что-то у него начинает получаться, Зденка Туркова была у нас, когда я слегла, кто еще? Вроде все.

Павел дает мне сделать несколько затяжек. После того как Отто сказал, что в Терезине нельзя курить, я то и дело прикладываюсь к трубке.

Ну и что пишет Хильда насчет товарищей?

Все то же самое. Что я предаю общее дело. Как можно с таким упрямством держаться догмы?

Вспомни себя! Хильда сейчас, как ты шесть лет назад. А еще через шесть лет вы будете с усмешкой вспоминать страстные дебаты на тему партийной линии и оппортунизма. Надеюсь, к тому времени эта тема исчерпает себя.

Но это не я, а Павел встретится с Хильдой через шесть лет, и вовсе не для того, чтоб «с усмешкой вспоминать страстные дебаты». Речь пойдет о моих работах. У Павла будет новая семья, ее надо содержать, а картины чего-то стоят. В жены он возьмет вдову терезинского композитора Шуля, которая родит ему троих детей. Первая дочка будет вылитая я, во всяком случае, так покажется Лауре, но ее не назовут в мою честь – этого еще не хватало.

Чтобы жить вторую жизнь, первую надо запереть на ключ.

46. Что касается души

Моя самая любимая!

Для профилактики мы принимаем витамины, очень помогает. У нас достаточно времени, чтобы подумать обо всем. Все очень сомнительно (я имею в виду исход), и потому всякие религиозные мелочи кажутся важными. Вопросы, которые никогда нас не покидали, такие как ответственность, политика и др., теперь каждый решает в одиночку, в соответствии со своими убеждениями. Однако все не столь безнадежно, скорее смутно и неопределенно, о многом еще предстоит поразмышлять. Я рада, что еще есть время и что мы вместе пока еще способны кое-что прояснить друг для друга. Павлу следует писать на адрес мастерской, туда письма доходят быстрей.

Между нами все меньше неясностей, это радует меня больше, чем ты, возможно, думаешь. Мы будем единомышленниками, теперь это просто необходимо. Твое самочувствие выводит меня из себя. Может, воспользоваться этой маленькой (слишком маленькой, боюсь) паузой и приехать сюда? Хильдочка, кроме шуток!!!

Следует учиться самопознанию. Возможно, я всегда опасалась краха, предвидела его. Правда, человек делает то, что может, а когда что-то не получается, наступает крах, однако не следует так уж слепо доверять себе, лучше относиться к себе с большим недоверием, только в этом случае можно осознать себя и состояться как личность.

С другой стороны, теперешние несчастья, которые ты называешь прививкой против колебаний и раздвоения, укрепляют и закаляют дух для грядущих испытаний. Все это, конечно, переносилось бы проще в менее напряженной ситуации.

Что касается «души», то с этим дело обстоит несколько странно. Я ни о чем не беспокоюсь, я чувствую, переживаю, внутренне на что-то решаюсь, не столь важно, как это назвать. Это занимает меня, приносит радость, но и тревогу. Под каким именем это происходит, мне все равно.

Твой рассказ заставляет меня нервничать по поводу предстоящего, что же касается «выхода», тут не из чего выбирать. Оглядываясь назад, на происшедшее, я могу увидеть, где ошиблась. И что с того?

Ты, вероятно, права, считая, что мазохизм или амбивалентность представляют собой сдвиг равновесия между духовной и физической материей. Конечно, когда оставляешь одну сферу в пользу другой, такой пункт наличествует, так мне

кажется. В биохимии невозможно получить тюльпан с помощью красок. Я могу определить что-то с помощью света и его биохимического воздействия, но не с помощью книги Кьеркегора, уже нет.

Я верю, что логические построения в каком-то отдельном случае и в тех областях, где чем выше точность, тем лучше результат, могут быть верными, однако слитности, или, как ты говоришь, обобщения, таким образом не добиться. Если же частные положения неверны, то мы придем к ложному выводу.

Я как голодная ослица между двумя пучками сена. От Маргит я узнала, что она все больше посвящает себя живописи – это что-то эстетическое; слово «испытание» она каким-то сатанинским образом связывает со словом «душа», в то время как я убеждена, что человек может выдерживать испытания до определенного предела. Беспредельным терпением обладает один лишь Бог, только Он способен вынести любые испытания. Возьми у Маргит «Большое неизвестное». За исключением пугающего меня названия, все представляет собой чистейшую радость.

Когда я слышу от Маргит слово «картинки», то вспоминаю такую истину: «Не создавай ни одной картины, которой нельзя было бы легко понять». Но человек не картина, он не может быть понят легко. Он и сам-то себя не понимает, однако возможность работать над пониманием себя у него есть. Легко понимать – это значит передать другому какую-то мысль, которая еще не вполне сформулирована. С этим связан мой страх перед употреблением слов, имеющих слишком широкий смысл. Мы наделяем их собственным содержанием, оттенками, при этом слышим мы в основном лишь себя, редко когда наши мысли получают новое освещение.

В промежутках между письмами я постоянно думаю о тебе, говорю с тобой, представляю себе твою жизнь – это приводит к тому, что твои письма как бы раздвигают пространство вокруг нас, как если бы никогда не кончалась сказка 1001-й ночи. И Шахерезаде не придет конец, пока не кончится эта жизнь.

Я видела вас во сне, тебя и его, мы ехали по железной дороге, скрылись ото всех, ушли от погони, опять были вместе. Мы блуждали по некоему готическому (ужас для меня) городу. Это было как зарница, как вспышка молнии, как брейгелевский путь на Голгофу в сопровождении хора гитлерюгенда. «Смерть переход, ну а жизнь быстротечна… Марш гитлерюгенд, солнце навечно…» Потом мы оказались в поезде, и я потешалась над твоей безумной элегантностью.

Дива очень мила, но страшно подавлена, я довольна, что ничего не совершила. Часто бывает очень болезненное, но зато

ясное состояние – после него становится лучше. Больше я не стану ничего такого делать. Павел напишет тебе в следующий раз. 100 поцелуев.

Боже ты мой, как я устала. От прокручивания одних и тех же мыслей, от слов, провернутых через мясорубку цензуры, от многословия, которым прикрыт срам.

Я не решилась перерезать себе вены. Это, наверное, проще сделать на пиру, да пировать не с кем. Попробовала напиться таблеток – Павел вернулся с работы раньше обычного. Все кончилось рвотой и черт знает чем. Я так разозлилась на него! Но есть другие методы. Газ, например. Я повернула вентиль. Павел нашел меня на пороге кухни. Не знаю, вовремя он пришел с работы на этот раз или нет.

Разузнай, почему Маргит не пишет. Как у нее дела?

Пишу карандашом: экономлю бумагу. То, что ты говоришь о боге и своей непошатнувшейся вере, очень успокаивает.

Я нашла у тебя такое высказывание: во-первых, сейчас практически нет возможности сконцентрироваться на какой-то одной области. Во-вторых, при всей невозможности познать жизнь остается любовь. Моя дорогая, за одни эти слова тебе следует поставить памятник! Назовем его: «Человек, который живет»!

Павел с сегодняшнего дня у нового хозяина; очень хорошее место. От Лизи никаких известий; мы шлем ей приветы, но она не откликается. Посылаю эти несколько слов письмом, разрешенным властями. Время не пройдет бесследно. Прощай. Всего тебе наилучшего. Не терзай себя так бессмысленно. Ты ничего не понимаешь. Целую. Ф.

47. Считать осколки

Весна – время собачьих свадеб. У Юленьки течка, и она скулит под дверью. Отпустить ее – вернется довольная, и через два месяца у нас будет приплод. Если продержимся. А нет – тоже не страшно. Естество берет верх. В Терезине перед отправкой в Польшу юноши посещали проституток – они становились мужчинами за баночку португальских сардин. Я сняла с Юленьки поводок, и она бросилась за своим собачьим счастьем.

Поют птицы, лопаются почки на деревьях. Что еще сказать о весне? А, вот, из Гёте.

Воздух как будто
Дрожью пронзен.
Сладкая смута
И полусон.

Сладкая смута – это про Юленьку, а полусон – про меня.

Моя дорогая девочка!

Боюсь, у меня не хватит ни места, ни времени (все мои теперешние письма раздражают меня до смерти, все выходит не так, не могу ясно высказать того, что думаю) для достижения желаемой точности. Все больше отвлекают разного рода неизвестности и неясные воспоминания из того малого, что остается. Надо попробовать это остановить.

Твои товарищи считают, что человеку дана жизнь, чтобы умереть, и она целиком принадлежит Делу. Что все должны быть готовы принести ее в жертву Делу. Как научило нас время, это сопровождается такими ужасающими последствиями, как в мире Гойи; но вначале надо определить, что действительно стоит отданной жизни. Возможно, однако, что изменить уже ничего нельзя и что даже при таком неслыханном количестве жертв, которых потребовали прошедшие годы, все войдет в свои берега, с тем чтобы вновь вернуться к проблемам жизни. Я нахожу, что считать осколки – не слишком плодотворное занятие, но я занималась этим и ни за что не сверну со своего пути.

Мои письма должны были, во-первых, объяснить, почему большая часть людей ведет себя так сейчас; во-вторых, прояснить мне самой мое положение. Если бы на месте той почтенной основательности, которая была вначале, не возник чудовищный фанатизм, то культ личности не имел бы таких последствий. Прошу тебя понять меня правильно; здесь кроется причина того,

что я ищу какую-то инстанцию, которая может совершить невозможное. Точно так же, как и ты, я не вижу иного пути прийти к какому-либо решению. Мы приходим к согласию там, где дело касается основ, теории, того, что мы при наших возможностях частично понимаем, сознаем, частично находим настолько не подлежащим обсуждению, что полностью принимаем на веру.

Чтобы не снижать порыва воодушевления (который проявился в начале), культ личности замалчивался. Зачем пугать сторонников великой идеи? Ошибки были прикрыты лозунгами, бесконечным лицемерием, стало невозможно иметь собственное, отличное от других мнение. Люди стали опасаться задавать друг другу вопросы. Чтобы спрашивать, надо много знать, а мы не знали даже, в каком направлении задавать вопросы.

На сегодня заканчиваю, т.к. хочу кое-что узнать о тебе и кое-что рассказать. Первая и самая добрая новость – открытка от Лизи. В ней нет ничего, кроме приветов друзьям. Главное – она жива. Дива опять постриглась, хороша как картинка и необыкновенно привлекательна. Ее проповедник, в точности как я и предсказывала, оказался неприятным субъектом. Недавно Дива сказала, что она рада, что не замужем. При ее нынешнем положении было бы бессмысленно это оспаривать.

Возможность поговорить здесь с Ланге появится в июне; скорее всего, в середине месяца.

Павел сейчас самостоятельно делает мягкую мебель, столы, кресла, шкафы, проявляет себя теоретиком.

Все вечера Павел чертит, расставляет размеры. Второй Франц. Смешно, на старом конверте, подписанном Францем, я увидела чертеж стула, выполненный Павлом. Он рисует на всем, что под руку попадется. Элегантностью его произведения не отличаются, но зато линии выходят прямыми без всякой линейки. Признаться, я с большим удовольствием заваливаюсь с книжкой в мягкое кресло Павлова производства.

Глаза стали лучше, но из-за гранулем, возможно, придется удалить все зубы. Никто не обращает внимания на твою орфографию, и уж меньше всех я. Множество поцелуев. Павел тебе напишет.

48. Макабрический хохот

8.4.42

Моя самая любимая!!!

Павел ушел на работу, а у меня начинаются самые лучшие часы дня, и я пишу тебе. Две книги – «Панорама» и «Врач и больной» – произвели на меня сильнейшее впечатление. Ты их уже прочитала? «Врач и больной» могла быть, по моему представлению, написана Кутемайером, я о ней до сих пор ничего не слышала. Она построена как произведение искусства и, как всякое настоящее произведение, отражает время в его течении. Книга окрыляет, поднимает ввысь. Однако долгое, может, даже слишком долгое пребывание во взвешенном состоянии не отменяет вопроса о приземлении: на какую же землю ты теперь опустишься?

То, что сейчас происходит, вероятно, продлится дольше середины мая. Всякий опыт, который дается человеку, когда-нибудь приходит к нему в первый раз. Теперь уже немного лучше. Целую и обнимаю тебя, моя дорогая девочка. Твоя Ф.

Мы получили уведомление, что евреи Краловоградской области должны готовиться к сборам. Не успели мы сообщить об этом друзьям, как этот приказ отменили, вернее, заменили на новый: «Сдать домашних животных». Логично. Зачем им после нашего отъезда собирать по домам еврейских собак и кошек, если мы все это можем сделать сами. Инструкция прилагается. Заполнить формуляры на все виды животных в доме, обязательно указать – зачем? – наличие кошек, собак и птиц, живущих по соседству в арийских семьях. Сокрытие или передача домашних животных в чужие руки строго запрещены и караются законом. На евреев – иностранных подданных – этот указ не распространяется. Господа евреи, ваше добровольное участие будет по достоинству оценено Рейхом! Внизу – адреса приемных пунктов в Градце Кралове. И дата. Что делать?

Погоди, – успокаивает меня Павел, напишем Хильде, она приедет…

Но как она заберет Юленьку?

Хильдин отец затребует Юленьку для особо важного научного эксперимента.

Пока мы думали, как написать Хильде, чтобы она поняла, в чем дело, пришла новая повестка. Сдача животных откладывается на месяц. Вместо этого сдать радиоприборы и электронагреватели.

Все сдам, лишь бы не трогали Юленьку!

Павел привязан к ней больше меня. Я любила Пегги. Но это к

делу не относится. Почему мы вообще должны что-то сдавать? А если бы они велели сдать голову?

Прислали бы инструкцию по упаковке!

Вынуть золото и серебро из ушей и рта (металлические коронки оставить), протереть лицевую часть головы нашатырным спиртом, уложить волосы вокруг лба по часовой стрелке…

Это вряд ли, – смеется Павел, – с моими волосами данную процедуру произвести невозможно. А что делать лысому Штраусу?

Завернуть лысую голову в тряпку и принести на пункт сбора по адресу такому-то.

Господа евреи, ваше добровольное участие будет по достоинству оценено Рейхом!

Макабрический хохот.

Моя дорогая!

Твое письмо проникнуто грустью, и я, как и ты, чувствую, что мы становимся богаче посреди этого всеобщего обнищания. Не могу даже передать, как я рада, что у меня есть ты, и я верю, что мы будем счастливы.

Хочу попросить тебя. Мои родители так беспомощны и не приспособлены к жизни, что было бы славно, если бы ты о них немного позаботилась.

Я поручила Диве, чтобы она написала сама. Мне теперь пришло в голову, почему люди так разобщены – особенно это заметно в маленьких городах. Другого человека можно постичь, только познав себя. Семья, природа, работа – все это объективно расширяет наш мир; поэтому в большом городе жить легче. Но и в маленьком можно самосовершенствоваться.

Если серьезно рассмотреть наше будущее, это не что иное, как расширение внутреннего мира. А как тебе понятие «божьей милости»? Все, в том числе те, кто этого совсем не достоин, вдруг получают нить Ариадны и достигают просветления. Человек, живущий так мало, не может постичь одновременность нескольких событий, их молниеносное совпадение. Не за то ли мы ценим мечту, что она подменяет широтой глубину?

Ты не сердишься на меня за то, что я такая, какая есть?

Крепко обнимаю тебя! Ф.

Я уже стала лучше видеть – результат десятинедельного лечения.

49. Родственники

Мы с Павлом получили разрешение на поездку в Прагу. Повидаться с семейством, проводить в Терезин Бедржиха с Йозефой. Я не видела их со дня нашей свадьбы. Старший брат, долговязый, сутулый, с прядью волос, уложенной вокруг большого лба для прикрытия проплешины… «Сдать голову!» Вот ведь придумаешь глупость… Лучше опишу Йозефу. Она узколицая, с утиным носом и такой же походкой.

Странно прощаться с теми, с кем и познакомиться не успел.

Встретимся в Терезине, – утешает меня Йозефа, – и уж там будем держаться вместе, там-то не разъездишься.

Чтобы поцеловать Бедржиха, Аделе приходится вставать на цыпочки. – Весь в отца, – говорит она, утирая слезы тыльной стороной ладони.

Через несколько месяцев мы снова приедем в Прагу – провожать Аделу. Она запакует весь дом в чемоданы и мешки и так от этого устанет, что одна только мысль о том, как она одна дотащит пятьдесят килограмм груза до Терезина, покажется непереносимой. Остальные вещи переедут к Отто, и его жилище превратится в склад. На работе склад и дома склад.

Адела дорогу выдержит. Но каково же будет ее горе, когда ее в Терезине не встретят Бедржих с Йозефой. К тому времени их депортируют в Польшу. Эти сведения она передаст Отто. Значит, и из Терезина можно угодить в Польшу. Осенью Отто получит сообщение, что и Адела в Польше. И, судя по всему, не в Лодзи. Иначе Лизи бы сообщила. От нее мы ежемесячно получаем тридцать слов. Раз от тех, кого отправили из Терезина, не поступает известий, значит, есть и другие места в Польше…

Пока мы едем из Праги в Гронов.

Павел, ну что они пялятся на наши звезды!

Это тебе кажется, на самом деле они от нас отворачиваются.

Мы и они. Не знаю, как бы я вела себя, оказавшись на их месте.

50. Третий переезд

Нас попросили и из этой квартиры. Теперь у нас будет одна комната на чердаке разваленной хибары. Маленькое оконце под самым потолком. Павел предложил повесить гамак, чтобы я могла рисовать небо. Всю мебель мы отдаем Зденке Турковой. Судя по состоянию стен, этот чердак пустовал не одно десятилетие. Нам дали месяц на ремонт и переезд. Но все лучше, чем Терезин.

Дорогая!

Рада, что мы снова встретились на полпути. Если быть до конца откровенной (не преуменьшать того, что чувствую), твоя выдержка, терпение, резкость без злобы, надежность твоей дружбы, тепло твоего сердца сделали твою помощь эффективной.

Иногда мне больно оттого, что ты оставляешь без внимания то, что я тебе пишу в ответ на твои вопросы, с трудом преодолевая себя; речь о моей нынешней позиции по отношению к товарищам. Я знаю, что осложняла этим размолвку, но я вынуждена была определить свою позицию, упорядочить ее, я делала это под твоим давлением, а подобное давление может оказывать только тот, в кого безоговорочно веришь и чувствуешь, что им любим.

В диалоге так не выходит: когда столько тем для обсуждения, живая речь не дает времени справиться с эмоциями.

Надеюсь, что наши отношения будут развиваться и впредь! Знаешь, для меня, как и для тебя, это мост в новую жизнь, я не говорю о грядущем интермеццо.

Часто, когда ничего не получается, я думаю про себя: так тебе и надо, видимо, ты должна лицом к лицу встретиться с самым трудным, и это – оправданные усилия, даже при неудачах. Какой бы страшный клубок противоречивых устремлений ни запутывал меня, я все равно выпутаюсь.

Мы столько всего передумали впрок, что устали и притихли (все, кроме Дивы); постепенно смиряемся с мыслью, что это житье потихоньку умирает и начинается новое. Во всяком случае, я надеюсь стать наконец частичкой твоей творческой жизни, чтобы еще плотней с тобой сблизиться (тем временем нашелся человек, который привезет тебе твои картины).

С белками, кажется, произошло недоразумение. Мне они нужны для растирания красок, а при 4 штуках в месяц это героическое самопожертвование.

Дива приготовила к отправке половину коричневой длинной кофты (троакар) для тебя. Не пугайся, что она мятая, отгладь ее

через мокрую тряпку.

«Друг изучает испанский», конечно, не будет готова полностью. Я слишком рассредоточена. Надеюсь, смогу написать тебе еще раз. 1000 объятий и поцелуев, люби меня, твоя Ф.

Хильда попросила сделать ей копию картины, но пока ничего путного из этой затеи не выходит. Копируя собственную вещь, начинаешь ненавидеть ее так, что даже более или менее удачные детали не можешь воспроизвести прилично.

Моя дорогая девочка!

Из-за того, что полотно плохо загрунтовано, испещрено неровностями, Фридл сделала новый грунт, но пока безуспешно. Придется еще поработать. Дальше рисование не продвигается, потому что Фридл под таким впечатлением от побед и флагов, что не в состоянии ничего делать.

Как работа, на что ты живешь? Мы получили квартиру. Я занята упаковкой вещей и переездом, потом уеду за город.

Павел во время отпуска работает в поле. Загорел, похудел и очень доволен. В начале следующей недели приезжает Отто, мне предстоит много готовить. Я поняла, что ты очень загружена работой; надеялась, что ты хоть теперь побываешь в моем загородном доме. В любом случае там есть лишнее спальное место, так что можешь приезжать. В следующий раз вышлю тебе маленький план нашей квартиры, чтобы ты увидела, где ты будешь жить. Огромное спасибо за все! Обнимаю много раз. Целую. С приветом. Вероника.

51. В дождь

Хильда, как всегда, подоспела вовремя. Срок сдачи домашних животных заканчивается через три дня. Хильда надеется, что сможет довезти Юленьку до Маргит. Но уж точно не до Гамбурга, куда она недавно перебралась. Во Франкфурте у нее были приличные соседи, могли бы, если что, присмотреть за Юленькой, в Гамбурге – нет. План нашей квартиры Хильда получить не успела, но я сводила ее полюбоваться на наш чердак. Чтобы знала, где найти нас в случае, если мы тут задержимся.

Моя самая любимая!

Меня все больше одолевают опасения по поводу наших отношений. Для того чтобы не усложнять их, я хотела бы высказать два пожелания: 1. Не давай нам денег, мы в этом не так нуждаемся. Опасно привыкнуть к помощи и принимать ее как должное, такие вещи, увы, происходят незаметно. Говорю о себе, к Павлу это не относится, не только потому, что в этой истории его хата с краю, просто он не такой, как я. Нужда лишает это рассуждение смысла; однако и без нужды это причиняет мне ужасное беспокойство. 2. Если я что-то для тебя значу, веди себя хорошо: заставь себя рано ложиться спать (не пораньше, а именно рано), ты расточаешь все свои силы на нас и не думаешь о себе, это меня пугает. Почему ты так безжалостна к себе? В книге «Врач и больной» есть описание того, как врач должен помогать самому себе.

Сегодня идет дождь, и я жду письма от тебя. Как всегда, пребывание Ланге затмило все вопросы, которые я хотела задать. Мы еще будем черпать силы из этого источника! Только бы он не иссякал! Пожалуйста, когда сможешь, ответь на мои старые письма. Я бы хотела получить фото Юленьки. Многовато всего было, однако тоска не унимается. Множество поцелуев. Ф.

52. Летние мысли

Близится сорок четвертый июль моей жизни. Я люблю лето, тепло, высокие травы, полевые цветы, сладкий запах кашки и клевера, невозможно перечислить все, что я люблю. В июле любовь атакует меня со всех сторон – то голубой змейкой реки, петляющей по крошечной деревеньке с красными крышами в зеленях, то высокими мальвами у белого плетня – глаза, привыкшие рыскать по Гронову, отдыхают здесь на каждой травинке, на каждой зазубринке ребристой коры. Природа вызывает во мне приступ лихорадочного возбуждения, руки дрожат, когда я прикасаюсь к тюбикам с красками, купленными, кстати, на Хильдины деньги.

Последнее лето свободы пало на Ждарки. Главное, тут не надо носить звезду, некому ее предъявлять, разве что надутым индюкам да козам на лугу! Хутор Книтла стоит на вершине горы один-одинешенек, склоны покрыты лесами, и, нарисовавшись, я хожу за ягодами да по грибы. Если нам дан один день… Землянику в банку, грибы в корзинку, чего еще тут желать.

В дождливые дни в поле делать нечего, и мы с Павлом, распивая чаи, читаем по-чешски «Бабушку» Божены Немцовой, чувствительный роман о тяжкой женской доле. За годы совместной жизни скорее Павел продвинулся в немецком, нежели я в чешском. Эльза написала Лауре: «учи Фридл чешскому» – значит, для Терезина это важно. Мне уже удается прочесть полстраницы «Бабушки» без единой запинки.

Я потеряла 8 лет в смысле языка, но кое-что все-таки приобрела. В последнее время, которое для меня как подарок, я особенно рада тому, что могу говорить по-чешски, и надеюсь занять свое место.

Еще я решила сделать Павлу сюрприз – сварить варенье. Вывалила землянику в кастрюлю, поставила на плитку и побежала к госпоже Книтл узнавать, сколько сахару нужно на литровую банку, она сказала – кило. Вернулась, а сахара у нас с гулькин нос. Сюрприз не удался.

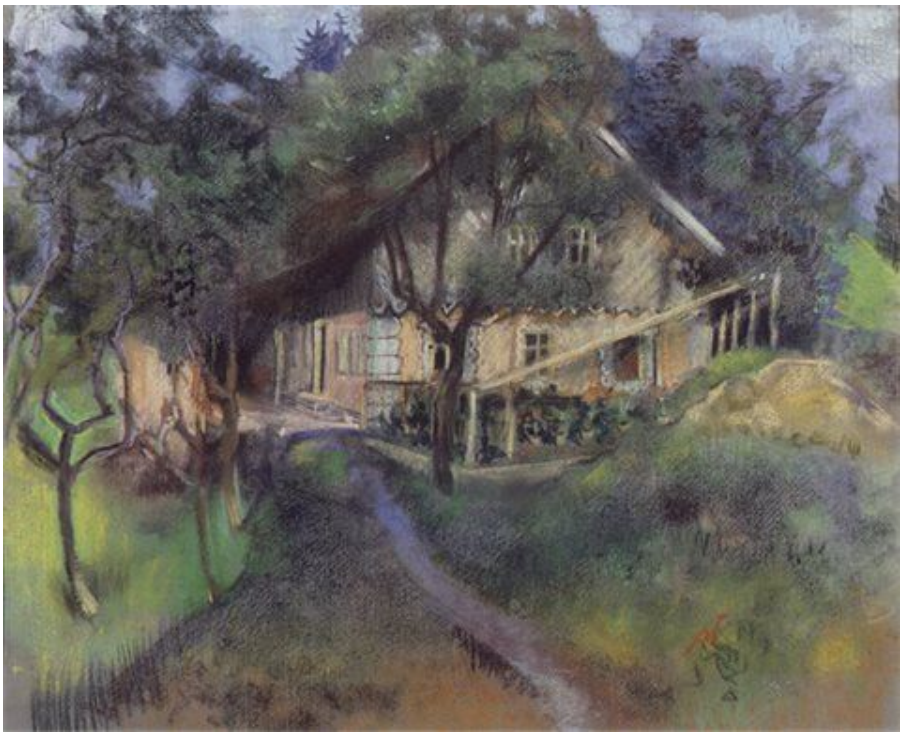
Моя любимая!

Я прочитала еще раз книгу «Врач и больной» для того, чтобы проверить себя. В конце концов, пора переходить от сомнений к выводам. Ты для меня ни в коей мере не являешься представителем другой стороны, не знаю, почему ты сделала такое заключение. Напротив, по склонности к самопожертвованию и отсутствию упрямства ты единственная в своем роде.

Я повторяю то, что писала тебе раньше: впитывание

предыдущих открытий, появление новых идей и выработка нового «словаря действительности» является естественным результатом смены поколений.

Все, что есть в Новом Завете, можно найти в Ветхом. Это одновременно правда и ложь.



Не обижайся на мои рассуждения. Я с вами, насколько это возможно в теперешних проклятых обстоятельствах. До середины июля Ланге могла бы приехать без затруднений. Целую. Ф.

Моя любимая! Как всегда, следует дополнение. Письмо, написанное давно и отосланное Маргит, такое же разбросанное, как письмо к тебе, но Павел их уже отправил.

Теперь время не для уточнений (что я всегда охотно делаю), а для обобщений, и друзьям должно быть ясно, что лучшего ждать не приходится. Я должна переписать часть книги «Врач и больной», чтобы выбрать оттуда то, что приносит мне успокоение.

Как говорилось когда-то, там, где вы чувствуете себя как дома, там ваше место, там исследуйте, обдумывайте, обучайте. «Дома» не нужно искать какой-то новый язык, здесь все узнаваемо – и слабости, и неприятности, все, что утаивается от чужих.

В тот момент, когда я снова пришла в себя, у меня было такое чувство, что я на своем месте, что я себя понимаю как никогда раньше. «Не следует ни клясться, ни проклинать» – все эти

заповеди нашли подтверждение во мне; в точности так же, как было со мной, ребенком, и моим отцом, когда я сказала: таким наше поколение никогда не будет! Теперь-то я понимаю, что поколение моего отца вовсе не было таким жестоким, как мне казалось в детстве. Я просто безумно боялась жестокости, и преднамеренная злость производила на меня несокрушимое впечатление. Точно так же обстоят дела с речью, которая для меня трудна, – я так и не изучила язык (теперь, когда уже поздно, я пытаюсь это исправить).

Между тем благодаря тебе, благодаря доверию, любви и интересу, которые ты во мне пробудила, я приобрела способность говорить, снова научилась владеть языком. Но и благодаря Диве, которая учила меня, и благодаря 6-летнему замужеству, в котором я иногда говорила, иногда молчала, пока не убедилась в том, что это безобразие.

Последние три года дали возможность свободно поразмыслить о многом, что мне очень помогло. Вспомни об этом при случае.

53. Раритеты

Отец с Шарлоттой в Терезине. Отто сказал, что сейчас туда депортируют стариков из Германии и Австрии. Их бригада раз в месяц загружает товарный вагон, который прицепляют к составу. Еврейская община переправляет в Терезин медицинское оборудование и медикаменты – значит, там много больных. Во время погрузки можно положить туда кое-что для своих, на станции Богушовице вагон разгружают наши ребята, все, что найдут, передадут по назначению.

Но это еще не все новости. В Клаусовой синагоге создают центральный еврейский музей, зачем он понадобился нацистам, никто не знает, но Отто с бригадой перетаскивают туда раритеты. Списки составлены какими-то крупными специалистами по иудаике, там и предметы культа, и посуда, и ковры… Людей депортируют, а их вещи выставляют в музее. Кто будет его посещать?

Новая вещность. Именно к этому течению меня впоследствии припишут. Действительно, с вещами творится что-то невероятное. Их отдирают от стен, выносят, как гробы, из дверных проемов, перетаскивают из квартиры в квартиру, перевозят из дома в дом, сдают на сборные пункты, складируют в синагогах, выставляют в музее. Они потеряли почву, потеряли хозяев. Совершенно никчемные вещи кончают жизнь на фабриках по переработке вторсырья. Разумеется, после предварительной сортировки. Они возвращаются туда, откуда взялись, – железо к железу, дерево к дереву, стекло к стеклу…

Говорят, в роскошные или во вполне приличные еврейские квартиры селят офицеров с женами и детьми, и из таких квартир

мебель не вывозят. Только предметы еврейского культа, если таковые имелись. Иногда и это оставляют, ведь не всякий немецкий офицер знает, что серебряные кубки предназначены для «ритуальных возлияний», а в маленькой металлической палочке на притолоке двери спрятан миниатюрный свиток торы.

Из вещей моего детства в памяти остался один целлулоидный пупс, которого я в попытке оживить уродовала как могла. Из-за пупса мы и познакомились с Шарлоттой. Сначала ей понравился пупс, потом мой отец. Они поженились, а вот куда девался пупс?

54. Милосердие

29 июля 1942

Дорогая моя! Жаль, что тебя так рассердило мое письмо. Эта форма не мной придумана – писать первую и третью страницы нормально, вторую и четвертую поперек. Но сегодня я купила промокашку. Отныне, если уж кое-кто так придирается, буду переписывать начисто. Посылай мне такое письмо обратно; когда, как в этот раз, ты, не цитируя, ссылаешься на что-то, что я писала, я не понимаю. Отвечу на то, что вспомню. Если письмо случайно сохранилось, пришли его мне. А я пришлю тебе твое (нужное выписала). Объясни подробнее подчеркнутые места; не думаю, что это написано просто в гневе, видимо, эти вещи давно тебе мешают; я только не знаю, к чему они относятся.

Ты слишком много работаешь, что само по себе ужасно, конечно; с другой стороны, можно и позавидовать, что есть так много работы, поэтому я не понимаю твоего отчаяния. Я как раз сейчас читала книгу, где говорится, что нужно уметь распределять силы и не жить на капитал, именуемый здоровьем. Правда, бывают периоды рабочей горячки, их выдерживают, если дело стоит того.

В свое время я разрывалась между работой за кусок хлеба, уроками, беготней, живописью и личной жизнью. Теперь при наличии времени, покоя и многих исполненных желаний плюс большее понимание сути я бы жила иначе.

Чтобы понять, как я к этому пришла, сошлюсь на книги «Человек – судья», «Воскресение» Толстого, «Дело Маурициуса» и «Записки из Мертвого дома»; если ты когда-нибудь на них набредешь, то будешь воспринимать иначе то, что я тебе писала.

Все, что ты придумываешь на тему религии – ад и прочая жуть, – для меня не существует. Либо ты говоришь это, дабы исповедаться, либо в качестве провокации – это тоже своего рода испытание любви к ближнему.

Ты говоришь о форме жизни (Иисус и апостолы). Ни сами они не жили на необитаемом острове, ни их природа не предполагала, что они смогут там жить. (Мастер Экхард: чистая созерцательность есть эгоизм.) Впрочем, каждый из нас живет на том острове, на котором хочет. Самостоятельно отважиться жить без родины может либо отъявленный мазохист, либо тот, у кого в запасе есть другая родина.

Форма сосуществования учеников Иисуса основывается на тех же принципах, которые и мы считаем правильными, но не исходит из одного лишь этого правила. (Жизнь по тем нормам, которые ты описываешь, скорее смахивает на монашество.) Люби ближнего своего, как самого себя, не меряй разными аршинами (первый постулат просто теплее и мягче, но с тем же значением, и грехи караются, совершенные не против Меня (Иисуса), а против Святого Духа). Это и есть вера, но, если, веруя, ты все же сомневаешься, поступай по велению совести. (Пожалуйста, не раздражайся словом «милосердие»; здесь мне следовало бы включить описание понятия «милосердие», что буквально означает «готовность помочь, простить из сострадания».)

Огромное спасибо за бланки для отправки посылок Лизи, мы

ими пользуемся и регулярно посылаем. Писать ленивица не пишет (ответ обычно на одно из пяти писем, в этот раз на 2-е), Эльзинко тоже. Если хочешь, мы пошлем Лизи от тебя парочку веселых страниц, пусть повеселится.

Павел поедет, вероятно, на несколько дней в Прагу.

Я нервничаю с тех пор, как услышала, что у вас были гости, и очень недовольна обходными путями нашей переписки. Не будем топить в словах то, что нам и так ясно и что мы друг о друге знаем и без слов. Ты права, нужно помнить о человеческом несовершенстве и судить с поправкой на это.

Человека не утешает, что со временем восприятие притупляется. Что это был бы за материал, если бы он так легко давался? Что до процесса, исторически я его объясняю так: любое политическое движение, приводящее к революции, имеет характерный для него внутренний масштаб (интенсивность, продолжительность), люди же подразделяются на два типа – революционеры и консерваторы. Революционеры – счастливые романтики, консерваторы – брюзгливые реалисты. Массы, живущие надеждой на рай земной, примыкают к первой категории. Они идут за вождем, который не может ошибаться. Ни в чем. Авторитет, на который возложены великие духовные и практические задачи, притязает на непогрешимость. Возникновение культа личности в этой ситуации вполне предсказуемо. Опасность тут даже не столько в принятии неправильных решений, сколько в том, что тиран становится примером для подражания, и все, от бургомистра до завскладом, будут копировать его слова и жесты.

Думать об этом ужасно, особенно если все происходит не в тесном кругу и не под контролем, который мог бы предотвратить или по крайней мере смягчить самое страшное.

Можно ли приобрести репродукцию (открытку или нечто подобное) картины, которую фюрер купил на выставке в 1939, ню (жен.) в шлеме, кажется; аллегорич. фигура. Здесь интересуются нынешним немецким искусством. Если да, пришли 1–2 самых дешевых.

Шарлотта и Симон уехали. Он ужасно слаб. Жду почту. Боюсь, придется ждать долго.

Еще раз огромное спасибо за книги. Хотела бы и могла бы читать день и ночь. Но нужно время, чтобы ко всему приготовиться.

Много раз целую. О нас рассказывать нечего. Мы живем очень хорошо. Павел тощий, но бодрый и читает здорово! Понимаешь ли ты, что мы уже замечательно читаем по-чешски, и тебе надо выучить!

55. Советский рай

Я полощу рот раствором ромашки и выплевываю кровавую воду. Десны опухшие, зубы враскоряку. Безумный вид. Особенно когда улыбаюсь. Может, у Павла появилась в Праге любовница? Зачем он уехал? Что, если его схватят на улице и отправят неизвестно куда? После убийства Гейдриха евреев отлавливали на улице и отправляли штрафным транспортом. Никто из них не попал в Терезин, сказал Отто.

Я сижу за столом, стиснув зубы, пытаюсь читать про врача и больного. Строчки прыгают, предложения расплываются. Спесивые индюки прохаживаются мимо окон, смотрят искоса. Стоит насыпать проса в миску, спеси как не бывало. Головы долу!

Индюков порадовать нечем – просо кончилось. Но можно порадовать себя – прогулкой в Находе. Час туда, полтора обратно. Убивать время жалко. Но без толку смотреть в книгу – еще хуже. Я кутаюсь в шерстяной платок. Старуха.

Предзакатный ветер дует в спину. Шумят деревья, стелется дорога – жизнь идет. И Павел идет навстречу, в руках сумки, за плечами Хильдин рюкзак.

Слава Богу, ты в порядке, – говорит он, – почему-то на обратном пути меня разобрала такая тревога…

Скорее всего, мы оба сошли с ума.

Шпикачки от Отто! Мы разводим костер, кидаем в него сухие сосновые шишки, они трещат и искрятся, как бенгальские огни. Сардельки разбухают на глазах, вот-вот лопнут.

Павел заливает горящие угли водой из ведра, и мы, пригибая головы, забираемся с едой в наши хоромы. Потолки в хлеву нормальные, только дверь низкая.

Я поворачиваю вентиль на керосиновой лампе, и комната наполняется светом. Павел приносит из кухни тарелки, вилки, ножи, стаканы и салфетки, выставляет на стол две бутылки пива и рогалики.

Какое блаженство – наесться досыта, и не абы чем. Видя, как я тщательно вытираю тарелку хлебом, Павел достает из рюкзака булочки с маком, целый пакет.

Ты встречался с принцессиными родителями?

Нет. Это Мария для тебя испекла. И еще она послала лично тебе жасминовый чай. Я и не знал, что ты его любишь. Видишь, не зря в столицу ездил!

Ну и как столица?

Лучше не спрашивай. Немцы да бледные перепуганные чехи. Наших на улице не видно, разве что в еврейском квартале. Хотя

примерно четверть пражских евреев еще ждут своей очереди, живут как одичалые, никуда не ходят.

А куда там можно ходить?

Например, на выставки. В Народном музее – «Великая Германия», в Художественно-промышленном – немецкая мода… Вход свободный, очередей нет. Зато в галерею современного искусства народ валит валом.

Что же там дают?

«Советский рай»!

Это тот самый зал, около Академии художеств? У Стромовского парка? Там, где живут огромные старые вязы с переплетающимися корнями? Ты был там, ты их видел?

Фридл, я хоть и не одичалый, но еврей. На Стромовке чуть ли не на каждом углу стоит щит с предупредительной надписью: «Евреям вход запрещен». Однако триста тысяч расово чистых посетили «Советский рай» за один месяц. Экспозцию привезли из Берлина. Это я прочел в газете. Каталог привез. Завтра покажу.

Почему не сегодня?

Потому что на сегодня у меня другие планы.

Какие?

Спать.

Спи, а я посмотрю картинки. Там есть картинки?

Есть, там все есть… – бормочет Павел, уплывая в сон.

Расстрельная камера в подвале ГПУ.

«За железной дверью этой камеры смерти, по показаниям одного попавшего в плен комиссара, были расстреляны ГПУ за шесть лет почти 5000 человек.

Камера облицована кафелем. Приговоренных к смерти заводят внутрь и убивают выстрелом в затылок. Труп оттаскивают в сторону, шлангом смывают кровь с кафеля, вентилятор обеспечивает свежий воздух, чтобы следующий приговоренный не потерял сознание от запаха крови; он должен до последней минуты оставаться в сознании.

В другой камере, еще более тесной, выбивают признания; в ней заключенные вынуждены часами стоять на коленях. Если они выпрямляются, то ударяются о потолок, звучит сирена и включается прожектор, который светит им прямо в глаза. Если они садятся на узкое сиденье, то получают удар электрическим током, который заставляет их снова вскочить. Деревянный шип у двери постоянно давит заключенному в живот.

Однако самый жестокий инструмент террора ГПУ – это лагеря, где гибнут миллионы невинных людей.

Все начинается с доноса, часто внутри собственной семьи; ночью ГПУ стучит в дверь и забирает жертву. У человека,

изнуренного бесчисленными допросами, с помощью пыток выбывают признание. Вне зависимости от приговора его отправляют в лагерь.

В лагере заключенных набивают в тесные бараки. За малейшее нарушение накладываются ужасные наказания, например заключение в темную ледяную камеру. Постоянное перенапряжение сил, недостаток еды и отсутствие медицинской помощи приводят к тяжелым заболеваниям. Больной заключенный переводится на голодную норму, чтобы ускорить смерть; неполноценная рабочая сила ГПУ не интересует, она подлежит быстрому устранению».

Какой ужас…

А Павел спит себе. Наверное, он этого не читал.

«Еврей Маркс-Мордехай изобретатель марксизма. Нынешнее Советское государство есть не что иное, как практическая реализация еврейского изобретения.

Между обоими историческими фактами лежит собственно большевистская революция, с помощью которой еврейство истребило лучшие силы Востока, чтобы стать абсолютным властителем региона, опираясь на который оно надеялось со временем достичь мирового господства. Для этого надо было, чтобы в 1917–1921 гг., по данным ГПУ, около двух миллионов человек погибли от рук палачей.

Однако непосредственным следствием этой революции были периоды ужасного голода, потребовавшего между 1917–1934 гг. 19 миллионов жертв. Всего вследствие развязанной евреями революции потеряли свои жизни более 21 миллиона человек.

Еврейский большевизм использовал полученные в свое распоряжение богатства для создания армии, которая и осуществила тотальную революцию. Население евреев не волновало, оно должно прозябать в нищете.

Тот, кто будет искать виновных, обязательно повсюду наткнется на евреев. Разве не показательно, что слово “антисемит” в Советском государстве числится одним из самых тяжелых обвинений?

Один взгляд на статистику евреизации высших государственных ведомств Советского Союза все объясняет. Едва ли не все министерства, называющиеся согласно большевистской терминологии “народные комиссариаты”, управляются почти исключительно евреями.

Тем, что Советское государство есть порождение еврейства, легко объяснить и жестокую эксплуатацию рабочей энергии населения, которое безжалостно приносится в жертву целям еврейской мировой революции».

Кто подарил тебе это сокровище? – спрашиваю я Павла, и он отвечает, не открывая глаз:

Чешские друзья.

Что еще за чешские друзья?

Павел просыпается, смотрит на меня из-под локтя.

Мы с Отто помогли им проявить кое-какие снимки в еврейской общине.

Что же они думают про «Советский рай»?

Что это немецкая агитка.

Агитка? Но там же фотографии, документы, что может быть правдивей?

Фридл, ну что ты, на самом деле, мои друзья-чехи не дураки и не антисемиты. Они помогают сопротивлению. Наш народ для немцев уже не существует.

Наш – это какой?

Чешский, какой еще.

В Терезине Павел будет членом чешской подпольной организации, состоящей, понятно, из евреев. Смысл ее деятельности мне так и остался неясен. А я буду заниматься рисованием с мальчиками, чьих отцов расстреляли в Берлине у них на глазах. За попытку сорвать выставку «Советский рай».

«Я сплю на досках при свете свечном.
Но время придет, и увижу в упор,
Что был я всего лишь маленьким существом,
Таким же крохотным, как этот хор
Из тридцати тысяч жизней,
Замолкших тут.
Однажды воскреснут на милой Стромовке они,
Поднимут холодные веки,
Глянут во все глаза на текущие дни
И снова уснут
Навеки».

Госпожа Брандейсова, вам нравятся мои стихи?

С Ганушем Гахенбургом мы встретимся скоро. Но не «там, вдалеке, где детство уснуло сладко на узеньких тропках Стромовского парка…», а в детском доме для мальчиков.

Павел, проснись, – трясу я его за плечи, но он не шевелится. – Павел!

Что случилось? – спрашивает он, не открывая глаз.

В том-то и дело, что ничего.

Так это же хорошо, когда ничего не случается. По крайней мере, ничего плохого.

Надоело мне все! И еще эти индюки…

Тогда едем в Гронов. Увидишь людей, запросишься к

индюкам.

56. Без Павла

На подходе к дому нас остановил полицейский с повесткой в руках. «Павел Брандейс? Распишитесь о получении».

Трудовой лагерь. В шесть утра быть с вещами на перроне.

Когда?

Завтра.

А если бы мы остались в Ждарках? Кто бы нашел нас на этом богом забытом хуторе? Книтлы могли бы сдать нас, но вряд ли. Если бы за нами не пришли, они бы не стали доносить.

Павел побежал на почту звонить Отто, может, тот что-то знает о трудовых лагерях.

Вернулся успокоенный. Да, они существуют, чуть ли не повсеместно. Следует подчиниться. Иначе отправят в Дахау.

Мы упаковали большой Хильдин рюкзак.

Ранним утром бригада собралась на перроне. Немцев не было, зато был очень грубый еврейский начальник.

Жены и дети собрались у вагона. Зольцнер тоже едет. Что будет делать там этот белоручка? Зачем-то явилась госпожа Фукс. Наверное, чтобы пережить драму расставания. Ей и расставаться не с кем.

2. IX.1942

Моя дорогая!

Пишу это письмо, когда все в доме ждут тебя. Мне стало слишком поздно известно, что такое невроз, как он проявляется; так что здесь мы обе в одинаковом положении. Вообще за эту неделю произошло достаточно событий, чтобы вызвать невроз; но, с другой стороны, много любви: ведь ты нам так нужна.

Я бесконечно расстроена, встревожена и стараюсь собрать все необходимое, но не могу найти того, что нужно. Для Павла начинается очень серьезный этап, очень важно ему помочь.

Отсутствие красок оказалось настоящим спасением, я могла бы часами истязать себя. Резьба по тарелкам идет хорошо, но я не могу найти подходящего материала. Непонятно, почему стало опять хуже с глазами.

Любопытно наблюдать за собой, какие пути выбирают любовь или предпочтение, чтобы утвердиться в человеке. Почему во мне присутствует бесконечное желание, чтобы ты узнала, как я тебя люблю. Доказательством может служить то, что при любых обстоятельствах я всегда говорю с тобой.

Павла я не хочу сбивать с пути. Он должен его пройти. Эти дни прояснили ему происходящее гораздо ярче, в том числе и то, что касается бюрократии, все это не оставляет места для

иллюзий.

Прощай, любовь моя. Ты мне, пожалуйста, не печалься и не говори больше о внезапной смерти. Ты мне живи! Друзьям нужно верить больше, чем себе. Твоя Ф.

23.9.42

Моя дорогая!

Считается, что ребенку нужно сломать куклу, дабы увидеть внутри опилки; подобная связь существует и между врачом и больным; для больной, каковой ты меня считаешь, она становится действенной лишь в том случае, если врач уверен, что такое вмешательство принесет успех и что он получит от больной столько, сколько сам ей дал. Сравнение с ребенком и больным не случайно пришло мне на ум.

Но это не означает, что я своим положением стремлюсь вызвать в тебе жалость и сострадание, хотя правда и то, что ищу сочувствия. Я понимаю, что двое, как бы им этого ни хотелось, не могут одновременно проходить похожие этапы, и ты не обязана читать то, что меня в настоящий момент занимает; расстояние накладывает тяжкое вето. Все же, если удастся, прочти пару тоненьких книжек Кьеркегора, не пожалеешь. Охотно верю, что биография Казановы тебе интересна, я тоже рада книгам, которые отвлекают.

Любимых надо любить без влюбленности.

Что до моего чувства вины по отношению к Диве, мне кажется, я перебрала, не знала меры, слишком уж опекала, за что и получаю. Когда мне удается загнать чувства вглубь, то все в порядке. Стараюсь как могу; но знаешь, постоянно контролировать себя невозможно; когда пытаешься искусственно поддерживать атмосферу любви только лишь потому, что она необходима другой стороне, это плохо кончается.

С одной мучительной историей я справилась, но как быть дальше, не знаю. Без гроша за душой и без материальной поддержки я ничего, или почти ничего, не смогу сделать. Если бы ты могла что-то найти, это было бы чудом.

Павел вернулся с лесоповала. Он упал на какой-то сук и сломал ребро. Съев все хлебные запасы и выпив несколько чашек сладкого чая, он успокоился. Оказывается, вчера ему не дали ужина, потому что он опоздал. С такой болью в груди он не мог быстро дойти до столовой.

Почему же с тобой не поделились?

Я бы так поступил, другие нет.

А ты пытался попросить?

Нет.

Почему?

Мне было неловко.

Дорогая Хильда!

Павел пять дней пробыл дома. Его отпустили, потому что он повредил ребро и сильно поранил локоть. Вдобавок он расчихался, что причиняет ему жуткую боль. Но теперь все равно уехал. Надеюсь, он со всем справится.

Последние две недели занимаюсь усовершенствованием квартиры; устроила при этом несколько весьма полезных скандалов и сейчас уставшая, но довольная. Комната очень хороша.

Нечто весьма странное! Я сделала 3 рисунка по Адорно. Разгадка картин Клее многое прояснила для меня в искусстве.

Деньги были неожиданны и очень вовремя. Павел тебе напишет, но он в плохом состоянии. А я выплываю! Обычно волнения действуют на меня сильней, чем на Павла. Но так было раньше, теперь и волнения к лучшему.

Целую тебя крепко!!!

Прошу хвалить меня каждый раз, когда я ставлю дату в письме!

Долгий сентябрь. Кроме нас, практически все уже там. Даже не знаю, рада ли я отсрочке. По стандартным открыткам в

тридцать слов трудно понять, что там происходит. Отто до нас никак не доберется – с утра до вечера он занят с экспонатами в еврейском музее. Даже про день рождения брата забыл.

Зато Хильда не забыла. Приехала – а Павла нет дома. По письмам она так и не поняла, что Павла отправили в трудовой лагерь.

Ей нравится наша новая чердачная комната. Кажется, что места здесь не меньше, чем в прежней, хотя по метражу она крошечная. Но все так умно устроено – и полки на скосах, и разделительная балка, превращенная в вешалку, и стол, переходящий в мойку, и стулья, которые вдвигаются в пазы…

А где картины?

Как всегда, под кроватью.

Жаль, что ты их не повесила, хоть одну…

Так давай повесим!

Выбрали вид на Влтаву, летний день, все купаются, весело.

Хильда привезла вкуснейший паштет, и я бессовестно уплела почти всю банку.

Маргит передает привет, извиняется, что не пишет. У нее трудная пора.

А у кого легкая? Я тут плевательницы обтачиваю для зубного врача, тарелки деревянные…

Луч света из чердачного окна утонул в Хильдиных глазах. Так глубоко они запали.

Ты так и не спишь ночами…

Хильда смотрит на меня, и я вижу, как влажнеют голубые стеклышки, вздрагивает твердый подбородок, собираются в полоску тонкие губы.

Что с тобой?

Я обнимаю ее крепко-крепко, провожу ладонями по резким скулам, по втянутым щекам…

Мне страшно, – говорит бесстрашная Хильда.

57. Каждодневность

24.9.42

Моя горячо любимая Маргит!

Вчера написала тебе письмо на шести страницах. Я была сама не своя. Меня разбирала злость, и она была направлена против тебя. Чтобы показать, как глубоко я стыжусь этого, ставлю дату, не вполне уверенная, что она соответствует действительности: 24.IX.1942. Ты с такой настойчивостью требуешь порядка, я понимаю, что все это сидит у тебя в печенках, но ведь это не твоя вина, что другие не придерживаются порядка.

Если рассказывать о моей каждодневной жизни, не могу припомнить ни одной вещи, которая бы приносила радость. Я не сварила варенья, не сделала запасов и теперь понимаю, что все мои упущения сказываются на Павле. С сегодняшнего дня начинаю исправляться. Держи кузнечика, который прострекотал все лето! Да и какое лето! Сюда подходит слово (взятое из книги Вассермана), и слово это – «самоедство». Я его хорошо запомнила и вижу теперь, что оно мне подходит.

Ланге была здесь проездом. Ходят какие-то хорошие слухи, но они лишь поддерживают нынешнее состояние, а не улучшают его. При всем ужасе одиночества есть надежда, что мы найдем друг друга и снова будем вместе.

Павел полон благих намерений. Только благодаря ему я еще могу дышать и сохраняю остатки равновесия. Об этом лучше не писать. Я убираю свою единственную комнату, между делом читаю, стоя, как гусь, на одной ноге, пока на меня не нападет приступ угрызений совести и я не начну что-то снова делать – штопать, готовить, дел не столь много; нужно выбрать не только самое важное, но и самое правильное. За последнее время я разобралась со старым хламом.

С деревянными тарелками, плевательницами для зубного врача и др. не так срочно, т.к. к тому же материал поступает не с такой частотой, как хотелось бы: из-за хозяйства я не могу отлучаться из дома.

Несколько раз удавалось послушать лекции по искусству. Много раз приступала к изучению чешского языка. Вообще меня не оставляет чувство, что надо что-то делать, и я ему подчиняюсь. Все 14 дней мою ступени и двор перед домом, примерно каждый пятый день хожу за покупками, два раза готовила обед для двух знакомых женщин и один раз была у одной из них в гостях. А так из дому не выхожу и почти никого не вижу. Нашла одну приличную

женщину, с которой вижусь, к сожалению, всего раз в неделю. У нас давно уже установились хорошие отношения (причем мы обе над этим поработали), теперь ты, надеюсь, поймешь, почему мне сейчас не до мировых проблем, и перестанешь меня жалеть.

На этом заканчиваю. Наш адрес: Гронов, 332. Павлу писать нельзя, только через меня. Жду твоего письма.

Ланге тебе расскажет, как хорошо ей было у подруги. Я снова и снова спрашиваю себя, почему бы ей не поехать на отдых в Чехию; здесь действительно красиво. Обнимаю тебя. Ф.

58. Напоследок

Нас с Лаурой позвала к себе Анна Сладкова, та самая «приличная женщина», о которой я писала Маргит. Она не побоялась пригласить нас на лекцию чешского профессора о чешском барокко, а мы не побоялись пойти.

Знакомый Тылша показывал диапозитивы интерьеров моей любимой церкви Святого Микулаша – очаровательное сочетание итальянской избыточности и готической зашпиленности, переливчатых форм и остроугольности, – рассказывал про скульптуры на Карловом мосту, где никакой Италии, но строгое влияние Дрездена.

Я спросила его, почему скульптура Иисуса Христа в ореоле еврейских букв, и он ответил, что это отрывок из молитвы и что евреи, а их было в то время много в Праге, участвовали в субсидировании и из благодарности к ним скульптор высек в камне слова на иврите.

Неужели Макс умеет читать эти загогулины?

25.9.1942

Моя дорогая! Вижу, что неправильно выразилась. Благодаря тому, что ты следишь за ходом моей мысли, большая часть противоречий отпадает. Думается, у тебя так часто бывает с людьми; ты сильная, у тебя высокий жизненный тонус. Если бы, как в сказке, где охотник – герой или ничтожество, но всегда смельчак – преследует оленя и тем добивается счастья, я хотела заманить тебя куда-нибудь, то уже бы заманила; положение сейчас не то; я убегала, хотя предпочла бы остановиться и остановить тебя.

Сегодня мое требование представляется смешным и несправедливым. Каждый находит те книги и сюжеты, которые он ищет и в которых нуждается, потому-то неверно рекомендовать определенные книги для прочтения, при всей дружбе неверно, несправедливо и, следовательно, бессмысленно. Только Мюнц умел издать книгу молча, неожиданно и без комментариев, он-то был в себе уверен; об этом я тоже читала. И всякий раз – безумный эпатаж.

На все, что ты напрямую спросишь, я, мне кажется, напрямую и отвечу. Мне надоело извиняться, оправдываться и обороняться. Сообщу, когда снова обрету твердую почву под ногами. Я вела двойную борьбу – занимаясь политикой и одновременно чувствуя, что это, м.б., против твоих убеждений, и боясь, таким образом, тебя потерять. Все миновало. Во мне некая пустота, и больше не хочется оправдываться перед тобой за все, что делаю. После всего,

что принес этот год, я, кажется, могу оправдать в твоих глазах все, за что могу отвечать перед собой. Сейчас я опустошена до крайности, но более спокойна.

Сегодня садовник вдруг прислал мне цветы, и Лаура тоже; как они чувствуют, что я погибаю? Оба букета такие красивые! На сегодня все; всего хорошего! Куда послать твои книги? Чего-нибудь веселого вроде Казановы, к сожалению, в округе нет.

Моя дорогая!

С тобой что-то неладно, но что именно, не могу понять из письма. Павел тоже считает, что письма надо посылать с оказией, а не доверять почте; это я упустила. Кроме того, все это уже лишнее.

Ты дала мне некоторую ясность и покой (в одиночку я бы не справилась); я нашла конец нити, которая поведет меня по лабиринту. Человеку нужна аудитория, избранная и признанная, одновременно и объективная и субъективная, для того чтобы он мог высказаться. Что касается книг, то здесь твоя помощь неоценима. Меня интересует все, что у тебя еще есть, хотя количество прочитанного и без того велико, и кругозор мой намного расширился, начиная со Средневековья и до наших дней, и все же пока не хватает направляющей линии.

Дива очень интересуется Гегелем, но в настоящее время занята педагогической литературой, да и я рьяно взялась за это дело.

Помня о предстоящих переездах, мы с жадностью читаем все, что попадает в руки. Времени остается мало.

Я передала от тебя приветы Лизи. Множество поцелуев, моя дорогая девочка. Твоя Ф.

29.9.1942

Моя дорогая девочка!

Павел был здесь. Так жаль, что ты не могла присутствовать при таком событии. Он тебе сам напишет. Сегодня он уехал. За завтраком в 5 утра он попросил объяснить ему различие между ранним искусством и теперешним; почему для меня так понятна, скажем, Олимпия и чем она так примечательна. С едой было покончено, всему свое место.

Я не решалась отсылать письмо. Я всегда бываю в нерешительности, когда меня переполняют чувства или когда бываю в тревоге, но на этот раз я должна высказать тебе все, чтобы между нами не осталось никаких недомолвок. Я так тоскую по тебе! Часами разговариваю с тобой и с Маргит и думаю, как это ужасно – находиться в постоянной изоляции. Сегодня я чувствую себя несчастной, как собака. И сапожник, бывает, не работает, когда ему грустно. Прощай, моя дорогая.

Письмо еще не отправлено, и я могу поразмыслить о том о сем. Я смотрю на самое себя как на старую, избитую историю.

Сегодня я здесь сижу и плачу обо всем хорошем.

У Лизи, кажется, новый адрес. На приветы, которые я ей посылала, ответили друзья, которых я не знаю. Надо ждать сообщений от нее самой.

30.9.42. Выполни свое обещание и напиши поскорей. Мне совершенно непонятно, как ты можешь так держаться за работу. Неужели все такие же прилежные? Будь здорова. Обнимаю тебя крепко.

А этот листок не знаю из какого письма.

Приятно говорить правильные вещи. В повседневности, однако, это очень трудно; ясно, что человек ошибается, когда ищет и имеет дело с новой для него ситуацией, когда неизвестно, в чем должна заключаться аналогия с прежними.

Конец ноября 1942

Моя дорогая девочка!

Кругом бело, лыжня восхитительная, Старая любит кататься, ей бы срочно пару свободных дней. Обе побыли бы в одном из очаровательнейших мест. «Пекло» означает ад, хотя все, начиная от прекрасной еды до прелестных горок, этому противоречит, по вечерам сердечная болтовня и мгновенное легкое опьянение. Дорога мучительная, но с рюкзаком и в лыжном костюме не так уж и плохо.

У тебя скоро день рождения, желаю тебе всего, что ты заслуживаешь, пусть все будет хорошо. Я тебе пишу, что ты получишь от нас в подарок, потому что не знаю, через какое время и как именно. От Павла – милый оттиск с эльгрековской Дамы, от меня – Тинторетто и дурацкую, но, как мне кажется, симпатичную брошюрку и картинку, которую когда-то я хотела для тебя сделать. Ты, наверное, помнишь – ученик над букварем, детская кроватка с ангелочками Рафаэля и Гением парижской Триумфальной арки. Напиши, что и куда ты хотела бы.

Ужасно расстроило твое последнее письмо. В нем видна вся твоя печаль, нервозность, вся твоя парализованная активность, в том числе и в отношении меня. Ты пишешь, что трижды перечитывала мое письмо, пытаясь понять, где ты можешь вмешаться. Не всегда нужно действовать, зачастую достаточно понимать.

Ты так помогла мне в последний год навести порядок внутри себя (насколько это возможно), что вместо желания вмешаться можешь почивать на лаврах, зная, что результат достигнут и что я сама не справилась бы. Не требуй от себя больше того, что ты можешь дать, ты и без того сделала столько хорошего. Во

всем виновата твоя тревога, основания для которой, к сожалению, дают окружающие обстоятельства, правда так же и то, что я отношусь к этому легче, хотя думаю как вы все.

Ты спрашиваешь, что для меня бог? Едва ли я смогу ответить. Мне мог бы помочь Кьеркегор с его четким определением трех областей – эстетической, этической и лишь затем религиозной – и Далаго с его спокойной широтой понятий и изначально определенной позицией, куда Кьеркегор так чудно вписывается, что просто дух захватывает. Для меня бог есть: 1) некий масштаб, без которого все косо и неопределенно, 2) направление движения, ибо без направления любое движение произвольно и бессмысленно, и 3) требование «милости», ибо иначе можно сойти с ума. Не знаю, почему вера моя пошатнулась; может быть, я ставлю Ему в вину размах нынешних страданий. Знаю только, что во мне вдруг разверзлась ужасающая пустота; но, может, это было так; сейчас уже не так.

Ты правильно почувствовала по последнему письму, что судорога отпустила; в большой мере благодаря тебе, от всей души спасибо. Тем печальнее, что во всех твоих трудностях не находится человека, к которому можно обратиться, как я к тебе.

Мне кажется неверным твое утверждение, что вера пассивна. Во все времена были воинственные верующие. Пассивность, защищающая веру, – только одна из 100 возможностей, и причина ее, вероятно, не в вере.

Маргит написала о твоем визите. Она, кажется, обрела какое-то равновесие. Я рада. Меня огорчает, что она уделила тебе лишь «мгновение».

Возвращаю Форлендера и другие книги, у меня он лежал бы невостребованным, что жаль, – иногда я пишу Маргит вещи, предназначенные для тебя, чтобы и она знала, о чем у нас речь, и поскольку вы в некотором смысле всегда со мной, когда я пишу ей, я просто разговариваю с вами, а ты просто присутствуешь.

Комнату Дивы по непонятной злобе не топят, и она 3 недели не может работать. Как раз сегодня там ставят печку. Слава богу; потому что просто нет слов, какой это был ужас и бесчеловечность. Дорогая моя! Напиши ей, хоть она поначалу и не ответит; человеку нужно время, чтобы согреться, а ей просто необходимо.

С Юленькой все не так просто! Маргит написала о ее смерти, Павел случайно распечатал письмо и очень плакал. Сейчас и Лаура знает.

Иногда из-за усталости и мазохизма не ищут выхода. Но ты все-таки попробуй. Все, что ты пишешь про одиночество, я понимаю слишком хорошо!

Что до твоих писем, это выглядит следующим образом: через 2 дня после получения письма я начинаю снова заглядывать в ящик. В этот раз 1-е пролежало неделю, так что я получила оба с интервалом в 2 дня. Внутренне ликовала, что не зря заглядываю. Сюрпризы все-таки случаются, несмотря ни на что. 1000 раз обнимаю, целую, всех благ, моя дорогая.

Я тем временем нашла способ добыть материал для резьбы, надеюсь со следующей недели взяться за дело. Еще раз пока.

Пока?

Нет, прощай.

Прощай, дорогая. Больше я ничего тебе не напишу. Кроме открыток вроде Лизиных, что у нас все хорошо, намного лучше, чем можно было себе представить.

59. Сборы по списку

Чешскую «Историю искусств», которую я выпросила у Анны Сладковой, уже не прочту, тарелок для зубного врача не вырежу, хоть и материала полно, зубному врачу это уже не понадобится – он едет с нами. Во всякой жизни всякому человеку на что-то не остается времени. К чему этот перечень неуспеваемости?

Тем более что мы с Павлом заняты сейчас составлением совсем иного перечня. В нем значатся такие вещи:

теплый шарф;
фартук;
три пары чулок;
фланелевые брюки;
бандаж для спины;
халат;
теплые кальсоны;
два кухонных полотенца;
ветровка;
перчатки (рабочие);
варежки;
пуловер;
шнурки для ботинок;
ложки, вилки, нож;
пояс;
трикотажная рубашка;
сухой спирт;
трусы;
тряпочные носовые платки (8) и бумажные носовые платки (2 упаковки);
медикаменты;
костюм;
три галстука.

Зачем тебе костюм и три галстука?

Ходить в театр.

В какой театр?

Ты же собиралась устраивать там театр! Для чего мы красим простыни в разные цвета?

Маленькое оконце плотно залеплено снегом, вместо неба – белая блямба. Мы никак не вылезем из постели, лежим с новорожденным списком, Павел курит трубку, вспоминает, что мы еще забыли.

Майку… трико…

Теплое пальто! Мы же твое сдали немецкой армии…

Йозеф Вавричка помнит, как я пришла к нему в магазин и сказала: «Гитлер приглашает меня на свидание, нет ли у вас чего теплого».

Он подобрал мне пальтишко по размеру – его не нужно было укорачивать. Теплое, темно-серого цвета, оно прослужило мне две зимы и две осени, вернее сказать, одну. Сентябрь 1944 года выдался теплым, мы ходили в легкой одежде. Но я надела пальто в дорогу. В вагоне было душно, я сняла его… Наверное, оно там и осталось. Нет, наверняка его кто-то подобрал. Добротная вещь пропасть не может. Пропала я, но кто-то точно продолжал жить в моем пальто, кого-то оно грело, а может быть, даже спасло.

Вот что нужно было сказать Вавричке, чтобы он по достоинству оценил свой поступок. Он знал, что мне нечем заплатить, и сказал: «Носите на здоровье, госпожа Брандейсова, я ничего с вас не возьму».

Я принесла ему «Вид из окна на Марианские Лазни», в красивой раме.

Вавричка замахал руками: нет, нет, такую картину за пальто?

Ну и что, я ее за час нарисовала, пальто шить дольше.

Прибыли оценщики, все переписали. Длиннющий список, около каждого наименования – стоимость. Мои недоделанные тарелки оценены в одну марку каждая. Марка к марке – глядишь, и наше имущество возымеет цену.

Хильда! С гусем в помойном ведре. Купила в Праге, на вокзале, но в чем эту громадину везти? Схваченный мощной Хильдиной рукой за лапки, гусь болтается в воздухе.

Смотрю, стоит помойное ведро. Схватила его, помчалась с ним и с гусем в уборную. Ведро вытряхнула, ополоснула, гуся завернула в газету и укрыла шалью.

Прощальный спектакль, которого я так боялась, начался весело. Сцена с гусем затмила собой все. Хотя предыдущие акты пьесы были полны драматизма.

В Гамбурге Хильда попала под бомбежку и опоздала на берлинский поезд, так что у Бушманов оказалась в 4 утра. Дорога в Прагу тоже была непростой – непрерывные проверки документов. Спасло липовое удостоверение отца, что она едет в командировку по закупкам экспериментальных крыс для его лаборатории.

Только что мы потрошили чемоданы, вынимая из них лишние вещи, теперь – гуся. Анатомическая комната – все внутренности вывалены: вещи из шкафов, потроха из тушки…

Этот гусь будет частым героем моих голодных снов в Терезине. Но пока предстоит его съесть.

Обжорная ночь сопровождается чтением «Замка». Читаю,

разумеется, я. Мне так нравится читать вслух любимые книги.

Уважаемые радиослушатели! Монолог старосты, обращенный к господину К, прозвучит в исполнении Бедржишки Брандейсовой.

«На распоряжение, о котором я вам говорил, мы с благодарностью ответили, что никакой землемер нам не нужен. Но этот ответ, как видно, вернулся не в тот же отдел – назовем его отдел А, – а по ошибке попал в отдел Б. Отдел А, значит, остался без ответа, да и отдел Б, к сожалению, получил не весь наш ответ целиком: то ли бумаги из пакета остались у нас, то ли потерялись по дороге – но во всяком случае не у них в отделе, за это я ручаюсь, – словом, и в отдел Б попала только обложка. На ней было отмечено, что в прилагаемом документе – к сожалению, там его не было – речь идет о назначении землемера. Тем временем отдел А ждал нашего ответа, и хотя у них была заметка по этому вопросу, но, как это часто случается при самом точном

ведении дел – вещь вполне понятная и даже неизбежная, – их референт положился на то, что мы им ответим, и тогда он либо вызовет землемера, либо, если возникнет необходимость, напишет нам снова. Поэтому он пренебрег всеми предварительными записями и позабыл об этом деле…»

Меня уносят потоки слов, закручивают в спирали, протаскивают по нитям с буквенными обозначениями и возвращают туда, откуда все началось, то есть в никуда. Это так похоже на жизнь в целом, которая не имеет ни направления, ни цели, тем более сейчас, когда мы достигли пика абсурда.

«Наша беспомощность перед судьбой очень напоминала состояние господина К.», – скажет потом Хильда.

В последний день мы, сытые и веселые, распаковывали и снова запаковывали чемоданы и рюкзаки под мудрым Хильдиным руководством. Внесли в список три белые рубашки, вычеркнули половую тряпку. По весу почти одно и то же, если вычеркнем стельки, то точно…

Может, рубашки покрасим? После первой же стирки они станут серыми.

Фридл обожает метаморфозы, – говорит Павел Хильде. – Спустись в сад, и ты увидишь, что там уже сушатся голубые небеса, коричневая земля, зеленая трава, ночное небо… Не пора ли снять весь этот театр с веревки?

А что ты будешь с этим делать? – спрашивает Хильда, раскладывая по стульям заледеневшие цветные простыни.

Театр! Представь, если накинуть на детей зеленую простыню, получится лес… Если они поднимут руки, на глазах у зрителей вырастут деревья, если они будут наклоняться в разные стороны, получится ветер…

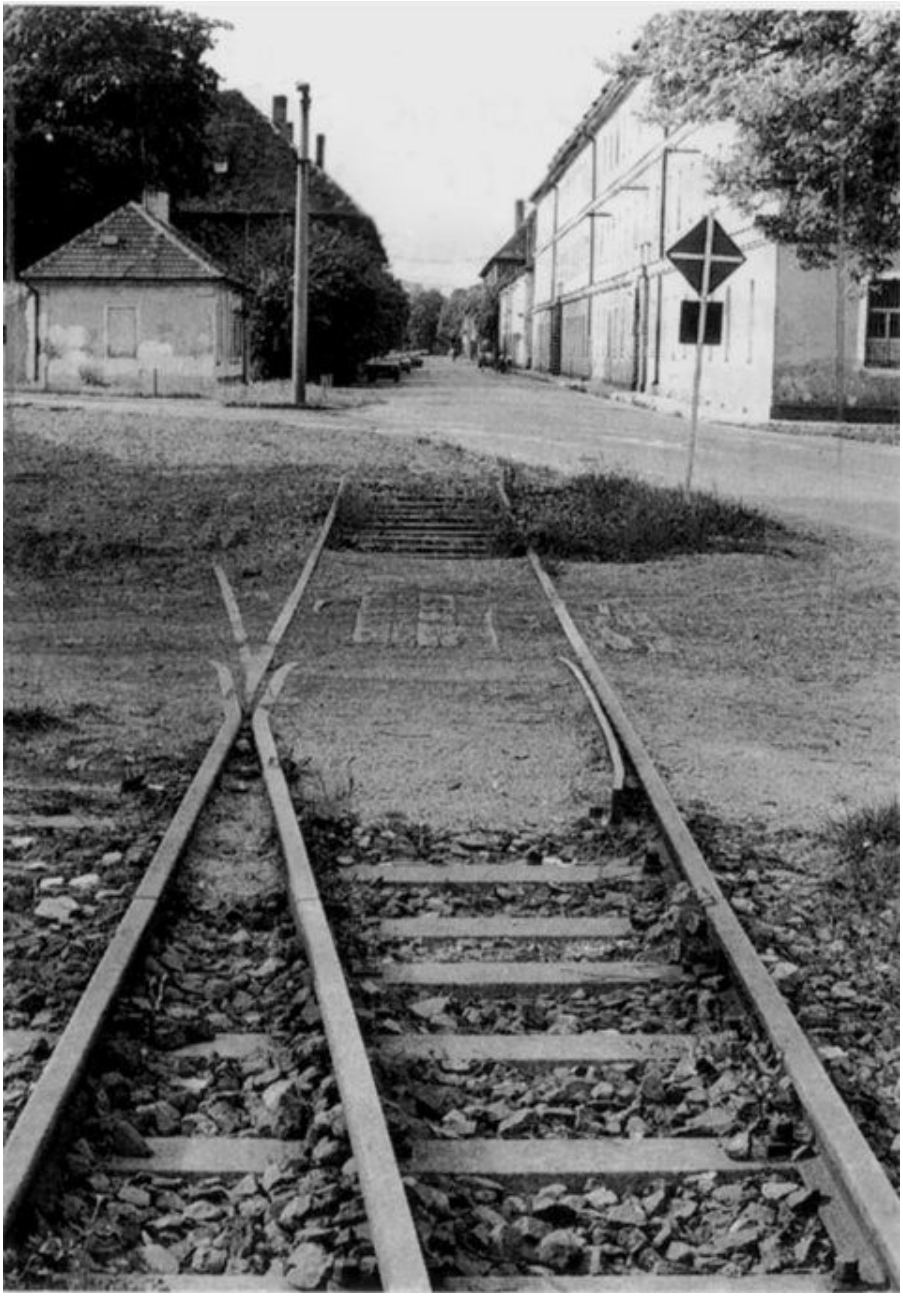
Кажется, мы готовимся к представлению, которое никогда не состоится.

Но оно состоялось.

«Настал этот день… Я ночевала у Зденки Турковой и в четыре утра пришла к Фридл… Она лежала на диване в пальто. И плакала. Тогда она плакала… Она боится меня потерять… как я вернусь в Гамбург под бомбежкой?!

Все это было как взрыв… Мы попрощались в школе, где был сборный пункт… Я пошла на станцию и по дороге сказала себе: я ее больше никогда не увижу… Так она и стоит в моей памяти доныне – в школе, на первом этаже, в сером пальто, и смотрит на меня… Так смотрят, запоминая».

Часть пятая
Терезин



1. Сборный пункт в Градце Кралове

14.12.42. Три часа утра. Мы готовы. Постараемся написать с дороги… У нас тяжелая поклажа, не знаю, как Ф. это вынесет. Будьте здоровы и счастливы, – пишет Павел Отто и Марии, я приписываю: *Сердечный привет вам обоим. Огромное спасибо за вашу помощь и готовность помогать… Наверное, никто столько не получил от Аделы, сколько я. Она была самой лучшей из семьи и была достойна самого лучшего, но получила самое худшее. 1000 приветов, ваша благодарная Фридл.*

От вокзала до университета идти недолго, да ноша тяжела. Павел уговаривает – остановись, передохни. Но меня гонит страх, как тогда, по дороге из Находа в Гронов. Хотя я не одна, нас более семисот человек. Колонну сопровождают чешские жандармы.

Пришли. Я прислоняюсь к заснеженному сфинксу у портала, кладу рюкзак на чемодан, приваливаюсь к вещам.

Жандарм трясет меня за плечо. Павел говорит ему: «Это моя жена».

Тот проверяет номера, все верно, «Ch-549» и «Ch-548». Павел берет меня на руки и относит в помещение, туда, где нам заняла место Лаура. Возвращается за вещами – их нет. Двое суток мы ютимся втроем на одном матраце.

16.12.42. Дорогие Мария и Отто! До сих пор все шло гладко. Завтра выезжаем. Мы потеряли часть багажа. Судьба остального неизвестна. Пережили это очень тяжело. Еда отличная. Вспоминаем обо всех. Ехали в приличном вагоне. Все очень хорошо держатся. Не волнуйтесь за нас. Сегодня мы сдаем часть излишних денег и вещей. Последнее «с Богом»! Павел + Фридл.

16.12.42. Моя дорогая Хильда! Против ожидания все нормально. Обычная история: одни идут под стрижку, другим велено стричь. Я оказалась более стойкой, чем предполагала. Думала, слезные железы у меня на плечах, но их нет и там. Обнимаю тебя. Ф.

Подъем! 2 часа ночи, 17 декабря. Мигающий голубой свет в помещениях и на лестнице… В полчетвертого все выстраиваемся на перекличку, по номерам. Нас ведут шеренгами при свете фонарей и карманных фонариков, впихивают в тесные немецкие вагоны вместе с вещами. Путешествие не из приятных. Запрещено открывать окна.

Поезд прибывает в Прагу. Так говорят. С тем же успехом мы могли оказаться в Польше. Полная тьма. Опять едем.

На выход! Струя холодного света взрезает темную духоту. Воздух. Мы приехали.

2. Большое ничто

Нет у меня души. Трупы ли провозят на катафалке, транспорты ли отправляют, слепцы ли щупают палками землю перед собой – душа не отзывается. Что тогда я? Тело, которое страдает от голода и холода, тело, которое постоянно заявляет о себе недомоганиями. И дух, который здесь не прописан.

Не с чем сравнивать то, что случилось здесь. Видимо, это что-то непомерное. Из триады *тело-душа-дух* выпало среднее звено. Тело болит, дух – внеположен. Волнения о том, кто же я – художник или педагог, архитектор или просто неудачник, у которого отняли время стать самим собой, – улетучились вместе с душой.

Приступы фантомных болей, когда болит то, что отнято, можно сосчитать по пальцам.

1. Когда я увидела на чердаке умирающую Шарлотту. (Смерть отца, видимо потому, что я не застала его и здесь, – не нашла во мне душевного отклика.)

2. Когда отправляли в Польшу транспорты, в которых были мои подопечные дети. Это происходило на моих глазах пять раз: трижды в 1943 году, в феврале, октябре и декабре, и дважды в 1944 году, в мае и сентябре.

3. Когда отправили Павла, это случилось 29 сентября 1944 года.

Потом я записалась на транспорт, чтобы быть с ним там, куда он уехал вместе с тысячей мужчин, и на этом можно бы поставить точку. В смысле фантомных болей.

Все, что случилось с 29 сентября до 6 октября, когда я наконец получила разрешение ехать, все, что случилось в поезде и потом, когда он остановился, оставляю за скобками.

3. Зеркальный город и подземелье

Я живу в большом здании на площади, у костела. Это детдом для девочек. Здесь я оказалась не сразу. Сначала меня поселили в каком-то доме в большой комнате с молодыми женщинами, детьми и старухами; чтобы добраться до туалета, приходилось через всех переступать, и т.д. и т.п. Помогла Эльза Шимкова. Через влиятельных знакомых ей удалось пристроить нас с Лаурой к детям. На самом деле работа воспитателей не дает добавочного пайка и не уберегает от депортации в Польшу. Кузнец – дело другое. Профессия среди евреев редкая, они тут на вес золота. Учителей и врачей всегда есть кем заменить.

В большом трехэтажном здании около центральной площади живут девочки от 10 до 16 лет. Комнаты на 24 спальных места, трехэтажные нары, стол. У нас, воспитательниц, одна комната на всех.

Согласись я пойти художником в техотдел, куда меня определили по заключению графолога, я была бы причислена к лагерной элите. Кстати, начальница отдела трудоустройства, которая велела графологам определить мое место в тутошнем социуме, после войны вышла замуж за Пауля Зингера, брата Франца, того самого, который предлагал нам проект «Палестина». Меня она не запомнила и ничего не смогла поведать Францу. Я на нее не в обиде.

Поначалу я путалась в улицах, все казармы казались одинаковыми, но потом попросила одного молодого художника, работающего в техотделе, показать мне развертку города и все поняла. Если сложить эту «тетрапецию» пополам, то все углы совпадут между собой. То есть это зеркальный город.

Центральную площадь пересекать нельзя. Выйдя на улицу, ты оказываешься в одном из параллельных потоков, часть народу идет туда, часть сюда. Говорят, здесь было еще больше людей. С середины лета до конца осени около двадцати тысяч отправили в Польшу, для разгрузки. Из наших – Аделу, Бедржиха и Йозефу.

Зеркальность. Центральная площадь – квадратная, на каждой стороне квадрата – казарма. От казарм отходят улицы одинаковой длины и ширины. Через две улицы на каждой из четырех сторон – еще четыре казармы, стоящие в том же порядке, как и на площади, а за ними – четыре выхода из гетто, один – на Богушовице, откуда мы приехали и куда уедем, другой – на старинный город Литомержице, где я никогда не была и уже не буду, третий – в сторону реки Огре, в направлении Малой Крепости, где тюрьма гестапо, не про нас будь сказано, и

четвертый… Куда же четвертый? На Крету, где футбольное поле. Оттуда открывается вид на Среднечешскую возвышенность. Пологие горы с домиками, из труб вьется дым. Там я тоже не была и не буду.

Павел говорит, что под нами целый подземный город с тоннелями и по этим тоннелям можно выбраться из гетто.

В глубоких пластах земли извилистые ходы с многочисленными ответвлениями-аппендиксами. Выйти можно, только если строго держаться плана. Иначе упрешься в стену и назад дорогу найти будет еще сложней. Смешно. Я покатываюсь со смеху, представляя себе, как мы на четвереньках, а то и ползком, на пузе, совершаем рембрандтовский подвиг – пробираемся в кромешной тьме к свету свободы. Земляные черви, гады ползучие, грызуны… Нет, это скорее брейгелевский ад. Или что-то еще никем не нарисованное.

А ты нарисуй, – говорит Павел и вкладывает мне в руку карандаш.

Двумя руками с закрытыми глазами. Синхронность движения.

Вслепую, как на пишущей машинке. Будешь мне диктовать…

Напишем Хильде про асинхронность. В тридцати словах.

Или про средневековых жнецов-скелетов с косой, про птицеловов и охотников с аркебузой… Жатва смерти.

Почему я в изоляторе? Наверное, болею. Здесь все болеют. Детский дом живет от эпидемии к эпидемии. Заразных изолируют немедля. К ним никого не подпускают. Раз Павла пустили ко мне, значит, я не заразная. Кстати, это меня в детстве осенило про то, что картины Рая практически неизменны, в них много света, цвета и всяческих красот, а вот картина Ада с ходом цивилизации меняется, причем, похоже, в сторону упрощения. В нашем Аду все будет реально и просто – удушающая техника вмонтирована в потолок, ничего лишнего. Пляска смерти внутри огромного параллелепипеда.

Павел гладит меня по руке.

Фридл, открой глаза, посмотри на меня…

Я и сама побаиваюсь закрытых глаз, смеженных век, никогда не рисую спящих. У Эдит был рисунок спящей, лицо приподнято на подушке, большие черные ресницы – жуть.

Тяжело разлепляются веки. Сквозь щелочку проникает свет.

4. Уроки

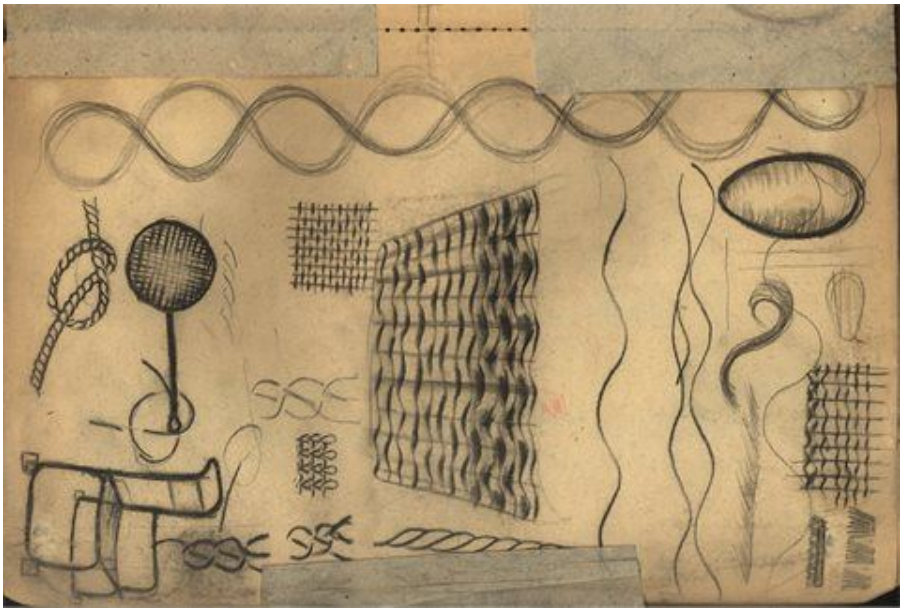
Снег белей белил. Павел провожает меня до L-410, улицы здесь пронумерованы. Я могу идти сама, я все вижу.

Госпожа Брандейсова прозрела. Уроки рисования продолжаются. Сегодня в комнате 28. Разграфленный лист с расписанием занятий мне выдал Вальтер Фрейд, заведующий детским домом. Ему лет двадцать пять, не больше. Круглые очки с толстыми стеклами, безоружный взгляд шоломалейхемовского мечтателя. Девочки его не слушаются. За порядком следит его милая жена, а он с утра до вечера режет кукол из дерева, для представлений. Видит плохо, а куклы выходят у него аккуратными и при этом очень выразительными. Все мои попытки у него поучиться закончились тем, что я нарисовала его за работой.

Уроки Иттена не растворились во мне без осадка, как я думала прежде. Зло и добро, жестокость и милосердие – эти черно-белые контрасты слиплись в лагере в серое месиво неопределенности и требовали кристаллизации.

«Как-то утром маленькая женщина с очень короткой стрижкой и большими карими глазами вдруг появилась в нашей комнате – стремительность ее походки, ее энергия захватили нас, ввели в совершенно иной ритм… Мы сразу приняли ее и отдались на волю новой стихии».

Я вынуждена опираться на память своих бывших учениц, все происходит стремительно, нет никакой возможности наблюдать происходящее со стороны. Упаковывая рисунки в чемодан, я все еще надеялась к ним вернуться.



Времена путаются. Лучше быть в настоящем. Но как в нем быть, если оно в тот же миг становится прошлым? Физическое время не совпадает с ментальным, и все же, соглашаясь с условностью разделения времен на три фазы, попробую пользоваться настоящим.

Нет, к рисункам я больше не вернусь. Ни умом, ни взглядом. Но кто-то наверняка доберется до чемоданов. Рисунки сложены по урокам, не по авторам. Вряд ли кого-то заинтересуют несостоявшиеся личности. На всякий случай прикладываю списки комнат с именами детей.

5. Рыжая

Комната № 28. Трехэтажные нары, на каждом этаже по двое. Двадцать четыре спальных места. Хелена делит нары с Зузкой. Кроме нее, Хелену к себе никто и близко не подпускает. Зузку никто не трогает, все знают, что она того, а Хелену травят. За вредность. За «глаза-колючки». За то, что все делает назло коллективу. За то, что не участвует в общем столе – съедает сама все, что ей дают родители. У нее-то они есть, наплевать ей на сирот и на тех, кто не получает посылок. Единоличница!

В сентябре 1943-го Хелена и Зузка получили повестку. Зузку все жалели, помогали ей складывать вещи, Хелену – нет. В последний день Хелену вычеркнули из списка, и она вернулась. Кого-то отправили вместо нее. Неужели не стыдно?!

Хелене объявили бойкот. Девочка, которая заняла место Зузки, присоединилась к коллективу.

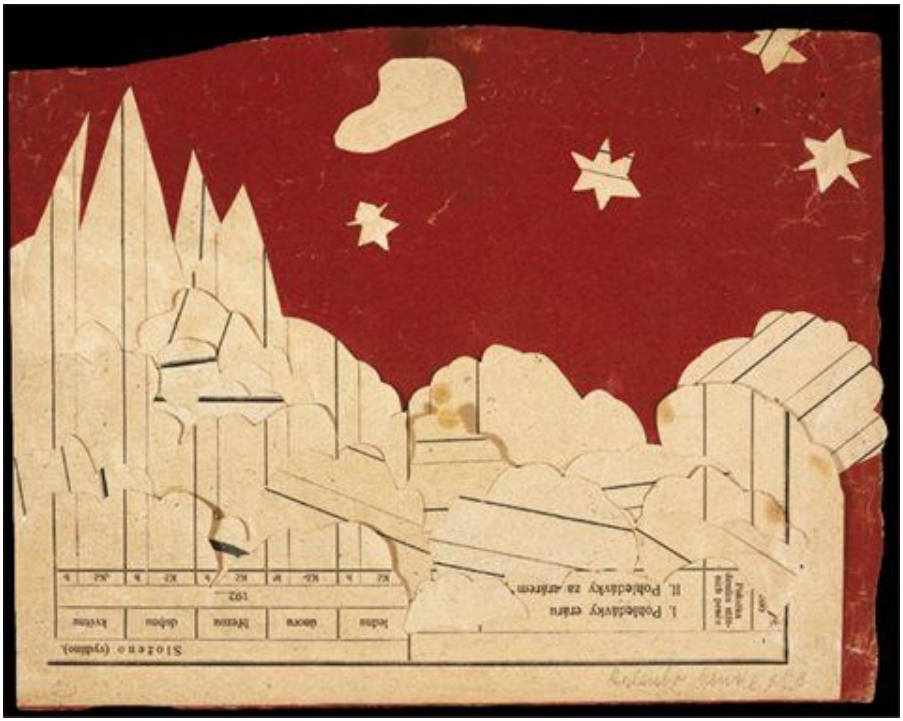
Хелена смотрит волком, но не огрызается. Рисует молча. Поначалу я еще пыталась обратить внимание девочек на ее работы, но теперь это кажется бесполезным.

Госпожа Брандейсова, не заступайтесь за меня, – сказала как-то Хелена, – когда я рисую, мне хорошо.

Она стала наведываться ко мне. Я живу в двух шагах от ее комнаты, в самом конце коридора на втором этаже. Павел выгородил мне угол, поставил двухэтажные нары. На случай, если будет послабление режима и нам разрешат жить вместе. Пока там спят детские рисунки. Потолки высоченные, выгородка доходит до середины, и дверь к ней не приставишь. Вместо двери дерюга. Про холод и прочие неудобства молчу. Есть на чем спать, где хранить детские рисунки и материалы для занятий.

Лаура считает, что там, где любой огрызок карандаша ценится на вес золота, открытое хранение материалов является искушением для детей. Как воспитатель она права. Я не воспитатель. Пусть крадут. – То есть ты поощряешь воровство? – Да. – Лаура и здесь сводит меня с ума. Ни шагу от коллективной этики. Простишь воровство одному, завтра будут воровать все. То есть завтра обязательно настанет. Воспитатели и воспитуемые должны верить в будущее.

Хелена заглядывает за дерюгу. Если я там не одна, она тотчас убегает. Но в те редкие часы, когда Хелене удается меня заполучить, она усаживается рядом.



Шершавая горячая рука, крупные веснушки на носу, рыжий клок волос из-под красной вязаной шапки… Девочка, которая не приемлет этого мира. Не желает ему добра. Ненавистны ей эти островки добродетели в океане зла.

Я разрешаю ей оставаться в моей комнате. Даю ей бумагу и ножницы. Резать бумагу – любимое занятие многих детей. Для Хелены оно лечебное. Но бумага здесь на вес золота, просто так резать ее я не разрешаю, только с целью.

Сделай Прагу!

Всю?!

Ну, не всю… Пражский Град! Мы там жили…

Куда вы, госпожа Брандейсова? – Хелена видит, что я собираюсь уходить.

На занятия. А ты оставайся.

Ножницы – предмет одушевленный, они танцуют вальс с рукой Хелены, врезаются острием в самую середку листа, наверчивают круги, производят одинаковые по рисунку формы, что-то вроде крон деревьев. Один бланк закончился. Другой танец – со шпагами. Наскоки шпажиста производят остроугольные формы.

Остроугольность – во всех Хелениных коллажах. Домики с острыми крышами, забор, елки из тонких, выкрашенных в разные цвета соломинок… Все ровными стежками пришито к формуляру.

Возьми эту подкладку, – я даю ей лист гладкой красной бумаги.

А как же я останусь без вас?

Продолжай работать.

А вы не боитесь, что я что-нибудь сопру? Меня здесь считают воровкой.

Если понадобятся иголки и нитки, они в этой коробочке.

Панорама Пражского Града. Вертикальные и горизонтальные графы формуляров разрезаны на кусочки и выклеены слоями таким образом, что создается объемный массив крон, из-за одной проглядывает другая, они лестницей поднимаются вверх, к собору с остроугольными шпилями. Именно так это и выглядело, когда мы стояли с Павлом на вершине холма, и я еще говорила, что панорама как таковая не вызывает во мне никого желания рисовать. Формы, которые Хелена вырезала, имеют четкие очертания, но не читаются слету из-за линий на бланках, расположенных под разными углами. Если бы бланки были пустыми, следовало бы начертить на них именно эти линии и именно в таком порядке. Из кусочков, на которых значится, сколько крон потрачено на то-то, а сколько на се-то, выложен фундамент, земная часть этой неземной работы.

В декабре 1943-го Хелена с родителями снова оказалась в списке. На этот раз протекции получить не удалось. Чтобы спасти Хелену, родители решили сделать ей инъекцию молоком. Подымется температура, Хелену направят в инфекционное отделение, поезд меж тем уйдет.

Температура подскочила до сорока, но в больницу ее не взяли. Врач сослался на новые порядки. Раньше тяжелобольных исключали из транспорта по одной простой причине – на месте назначения боялись заразы. Теперь на месте назначения оборудованы изоляторы, беспокоиться нечего.

Хелену подпихивают в вагон, секунда – и нет ее. Уплывает за кулисы рыжая голова в красной вязаной шапке. Девочка-чертополох.

6. Вопреки

«Фридл влетала в комнату, распределяя материал, она, разумеется, говорила с нами, она все время была с нами, пока мы работали. Уроки были короткими. Мы работали интенсивно и, как помнится, в тишине. Она давала нам тему для воображения. Например, поле, по нему бредет лошадь… может быть, она нам показывала какой-то образец или картину… Про коллаж с лошадью я точно помню. Фридл приносила нам обрезки цветной бумаги и показывала, как делать коллаж. Я не думаю, что она учила нас, как именно рисовать пейзаж или выклеивать его… не помню…

Она говорила, как приступать к рисованию, как смотреть на вещи, как мыслить пространственно. Как мечтать о чем-то, как воображать что-то, как желать делать что-то, как претворять фантазии… Не помню, чтобы она общалась с нами по отдельности, скорее это был контакт со всей группой… Каждый урок она меняла техники – то коллаж, то акварель, то еще что-то… У нас не было никаких материалов, все приносила она. После уроков она собирала рисунки и уходила. Урок кончался так же стремительно, как и начинался. Я панически боялась конца. Я готова была продолжать до ночи…

Мы жили на верхнем этаже детского дома. И рисовали из окна небо, горы, природу… Наверное, это особенно важно для заключенных – видеть мир по другую сторону, знать, что он есть… Наверное, это относится и к Фридл. Мне было важно знать, что она существует, что она есть. Стихия свободы… при ней все выходило как бы само собой».

И все это рассказывает обо мне девочка, прибывшая в Терезин с отцом-инвалидом. Ее родители развелись, мать с новым мужем живет в Лондоне. Она тоскует по матери, пишет для нее дневник. Эта милейшая девочка и была зачинщицей бойкотов против Хелены.

Жестокость. Жесткость. Норма коллективной жизни, помноженная на лагерные условия. Мы говорим об этом с психологом Трудой Баумел. Она считает, что есть три анормальных общества – Советский Союз, Палестина и Терезин. Общее в них – ставка на коллективное воспитание. Но и эта искусственно созданная ячейка должна функционировать на основе общечеловеческой этики.

Абсурд! Нас собрали здесь, чтобы уничтожить. О какой общечеловеческой этике может идти речь?

Труда убеждена в том, что каждое действие, слово и мысль

имеют свои последствия в невидимом мире. В том, что он существует, у нее нет сомнений. И посему невидимые результаты имеют бесконечно бóльшую важность, чем те, что видимы на физическом уровне. Следует брать в учет целый мир, не только его внешнюю оболочку.

Анализируя детские работы, Труда в первую очередь обращает внимание на колорит. Цвета – проводники чувств. Ее анализ опирается на схему цветов, определяющих двадцать главных чувств. Гёте, Иттен… Все это было, есть и будет.

Маленькую книжонку под названием «Мыслеформы» Труда считает учебником жизни. Кстати, она повлияла на самого Кандинского.

Я сказала ей, что училась у Кандинского и ни разу не слышала от него про «Мыслеформы».

Ее не удивило ни то, что я училась у Кандинского, ни то, что он не упоминал этой книги.

Усваивая, присваиваешь. И уже не ссылаешься на источник. Я присвоила себе оттуда три постулата. Первый: «Качество мысли определяет цвет»; второй: «Природа мысли определяет форму»; третий: «Определенность мысли определяет ясность очертания».

Все три постулата я вписала в блокнот, подаренный Павлом. Здесь многие ведут дневники. И рисуют с натуры. Чтобы хоть как-то запечатлеть реальность ирреального. Для меня такими дневниками являются детские рисунки. Тут я слежу за тем, чтобы на рисунке стояло имя ребенка, комната, дата урока. Здесь все очень быстро забывается. Слишком большой поток «мыслеформ».

Непреклонная вера в существование невидимого мира с его аурой, мыслеформами и прочими нездешностями помогает Труде вершить земные дела. Она действует по запросу и мгновенно. Благодаря одному весьма печальному случаю у нас теперь есть помещение и персонал по уходу за детьми, повредившимися в рассудке. Все началось с маленького мальчика, вернее с его мамы, которая выбросилась на его глазах из окна. Мальчик потерял дар речи, мычит, раздирает ногтями лицо. Молодая воспитательница, у которой на попечении двадцать детей, справиться с ребенком не может.

Увидев все это, Труда разворачивается – и прямиком к главе старейшин. В такие моменты перед ней распахиваются двери. Глава старейшин (на самом деле он младше Труды) должен быть на месте, должен ее принять и не задумываясь вынести положительное решение. Так и случилось.

Труду Баумел я узнаю издалека: уверенный шаг, узкие серые брючки, клетчатая рубаха. Все как у Труды Хаммершлаг.

Она пришла к нам с лекцией под названием «Вопреки».

«Чего мы хотим? Подготовить детей к будущим задачам – построению нормального сообщества на гуманных принципах. Чем мы располагаем для этой цели? Пятью большими детскими домами (в них пока лишь одна школа) и несколькими маленькими, а также персоналом из молодых людей, горящих желанием трудиться и жертвовать собой ради детей.

Все мы знаем, что стоит на пути к достижению этой цели. Но вопреки всему мы и в данных условиях будем опираться на позитивное».

Труда из породы несгибаемых. Осанка балерины – прямая спина, расправленные плечи, высоко поднятая голова с узлом волос на затылке. Мистика, эзотерика, прагматизм, вера – все уживается в этой пружинистой душе.

«Первое и важнейшее: личный пример. Вожатый детдома, воспитатель – это primus inter pares; он и старший товарищ, он и пример, достойный подражания.

Второе: групповое воспитание.

Группа, а точнее тот социальный механизм, которым она является, – это носитель образовательных процессов, необходимых для передачи знаний и навыков, прежде всего социального характера. И многие, пришедшие сюда асоциальными, здесь, сами того не замечая, приучаются жить в обществе.

И третье: это продуктивный труд.

Ребенок или юноша социализируется посредством жизни в обществе, точно так же трудовое воспитание делает из человека труженика. Труд – это то, что придает смысл и содержание жизни группы и личности; то, что само организует группу; то, что вызывает к жизни товарищество; то, что творит и воплощает; то, что продуктивно и полезно. Без труда, то есть без смысла и содержания, группа приходит к разрушению и потере ценностей. Таков расклад – то, что мы имеем, с чем мы можем работать. Воспитатель как режиссер: в его силах собрать группу воедино – или распустить ее. Но распустить – значит потерять целое поколение. Нет, программа “Вопреки” должна сработать!»

Но труд не делает свободным!

Этого я и не говорю.

Мы не попадем с ней туда, где лозунг о труде и свободе будет украшать ворота, из которых никуда не выйдешь, для нас не будет играть оркестр. Лозунги и симфоническая музыка – для жертв высшей категории. На нашей платформе этого не будет.

7. Школа формы

Для Виктора Ульмана Терезин – школа формы. Так он говорит, обняв меня за плечи. Мы сразу узнали друг друга. Значит, не так уж и изменились. Весеннее солнце плавит снег и кружит голову. «Лунный Пьеро», Анни, письма с фронта, концерты Шёнберга, курсы композиции…

Виктор в плаще Франца, но карманы не отвисшие – нечем их тут набить. Кошельки не в ходу, портсигары тем более. Ульман курил не меньше Франца. Запрет на курение выводит его из себя. Печаль его фортепианных сонат – от отсутствия курева.

Школа формы в заорганизованном хаосе. Казармы и прямые улицы создают иллюзию порядка. Устойчив и режим дня. Но люди, с их лицами, походками, жестикуляциями, вносят беспорядок в картину. Их так много, и при этом даже в очередях за пайкой они не превращаются в серую толпу, сотни, тысячи ярких индивидуальностей насыщают все своей энергией… Кто-то кем-то запечатлен, кто-то так и канет в бездну необозначенным.

Что-то в этом духе я излагаю Ульману.

Не будь занудой, Фридл, – говорит он, не выпуская меня из объятий. – Знаешь, что общего у Вагнера с Шёнбергом?

Что?

Первый антисемит, а второй – еврей! Годится?

Дежавю. Только раньше на моем месте была Анни, ее обнимал он, говоря эти слова.

Я сейчас работаю над аранжировкой сладкой идишской песни. Для хора, в котором поет мой сын. Хор – это именно та форма, в которой индивидуальности сливаются в целое. А когда поют дети – это уж точно божественный акт. Здесь я позволяю себе быть сентиментальным. Могу и слезу пустить. Помнишь, ты проспала концерт Скрябина. Не проспи мой. Сегодня, на чердаке Магдебургских казарм, в шесть вечера! Вход бесплатный.

«Собрать всех венских друзей на десять репетиций камерной симфонии Шёнберга – вход бесплатный!» Мы с Анни расклеиваем объявления в центре города. Она смахивает варежкой снежинки с ресниц. Натягивает на лоб вязаную шапочку. Подает мне клей.

Жизнь как комикс.

8. Властичка

Будущее поджидает у порога. При встрече с тобой оно становится настоящим.

Властичка, девочка-одуванчик (за сравнение с цветком прошу винить Иттена), подлетает ко мне с рисунком. Она – это даже не настоящее, а настоящее продолженное. Глагольная форма, которая останавливает настоящее на лету.

Госпожа Брандейсова, я вспомнила, как выглядела моя комната! Вот столик с лампой, тут на стене должна быть картина…

А что на ней изображено?

Девочка кусает губы.

Пароход и камни с этой стороны… Но они не уместятся…

Уместятся. Нарисуй картину с кораблем и камнями отдельно, и мы повесим ее в твоей комнате, хорошо? Пойдем, я тебе дам бумагу.

На первом занятии Властичка нарисовала одинокий цветок, платьице, стул и стол в разных углах. Бессвязные предметы, отрывистые линии. Теперь лампа соединилась со столиком, и линии стали более плавными.

Мы идем по коридору. Властичка жмется ко мне. Я останавливаюсь, глажу ее по голове. Волосы на ощупь как пух.

Она всхлипывает.

Ты моя хорошая девочка…

Родители Властички, поверив обещанию еврейской общины Брно, уехали в 1939 году в Палестину. Что же им обещали? Все то же, что и остальным родителям: как только они обоснуются в Палестине, им пришлют детей. Пока все оформляется, они побудут в детдоме. Дети пробыли там до весны 1942 года. После чего весь Брненский детдом был депортирован в Терезин.

Воспитатели детей не ласкают. Чтобы не приручать к себе. А то будут хвостом ходить… Хорошо, что я не воспитательница. Эти слова скоро станут мантрой.

Мы заходим в «апартаменты». Властичка зачарованно смотрит по сторонам. Я достаю из папки бумагу.

Бери и беги на обед, пора!

А можно я еще около вас постою, просто так? – спрашивает она.

Второе дежавю за сегодняшний день. Когда-то соседская девочка в Праге просила посидеть около меня просто так.

А может быть, жизнь – это одно сплошное дежавю? Мы здесь когда-то были и, значит, будем снова.

9. Быт и основные цвета

Мы обедаем после детей, не стоим в долгих очередях на улице. Это огромная экономия времени и нервов. Бедный Павел пытается удрать с работы пораньше, чтобы занять очередь, но все равно оказывается в хвосте.

Госпожа Брандейсова, хлеб закончился, суп закончился. Разве что картошки соскрести со дна, – говорит дежурная. – Надо приходить вовремя. Сахар возьмите.

Я ставлю на стол тарелку с бурыми комочками и кружку с эрзац-кофе.

Кофе холодный, зато с сахаром.

Ты где была? – спрашивает меня Лаура, подходя к столу.

Я пожимаю плечами, не в силах произнести ни звука. Подавилась картошкой. Лаура стучит кулаком по моей спине. Не помогает. Задыхаясь, я бегу по коридору, лишь бы успеть. Успеваю.

Ешь маленькими порциями, – говорит Лаура, с вожделением глядя в мою тарелку.

Не могу.

В ее раскосых глазах шальной блеск. Как у стариков, поджидающих с мисками у раздачи. Вдруг кто-то откажется от порции супа?

Выручай, – прошу я Лауру, пододвигая к ней тарелку.

Тогда я отдам тебе кусок хлеба с ужина.

Ты с ума сошла! Мы же подруги!

Лаура опускает глаза. Ей стыдно.

Это мне должно быть стыдно. Обычно я съедаю все, что дают. Сегодня не показательный день. А Лаура не притрагивается ни к сахару, ни к маргарину. Бережет для детей. Так она доведет себя до полного истощения.

Не беспокойся, – говорит Лаура. – Скоро мы получим посылку и поправим здоровье. Как Павел?

У него полно работы, да еще и я нагружаю. Двигаем мебель в L-414. Не везде, пока только в одном помещении. Там такая теснота – тридцать великовозрастных девиц сидят друг у друга на голове. Притом что в гетто работает целый конструкторский отдел! Почему никому не пришло в голову спроектировать складные нары с вставными лестницами? Освободилось бы столько полезной площади! За модернизацию концлагерных помещений коменданта повысили бы в чине. А главное, не пришлось бы перед визитом комиссии Красного Креста ликвидировать третий этаж нар и отправлять на уничтожение

пять тысяч оставшихся без места.

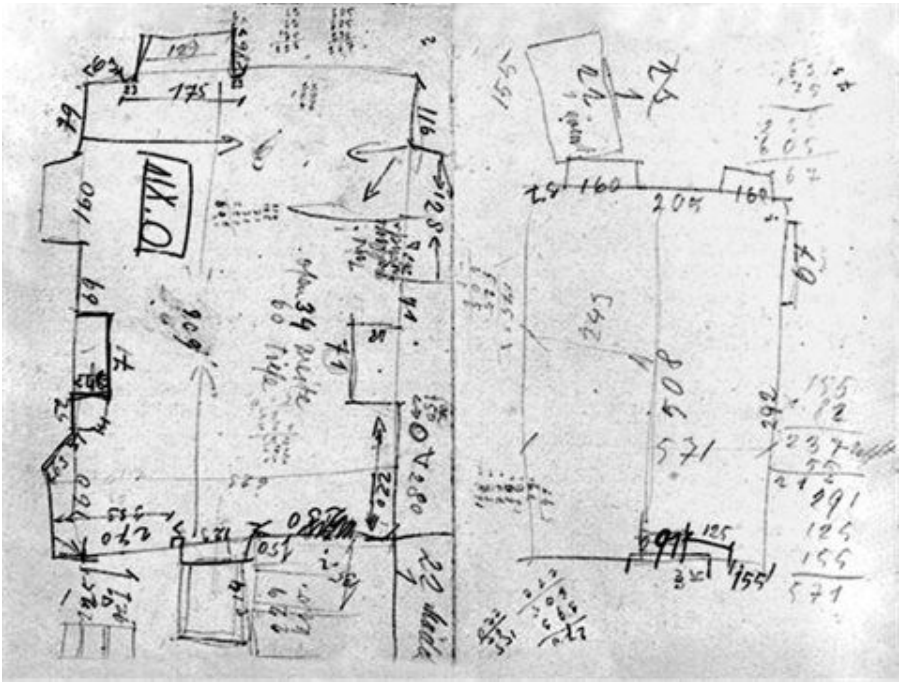
Нет, этого я Лауре не говорю.

«Фридл привела кого-то, кто нам перекрасил простыни в цвет красного вина, и они из этого нам сделали такой уютный уголок – некоторые койки соединили, некоторые нет – в конце концов из нашего кубрика вышло отличное жилье, – у каждой девочки был свой лозунг или украшение, я, например, написала над кроватью такую глупость: “Веселей, веселей, день начинается, веселей, даже если тебе неохота вставать!”»

Этот рассказ мог бы принадлежать девочке по имени Ноэми. Она всегда все путала. Это Павел «двигал койки», а я красила простыни. Как полукровка, Ноэми могла выжить. И дотянуть до тех времен, когда наша история стала интересовать психологов и социологов, а словосочетание «духовное сопротивление» стало столь же неразрывным, как «движение и форма» во времена моей юности.

Если дан день, его надо прожить. Эта гроновская максима, банальная, как все максимы на свете, оказалась как нельзя более актуальной в здешних условиях.

Павел выточил на токарном станке набор фигурок для занятий по сенсорике. Хотя «халтурить» на рабочем месте крайне опасно. Это надо делать тайком от бригадира. Тот не станет смотреть сквозь пальцы на изготовление пособия для работы с больными по системе Монтессори. Он боится еврейской полиции. Нагрянет с проверкой – тюрьмы не избежать. А оттуда – прямая дорогая на восток.



Другое дело – на свой страх и риск вынести доски со строительного двора. Это то, чем занимаются рабочие из Павловой бригады под покровом тьмы. Они пробиваются «халтурой» – мастерят полки для желающих. Одна полка – полбуханки хлеба. Где-то же надо людям хранить свои вещи, а в помещениях, кроме нар, лестниц и стола, ничего нет. Есть чемоданы, но их нельзя держать на полу, только на нарах. Там и так повернуться негде.

При чем тут конструкторский отдел! Отто рассказывал нам в Гронове про первую рабочую бригаду – музыканты, художники, поэты… если из сотни один попадет молотком по гвоздю… Они все это и построили.

Я выкрасила фигурки в красный, синий и желтый. Вот и все, что нужно Труде, простейшие формы и основные цвета.

10. Почтение к материалу

«Материя, одушевленная и неодушевленная, разрушается в хаосе и суете. Но что есть одушевленная и неодушевленная материя? Современная наука о жизни и ее процессах расширяет рамки и оживляет предметы, которые до вчерашнего дня мы по темноте своей относили к категории безжизненной материи».

Это говорит доктор Фляйшман. Мы с Павлом попали на его лекцию «Уважайте материал!». Этот маленький горбун с высоким голосом занимает ответственный пост в системе здешнего здравоохранения. Говорят, он не спит ночами, пишет стихи, рисует картины.

«Сегодня мы знаем больше. И еще большего ожидаем. Границы между одушевленным и неодушевленным стерты. Является ли тело материей или материя телом, является ли душа частью тела или тело частью души? Мои отношения с людьми, чью жизнь я знаю, чьи желания, борьбу, страдания и творчество наблюдал, отличаются от отношений с теми, с кем я лишь бегло знаком.

Мы в состоянии фиксировать эти процессы чувством и разумом, а значит, в том, как мы относимся к отдельным людям, отражается наше отношение к жизни в целом. Сегодня мы, кажется, больше знаем о качествах и взаимосвязях предметов и веществ в природе… Но нам предстоит еще дальше продвинуться в знаниях и понимании вещей, дабы развить в себе бóльшую почтительность и уважение к материалу.

То, что западный человек познал с помощью экспериментальной науки, некоторые восточные мыслители знали тысячу лет тому назад. Уважение к материалу в Индии и Китае известно, но не понято нами.

Но ведь и еврей когда-то был теснее связан с феноменом жизни, чем сейчас. Мы слишком развращены и близоруки вследствие эгоистического утилитаризма, мы признаем только то, что служит нашим сиюминутным потребностям. То, что нам не служит, мы выбрасываем, как окурок.

Мы не уважаем инструментов, одежды, обуви, не ценим человеческих творений, зданий, приспособлений, которые были созданы, чтобы нас спасти, сделать нашу жизнь проще, лучше и счастливее. У нас нет ни времени, ни желания подумать о “никчемных” предметах – что проку в них!

При этом мы желаем воспринимать жизнь в глобальном масштабе, понимать ее сложную простоту. На это способно только смиренное существо, которое чувствует себя частью всего

живого…»

Как раствор или камень, я принадлежу маленькому зданию жизни, мне тепло и уютно в этом строении.

«Поэтому нам следует внимательнее относиться к материалу, как к одушевленному, так и неодушевленному, – между ними нет разделительной черты. Пиетет и уважение к нему должны пройти от мозга и сердца в кончики пальцев, чтобы трогать ими вещи с пониманием, любовью и почитанием. Чтобы лучше, спокойнее и счастливее жить в этом мире, давайте научимся уважать материал!»

Я набралась наглости и попросила у Фляйшмана текст лекции – переписать для Хильды, послать при первой оказии.

Возьмите, отдел досуга сделал мне четыре копии.

Ясный человек, ясный взгляд. Легко смотреть Фляйшману в глаза – мы одного роста.

Здесь можно было бы жить прекрасно, среди образованных, интеллигентных людей, если бы не страх быть отправленным дальше…

11. Приручить смерть

Перед концертом Ульман произнес слова, которые меня взбудоражили: «Художник рождается тогда, когда человек в нем вдруг осознает, что он смертен. Работа искусства – “приручить” смерть. Создать параллельный источник жизни». Все остальное – про программу и общество новой музыки – я пропустила, прикидывая на себя ульмановский афоризм. Сознавала ли я, что смертна, учась в Баухаузе?

На чердаке тепло, нас много, и все мы пока что дышим. Ульман пожимает руку молодому исполнителю – его зовут Гидеон Кляйн. Он играет финал последнего баховского концерта. Рояль звучит как орган.

Музыка смолкает, тишина звенит. Тихие хлопки, как из промокшей от слез хлопушки. Вслед за Бахом – интермеццо Брамса. Мысли о том, как приручить смерть, возвращаются. Горько думать об этом на самом-то деле.

В заключение Ульман играет свою сонату. Одинокий разговор с самим собой, доходящий до истерики. Понимаешь это умом, не сердцем, к счастью.

Никогда и нигде не видела я такого собрания людей. Какие лица! Каждого хочется нарисовать.

В следующий раз бери с собой альбом, – говорит Павел.

Откуда у меня альбом?

Мы доходим до подворотни. Павел не может у меня остаться. Мужья и жены разведены по разным помещениям, но опять-таки не все. Начальство и его приближенные живут семьями.

Со временем найдется какой-то выход, – говорю я Павлу голосом старшей сестры.

Павел тяжело переносит нашу ночную разлуку. Под боком у него храпит мужик, душно, противно. Это еще хуже, чем было в бараках на лесоповале. Он оброс, перестал бриться.

12. Глубина и даль

Каждый день я встречаю знакомых, но не всех узнаю. Зато меня узнают. Берлинского режиссера Карла Мейнхардта не узнала. Нас когда-то познакомил Стефан, где – не помню. Вонючий старик, из-под брючин вылезают кальсоны… Он моет уборные и, если потеряет работу, умрет с голоду. Но он хороший режиссер. Вот с кем мы и поставим «Трехгрошовую оперу»!

Лицо Мейнхардта озарилось сумеречной улыбкой.

Имеете пьесу?

Нет.

И собираетесь ставить? Я не дилетант, простите. Чтобы ставить пьесу, ее как минимум надо иметь!

«Там было столько людей, с кем Фридл могла вести дискуссии. И когда не хватало еды – она все равно была счастлива – из-за людей. Она писала, что там собрались какие-то невероятные люди и можно было жить прекрасно, если бы не постоянный страх… Пришли Брехта!»

Мы посылаем Хильде и Отто квитки на посылку. По закону на семью дается один квиток раз в три месяца. Но у многих евреев на воле уже никого не осталось, и они продают нам свои квитки за полбуханки хлеба, двадцать грамм сахара и двадцать – маргарина.

«Прислать Брехта! Видимо, Фридл забыла, что Брехт запрещен. Другой раз она попросила в письме, посланном через “каналы” – официально можно было писать открытки раз в месяц в 30 слов, – переправить ей скульптуру Георгия Победоносца… Раз в год позволялась посылка в 25 кг. Не фотографию, а скульптуру. Она была совершенно необузданной… Мы достали гипсовый оттиск скульптуры, завернули в одежду – но в последнюю минуту раздумали. Как такое расценят в Терезине? Не отправят ли за это дальше…»

Чушь какая-то с Георгием Победоносцем! Хильда что-то путает. Брехта точно просила. И задолго до того, как сюда прибыл знаменитый Курт Геррон. Я видела его в «Трехгрошовой опере», в Берлине. Незабываемый Мекки-Нож, предводитель лондонского ворья. В Терезине он поначалу играл незаметную роль, но вскоре снова стал предводителем, только не лондонского отребья, а всего терезинского еврейства. Немцы дали толстяку Геррону двойной паек и поставили его на роль режиссера показательного фильма. Радостно трудимся, радостно отдыхаем. Не все подошли для съемок. Несовместимых с общей картиной счастья Мекки-Нож вышвыривал из кадра.

Не знаю, что получилось из всей этой липы. Мало кто из массовки остался живым, но если лента не пропала… Меня искать не надо, я не была отобрана для съемок.

Когда киношники уехали, нас всех, отобранных и не отобранных, отправили на восток. Не скопом, разумеется, по очереди. Мекки-Нож не избежал общей участи.

Кино! Меня всегда занимал этот жанр. В свое время мы с Максом Бронштейном с упоением работали над фильмом по «Капиталу». Конечно, это никакое не кино, скорее наглядное пособие для рабочих в форме фотоколлажей с текстами. Прибавочная стоимость. Она неотделима от вещей, это понятно, а мы были влюблены в вещи. Ряды пузатых никелированных новеньких сверкающих чайников, прозрачный стакан на темном фоне, капля воды, в которой отражается целый мир… Рафинированная красота.

Не знаю, как Максу, который живет свою вторую жизнь в Палестине, но мне до сих пор снятся кадры из нашего фильма. Большая банка с касторовым маслом в руках у аптекаря, его лицо деформировано отражением, рука в контражуре черная. «Ты выпьешь все это масло?» Следующий кадр – ряды аптекарских бутылочек с касторкой. Пролетариат понимает, что производство бутылочек и работа по расфасовке создают прибавочную стоимость. Цена одной такой бутылочки в несколько раз превышает стоимость самого масла. Мы с Максом долго думали над шрифтовым оформлением – его привлекала изысканность, с которой я оформила главы из «Утопии» Иттена, а меня – простота и доходчивость.

Начала с Брехта, кончила Марксом… Сознание похоже на запакованные ящики. Где-то что-то лежит, но где и что? Павел прошлой ночью проснулся в холодном поту – наш дом сгорел. Он оставил включенным утюг! Но там же ничего не осталось, книги и картины розданы, правда, список остался в чемодане, который у нас украли.

Не волнуйся, мы все найдем. Как только вернемся.

Павел вернулся, но всего не нашел. Да ничего ценного и не было. Наброски неосуществившегося.

Думаю ли я так на самом деле? Или это дань настроению? Не знаю. Наверное, я еще не привыкла быть заключенной. Лагерь как пыль, которую я пытаюсь стереть рукавом кофты с картины жизни.

Труда говорит о необходимости внутренней дисциплины, о радости вопреки. О небе, которое над нами, птицах, которые парят где-то, хотя птиц я здесь не видела. Но где-то они парят.

«Стихия свободы» – такой помнят меня бывшие дети. Но

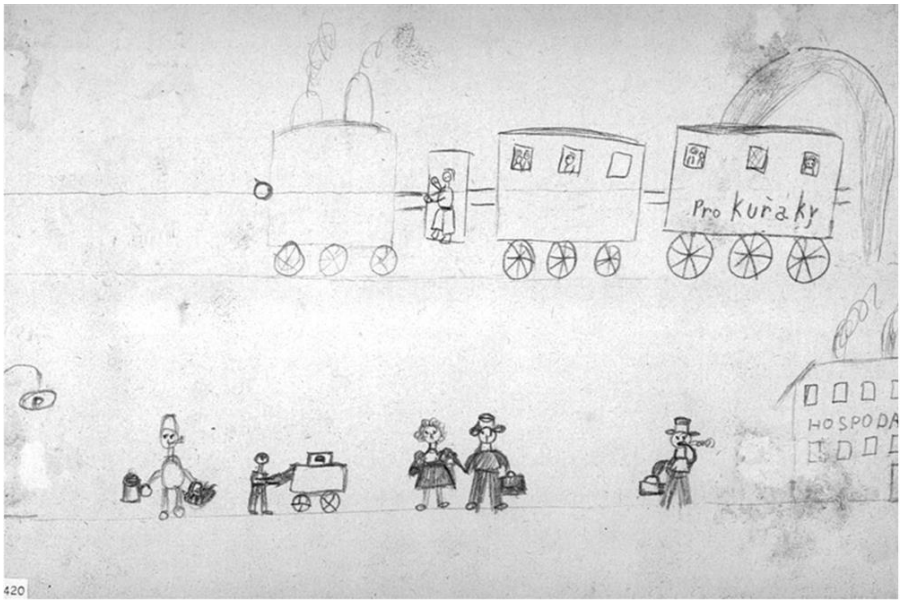
стихия сама по себе бессмысленна, она не управляется мыслью. Какая может быть свобода в концлагере? И все-таки может. Ведь вся наша жизнь – это свобода в несвободе, борьба духа с телом-тюрьмой-общественной системой. Свобода «вопреки».

Не раздеваясь, я залезаю под одеяло, шарю рукой под подушкой – что сегодня в моем почтовом ящике?

Письмо от Сойки. Целое сочинение!

«Моя учительница попросила меня позаниматься с детьми рисунком и живописью, в увлекательной форме объяснять им то, чего они пока еще не понимают. Например, разницу между большим и маленьким, между “много”, “мало” и “ничего”. Помочь им выразить на гладкой поверхности листа то, что находится в глубине и вдали, вблизи и на свету, обратить внимание на характер самого материала, каким образом рисовать гладкую поверхность или стеклянную, текучую или темную. Когда просто рассказываешь, выходит неинтересно. Но когда начинаешь рассказывать детям какую-нибудь фантастическую сказку… Вот послушайте отрывок.

Маленькая девочка пошла гулять в парк, где было множество сине-зеленых просвечивающих лиственниц, словно бы фей в прозрачных накидках, и прелестные розовые цветы магнолии. В парке прогуливался старичок и продавал воздушные шары фирмы “Батя”. Каждый шар – на веревочке, и все эти цветные чудеса были вознесены над головой старичка и походили на красочный букет. Девочка купила у старичка два шара и стала бегать с ними по парку. И тут откуда ни возьмись налетел дикий ветер, такой дикий, что пригнул к земле ветви всех деревьев, подхватил девочку и, завывая, унес ее на своих крыльях. Шары, красный и золотой, еще пуще раздулись, и теперь они летели вместе с девочкой в трепещущем пространстве неведомо куда…



Этот отрывок был как бы сигналом – теперь, когда они уже “попали” в сказку, нужно было тотчас остановиться и красочно, со всеми подробностями нарисовать ту сцену, которая им больше всего понравилась. Девочки с такой отвагой и страстью бросились рисовать, я была потрясена их энтузиазмом…»

А я потрясена Сойкой. Завтра буду ее хвалить.

Но это еще не все – к сочинению приложена записка:

«Моя любимая Фридл! Мне бы так хотелось пожелать Вам чего-то очень-очень красивого… Чего-нибудь, что Вам, кроме меня, никто и не догадается пожелать… А это вот что – если Вам снятся сны и вы увидите во сне то, о чем мечтаете, пусть это сбудется! Спокойной ночи. Сойка».

Холодно, черно за окном. Я свечу фонариком на рисунки, которые сегодня сделали десятилетние девочки. Освобождение принцессы из пещеры. Тьма и свет. Вариации на тему. На обратной стороне рисунков – прямоугольнички фактур – темные, светлые… Вот слабенькая рука больной девочки, но как же она старается… А вот будто топором высеченные фигуры. Это девочка держит карандаш как нож – в кулаке. Может, потому, что ее отец мясник? Нет. Оказывается, она в детстве видела на картинке зайца, который именно так держал карандаш.

А этой девочке полагается высшая оценка по композиции и образности – шесть баллов. Как она интересно придумала про принцессу и ее освободителя! Белая принцесса сидит в черной пещере, над ней в белом небе парит черный принц. Принцесса улыбается. Она его не видит, но знает – он прилетит и спасет ее.

Что пожелать себе на сон грядущий? Пусть приснится райское дерево Эвы Хески. Предупредительная девочка расположила яблочки по периметру кроны и подписала «запретные фрукты», чтоб никто не рвал. Или кудрявый львенок Роберта Перла, вылезший из клетки, или его аисты, несущие детей в клювах.

Эва и Роберт – домашние дети. С ними легко. Гораздо трудней разобраться с детдомовскими. Многие не помнят, как выглядел их дом. Они рисуют двери наподобие казарменных арок, приставляют к кроватям лестницы; покрывают столы узорными скатертями и упирают их в нары…

Я пытаюсь воскресить в их памяти картины «нормальной жизни». Прошлое стало для них сказкой. Рисование этих «сказкок» во всех подробностях – обстановка в квартире, часы на стене, ларек напротив дома – постепенно приводит к вытеснению лагерной реальности. Она уходит на задний план.

Солнце, смотревшее искоса из-за угла, перемещается в центр и освещает своими лучами парки с качелями и каруселями, дороги, по которым прогуливаются девочки с кукольными колясками и ездят машины, разбрызгивая воду колесами. Много чего освещает солнце.

Рисунки детей. Мир ценностей и смысла. Я смотрю на них, и мне хочется рисовать. И еще хочется гуся, того, Хильдиного, с хрустящей корочкой и нежным мясом.

Я свечу фонариком под кровать; гуся, там, разумеется, нет, но есть коробочка акварельных красок.

«Свобода есть создание нового особого пути, не существовавшего ранее даже в виде возможного выхода». Кто это сказал? Может, Мюнц в книге о творчестве слепых? Я тру застывшие руки о вязаный свитер из шотландской шерсти – подарок Эльзинки-Ослика. Все мои вещи пропали, но такого теплого свитера у меня и на свободе не было. Невозможно рисовать с фонариком в руке. Но есть проволока, можно прикрепить его над головой. Картина Рембрандта: старик сидит под лестницей, вокруг тьма. А я сижу в коридоре, за дерюжной занавеской, потолок такой же высокий, как у Рембрандта. Луч света падает на бумагу.

Так вот и проистекает жизнь, вернее, истекает.

«И это правда». Так отвечает одна маленькая девочка на все, что ей ни скажешь.

13. На границе

Мы сочиняем пьесу про приключения девочки на необитаемом острове. Вальтер Фрейд, наш юный близорукий директор, мастер по марионеткам, предлагает заменить необитаемый остров на Землю Обетованную. «Приключение девочки в Земле Обетованной» и звучит лучше, и дает возможность попутно изучить карту Палестины, природные условия, местные обычаи. Нужна сверхзадача! Я не спорю.

Палестина – мечта Вальтера Фрейда, может статься, и неосуществимая. Пусть расправит крылья, порасскажет девочкам о морях и пустынях, о гордых евреях, которые не дремлют, – пока мы сидим тут в зале ожидания, они выкорчевывают из земли камни, разбивают сады, строят дома. Так что мы приедем на все готовое. Из сказки с королями и королевами наша пьеса постепенно превращается в пособие по природоведению. Вальтер уже вырезал бедуина, двух евреев с мотыгами и чудную марионетку-верблюда, чем-то похожего на мою лошадь, которая давным-давно развалилась на глазах у публики.

Тогда-то мы и познакомились с Анни.

Комната в недрах Кавалерских казарм. Вонь отхожих мест, тусклое освещение, грязь. Мама Ирена макает в воду сухарь, жует его деснами. Вставные челюсти уже не держатся во рту.

Не могла бы ты их продать? – Возьми, они там, в железной коробочке.

Сервировочный столик на колесиках, пузатый кофейник с тусклым пузом клонит нос в маленькую фарфоровую чашечку. Яйцо в фарфоровом цветке, ломтик теплого хлеба. Скрипит под ногами паркет, и от малейшего дуновения звенят подвески хрустального светильника… Воспоминания двадцатилетней давности…

Анни тяжело болеет, – говорит она мне.

Она поправится, обязательно, ведь она на воле.

На воле тоже умирают.

Нет!

Анни, Анни… Так бы хотелось обнять тебя, моя маленькая, больная девочка… Но не здесь. Ты – нежный материал… Что до меня, *я тоже не слишком жизнеспособна. Жизнеспособен, пожалуй, мой материал, упорный до тошноты.*

Помнишь Ульмана?

Этот директор лагерной консерватории, кажется, не спит и не ест. Бледный, черные круги под глазами на прежде округлом лице, поджатые губы – состарившийся Пьеро.

Чуть ли не каждый вечер он представляет терезинской публике новых исполнителей. Они выходят на помост, и публика, сидящая на пронумерованных лавках, замирает. Кстати, теперь вход строго по билетам, иначе не вместить всех желающих.

Бетховен. «Трио духов». Исполняют Генрих Тауссиг, скрипка, Пауль Кон, виолончель, и Вольфганг Ледерер, фортепиано.

После концерта никто не расходится, все ждут заключительного слова, и Ульман его говорит:

«Рекомендую следовать за здоровым инстинктом и играть свободнее. Бетховен, желая захватить публику, часто пользуется акцентировкой, интонированием, агогикой и динамикой – этого требуют характерные черты его музыкальной личности. Так что долой изнеженность и вялое боязливое музицирование!

Стиль – это человек, в музыке он определяется сменой ритма; Бетховен выражал в звуках то, что Наполеон претворял в действия, а Фихте – в свою философию».

Прогульщица! – Ульман сгребает меня в охапку. – Знаю, знаю: дети, рисунки… Сам такой. Где бы нам присесть? В мужской раскардаш пригласить не могу. Кстати, у меня тут все три жены… Первая – антропософка, я женился на ней в ту пору, когда бредил Штайнером; вторая – католичка, дань моему увлечению католицизмом, а теперь вот простая еврейка. О том, что две первые тоже были еврейками, я узнал только здесь. Когда их увидел. Все трое постоянно болеют, мужей у них нет. То есть у третьей есть я. Но поскольку мы живем раздельно, эта третья женой по факту не является. Дети от первого брака остались в Лондоне. Сын от второго здесь, я тебе о нем говорил, а от третьего детей нет, зато есть падчерица в переходном возрасте, тяжелая, как камень. В мамашу, думаю. Не принять ли мусульманство?

Мы поднимаемся в мою каморку.

К счастью, именно сегодня у меня есть чем угостить Ульмана. Сухари с изюмом от Хильды и чай от Отто.

А можно изюм отдельно? Сто лет его не ел. Скажи, мы живем долго! Все только начинается. По секрету – работаю над оперой, пока в уме, но скоро ты услышишь такое… Здесь непомерно долгое настоящее, будто оно вырвалось из временного порядка… Вкусный сухарь! Из Вены? Как там красиво кофе подавали – чашечка на блюдечке, стаканчик с водой и печеньице.

Как подавали, так и подают. Не думаю, что с нашим исчезновением там рухнули вековые традиции.

Ульман выковыривает из сухаря изюминку, отправляет в рот, жует сосредоточенно.

Ты сюда прямо из Вены попала?

Нет. Проездом через Чехословакию.

Я тоже. Но мой проезд растянулся на долгие годы…

Я уехала в Прагу в 34-м.

Как же мы не встретились? Ты не ходила на концерты, не посещала театров? Трудно поверить. Хотя однажды ты проспала Скрябина… Кстати, как Анни?

Она тяжело больна… чуть ли не при смерти.

Она здесь?!

Нет, в Палестине.

Тогда все в порядке.

Думаешь, там не умирают?

Это другая смерть. Коси коса… Комси комса… Кстати, я в юности придумал себе эпитафию: «Жизнь – непрерывная цепь поражений», но «Тайна любви больше, чем тайна смерти»… Длинновато вышло. Про тайну любви надо убрать.

С этим, пожалуйста, к Анни!

Почему?

Ты забыл, что послал ей с фронта письменное распоряжение? На случай, если тебя убьют на войне.

И что же я велел бедной девочке?

Позаботиться о твоих публикациях, выбить на могильной плите вышеуказанную эпитафию и что-то еще… А, не ставить креста.

Крест теперь уж точно не поставят! Две мировых войны за одну жизнь – это феноменальный успех нашего поколения! Забудешь, кому что завещал. «Взгорок – яма, взгорок – смерть». Корнет Кристоф Рильке, поющий в последний раз о любви и смерти. В Терезине.

«В седле, в седле, в седле, день и ночь в седле, день и ночь.

В седле, в седле, в седле

И остыла отвага, и тоска разрослась…»

Мы начали репетировать «Корнета». Здесь легко пишется музыка… Помню, сколько раз я правил партитуру «Падения Антихриста», ты, наверное, не слышала этой оперы, я написал ее в 1935 году. Тяжелая вещь, упрямая, как моя падчерица, не к ночи будь помянута. Здесь я ничего не правлю практически. Разве что какая-нибудь назойливая муха влетит во время репетиций, я ее раз – и прихлопну.

Может показаться, что мы с Ульманом сидим при свечах в мансарде нашей юности. За окном снег, в мансарде тепло… На самом деле мы сидим в холодном коридоре, за дерюгой, где слышен любой шорох.

Кто-то бежит в нашу сторону с криком: «Уйдите от меня!» Далекий голос Лауры: «Надо вымыть голову, никто тебя стричь не собирается, Рита, вернись!»

«Корнета клонит в сон. Вдруг откуда-то крик…»

Я выхожу из-за укрытия. Обнимаю Риту. Считаю про себя до шестидесяти. Шестьдесят секунд длятся долго. Куда дольше минуты!

Никто тебя стричь не будет, даю слово.

Рита влюблена в воспитателя из детского дома мальчиков. Местного сердцееда, вратаря футбольной команды. У нее длинные шелковистые волосы. В них легко заводятся вши. Хозяйственное мыло с лизолом превратит густую копну в тусклую паклю. А она должна быть красивой.

Я отдаю Рите посылочное мыло, с воли. Оно пахнет лавандой, оно нежное. Им вшей не выгонишь. Но не это задача нынешней минуты.

Подарок?

Да.

Я не заслужила.

Завтра заслужишь, а пока беги в умывальню!

Моя Фридл! – Виктор прижимает меня к себе.

Пять секунд.

Ты считаешь секунды?

Да, чтобы растянуть время. Я боялась, что ты уйдешь… принесла в жертву мыло…

Действие первой сцены происходит непонятно где… На какой-то границе. Мы сидим с тобой между живыми, которые больше не могут смеяться, и умирающими, которые больше не могут плакать. В мире, который забыл, как радоваться жизни, когда живешь, и как достичь смерти, умирая.

Я слушаю Ульмана и вижу перед собой маленького ребенка, вылупившегося из серой поношенной кожи, ушли морщины, округлилось личико. Голубые глаза новорожденного. Свет изумления.

Я солдат, а ты девушка. У нас с тобой одни и те же даты. Тысяча восемьсот девяносто восемь – тысяча девятьсот сорок четыре. Вместе – целых девяносто два года! И вот мы сидим на границе и думаем… Что сделать с этим миром? Пустить в расход? Вернуть в него любовь? А там, за твоей рогожей, окно в мир. Луна на ходулях обходит коньки крыш. Надо бы выпить. А что? Кровь – вот что мы будем пить. И целовать задницу дьявола, прости за выражение. Луна бела, кровь горяча. Любовь ушла в рай. Так что же нам теперь делать в этом бедном мире?

Давай продадим наши души на ярмарке.

Нас никто не купит!

Почему?

Потому что всяк желает избавиться от самого себя.

Так что же нам делать?

Король с королевой (персонажи с картины, которую я написала в честь открытия моей выставки в Лондоне) приезжают из Англии навестить подмандатную страну. Все-таки нам удалось ввести их в спектакль. В Палестине они встречают маленькую умненькую девочку, которая просит их сотворить чудо – «освободить народ наш».

Весь детский дом собрался на чердаке. Главную роль исполняла девочка из немецкого детского дома. Я выбрала ее неспроста. Чешские дети враждебно относятся к немецким. Девочка выучила текст по-чешски, но этот козырь мы держали про запас. После первой же немецкой фразы раздался недовольный гул. Девочка сделала паузу, после чего произнесла то же самое по-чешски. Это произвело настоящий фурор.

Никогда не забуду, как она просила английскую королеву «освободить народ наш», – в ее глазах блестели живые слезы. В сентябре 43-го девочку депортировали, и мы больше никогда не играли этого спектакля.

14. Бокал вина

Немецкий художник Конрад еще меньше меня ростом. Когда я сказала ему, что изваяла из металла скульптуру в два с половиной метра высоты, он чуть не свалился с нар. Он готов удивляться и изумляться. Как ребенок. В Терезин он привез с собой наборы открыток с репродукциями великих мастеров. Понятно, что они на вес золота, что он не выпустит их из рук ни под какое честное слово, даже мое, но позволит мне перерисовать любую. При нем – пожалуйста.

Придется «перерисовывать». Хочу попробовать с детьми сделать коллаж по Вермееру. В «Бокале вина» пол с черными ромбиками. После того как они выкрасят бумагу в черный цвет, вырежут из нее ромбики или просто порвут бумагу на кусочки и наклеят на плотные лагерные бланки, они решат, что самое трудное позади, и бесстрашно примутся за фигуры, которые куда сложней ромбиков.

На вопрос, как мне попасть в картину Вермеера, Франц Чижек ответил, что мне нужно попасть в свою картину, то есть стать Фридл Дикер. Наверное, он бы огорчился, узнав, что я не только не стала Фридл Дикер, но и Бедржишкой Брандейсовой не успею стать. Зато *я самая великая в Природе, я – Несостоявшаяся.*

Конрад пристроился рядом с «Весной» Боттичелли. Это свое любимое произведение он уже раз сто перерисовывал, один к одному.

Эта красавица утихомиривает бурчание в брюхе. Который час?

Не получив ответа, он нахлобучивает кепку с козырьком, проверяет талоны в кармане пальто: «Посмотрю, может, раздают? Если да, придется прерваться».

Позвольте закончить акварель. Она нужна мне завтра.

Конрад пожимает плечами. Что за спешка? Завтра нас вроде бы никуда не отправляют…

Он уходит, я остаюсь. Один на один с Вермеером. Я готова перерисовать все открытки. Ничего своего в голове нет.

15. Простое удовольствие

Весна. Прозрачное розово-голубое небо. Крепостные валы покрыты желтыми коврами одуванчиков. Жаль, нельзя рисовать с детьми на воздухе. Обучение запрещено, и сумасшедший комендант может заподозрить меня в преподавании природоведения.

Мы смотрим и запоминаем, как образуется форма, кругами, тычками. Мы рисуем руками в воздухе. Это смешно. Рисовать с голоса тоже смешно. Хорошо, что я могу хоть чем-нибудь рассмешить не по возрасту серьезных девочек.

Молодые воспитательницы не отходят от детей ни на шаг, я же вольно гуляю по местам, для сего разрешенным.

А вот и мои мальчики! Бегут вприпрыжку: «Тетенька, а когда мы еще будем рисовать?» Другое дело! Еще недавно они брели гуськом, втянув головы в плечи. Маленькие депрессивные старички из Берлина. Их отцы якобы хотели поджечь выставку «Советский рай», за что и были расстреляны. Матерей пощадили. Безумие безответно.

«Я работала с мальчиками из Германии… В свои восемнадцать лет мне было очень сложно справляться с этими недоверчивыми молчунами. А тут их как подменили. Спрашиваю, что случилось? А они мне: “Тут есть тетя, она разрешает рисовать красками все, что хочешь, и мы рисовали, мы ее любим…”

Мне захотелось узнать, что это за тетя, и я пошла в L-410. Я встретилась с Фридл на 10 минут, мы обе спешили. Все дело было в ее глазах. Они излучали свет. Я спросила ее, как мне быть с мальчишками, что-то ведь надо спросить, раз пришла. Фридл ответила: “Приводите их ко мне. Они получают удовольствие от рисования. Удовольствие пробуждает вкус к жизни”».

Сузи Дорфлер забыла сказать главное – она сама начала рисовать, и это стало для нее событием. Она собрала группу молодых воспитательниц. Нашлось много желающих. И это правда.

16. Семинары

У меня появилась блистательная ученица, восемнадцатилетняя Эрна. Она работает воспитательницей в L-318, у восьмилетних мальчиков.

«Фридл была моим учителем около двух лет; хотя я не помню точно, как она объявилась в “моем” детском доме, но пришла она по собственной инициативе и пригласила меня и нескольких моих коллег, которые интересовались рисованием, принять участие в занятиях. Сначала мы ходили в ее “студию”, потом она стала проводить еженедельные семинары в комнате, где мы жили с детьми. Несмотря на то что по большей части участниками занятий были “взрослые” (чуть постарше меня), к нам нередко присоединялись и дети. Так или иначе, в рамках наших ежедневных “школьных” занятий я стала передавать моим подопечным мальчишкам то, чему училась у Фридл, используя те же или почти те же методы.

Я всегда любила рисовать (живопись меня привлекала меньше); в числе вещей, взятых в лагерь, были мягкие карандаши. Бумагу, конечно, раздобыть было трудно, но у меня с собой был блокнот для набросков (было бы разумнее вместо него взять побольше еды), кроме того, всегда удавалось “урвать” еще бумаги, рисовали мы на обеих сторонах. Мы делали множество “освобождающих” упражнений – изображали круги и закорючки, давая рукам или ножницам полную свободу. Но больше всего мне нравилось рисовать с натуры лица (у меня все еще хранится много портретов “моих” детей), автопортреты и натюрморты, к каждому из них я делала наброски с разных сторон. Никогда не забуду рисунка с печкой в углу, стулом и палкой – на нем Фридл объясняла приемы композиции, и еще там был маленький дворик с несколькими деревьями – у меня до сих пор хранится эта акварель. Фридл сказала, что стволы деревьев вышли не очень основательно.

Через Фридл мне открылся новый мир, она помогала мне и увлекала меня, она была замечательным, ни на кого не похожим учителем. В Терезине у нее был приятель, художник, чьего имени я не припомню: маленький человечек, любивший писать красивые миниатюрные работы. У него были книжки с репродукциями, одна или две. Несколько раз мы с Фридл ходили к нему; я рисовала с его репродукций (в основном это были экспрессионисты), и они вместе, Фридл и он, учили меня».

Это Конрад. Он еще нам позировал, когда мы учились рисовать человека в очках вполоборота.

«Учеба у Фридл, часы, когда мы вместе рисовали, относятся к излюбленным воспоминаниям моей жизни. Тот факт, что дело происходило в Терезине, еще более обострял это ощущение, хотя в любом другом месте было бы то же самое.

Лишь многим позднее я узнала от Эдит Крамер, с каким количеством личных проблем Фридл приходилось бороться. В то время она излучала спокойствие, глубокое знание и особый взгляд на мир. Она всегда была добра и готова прийти на помощь, всегда оценивала мои усилия намного выше, чем я сама, всегда превращала наши занятия рисованием в большое событие».

Что правда, спокойствие меня не покидает. Насчет «глубокого знания» – чепуха. Ни одной мысли в голове – сплошные цитаты из «Утопии». С утра навязалась вот эта: *«Блажен тот, кто, побывав метафорической картиной, пробудился к осмысленному бытию. Через уничтожение дается ему неуничтожимая жизнь».*

В шрифтовом варианте слова «уничтожение» и «неуничтожимая» выглядят как арабская вязь, опутавшая готические колоннады. Я до сих пор вижу перед собой не только законченные страницы «Утопии», но и правку. Слова «метафорическая картина» стояли со сдвигом влево, Иттен велел отцентровать. В «осмысленном бытии» увеличить кегль.

Как нам, взрослым, относиться к детям и их творчеству?

Я обвожу буквы жирным карандашом, «увеличиваю кегль». Что дальше? Это не «Утопия» – всего лишь конспект лекции о детском рисунке, которую я собираюсь прочесть на семинаре. Там будут воспитатели всех детских домов, в основном молодые люди, не кончавшие университетов. И нужно донести до них простую мысль о том, что…

…вспышками детского вдохновения, внезапными озарениями не следует дирижировать. Знания, навязанные ребенку без учета его уровня или когда он поглощен другим, ребенок воспринимает как вторжение в его мир и выставляет защиту: пассивность и неадекватное поведение.

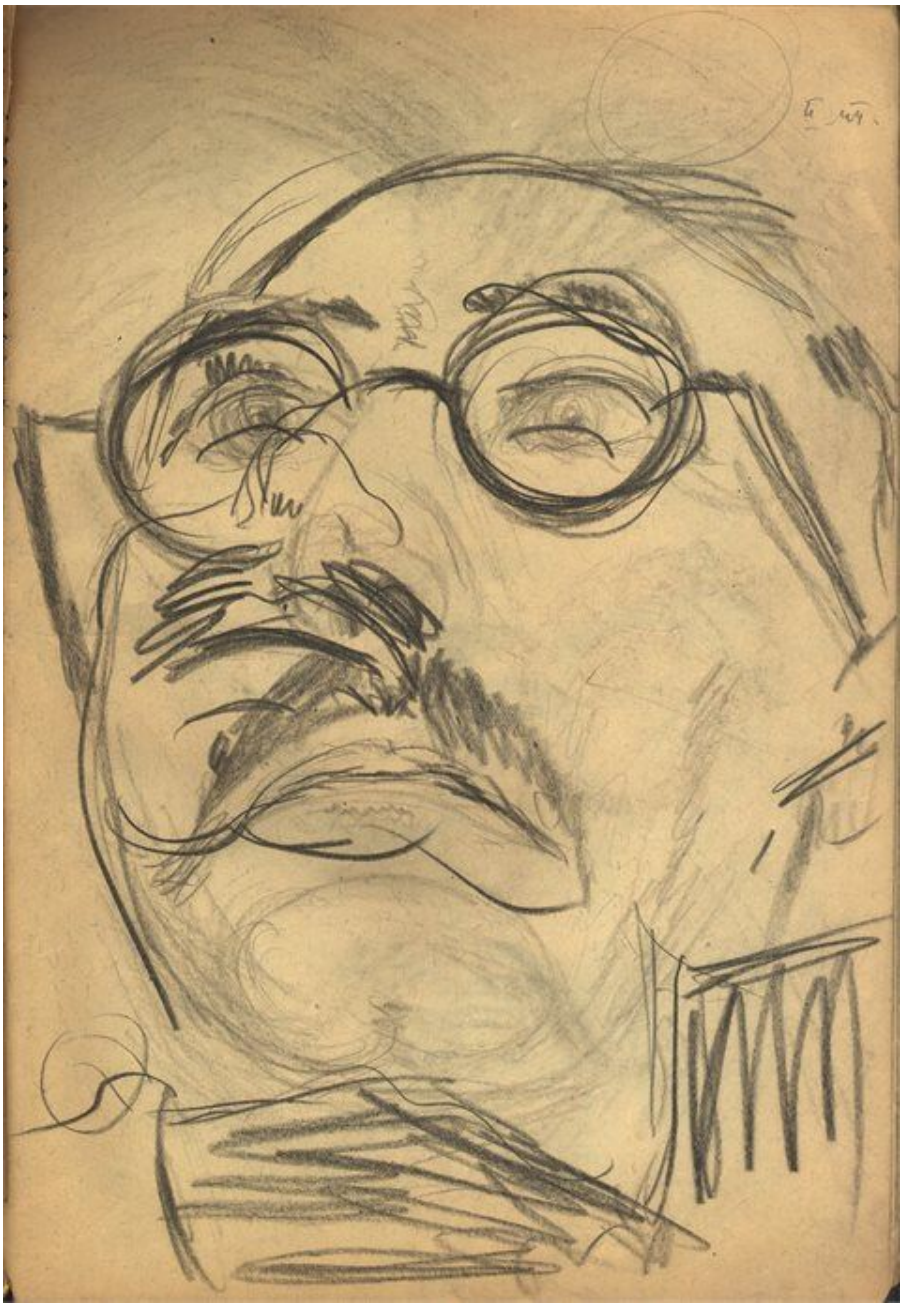
Витиевато. Но лучше не останавливаться. Потом поправлю.

Давайте не будем торопиться с окончательными суждениями о форме и содержании. Лучше рассмотрим рисунки с наслаждением и пользой – вглядимся молча, вдумаемся в то, что они в себе несут.

Наши предрассудки и притязания в отношении детских рисунков вытекают по большей части из ложных представлений о самом ребенке и о том, что он имеет сообщить. Взрослые закоренели в своих мнениях об «эстетических ценностях» – они сами когда-то не справились со своими трудностями, просто подавили их в себе под воздействием страха. А теперь хотят как

можно быстрей, в массовом порядке, уподобить себе детей! Но так ли уж мы счастливы и удовлетворены собой?

Ребенок не является недоразвитым взрослым. Ратенау по этому поводу сказал: «Аллегро – это не цель для адажио, и финал – не цель для вступления. Они следуют друг за другом по закону гармонии».



Претензии взрослых, даже тогда, когда они обоснованы, относятся к другим областям. Например, чистота, точность, способность к передаче определенного содержания принадлежат к области рисования геометрического орнамента и не имеют ничего общего с творческим рисованием.

Предписывая детям путь (а они развиваются вовсе не одновременно и не однонаправленно), мы на самом деле сбиваем их с пути. Ограничивая поле творческого поиска, мы мешаем развитию личности, уводим ребенка от попытки самостоятельно определить сферу своих способностей, а самих себя – от понимания характера этих способностей.

Громоздко. А если так: *«Мы мешаем творческому развитию их индивидуальных способностей, а себе перекрываем доступ к пониманию характера этих способностей».* Тоже не очень. Ладно, хватит про ошибки и непонимание. Пора переходить к делу.

Поскольку меня часто спрашивают о ритмических упражнениях, хочу на них остановиться особо. Они превращают толпу в рабочую группу, которая готова совместно отдаться делу, вместо того чтобы мешать и портить работы друг друга. Как побочный результат эти упражнения призваны сделать руки и всего художника окрыленным и гибким. Помимо этого, ребенок извлекается из обыденности (позже мы увидим, насколько это полезно), он ставится перед нетрудным заданием, полным игры и фантазии. Выполнение задания приносит ребенку удовлетворение, необходимое при этом сосредоточение делает его собранным… Кроме всего прочего, дети сообща выходят на старт.

В большой группе заниматься лучше: дети зажигают друг друга, создается более стабильное настроение, хорошие почти всегда сплачиваются против плохих. Дети получают друг от друга полезные идеи. Уже тем, что преподаватель не перегружает их своим вниманием, он дает им свободу воздействия друг на друга… Ребенок учится работать в группе, а группа – это целое, в ней нет конкуренции… Так проще преодолевать трудности, возникающие из-за нехватки материалов, помогая другим, направляя и ограничивая себя, где нужно.

Замечательная группа блока VI хочет заниматься живописью. Не хватает кистей, красок, планшетов. Мальчики знают, что здесь принимают всех независимо от степени одаренности. Они сами разбиваются на группы, ждут очереди. Они признают превосходство тех, кто страстно интересуется живописью, готовы стоять за их спинами. Подготовка планшетов, смешивание красок – это их вполне устраивает. Самостоятельно или по чьему-то совету они находят применение своим силам: один ведет список

и организовывает занятия, распределяет материал и за это отчитывается, другой ведет журнал, третий «ассистирует» во время рисования или делает эскизы, кто-то отправляется на розыски материалов. Все чувствуют свою причастность к урокам и терпеливо ждут очереди – рисовать.

Мальчиков становится вдвое больше. Кисти приходится одалживать. Раньше в этом доме пропадали бумага и картон, теперь ребята более благонадежны, кроме того, наиболее одаренных из них удалось подвигнуть на работу с младшими группами.

Дети, работающие самостоятельно, моментально забывают злой, насмешливый метод критики – из жизни и взглядов другого можно извлечь много полезного.

17. Детская выставка

Гонда Редлих, руководитель детдомов, выделил для выставки подвал. Он сырой и темный, но ничего другого нет. На стенах в коридоре вешать работы нельзя. Почему? Нельзя – и все. Чердак занят. Там репетируют оперу Сметаны «Проданная невеста». Многоголосый хор свил себе там гнездо, и я засыпаю под небесное пение.

Помощницы принесли в подвал папки с рисунками, разложили их на полу.

Госпожа Брандейсова, вы будете отбирать сами?

Нет, поручим это дело авторам. Чтобы выбрать одну работу, им придется пересмотреть все, что они сделали на занятиях. Это полезно.

Всех вести сюда?

Только не сразу, по очереди. Ведь еще и у мальчиков столько рисунков…

Как мы все успеем? Файнингер и тот нервничал, когда мы устраивали в Баухаузе развеску литографий, выполненных в его мастерской! Пил кофе, курил сигару за сигарой… Кофе нет, сигар не курю, если бы и курила, пришлось бы бросить.

Ханичка отложила в сторону рисунок, на котором изображены две конфеты, две коробки и две змеи. Сам по себе он слабенький, но для нас с Ханичкой очень важный.

В одном из заданий я настаиваю на том, чтобы были нарисованы только те предметы, что я упоминаю в рассказе дважды. У пассивного ребенка это не выходит. Пока мне не удастся установить с ним личный контакт, вывести его из этого состояния каким-то совсем другим способом. Я нарисовала Ханичке костюм бабочки. В нем она чудесно играла на сцене и была довольна. Это и положило начало успеху. И теперь в заданиях на скорость реакции ей нет равных…

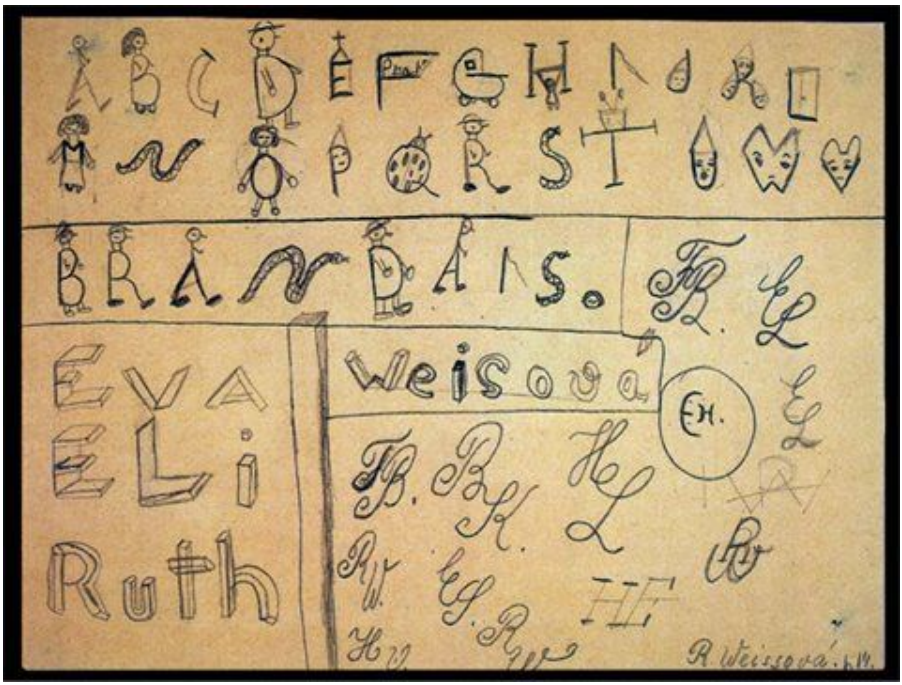
Интересно, очень интересно, – говорит Гонда Редлих, разглядывая детские работы, – все проблемы Терезина нашли здесь отражение. Трехэтажные нары, повторенные многократно; образ «человека из гетто», сексуальные проблемы, отображенные в рисунках четырнадцатилетней девочки. С другой стороны, дети повествуют о своих мечтах: кибуц, прекрасные квартиры, самолет, поезд…

Насчет поезда он ошибается. Поезда вряд ли связаны со счастливым будущим. Напротив, дети рисуют их, дабы вытеснить страх. И если бы Гонда присмотрелся внимательней, он бы увидел рядом с железными дорогами маленький домик. Это весовая. Тут

взвешивают багаж пассажиров, отправляющихся в Польшу.

Про девочку с сексуальными проблемами я говорила на лекции.

Может пройти 10 уроков, пока учитель не набредет на что-то и ребенок, казавшийся неконтактным, внезапно отзовется. Возможно, дверцу в душу ребенка откроет один-единственный ключ…



Ева рисует что хочет. И вот она показывает мне рисунок. На нем – обнаженная женщина под деревом, она грустно глядит в пространство, на отсутствующий пейзаж. За деревом – мужчина в каком-то рыцарском костюме, легко и любезно настроенный, с револьвером в руке. Я осторожно спросила, куда глядит женщина и что сейчас произойдет.

Ева ответила, как любой ребенок в подобной ситуации: это ничего не значит, это просто так, и она хочет еще что-то дорисовать. На «улучшенном» рисунке – море, у которого весьма глубокомысленно сидит женщина, однако голые колени прикрыты платком, на небе облака, пистолет из руки мужчины исчез. Я сказала: это совсем другой, новый рисунок, жаль старого. Она весьма услужливо предложила перерисовать старый по памяти – получится точно как раньше, и действительно – вышла та же задумчивая голая женщина и любезный мужчина с револьвером.

В данном случае нет никакого смысла уделять внимание

хорошей или вообще какой-либо форме, все это лишь спонтанное выражение сексуальности. И хотя детей нужно воспитывать, все-таки прежде всего они должны быть свободны в выражении того, что им необходимо выразить.

«Я получила на выставке первое место, и это правда».

Марта, вот кто говорил «и это правда!» Как я могла забыть ее имя! Эта совершенно несуразная девчонка прибыла сюда с сестренками-двойняшками, без родителей. Норовит припрятать для них то лист бумаги, то карандаш. Благое дело.

«В подвале нашего дома были разложены доски на козлах – на них стояли поделки, а на каменных стенах висели картины. У меня там были рисунки, но главное – это слон и обезьяны, пальма из картона, а на ней и под ней зверюшки, я их сшила, набила в них опилки, муж Фридл в кульке принес.

Фридл была неразговорчивая, маленькая, чуть повыше меня, и все умела, все! А я была пропащей тупицей. Она была первой, кто сказал мне, что вовсе не обязательно учиться по книгам. Так и сказала: “У тебя руки любят учиться. Умные руки – это дар!”

Меня к Фридл тянуло. Помню, мы делали кукол, и Фридл где-то нашла волокна такие, от кукурузных початков, на прически. Мы их покрасили, и у нас вышли и блондинки, и шатенки… глаза из бусинок…»

Большинство из 10–12-летних девочек играли большими целлулоидными куклами-пупсами. Однажды мы решили сделать кукол, чтобы с ними сотворить что-нибудь общее, например театр.

Девочкам это не нравилось – некрасиво. Все хотели принцесс, и тем, что у них получалось, были недовольны. В конце концов они показали мне пупсов, толстых, гладких, с длинными ресницами, подрумяненных. С такими наши тряпичные куклы никак не могли соревноваться. Я предложила из одной тряпичной куклы, сочтенной уродской, сделать фигуру для процессии ряженых, и вскоре настроение переменилось. Так у нас возникли куклы – водовоз, кухарка, волшебник и звери, и даже работница туалетной службы.

Бесконфликтная, принимаемая некритично, бессодержательная «красота» вредит везде и всюду. Все, что противостоит «шаблонному изделию», приветствуется нами.

«А если кто принесет камешки, она их так приложит и этак – и все получаются разные вещи, она все-все это умела! У нее все со всем соединялось. Я у нее стала рисовать. Зверят, людей, цветы – все рисовала и не боялась… Как-то она говорит: ну-ка, Марта, нарисуй пару линий, а теперь покрути лист и посмотри, на что это похоже… Я кручу и не вижу. А ты еще покрути… И еще… Крути да гляди… И вижу – круг танцовщиц… Правда же вижу! Ну,

а теперь нарисуй – это проще простого. И я рисую, и правда – выходит круг танцовщиц… Или я стараюсь, стараюсь, чтобы у меня вышла голова принцессы, а она подойдет, пару линий – и готово. “Пар-чар”! Она учила рисовать быстро. Пару линий – и готово. Была бы бумага, а что нарисовать найдется – только начнешь, она посмотрит, скажет, на что это могло бы быть похоже. Что из этого может выйти…

У Фридл были книги про искусство, но меня это не интересовало. А вот книжку-сказку про Африку, на бумаге высшего сорта, я у нее раз сто брала смотреть. Слон и обезьяны на выставке – из той самой “Африки”».

18. Свет и тьма

Вслушиваться в голоса детей, всматриваться в рисунки. В редких случаях позволить себе вторгнуться в суверенное пространство, чтобы там, в уголочке, почти незаметно, нарисовать тень от лепестка. Почему им так хочется научиться «правильно» рисовать тени? Тени обманчивы, переменчивы, они подчеркивают форму, порой искажая ее до неузнаваемости. Но девочки упрямы. Они хотят рисовать как взрослые.

«Мне хотелось достичь объема – так, чтобы нарисованные люди отлепились от бумаги, и Фридл стала учить меня искусству светотени. Она принесла книгу Рембрандта и объяснила мне – вот здесь свет сильный, направленный, а здесь он тоже сильный, как бы не по закону. Это для выразительности. Не бойся резких теней, они вытащат фигуры из бумаги. …Моя младшая сестра была в 25-й комнате, и там они много рисовали. Я приходила как будто бы к ней, а сама смотрела как зачарованная… Фридл заметила это и дала мне карандаш и бумагу. И я стала рисовать после работы. Я ухаживала за стариками и видела столько мертвых…

Фридл похвалила меня за рисунки. За фигуры, за то, как я их чувствую. Однажды она принесла мне глину. Я никогда не лепила из глины. И Фридл сказала: слепи что хочешь, не бойся. Я слепила людей, сидящих вокруг мертвого тела. Фридл взяла работу на выставку, она сокрушалась, что ее негде обжечь, и, конечно, скоро моя скульптура развалилась на части. На выставке я увидела лепку какого-то мальчика из Бельгии, настолько лучше моей… Фридл сказала: не завидуй, этот мальчик из семьи художника, у него хорошая подготовка. Ты тоже научишься».

Бесстрашие Рембрандта. Он не боится входить в темную комнату. Он верит – есть источник света, пусть он бесконечно далек от нас, но он есть. Рембрандт – взрослый художник. Он входит во тьму, пережидает, осматривается. И вот на его глазах проступают силуэты вещественного мира, и они тем зримей, чем сильней и направленней взгляд художника.

Это я рассказываю девочкам после отбоя. Лаура к вечеру никакая, и я частенько ее подменяю. В ее 24-й чудные девчонки, но угомонить их – сущее мучение. Особенно когда спать хочется. А мне легко. Я могу прикорнуть в тихий час. Ведь я не воспитатель и не отвечаю за порядок. Номинально моя функция ограничена уроками рисования. Это имеет преимущества. Девочки знают, что ко мне бессмысленно обращаться по бытовым вопросам и с жалобами на подруг и воспитателей. Все остальное – пожалуйста!

На ночь мы забываем о Терезине. Я рассказываю девочкам про мужественного эскимоса Нанука и вечную мерзлоту. Все белым-бело, наше будущее – белый лист… Что мы на нем нарисуем?

19. Собственный угол

Гонда был в таком восторге от выставки, что выхлопотал нам с Павлом разрешение поселиться в отдельной комнатушке. С дверью. Вход со двора.

В отделе распространения жилплощади нам выдали массивный ключ с полукруглым отверстием и тремя толстыми зубчиками. Но когда мы повернули его в скважине и открыли дверь…

Здесь можно спать сидя, – сказал Павел.

И закрыться на ключ!

Может, здесь был сортир?

А если прорубить стену?

Тогда мы окажемся в коридоре первого этажа.

А что, если надстроить снаружи? Спереть со стройки три листа фанеры…

Но как быть с дверью?

Тогда фанера не годится. Если б найти старые двери такого же размера…

Или сбить доски…

Давно мы так не смеялись. В веселом настроении написали открытку Отто и Марии.

Мои дорогие! Могу сообщить вам, что мы здоровы и нам хорошо. Мы оба прилежно трудимся – я в отделении по работе с молодежью, а Павел – на строительстве плотником. Посылки и пожелания мы получили, от этого было много радости. Надеемся вскоре что-нибудь от вас услышать. Привет огромный всем, в том числе и Хильде. Ваши Павел и Фридл.

30 июля мы перебрались в новую «квартиру». Павлу удалось раздобыть метровые листы фанеры, доски и стекло для окна. Вместе с ребятами из бригады они за два вечера – благо летом темнеет поздно – выстроили нам светлицу.

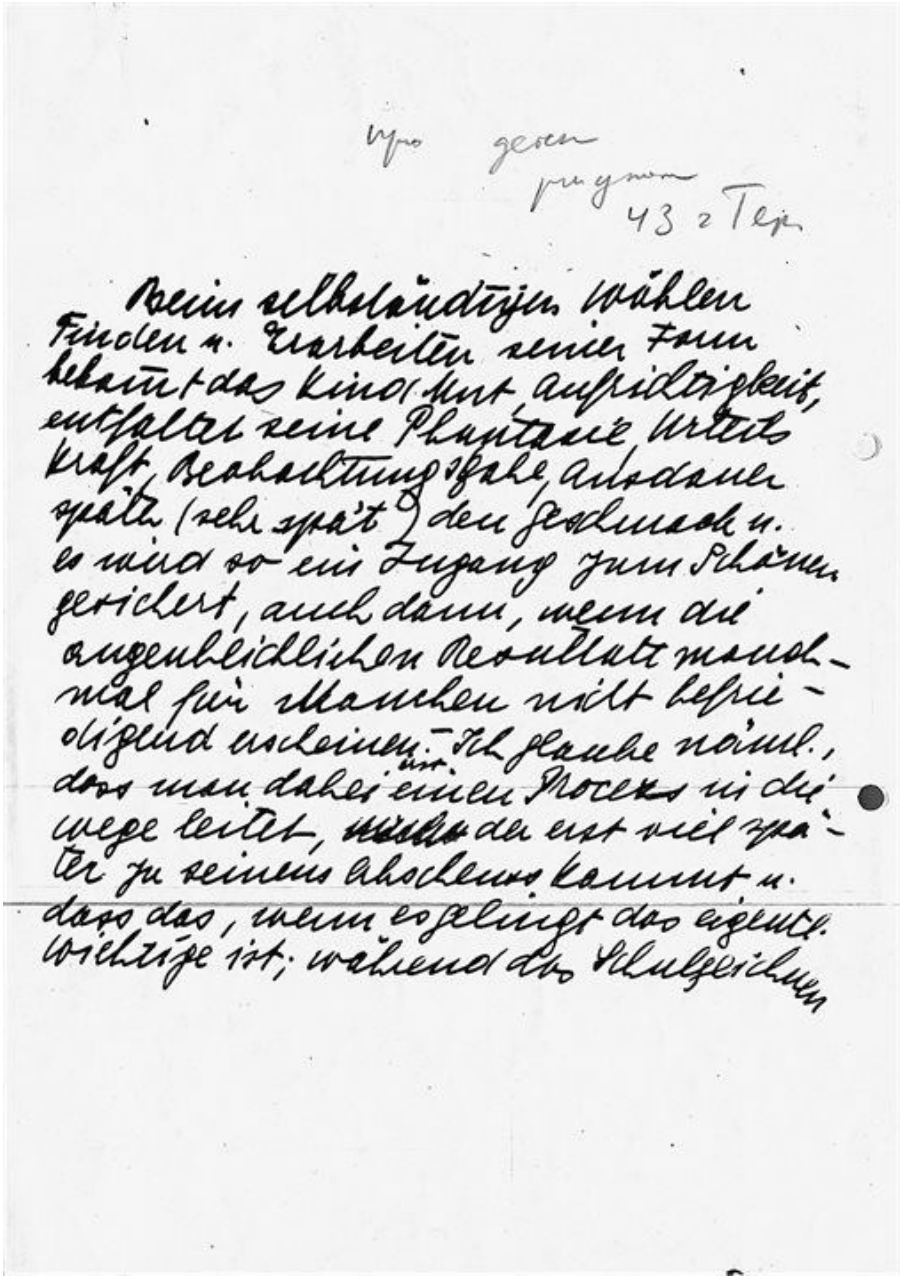
«Как входишь к ней из сада, со двора L-410 – сразу койка, полка… стул вроде лавки, не было ничего одинакового. На стене – коврик из тряпок, очень красивый, но не помню, что на нем было изображено, может, просто красота… Все было занавешено темно-голубой материей, так что не видно стен… Кажется, за простыней в углу была еще одна койка и ниша. Туда, наверное, умещалась вся утварь, потому что я не запомнила ни одежды, ни посуды, одни книги да бумаги… И было там страшно холодно, так холодно…»

Марта забегает вперед. Холодно будет зимой. Пока же стоит невыносимая жара. Мы завшивлены, искусаны клопами и

блохами. По утрам наш двор превращается в полосатый ковер из матрацев, которые воспитательницы с девочками прожаривают на солнце. Но и это ничего не дает.

Почесываясь и поеживаясь, мы с Павлом проглядываем машинописные страницы докладов, среди них и мой «Детский рисунок». Все, что было прочитано по-чешски, переведено на немецкий: Гонда отчитывается перед комендатурой.

Кто такая Берта Фройнд? Смотри, что пишет!



«Три великих инструмента воспитания – Прекрасное, Благородное и Правдивое – мы находим не только в Природе, но и в Искусстве. Изучая с детьми произведения искусства – будь то архитектура, скульптура, рисунок, живопись, литература или музыка, – мы открываем перед ними возможность познавать красоту на свой лад, наблюдаем чудесное воздействие искусства. Дети воспринимают его всей душой и тут же хотят сделать что-то

сами».

Этого доклада я не слышала. В каком, интересно, доме она работает?

«…Забавная история из моей педагогической практики. Както я пообещала ученикам пойти вместе с ними на концерт фортепианного виртуоза Ламонда. На занятиях мы проиграли всю программу будущего концерта, углубились в красоты произведений в отношении стилистической, гармонической и мелодической формы, обсудили технические приемы и т.п. После урока Пауль (11 лет) спросил меня: “Скажите, пожалуйста, фройляйн, вы продаете билеты на концерт?” Прежде чем я успела ответить, Ханна (12 лет) сказала смеясь: “Нет, фройляйн не продает билеты. Она продает вдохновение!” …Оба принципа: “воспитание – это искусство” и “искусство – это воспитание” – работают в Терезине точно так же, как и на воле. Но их применение в здешних условиях имеет специфическую окраску…»

Шаги. Кто бы это мог быть?

Гасим свет. Тут бывают облавы. Если кто-то сбежал из гетто, все население наказывается отключением света. Может, мы пропустили объявление? Властичка. Что случилось?

Я включаю свет. Бедная, расчесанная в кровь девочка!

Я больше не могу терпеть… Пожалуйста, можно я посплю во дворе?

Ты спросила у Лауры?

Лаура сказала «нельзя».

«Нельзя» не обсуждается.

Пошли мыться, вода холодная – так что не визжать!

Я ополаскиваю Властичку на колонке, закутываю в полотенце и отношу на руках на второй этаж.

Измученная Лаура спит на стуле посреди комнаты.

Девочки стонут, ворочаются с боку на бок.

Давайте, только очень тихо, устроим хор плакальщиц. Сначала плачет шепотом левая сторона, потом правая. Начинаем. Плачет левая!

Вместо плача раздается хихиканье с обеих сторон.

Уже лучше.

20. Спектакль «Светлячки»

Началось все с актрисы, которая вызвалась позировать мне обнаженной. За это я помогу ей оформить детский спектакль. У нас тут, как при феодальном строе, все зиждется на натуральном хозяйстве. За частные уроки расплачиваются хлебом или маргарином, за полки – сахаром…

По замыслу хореографа дети на сцене должны выглядеть малюсенькими.

Я сделала каркасы для цветов высотой под два метра. По распоряжению Гонды Редлиха нам выдали краски, и мы всем детдомом расписывали колокольчики и одуванчики. В том же подвале, на цементном полу.

«Учитывая наши терезинские условия, – рассказывает состарившаяся актриса, – я взялась за переработку сказки в пьесу. Все действие происходило на фоне огромных цветов, которые создавали полную иллюзию луга. Там маленький Светлячок учился летать. Его нечаянно поранили играющие на лугу дети; следующая сцена показывала жизнь в маленьком домике, где мама выхаживала Светлячка; потом сцена, как мама готовит, а маленький Светлячок раздувает огонь; сцена, где светлячки делают вино из большущей виноградины, и в конце концов свадьба маленького Светлячка – ею венчается пьеса.

После нескольких месяцев репетиций, похожих скорее на групповую игру, мы подошли к моменту, когда можно было выпускать “Светлячков” на публику. Наступило время лихорадочной подготовки. Для декораций у нас была одна бумага, а для костюмов – старые тряпки. Работники детского дома распороли старую одежду и вместе с детьми сшили из нее костюмы. Это происходило под наблюдением и при участии австрийской художницы Фридл Брандейс».

И это правда. Хотя порой кажется, что всего этого не было.

«Мы сыграли “Светлячков” не менее 28 раз, и тут пришло известие о готовящихся транспортах. К тому времени мы привыкли к этой постоянно возвращающейся трагедии – буквально через несколько дней жизнь в лагере входила в прежнее русло, и представления возобновлялись. Уехавших заменяли, “Светлячки” репетировались снова».

У актрисы была точеная фигура, и она по собственному желанию позировала мне в весьма откровенных позах. Эти рисунки ей нужны были для подарка, и я с удовольствием обменяла их на буханку хлеба. Любовником актрисы был высокопоставленный член еврейской общины, он хранил ее от

транспорта, и ей приходилось всяческими способами поддерживать его пыл. Судя по всему, подарок пришелся ему по душе.

21. Воспитание искусством или искусство воспитания

Берта Фройнд нашла меня сама. Оказывается, и она прочла мой доклад. Видимо, Гонда раздал копии всем участникам семинара.

Я предложила ей присесть.

Спасибо. Время поджимает.

Но все же сняла соломенную шляпку, поправила челку, села ровненько на табуретку, уперлась прямыми руками в колени.

Я тут свожу короткие знакомства. Я не навязчивая, не бойтесь. О себе. Училась музыке в Вене. Здесь занимаюсь с малышами в детском саду.

Учительница музыки говорит прерывисто. Одышка. Не разгонишься на сложносочиненные предложения.

Видимо, она уже давно не продает вдохновение. Ее присутствие скорее сковывает, нежели вдохновляет. Все же я уговорила ее на чай. Вернее, на кипяток с сахаром.

Вы так правильно все пишете, Берта.

Спасибо. Это вы все правильно пишете. Я даже прослезилась в одном месте.

В каком же?

Вы рассказываете про девочку, которая поначалу живо рисовала, а потом в угоду взрослым принялась лепить штампы. Я бы не отважилась говорить о своем педагогическом провале.

А почему это провал?

Вы вовремя ее не остановили, и девочка пошла по наклонной.

Я не стала с ней спорить.

Берта допила сладкую воду, встала и ушла.

Читая ее доклад, я представляла уверенную, может, несколько экзальтированную женщину. Возможно, она и была такой. Терезин деформирует. Людей на грани помешательства здесь можно встретить на каждом углу. Но не все приходят в гости.

«Женщина в шляпке, одинокая, идет по улице, куда она идет, кто она, что с ней?»

Такой урок я задаю девочкам после встречи с Бертой Фройнд.

«И нужно было думать, фантазировать. Ни одного законченного сюжета, только намеки. Вопрос о характере женщины, счастливая она или печальная, каждый решал для себя.

Фридл говорила тихо. Изредка предлагала темы. Это были ненормальные уроки – уроки свободных раздумий. Живое, живое,

все должно быть живым! Сильное-слабое, приятное-неприятное, линии, цвет, ритм…

Она была уверена, что все могут рисовать, поэтому ее главной задачей было найти способ, как ввести детей в такое состояние, чтобы они рисовали. Моя мама Роза заведовала детским домом, они очень дружили с Фридл, много с ней говорили. Мы были полуголодными, больными и в таком состоянии рисовали. Иногда Фридл приходила с какой-то вещью или книгой… Чтобы руки нас слушались, мы делали высвобождающие упражнения, и только потом она давала задание, например, по какой-то картине, в конце урока мы рисовали свободно. “Ни о чем не думайте, просто рисуйте, это само по себе такое счастье”… И мы в тот момент действительно

ощущали себя счастливыми».

Это голос Раи, дочери нашей старшей воспитательницы Розы Энглендеровой. Рая с родителями прожила в Палестине пять лет. Зачем же они вернулись?! Там невозможно жить: жара и полное бескультурье. Разве что сумасшедшие сионисты верят в то, что в скором времени там возникнет нормальное еврейское государство.

Сионистов Роза не жалует. У них если не еврей, то не человек. Они не думают о том, каково приходится детям рейха, у которых на войне погибли отцы. С Редлихом она на ножах. Он пытался уволить Розу и вместе с ней всех воспитательниц с коммунистическим мировоззрением. А таких у нас большинство. Где ему найти замену тем, кто работает круглосуточно и встает к больным детям по пять раз за ночь?

Редлих нашел другое решение. Уволил Вальтера Фрейда, которому все, кроме кукольного театра, до лампочки, и поставил на его место сиониста Вилли Гроага.

Вилли удалось покорить всех, даже Розу. Она простила ему сионизм, а он ей – коммунизм. – «Между прочим, в Палестине существует компартия, так что после войны все желающие смогут в нее вступить». Обаятельная улыбка, рука, положенная на плечо…

Однако есть пункты, в которых Вилли неумолим. Он не позволяет молодым людям заходить в комнаты к девочкам. Фрейд на это смотрел сквозь пальцы, и у нас произошла неприятная история. Забеременела девушка, врач обязан был оповестить об этом начальство, и девушку отправили в Польшу.

22. Судьба стула

Неподалеку от нашего детского дома одноколейка, сюда приходят эшелоны из Протектората и рейха, отсюда же они уходят в Польшу. С другой стороны, Терезин – город маленький, он только из-за казарм кажется огромным, так что одноколейка всегда вблизи, где бы ты ни жил.

«Недавно мы пережили жутко тревожные дни. Несколько суток пребывали в панике, а последние две ночи вообще не ложились. От нас ушел Миша Краус… Все это выбило нас из колеи, но теперь все позади, и мы должны работать с удвоенной силой. Пора понять это и взяться за дело».

Тем же транспортом уехала мама Ирена. Кто-то из девочек нес ее чемодан. Нам, тем, кто пока еще здесь остается, запретили приближаться к зоне отправки.

Анни, Анни… Унесенная диким потоком, я все еще могу высунуть голову из воды и выкрикнуть имя. Но ты его не услышишь. Отсюда нас не слышит никто.

Иван Полак принес мне прочесть последний выпуск журнала «Камарад». «В память о друзьях, ушедших декабрьским транспортом». После отъезда Миши он ко мне часто наведывается. Сядет и молчит. Как Хелена. Кстати, и его мальчишки подтравливают.

В журнал он вложил рассказ и записку: «Дорогая госпожа Брандейсова, как вы считате, стоит ли публиковать это произведение?» Большая честь – главный редактор «Камарада» обращается ко мне за советом! Иван серьезно относится к своему детищу – собственноручно переписывает все статьи, сам все рисует – красное сердце на обложке, комиксы на задней странице, картинки к стихам и романам с продолжением.

Название рассказа «Судьба стула» вызвало в памяти бидермейеровские стулья в квартире Полаков. Мягкие, пузатые сиденья вишневого цвета…

«В общем-то я – обычное сиденье, изготовленное в столярной мастерской в Праге много-много лет тому назад, в золотые времена, еще до Первой мировой войны. Нас было множество одинаковых братьев, и разошлись мы по ресторанам и гостиным.

Долгое время я стоял в витрине и наблюдал за движением на столичной улице. Иногда около меня задерживались дамы в длинных или коротких, широких или узких платьях – как предписывала мода – и с восхищением на меня глядели».

Иван тоскует по своей красавице маме. Госпожа Полакова живет в терезинском доме для умалишенных, детей туда не

пускают. Может, и правильно делают. Он бы ее не узнал.

«…Там провел я долгое время, пока меня не продали и не отнесли в квартиру, где я украшал собой парадные покои. Там я промучился много лет. В полумраке, среди тяжелых штор, мне снился прекрасный лес, где я родился».

Это квартира Полаков в Находе, с тяжелыми шторами и видом на гору, покрытую лесом.

«Одна у меня была радость – когда приходили гости. Всегда услышишь что-то новое, интересное, чему-нибудь научишься».

Помню, сколько было радости, когда я к ним пришла! Как мы с Иваном и Мишей лепили персонажей из «Острова сокровищ»! Размышляли, как сделать из пластилина просмоленную косичку, торчащую над воротом засаленного синего кафтана, как вылепить «засаленность»…

«Там я пережил войну; а после войны стали раздаваться недовольные голоса – квартира маленькая, архитектура несовременная… Словом, мне дали понять, что я некрасивый и несовременный, так что пришлось переехать в коммунальную квартиру. Там мне стало совсем плохо, и меня охватила тоска. У мальчика с реденькими волосами, младшего в семье из четверых, были свои игры, и он играл в них, но как! Вы бы поняли это, заглянув в его серый чемоданчик, в котором были аккуратно сложены вещи: футбольная форма, наколенники, налокотники, эластичные спортивные штаны и защитные очки. И все это хозяин чемодана напяливал на мои ножки, спинку и сиденье.

Я был сломлен душевно и физически. К счастью, подошел к концу и этот тяжкий период моей жизни. Хозяева уехали (с мальчиком и с чемоданом), а я со всей обстановкой остался в квартире до тех пор, пока какие-то люди не пометили меня мелом и не увезли на склад».

Какие-то люди – это оценщики; они помечали крестами вещи, подлежащие вывозу. Вещи теряли свои места еще до того, как потеряли хозяев. Через это прошли все депортированные. Но каково было детям видеть весь этот разгром! Вот откуда на рисунках детей носильщики со шкафами на спинах, волокущие за собой стулья… Удивительно, я никогда об этом не задумывалась.

«Снова долгое ожидание. Снова неприятные замечания о моей старомодности. Потом меня погрузили в поезд и отправили в Терезин, где определили в комнату для судебных заседаний.

Я все еще неплохо выглядел и служил удобным сиденьем. За слушанием увлекательных судебных разбирательств время бежало быстро. Мне нравилась эта спокойная жизнь. Ножки стула, уже не стянутые эластичными штанами, перестали болеть. Однако счастье было недолгим. Вокруг начался какой-то тарарам,

добрались и до меня – я ощутил это всем телом. Меня таскали из угла в угол, я весь покрылся синяками. Из комнаты, где я был, вынесли мебель, поставили туда другую – жуткое дело. Кончилось тем, что какой-то парень положил меня в телегу и привез сюда. Оказалось, что в этой комнате живет сын моих бывших хозяев! Узрев знакомый серый чемоданчик, я оцепенел от ужаса. Я страшно боялся возвращения пыток, но, к счастью, мальчик меня не узнал и, надеюсь, не узнает.

Вот и вся моя история. Прошу тебя об одном – пока я в этом доме, не рассказывай ничего ребятам».

Что же это за «сын бывших хозяев», которого так боится Иван?

«Стул умолк, и, сколько я ни пытался задавать ему вопросы, ответа не последовало. Выполняя его волю, я держал эту историю в тайне, но теперь, когда мы обменяли этот стул на другой, я решил рассказать обитателям нашего дома о тяжелой судьбе, постигшей коричневый стул. В завершение прошу: обращайтесь с ним уважительно. Иван Полак».

Этого мальчика я люблю наравне с Моцартом. Глупая мысль. Но раз она случилась…

23. Маски и притчи

Когда идешь на занятия, голова должна быть если не чистой, то хотя бы пустой. Помогает быстрая ходьба в одиночестве. Но тут не разбежишься. Везде знакомые, нельзя пройти мимо, не заметив. Иначе выражение обиды на лице застынет надолго, как маска.

Маски! Вот чем я хотела заняться с ребятами из «Еднички», детдома номер один. В прошлый раз Петр Гинц, мальчик, о котором столько хотелось бы рассказать, но не сейчас, иначе я не смогу внутренне собраться, говорил о масках, которые носят на себе люди, дабы спрятаться от жизни. Он что-то написал об этом в журнале. Пусть прочтет.

С удовольствием!

Петр маленького роста, с маленьким подбородочком и большими изумленными глазами. Это выражение глаз я помню по своему детству. Его отражало зеркало. Казалось, что из них брызжет свет. Однако в темноте такого эффекта не наблюдалось. Значит, думала я, в глазах отражается свет лампочки. А что тогда кошачьи глаза? Вот, нащупала. У Петра глаза кошачьи, золотистые, в черных ободках, и весь он как наэлектризован. Ни минуты покоя. Он пишет трактаты по буддизму, стихи, романы, беспрестанно рисует. Наверное, из-за такого выброса энергии он очень страдает от голода. Ребята над ним подтрунивают, местный сатирик нарисовал согбенного «Петрушу», сидящего на нижних нарах с тетрадью в руке – вокруг крошки, рядом открытая посылка. Мать Петра чешка, она посылает ему из Праги продукты. Но и этого недостаточно.

Из него выйдет большой художник, – говорит Айзингер убежденно. Юный воспитатель в сером потертом пиджаке напоминает мне Дуфека. Не внешне – у Айзингера чисто еврейская внешность, – а своим отношением к ученикам. Дуфек мне тоже про каждого рассказывал, советовался, как развивать таланты в коллективе, где не любят тех, «кому больше всех надо». В Айзингере нет дуфековской нерешительности, он знает, как развивать таланты в коллективе. Притом что он строго следит за дисциплиной и порядком, он держится с ребятами на равных, живет с ними в комнате, пишет статьи в их журнале. Он – один из них и при этом – гуру. Духовный вождь.

Я соглашаюсь. Петр очень талантлив.

И во всем! Какие стихи, какая проза! И при этом – главный редактор!

До Терезина у меня не было ни одного знакомого главного

редактора, а тут – целых два!

Про маски у меня всего несколько предложений, – говорит Петр.

Вот и читай их, – торопят ребята.

«Взрослые частенько притворяются, говоря, что размышляют лишь о вещах разумных и достойных внимания. Это неправда. Когда они, улучив момент, высвободятся из-под панциря, стискивающего их мозги, снимут с себя чопорную маску, которую они надевают на людях, станет видно их настоящее лицо. Думаю, в такие минуты они сами чувствуют себя куда приятней. Знаю это по себе. Однажды я заблудился в лесу и нашел озерцо с темной спокойной водой, бросил в него камешек и с огромной радостью наблюдал, как красиво расходятся от него круги. В тот момент я подумал, что чувствую себя как бумага до того, как она попадает в ротационную машину. Нет никакого давления. И подумалось: почему чистый лист – душа – должен с младенческого возраста пропускаться через ротатор общественной жизни, покуда не отпечатаются на нем различные свойства характера, покуда не сожмется душа под прессом враждебных сил…»

Камешек, брошенный в воду, – отличное упражнение для разминки! Как красиво расходятся от него круги!

Пока все заняты кругами, я вырезаю из лагерных бланков – спасибо отделу продовольствия за щедрый подарок – болванки. Пусть у всех масок будут одинаковые формы, но разное выражение.

«Почему чистый лист – душа – должен с младенческого возраста пропускаться через ротатор общественной жизни?»

Здешние дети, похоже, приблизились к той оси, к которой по закону математики не может приблизиться гипербола. Они прожили огромную жизнь, но они не взрослые дети и не маленькие взрослые. Их время не расщеплено на фазы. Что-то об этой целостности я писала Хильде в связи с неприятием гегелевского «отрицания отрицаний». Ребенок, в котором есть все и который волею судеб оказался в немыслимой ситуации, мобилизует все свое существо не на то, чтобы разобраться «в ситуации» (это никому не под силу), а на осмысление мироустройства как такового. Понятие «справедливость» терезинские дети отметают с невозмутимостью римских стоиков.

«В городе, разделенном на бедных и богатых, жил-был врач. Он жил на стороне богатых. И лечил их. И вот взбрело ему в голову перейти на сторону бедных, посмотреть, как они живут. Увидев жизнь бедняков, врач переехал на их сторону. Скоро на лечение бедных он извел все лекарства. Бедные не платили за визиты, так что доктор разорился. Пришлось ему пойти работать

на завод, где он получил травму и умер. Умирая, сказал: “Так познал я богатство и бедность”».

Врач, возжелавший помочь бедным, умер от травмы на производстве. Жаль его? Вовсе нет. Он познал истину.

Театр масок. Мы не нашли веревку, но нашли чью-то рваную майку и нарезали из нее веревочек. Проделали дырки ножницами, в общем, с помощью весьма допотопной технологии всем удалось водрузить маски на лица. Айзингер сделал маску своей жены Веры, чем очень рассмешил ребят. Он был единственным, кто сделал человеческую маску, остальные понаделали чудищ.

Гануш Гахенбург сидит на верхних нарах, глядит «во все глаза на текущие дни».

Стихи сочиняет, – говорит мне Айзингер, – посидит-посидит – и выдаст!

Что может прийти в голову поэту, с тоской взирающему на веселый карнавал?

Прочесть? – спрашивает он с вызовом и, не дожидаясь ответа, выкрикивает писклявым голоском:

«Кто я такой?»

Никто не смеется. Гануш слезает по приставной лестнице. Айзингер, сняв маску Веры с лица, следит за его движениями. У Гануша плохая координация, он часто падает, ладно бы со ступенек – с нар.

«Кто я такой?

Какого племени, роду?

К какому я принадлежу народу?

Кто я – блуждающий в мире ребенок?

Что есть Отечество – гетто застенок

Или прелестный, маленький, певчий край –

Вольная Чехия, бывший рай?»

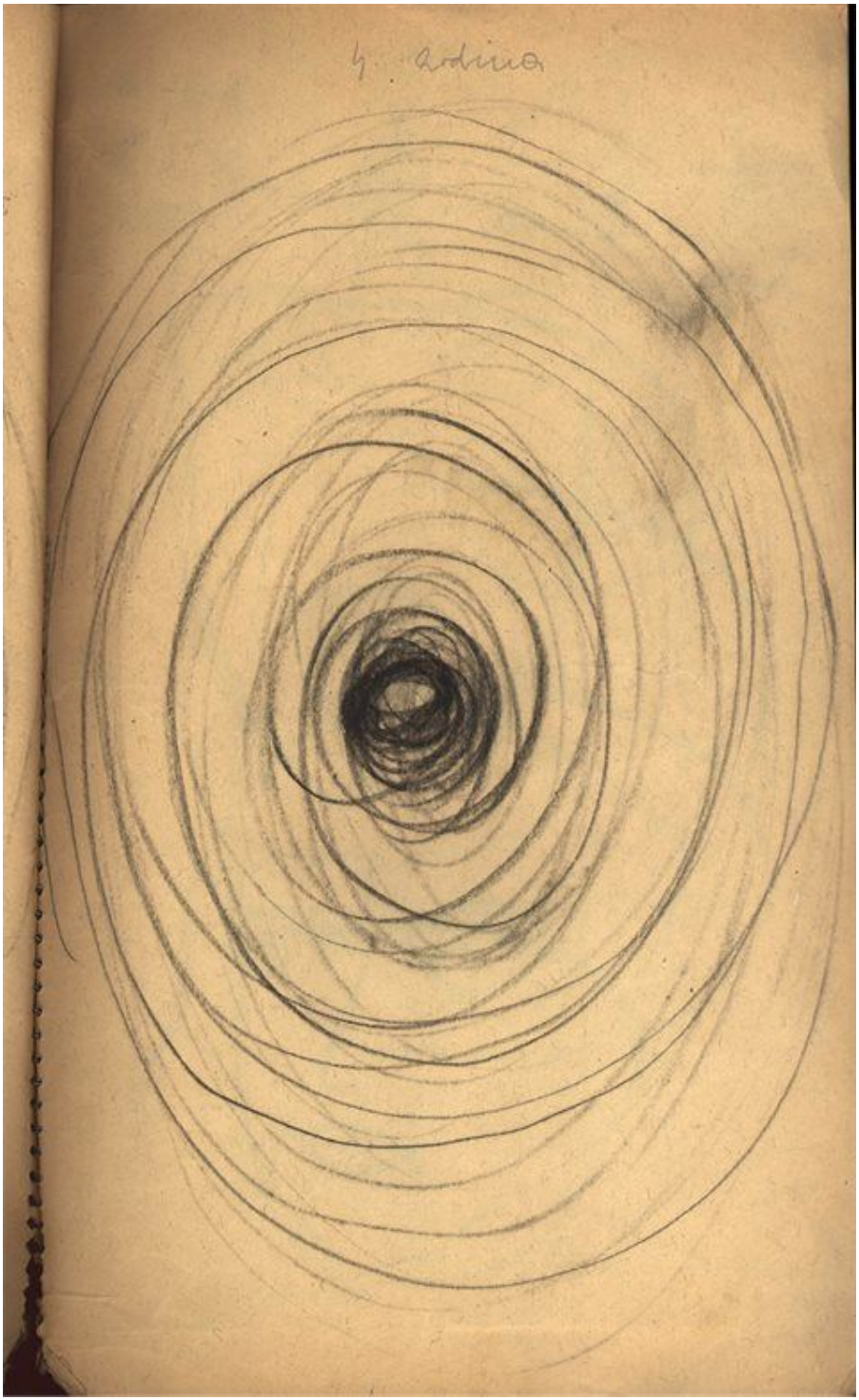
Все молчат.

Что, кто-то умер? – раздраженно спрашивает мальчик.

За такой стих предлагаю освободить Гануша от ночного дежурства по палате. Кто за?

В «Едничке» самоуправление, все решается коллегиально.

А я все равно буду дежурить, – говорит Гануш.



Айзингер провожает меня до L-410. Он переводит русскую поэзию. Для себя. Любит немецких романтиков, его настольная

книга – беседы Эккермана с Гёте, оттуда он переводит для ребят пассажи, свидетельствующие о величии немецкой культуры, ведь если мы сможем воспринять удачи и провалы соседних народов как свои собственные, мы будем способны подняться над «национальным»… Юноша с шиллеровской пылкостью изъясняется по-немецки. Я поддакиваю. Эта тема уже не занимает меня.

24. Свадьбы

Я засыпаю на ходу. Павел помогает мне разуться, укладывает на лежанку.

Подошвы… Спи, я сбегаю к Водаку.

Сон как рукой сняло.

Водак не сапожник! Что может сделать художник с дырявыми подошвами? Коллаж. Поп-арт… Наклеить на картон. В духе дадаистов. Дырявая поступь госпожи Брандейс. От Баухауза до Терезина.

У него полно обуви. Подберем что-нибудь.

Оставь эту затею. Не хочу непромокаемую обувь с мертвецов.

Павел пристраивается ко мне. Никак. Я и одна-то тут еле помещаюсь. Если что, нас отправят вместе. Пока семейные пары не разделяют. Потому-то здесь свадьба за свадьбой.

Наш чердак, на котором обычно проходят репетиции хора, используется и как место для бракосочетаний. Здесь стоит пианино, и музыканты, приглашенные на свадьбу, имеют возможность заработать кусок хлеба. В прямом смысле этого слова. Но, когда сочетаются браком сами музыканты, о заработке речь не идет.

Недавно мы сыграли свадьбу воспитательницы Лизы Кляйн, сестры пианиста Гидеона Кляйна, с композитором Гансом Красой. Он вдвое старше Лизы, понятно, что это терезинский «брак по расчету», – если всех музыкантов отправят разом (что, кстати, и произойдет), то Лиза возьмет шефство над Гансом – он одинок и совершенно не приспособлен к трудностям, которые ждут нас в Польше. Кстати, этот сибарит с бабочкой на шее тоже числится в списке «дегенератов от искусства».

На свадебном концерте Гидеон играл Баха, Лиза – Шумана, а Краса – увертюру к своей опере «Брундибар», которую мы все так любим. В ней поют дети.

25. Колесо жизни

Девочки из нашего дома с утра до вечера распевают свои партии. На «Брундибар» невозможно попасть. Один мальчик рассказал нам на занятии историю, как он пытался пробиться без билета и угодил в участок. Кстати, тот самый мальчик, который поначалу совсем плохо говорил и не мог изобразить простого человечка. Я думала, что он отстает в развитии. Но после того как у него получился верблюд, похожий на верблюда – мы рисовали пустыню, – с ним что-то произошло. Видимо, слишком много тяжести нес он на своем горбу! Теперь он и рисует прилично, и говорит внятно.

«Перед театром была жуткая толчея. Я попытался пробраться поближе к дверям, но геттовахман заметил меня и отправил в конец. Я снова стал просачиваться сквозь толпу. Меня опять прогнали. Еще несколько мощных заходов – и опять я в хвосте. Придется брать штурмом. Я пролез в первые ряды, толпа покачнулась, и я упал прямо на геттовахмана. Тот обозлился, приставил меня к другому геттовахману, чтобы тот меня сторожил и не отпускал, а сам вызвал третьего, чтобы тот сдал меня в участок. Тут собрались “болельщики”, взрослые и ребята, и стали меня подбадривать выкриками: “Беги быстрей! Только не давайся в руки этому деду плешивому!” Я впал в такой раж, что не заметил, как стал тыкать геттовахману. В результате очутился в участке. Со мной был еще один мальчишка, который должен был играть в “Брундибаре”, его забрали вообще по непонятной причине».

«Еще один мальчишка» – это Эли Мюльштейн. Он поет главную партию в опере. Видимо, воспитатель не довел солиста до «Театра», и тот потерялся. Его мама сказала, что до Терезина он не был таким рассеянным, а здесь она то и дело ходит за ним в участок.

Когда человек умирает, его никто не может спасти, – объясняет мне двенадцатилетний Эли. – Посмотрите, я тут нарисовал колесо со спицами, рядом маленький человечек на пригорке, а в глубине лежит на кровати старик и кричит: «Помогите!»

Это я ходил навещать дедушку в дом инвалидов и там увидел умирающего.

Я вышел оттуда, сел на пригорок и стал думать, что такое жизнь… Вот тут я сижу и думаю, – с детским простодушием указывает он мне на человечка на пригорке, – я еще маленький, что я могу понять? И тогда я представил себе колесо жизни, у меня только не вышло показать, как оно крутится и проваливается в землю… Как нарисовать, чтобы оно крутилось и падало? А тут кто-то проходит мимо этого колеса и думает: хорошее колесо, возьму себе. И так он получает жизнь и тоже

начинает крутиться и проваливаться – но этого я не нарисовал…

Почему?

Бумаги не хватило.

Детей занимает смерть. Для них она не таинственная потусторонность, а часть жизни.

Другой двенадцатилетний мальчик рассказывает:

Это я был на похоронах бабушки. Запомнил гробы, перерисовал еврейские буквы. Может, неправильно перерисовал?

Я тоже была на похоронах. Но ни гробов, ни еврейских букв не помню. Как «родственница первой ступени» я присутствовала на кремации. По человеку, ничем в жизни не отличившемуся, а именно такой и была Шарлотта, тризны не справляют. Я видела ее в Терезине дважды: живой и мертвой. Живую ее можно было узнать разве что по кофте, которую я когда-то ей подарила. Я села около нее, все еще не веря в то, что это она и есть. «Фридл», – произнесла она. И тут я заплакала. «Научилась», – выдохнула Шарлотта, не разжимая век.

После кремации я отправилась за вещами. На матраце Шарлотты лежала другая старуха. Я развязала рукава Шарлоттиной кофты – в ней оказалась миска, ложка и сложенные вчетверо отрывные листки календаря. На одном из них отцовским корявым почерком было написано: «Найти Фридл. Хлеб. Сахар». Я спросила старуху, не видела ли она здесь глухого старика с большим носом. Но та, похоже, тоже была глухой – и ничего не

ответила. На мой вопрос отозвался старик, возможно, муж этой глухой. На великолепном немецком он объяснил мне, что тот, кто навещал покойную, давно скончался, очень давно, когда было тепло… Но я уже не плакала.

«Здесь мужчины, почему-то у них миски к спинам привязаны. Это инвалиды… но здесь собака, я ее выдумал. Это Моисей, не знаю, откуда он взялся».

До Терезина я слушала детей вполуха, теперь их рассказы врезаются в память.

Впечатления, сталкиваясь, образуют заторы. Но если это сгущение красок разбавить водичкой, впечатления станут плавно перетекать друг в друга, накатывать волнами и размываться.

Я выпросила у графиков спрей и сделала несколько акварелей с размывкой. Одна меня саму поразила. Из цветной мороси вдруг стали проступать реальные фигуры – комендант на велосипеде, видны колесо и его напряженный торс, он выезжает из картины, увозит за собой призрачные силуэты людей, и над всем этим – темное бесформенное нечто.

26. Бу-бу-бу!

Я хожу кругами. Это меня беспокоит. Впереди много событий. Всякая жизнь приходит к естественному концу, и наша приходит к естественному концу. Противоестественным образом.

То нас пересчитывают в котловине, эсэсовцы с собаками ходят между рядами, мы стоим. Как чурбаны, как пешки, как неживые существа, под проливным дождем. Девочки плачут, старушки падают в обморок. Сколько это может продолжаться? Сколько нужно, столько и будет. Беззащитные, униженные, ночью мы будем бежать обратно в гетто, как к себе домой. Радоваться нарам, клопам и блохам. Мы живые, это главное, правда?

После ноября, а пересчитывали нас в ноябре, наступил декабрь, этого порядка никто не изменил, хотя, если бы нацисты учредили после ноября июль, чтобы поскорей отпраздновать мой день рождения, никто бы не возразил. Ходили бы по снегу в летней обуви и ситцевых платьях.

В память о великом поэте «Еднички» Айзингер устроил читку его пьесы «Ищем пугало». Гануш дописывал ее на ходу и чуть не опоздал на поезд.

А если бы опоздал?

Вместо него отправили бы того, кто был в резерве.

Все продумано.

Но и у Гануша все продумано.

«…Еничек, сейчас тут пройдет сама Смерть. А водит ее за собой такой господин, с орденом. Каждый день она здесь появляется, в четыре часа. И так уже несколько лет подряд…

ГОЛОСА (за сценой). Ура, идет! Смотри на эту костлявую даму!

СМЕРТЬ (входит с Полицейским). Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу! Бууууууу! Хрясть! Хруп! Хрясть! Бу-бу-бу!

ПОЛИЦЕЙСКИЙ (по-немецки). Rechts um! Links um! (Направо! Налево!)

ЕНИЧЕК (Полицейскому). Да вы настоящий идиот!

СМЕРТЬ. Бу-бу-бу-бу!»

Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу!

27. Без пяти двенадцать

Ко мне пожаловал сам Франтишек Зеленка, пражский архитектор и театральный художник. В Праге мы с Павлом ходили на спектакли в «Освобожденный театр», помню «Последние каникулы» в оформлении Зеленки. На сцене настоящий шлагбаум, настоящее вокзальное расписание, никакой бутафории.

Здесь он продолжает в том же ключе. Взгромоздит на помост двери под углом друг к другу – вот и дом. На месте недостающих предметов – надписи типа «Здесь стоит вешалка». При этом он мрачен. Рот дугой, как у грустного мима, и предсказания у него самые скверные. Войну выиграют фашисты, все нормальные люди в Европе будут истреблены – и наступит эпоха инженеров. Эпоха болотного гомеостазиса, никакого творчества. Ни к чему воспитывать детей. Рисуйте! На наших часах без пяти двенадцать. Осталось пять минут. Покажите работы!

Я показала. Зеленка внимательно рассматривал мои «танцы» в цветной пыли сновидений, качал головой.

Вы себе цены не знаете! Оставьте детский дом, вы-то и есть настоящий художник! Вот я, увы, совершенно не способен на отвлеченности. Мне подавай заказ! И подают! Здесь же все кому не лень ставят спектакли. Казармы огромные, дома необъятные, везде найдется чердак, который наши ребята из отдела досуга быстро приспособят под зал, сколотят скамейки, помост, подвесят лампочки – готово! За редчайшим исключением все это наскоро сляпанные пьесы. Их я просто пролистываю. Прибываю на место действия, хожу взад-вперед по деревянному плоту, сколоченному так, что того и гляди проткнешь гвоздем ботинок… Сколько же тут профанов, возомнивших себя режиссерами! Я прочел им сорок три лекции по истории мирового театра. Не верите? Могу предъявить квитки. Но есть тут и настоящие, бесспорные таланты. Работать с ними – ни с чем не сравнимое удовольствие. Хотите познакомлю? Построим вместе многоярусное царство на чердачных досках.

28. Тризна

Не стало молодого композитора Зигмунда Шуля. Я и не знала, что такой композитор был.

Ульман позвал меня на тризну. Там я и увидела молодую вдову в черном платочке, с которой жизнь сведет моего Павла. Ничего, кроме черного платочка, не помню.

«Композитор Зигмунд Шуль умер 28-летним после долгой мучительной болезни в Терезине. Он вышел из нашей среды и был одним из тех талантов, которых обычно называют “подающими большие надежды”. Шуль, однако, больше чем “подавал надежды”. Несмотря на молодость, он обладал музыкальной концепцией удивительной зрелости и создал – предчувствуя конец в самом расцвете столь рано отобранной у него жизни – ряд произведений, которые мы можем уверенно рассматривать как состоявшиеся».

Шуль покрыт простыней. Все, что сейчас говорит Ульман, относится к белому взгорку, лежащему на доске. История, умещенная на доске, поставленной на козлы…

Я прощаюсь с тем, с кем никогда не встречалась. Примеряю слова Ульмана к своей судьбе. Есть ли у меня хоть одно состоявшееся произведение? Шулю двадцать восемь, мне скоро стукнет сорок шесть. Ничего интересного я здесь не создала. Если считать Терезин экзаменом, то я его провалила.

«В течение последних лет Шуль охотно беседовал со мной. Мы говорили о всевозможных проблемах современной и классической музыки, о вопросах формы и тональности, ее деформации и разложении, о стиле, эстетике, мировоззрении, а также о некоторых деталях создаваемых им произведений. Он обычно держал меня в курсе всех этапов создания новых работ и консультировался со мной, играя мне их уже в начальной фазе. Таким образом, мне посчастливилось ознакомиться со становлением этой редчайшей, призванной к музыкальному творчеству личности».

Наверное, я полное ничтожество, если даже Ульман ни разу не попросил меня показать работы, не спросил: «Фридл, а что ты сейчас рисуешь?» Один Зеленка меня похвалил… Согласись я пойти в графический отдел, куда меня изначально определили, я бы жила, как в Веймаре, среди художников, мы обсуждали бы всевозможные проблемы современной и классической живописи – форму, стиль, эстетику, мировоззрение… Нет, лучше держаться ближе к детям, взрослые вызывают комплекс неполноценности.

«Шуль, конечно, был “искателем”, а не “пастором”, но это

вполне естественно – даже большие мастера оставались “искателями” вплоть до достижения ими зрелого мастерства и преклонного возраста».

Кто измеряет возраст годами?

«Вначале Шуль был близок к экспрессионизму, символом которого можно назвать Альбана Берга. Посвященные знают, кто такой Альбан Берг. Это наивысшая ответственность по отношению к ценностям прежней и достижениям новой музыки, строгая самодисциплина, наполнение музыки романтикой и теплой страстностью души, сбалансированность, конструктивная полифоническая работа и идеальный баланс между музыкальным чувствованием и мышлением. Есть произведения, в которых Шуль к этому идеалу действительно приближается; не то чтобы он решил все те задачи, которые сумел решить Берг в своих работах… для этого он был слишком молод. Но он писал вещи, которые не теряют своей ценности, будучи измерены самой строгой мерой… и это много!»

Такой учитель у меня был, все, что Ульман говорит про Берга, можно отнести к Иттену. И у меня тоже есть вещи, которые не потеряют своей ценности.

Я лежу под белой простыней, слова Ульмана обращены ко мне: «В лице Брандейсовой мы потеряли настоящего художника, стремящегося к самоосуществлению». И стихи его обращены ко мне:

«Жизнь твоя оказалась лишь кратким stretto…

Мы провожаем тебя за пределы гетто.

Надо ль с судьбой препираться? Пред пашней смерти,

Вспаханной ангелами и разровненной граблями Бога,

Благоговеем. В жизни еще хорошего много!»

А после? Мост Чинват, где мир живых соединяется с миром мертвых.

Давным-давно, но еще в этой жизни, впечатлившись зороастрийским мифом, я сочинила сумбурную пьесу про *бредущую и покоящуюся Руттут.* Где-то она валяется. Помню лишь это: *Ты привязываешь канат к камню и бросаешь его на другой берег. …Ты строишь мост и, найдя на другом берегу меня, приходишь к самой себе.*

Жизнь – это привычка. Трудно от нее отвыкать. Потому и существует старость, которая превращает жизнь в обузу. И тяжело расставаться не с жизнью, а с привычкой жить. Утешает ли то, что не ты один, а целый народ должен отказаться от этой привычки?

Евреи – это не все человечество, – говорит Павел с раздражением. Я не даю ему спать, заражаю ночным беспокойством.

А может, всему виной инженер, с которым он проводит на чердаке долгие вечера? Ходят слухи, что в Терезине на какой-то крыше установлен радиоприемник. Во всяком случае, я слышала страшные новости, которые якобы заносятся сюда таким путем.

Павел молчит. Он никогда ничего от меня не скрывал и уж точно никогда мне не лгал. Может, он замышляет побег? Или они с инженером готовят восстание?

Восстание?! Да ты что! Здесь каждый думает о себе. Или о своих близких. Никто не станет рисковать. Бессмысленные разговоры.

Яркий свет. Белые алебастровые тела стоят прижавшись друг к другу. Двери герметически закрываются. Горящие глаза застывают в стране мертвых.

Который час?

Спи, еще рано.

Нет, уже поздно!!!!!!!!!

В грязи и болотной жиже валяются тела, алебастровая белизна смешана с кровью и нечистотами, кто-то в черном вырывает жемчужные зубы изо ртов, прямо с мясом… из тонких ноздрей текут ручейки крови… Тела багровеют, синеют, сереют…

Павел изо всех сил прижимает меня к себе. Нет, я не алебастровая!

Свет. Но не тот, яркий. Павел поит меня горячим чаем из термоса, гладит по голове: Ты очень устала, моя Фридл…

Все так бессмысленно…

Видимо, смысл находится там, где нас нет.

Или мы ищем его там, где ему быть не положено?

Цепляемся за все, что напоминает нам о присутствии смысла…

29. Причина землетрясений

Мальчик с копной кучерявых волос стоит у раскрытой двери. Это Густав Цвейг, сын знаменитого врача-психиатра, который работает с Трудой.

Вот, закончил коллаж, посмотрите, пожалуйста, все ли тут в порядке.

Пол выложен ромбиками, окно на месте, стол на месте, только люди почему-то безголовые. Одни туловища.

Не успел?

Пусть так останется.

Почему?

Да потому что у взрослых нет голов на плечах! Посудите сами, вчера я пошел в библиотеку, и мне там сказали – подрасти сначала, пошел в другую, сказали, что я слишком взрослый… А еще в одной сказали, чтобы я пришел с отцом. Я впал в негодование и написал об этом безобразии рассказ.

Я провожаю Густава до дома. Такого независмого ребенка не возьмешь за ручку, а хотелось бы. К тому же руки у него заняты. В одной – безголовый коллаж, другой он жестикулирует.

Хотел посмотреть в энциклопедии про землетрясения, – провал с бибилиотекой не дает Густаву покоя. – С давних пор людей волновали землетрясения, и они пытались разгадать причину. Великий ученый Сенека…

Ты читал Сенеку?

Да. Но не все. Только то, что касается землетрясений. Так вот, он пришел к выводу, что землетрясения происходят от скопления газов в полостях земной коры.

Ты боишься землетрясений?

Я? Нисколько. А Сенека вообще ничего не боится, даже смерти! Так вот, он догадался, что есть места, где земная кора вздута сильней, и он начал их исследовать… Это самое интересное!

И он нашел причину?

Он-то ее нашел, но я забыл, в чем именно она состоит! Поэтому и пошел за энциклопедией. Дома я читал ее и помню оттуда всякие интересные детали…

Какие же?

Например, про гигантскую черепаху. Индейцы Северной Америки во всем винили именно ее. Беснуется на дне моря и вызывает землетрясения. Чушь! Даже древние китайцы в это не верили.

Откуда ты знаешь?

Да они же изобрели прибор, регистрирующий землетрясения!

Пожалуй, ты поступил правильно, изобразив взрослых безголовыми. Представь себе, я никогда в жизни не задумывалась о причинах землетрясений.

Густав посмотрел на меня с глубоким сочувствием.

Неужели вас интересует одно рисование? Если вас не интересуют землетрясения, может, вас интересуют самолеты? Вы когда-нибудь летали?

Нет. Выше железной дороги я не поднялась.

А мы летали с папой в Венецию… Но я тогда был совсем маленьким и проспал весь полет… Вы знаете, кто изобрел летательный аппарат с медными крыльями? Чешский крестьянин по прозвищу Кудличка. Он с детства мечтал летать и полетел. Приделал к телу несколько мехов с газом метаном, который, как известно, легче воздуха…

Погоди, давай закончим про землетрясения. Ты говорил, что китайцы придумали какой-то прибор.

Видите, все-таки вас это волнует больше самолетов… Прибор очень простой. Каменный столб, укрепленный в земле. На его верхушке несколько драконьих голов, а на земле вокруг столба – жабы с открытыми пастями. К столбу приделан маятник.

И ты считаешь это простым устройством?

Делали его, наверное, не один год… Обычные маятники висят, как вы знаете, свободно. А этот маятник одним своим концом был прикреплен к верхушке столба, а вторым упирался в землю. Как только в недрах земли начиналась тряска, маятник на это реагировал, и та драконья голова, которая находилась ближе всего к верхушке маятника, падала прямо к жабе в пасть…

Как ты такое запомнил? И во всех подробностях…

А вы смогли бы нарисовать столб с маятником, драконами и лягушками? Я бы этот рисунок в журнал перекопировал.

Попробую.

А я тогда головы к туловищам приклею.

30. В святилище знаний

В центральной библиотеке гетто за стойкой никого не было, зато в читальном зале сидел сам Максимилиан Адлер. Видимо, профессор готовился к лекции. Потрепанный томик Марка Аврелия пестрил закладками.

Госпожа Брандейсова! Какими судьбами?

Я объяснила, что ищу книгу Сенеки о землетрясениях.

Нам ли землетрясений страшиться, – усмехнулся профессор и постучал по столу указательным пальцем. – Послушайте, что пишет Аврелий:

«Живи безропотно в ничем не омрачаемом веселии духа…»

Сколько книг я прочла в Гронове и, как вижу теперь, все не те.

Данный арсенал литературы, – указал профессор на ряды высоких полок, уходящих в далекую перспективу, – поможет восполнить пробелы. Подождите меня здесь.

С этими словами профессор удалился.

Дядя Макс – так зовут его ребята из «Еднички». Они знают его по Праге. Когда запретили учиться в школе, дядя Макс занимался с ними на дому, даже принимал экзамены. Здесь он иногда читает им лекции.

Вам повезло, – раздался за моей спиной голос профессора. – Книга оказалась на месте. Но на руки ее не выдают. Если вы располагаете временем, то обратитесь к господину Фридману. Он вынесет ее вам в читательский зал. То есть сюда.

А где находится господин Фридман?

На задах. Он крайне занят и без особой нужды к посетителям не выходит.

Господин Фридман зарылся в книги. Из-за укрепления, выстроенного из старинных фолиантов, торчала одна голова.

У вас есть абонемент? – спросил он меня по-немецки с венским акцентом.

Абонемента у меня не было. К своему стыду, я здесь впервые.

Вы из Вены, – не без удовольствия заметил господин Фридман и поправил бабочку, съехавшую на сторону. – Я бы с радостью с вами поговорил, но не будем терять драгоценного времени. Вот вам книга в первоначальном и лучшем, на мой взгляд, переводе. Будете уходить, оставьте ее господину Адлеру. Он за вас поручился.

«Какая мне разница, один ли камень ушибет меня насмерть или раздавит целая гора? Буду ли я погребен под развалинами одного дома, в горстке обломков и пыли, или целый земной шар

рухнет на мою голову? Испущу ли я свой дух на воле и при свете дня или в колоссальной расселине оползающей земли? Один ли я унесусь в глубины земных недр или в сопровождении многочисленных народов, вместе со мной проваливающихся под землю? Не все ли мне равно, умирать среди большой суматохи или нет? Смерть-то повсюду одинакова».

Неужели Густав читал это в десятилетнем возрасте? У нас дома такие книги не водились. Вот я и решала тупые задачи на движение и скорость. Поезд такой-то вышел оттуда-то, а такой-то отсюда-то…

«Страх, даже не слишком сильный, всегда потрясает ум; а если это всеобщая паника, когда рушатся города, гибнут народы, содрогается земля? Странно ли, если душа, брошенная между болью и страхом, перестает соображать, где она находится? Трудно сохранить здравый рассудок в больших несчастьях».

Что вы так горестно вздыхаете? – спросил меня профессор Адлер.

Я прочла ему последий абзац.

Мрачновато, – согласился он, – давайте утешаться Аврелием.

«Что, в самом деле, может помешать душе сохранить свой внутренний мир, истинное суждение обо всем окружающем и готовность использовать выпавшее ей на долю?»

31. Вещей нужно восемь

Весна 1944-го. Соцветия платанов собраны в белые фитили, из кафе без кофе доносится скрипка. Мы сидим с девочками в нашем дворе, рисуем деревья.

На утреннем собрании воспитателей Вилли зачитал список девочек, лопоухая Рут, по прозвищу Зайчик, в их числе. 15 мая – отправка первого транспорта, 18-го – второго. Из воспитателей на сей раз никого.

Рут старательно вырисовывает прожилки на листьях. Нажим – волосная, нажим – волосная…

«Там, где движения упорядочены, форма имеет власть над бытием и небытием», – говорил Иттен.

Про небытие не известно, главное – держаться в форме. И когда уйдет транспорт, войти утром с бумагой и красками в 28-ю комнату, где нет Рут. Дышать по системе Иттена.

Ночью, во время отправки, разразилась гроза. Стальные копья молний взрезали полотно неба. Почему-то вспомнилось, как Хелена резала бумагу острыми ножницами.

«Помню, мы тогда рисовали грозу. Возможно, это было связано с чувством страха, не знаю. То, чего Фридл добивалась от нас, не было прямо связано с рисованием, скорее с высвобождением чувств, пригнетенных страхом. Она делала это с необыкновенной, только ей присущей страстью».

Маятник похож на маятник, дракон – на дракона, жаба с открытым ртом – на жабу с открытым ртом. Я рисую старательно, как школьница. Чтобы Густаву было легче скопировать китайскую модель в журнал.

Госпожа Брандейсова, не помешаю? – спрашивает Петр Гинц. – Я просто так, на минутку. Интересный прибор, – разглядывает он рисунок.

Ты знаешь, что это за прибор?

Да. Древние китайцы пользовались им для получения сигналов о землетрясении. А можно я его перекопирую?

Конечно, вот тебе карандаш…

Павел не понимает, почему я не закрываюсь на ключ, устраиваю проходной двор. – «Что тебе Зеленка сказал – уже без пяти двенадцать, займись собой». – То есть рисуй. Я и рисую. Прибор, регистрирующий землетрясения.

Проходной двор устраивать не надо, он такой и есть. В нашу квартиру можно попасть с двух улиц: главной – L и проходной – Q. Центральный вход охраняется дежурными, а угловой, где деревянный забор с воротами, никем. На воротах есть задвижка,

легко открывающаяся снаружи. Отсюда и приходят мальчики.

На самом деле Петр явился не «просто так, на минутку». Он закончил изучение важной книги – «Брахманизм, или Переселение душ». Накатал общую тетрадь, смотрите! В основном это вольный пересказ, но некоторые вещи все же пришлось переписать слово в слово. Очень просто, кстати, стать буддистом, но никто из наших не хочет. Может, вы согласитесь?

Тринадцатилетний стоик Цвейг и шестнадцатилетний буддист Гинц… Как удержаться от улыбки?

Тогда повторяйте за мной радостно: «Принимаю убежище Будды в вере, в законе и в общине». Еще два раза. Всего нужно три. Все, вы буддистка!

А что насчет законов? Можем ли мы, евреи, их придерживаться?

Запросто! Их пять: не завидуй, не кради, живи в чистоте, не лги, не пей одурманивающих напитков. Мне только с чистотой трудно. Я постоянно развожу грязь.

Он такой серьезный – этот мальчик в кепке набекрень. Уши красные, глаза бездонные.

Ой, чуть не забыл сказать про самую важную вещь – любовь. У того, кто любит, есть восемь выгод: он хорошо спит и хорошо пробуждается, не видит страшных снов, люди его любят, все твари земные его любят, боги его охраняют, огонь, яд и меч против него бессильны, никакого имущества у него нет, и потому ему будет легко войти в наивысшее небо.

Тебе снятся страшные сны?

Да. Каждую ночь ору. Ребята меня водой обливают. Холодной. Как только я смогу полюбить их всей душой, сны прекратятся. Но пока не было дня, чтобы я на них не рассердился. Доводят! А я, вместо того чтобы смолчать…

То есть тебе нужно полюбить тех, кто тебя доводит?

Да хотя бы просто не обращать на них внимания! Сделаться равнодушным.

Какая же это любовь?

Это путь. Сразу ничего не дается. Там говорится, что за одну жизнь всех задач не решить. Иногда и одной не решить.

Петр листает тетрадь. Удивительно, за все это время к нам никто не заглянул. Притом что дверь открыта.

В свои шестнадцать я тоже любила пофилософствовать: *Мое царство не от мира сего. Я эфемерен…*

Вот, нашел! Вещей нужно восемь. Всего по восемь. Так легче запоминать. Три предмета одежды, пояс, кружка для подаяния, бритва, игла и сито для процеживания воды, чтобы во время питья не погубить живую тварь.

Сита для процеживания воды нет ни у кого. Но я вам его подарю. Хотите расскажу, каким образом оно у меня появилось? И не одно! Я нашел на строительном дворе сетку, вырезал кружочки садовыми ножницами, профессор Вурц одолжил мне их под честное слово. Инженер Кляйн подарил железные кольца, а ваш муж, кстати, спасибо ему большое, нарезал держалок. Слепой скульптор Орднер прикрепил тонкими проволочками сито к основе. Он-то при всем его желании не сможет процеживать воду.

Я про него написал очерк, ребятам он так понравился, что они попросили меня привести его к нам рассказать о жизни. Когда он ослеп, он уже не мог рисовать, не мог потрогать то, что рисует, ему уже не хватало третьего измерения, и он занялся скульптурой из медной проволоки. Вы не представляете, каких он делает павлинов и жирафов! Ему приходится вспоминать предметы, которые он видел двадцать пять лет тому назад. У него были выставки в разных странах. Музеи боролись за его произведения. Но даже здесь, когда он мыслит творчески, душа его улетает далеко-далеко. И он уже не страдает так сильно от голода и оттого, что не хватает проволоки. Мы подарили ему полбуханки хлеба и моток медной проволоки. Он сказал, что визит к нам причисляет к счастливейшим минутам жизни. Так что и ему выпала возможность ответить добром за добро. Из наших процеживать воду согласились пока Бейчек и Айзингер, но Бейчеку я не верю, он клоун.

Хотите испытать сито? Можно взять кружку?

Мы идем с Петром на колонку, он торжественно вручает мне сито, и я подставляю его под воду.

Сито чистое.

Теперь выпьем воду из кружки. Сначала вы. Я – после вас. Скрепим наше посвящение.

Кстати, непосвященные ошибаются, думая, что буддизм – это учение о переселении душ, – мы уже вернулись, и Петр листает тетрадь, ищет что-то, что нужно прочесть после совершения ритуала.

«Буддизм учит, что энергия, возникшая от душевной и телесной работы некоей субстанции, производит новые душевные и физические явления, даже в том случае, если эта субстанция умерла. Тибетские мистики глубже всех буддистов проникли в суть вещей. Учение философов говорит, что не существует никакого “Я”, это лишь некая субстанция, которая, переходя из одного мира в другой, принимает разные формы и обличья».

Госпожа Брандейсова, я так рад, хоть мы с вами не умрем! Если бы мальчишки согласились произнести три раза то, что вы сразу согласились произнести, они бы тоже не умерли… Но

буддисты учат, что принуждать нельзя.

32. Хозяин и собака

Начнем с упражнений на дыхание. Я набираю полный рот воздуха и выталкиваю его из себя силой. И еще раз, и еще.

Мое дыхание отражается на бумаге, но не так, как бы этого хотел Иттен. Вместо насыщенной и сходящей на нет линии почти у всех получается линейная кардиограмма.

А теперь сами. Набирайте воздух в рот, еще, еще, еще, выдыхайте…

Мальчишки стараются изо всех сил, смотреть на них смешно, и я не удерживаюсь от смеха. Иттен бы себе такого не позволил!

Давайте забудем о бумаге. Есть только рука и пространство, она двигается в нем, ведомая ритмами, от движения остаются следы, как дым от паровоза… Дым собирается в линию, линия превращается в поводок, а там, где поводок, там и собака, а где собака, там и хозяин… Догонит ли она его когда-нибудь?

Вы уже второй раз рассказываете про собаку с хозяином!

Да, нехорошо. Всю жизнь думаю над этой гиперболой и все равно не понимаю.

Бек, прыщавый математик «Еднички», привел пример с черепахой, которая перегоняет Ахиллеса. Парадокс заключается в том, что преследующий сначала должен попасть в место, откуда уже двинулся преследуемый. Понятно?

Нет.

Тогда представьте полет стрелы. Летящая стрела стоит неподвижно. Время-то состоит из отдельных «сейчас». Понятно?

Вообразить стоящую стрелу в воздухе могу. В детстве я пыталась наблюдать за раскрытием бутона ромашки. Меня занимали метаморфозы – тайна превращения гусеницы в бабочку, бутона в цветок. Я изо всех сил пыталась уловить взглядом мгновение перехода и от напряжения грохнулась в обморок. Когда я очнулась, ромашка раскрылась.

33. В черном и белом много цветов

«Все вводили нас в рамки, она нас из них выводила… Фридл говорила мало, но то, что она говорила, я помню: “У каждого – свой мир, у всего, у всякой вещи на свете – свой мир. Каждая вещь – отдельная система. Неодолимое желание проникнуть в суть вещи может свести с ума. Красота таинственна. Красивая вещь – тайна. Красота не слепок, не портрет природы – она в вариациях, в разнообразии. Нет вещей абсолютных. Общепринятых. Самые известные явления, самые затверженные слова могут открыться с неожиданной стороны. Нет красоты остановившейся. Дыхание рисунка – в пропусках, в отказе от лишнего…”

Когда я задавала Фридл слишком много вопросов, она замыкалась, уходила в себя. В этом смысле она была трудной. Очень странной, что ли, я не понимала ее до конца. Было что-то, чего я и по сей день не понимаю в ней.

Как-то я рисовала лодку и свечу во тьме, и у меня не получалось. Фридл сказала: “Здесь нужен свет, чтобы выделить темное, и тьма, чтобы выделить светлое”».

Лодка со свечой – это Лилька! Кудрявая красавица с голубыми глазами. Один художник попросил ее позировать с обнаженным плечом, она согласилась. Лилькин отец прознал об этом и влепил ей пощечину. На глазах у всех. А что Лилька? Попросила меня замазать синяк. Есть ли у меня краска под цвет щеки?

Вот тебе краски, смешай цвета, и замажем.

Лилька долго билась над цветом щеки. Хороший урок. Мы потом его повторили с девочками перед зеркалом, которое выпросил для нас Вилли в Магдебургских казармах.

«Фридл сказала, что в черном и белом много цветов. Я тогда не поняла: как это? Переспросила, но она не ответила. Теперь понимаю. Человека можно определить через его влияние на других. Иногда у меня было ощущение от нее как от врача. Что она сама – лечение, сама по себе. И по сей день непостижима тайна ее свободы. Она шла от нее к нам, как ток. При этом Фридл не навязывала своего мнения. Граница, суверенитет, здесь я – здесь ты».

Учитель, воспитатель должен быть предельно сдержан в оказании влияния на ученика… Ребенку можно многократно показывать произведения настоящего искусства любых видов и форм, реальных и абстрактных. Это его только обогатит. Он сам выберет, что ему нужно. Только не навязывать ему своего мнения! Он податлив и доверчив, он реагирует на любое указание, ведь так ему проще достичь результата. Он верит, что «взрослыми средствами» он выиграет соревнование, которое ему навязано. Но тогда он отойдет от себя, от своих потребностей и больше не сможет непосредственно выражать того, что переживает, и в конечном счете забудет и само это переживание.

34. Роман без продолжения

Иренка Краус, наша самая молодая и, наверное, самая любимая воспитательница, куда-то запропастилась. Ночью ее не было, утром тоже. Вилли с ног сбился. Если она убежала, Вилли конец. А у него жена беременная. Ей удалось пройти весеннюю селекцию, скрыть пузо под тряпками…

Но все обошлось. Иренка вернулась.

Ее возлюбленный с воли, не еврей, готовил «операцию» шаг за шагом. Уехал из Праги, поселился в Богушовицах, там, на вокзале, повстречал евреев, которые грузили вагон, передал с ними Иренке записку. Те свели его с надежным жандармом. Он ему хорошо заплатил. У входа в гетто он переоделся в белый халат, который ему оставил в тайнике лагерный врач, у него же, в ординаторской, и произошла встреча с Иренкой.

Вот это любовь! Беги с ним, Иренка!

Нет. Обречь всех на несчастье?

А потом Иренка пойдет провожать родителей на транспорт, подойдет к вагону, что строго-настрого запрещено, и это заметит комендант: «Жаль расставаться со старичками? Езжай с ними! Шнель!»

Я окунаю голову в ведро с водой. Жарко. Перед визитом Красного Креста велено привести в порядок не только город, но и внешний вид «отдыхающих». Не мешало бы освежиться в парикмахерской, сделать маникюр…

От Иренкиного возлюбленного мы получаем свежие новости. Немцы отступают на всех фронтах. Скоро кончится война. И мы всей компанией будем сидеть в кафе на берегу Влтавы – и тут явится Хильда. Цитравели цитравели тринк транк тро…

35. Некруглая дата

Эвичка, дочь Отто и Марии, прибыла из Праги с подружкой. Пришла очередь полукровкок. Зачем они их сюда посылают, если скоро кончится война?

Старится не человек, а его мысли. От надежды – к отчаянию, от отчаяния – к надежде, какой круг уже проделали они за полтора года, – отчаяние тупеет, надежда блекнет. На разводы лазури ложится бесформенная чернь.

Меж тем мне стукнуло сорок шесть. Дата некруглая. Но окончательная.

Виктор Ульман преподносит мне ноты той песни, которую он сочинил на мой венский день рождения.

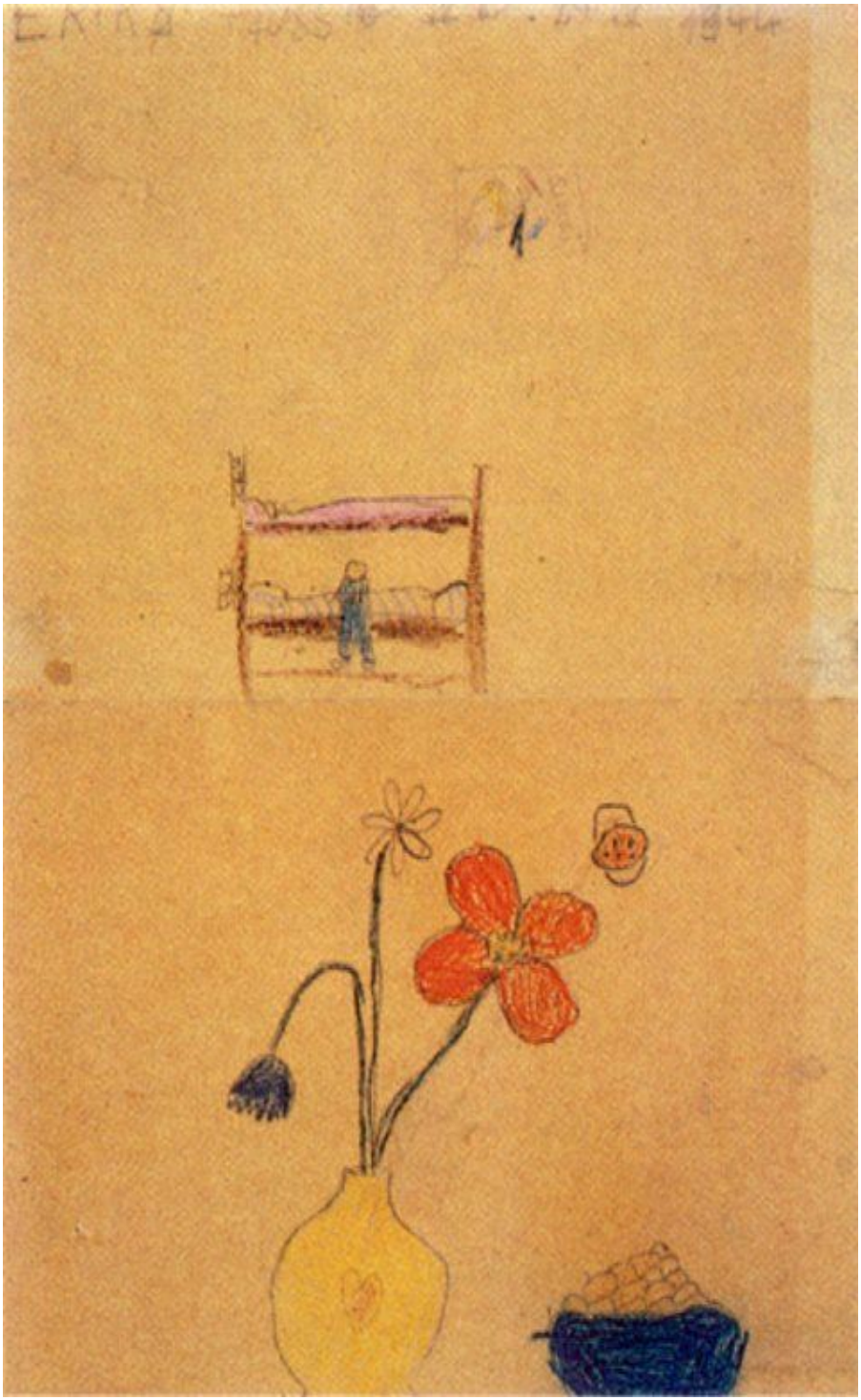
«Мы не изменились, мы остались такими же…»

Неужели он так думает? Во всяком случае, так он написал.

Дети дарят мне букет полевых цветов. Это запрещено. Но сейчас тут идет подготовка к съемкам показательного фильма, и блюстители порядка заняты другим делом. Им уж точно не до моих цветов.

Рисую: цветы в банке, рядом ключ, два раза. У детей на рисунках та же банка с цветами, и каждый цветок – в отдельности, и соцветия, и целые луга – вышивки на бланках, рисунки, коллажи…

Портреты пастелью. Усаживаю всех по очереди, как в фотоателье. Сидеть смирно! Гертруда Баумел с бантом у шеи, вполоборота, Иренка – с бровями вразлет, Павел – в разных ракурсах… Я спешу, рисую на чем попало – кусочек картона превращается в россыпи ярчайших лепестков, анютины глазки – маленькие хищницы – ложатся на кусок фанеры, люди на улице – размытые пятнышки цвета.



Кажется, все хорошо. Красный Крест остался нами доволен.
6.8.44…Дорогие Мария и Отто! У нас образовалась своя

маленькая семья. Если все так пойдет и мы здесь останемся, девочки получат много. Лаура следит за ними в оба. Я много рисую и занимаюсь живописью со всей интенсивностью, какая только возможна. У меня было свободное время. …Большое спасибо за все. Я вас всех обнимаю. Фридл.

36. Письмо к Вилли

Хотел напомнить вам эпиграф к «Логико-философскому трактату» Витгенштейна, – говорит Вилли, уступая мне место в очереди к раздаточному окну. Любит он покрасоваться – и Лоос у них дома останавливался, и Витгенштейна он лично знал.

С похлебкой и кусочком серого хлеба я иду к столу. Вилли подсаживается ко мне – на получение еды уходит секунда, только ждать этой секунды долго.

Что за эпиграф? Заинтриговали.

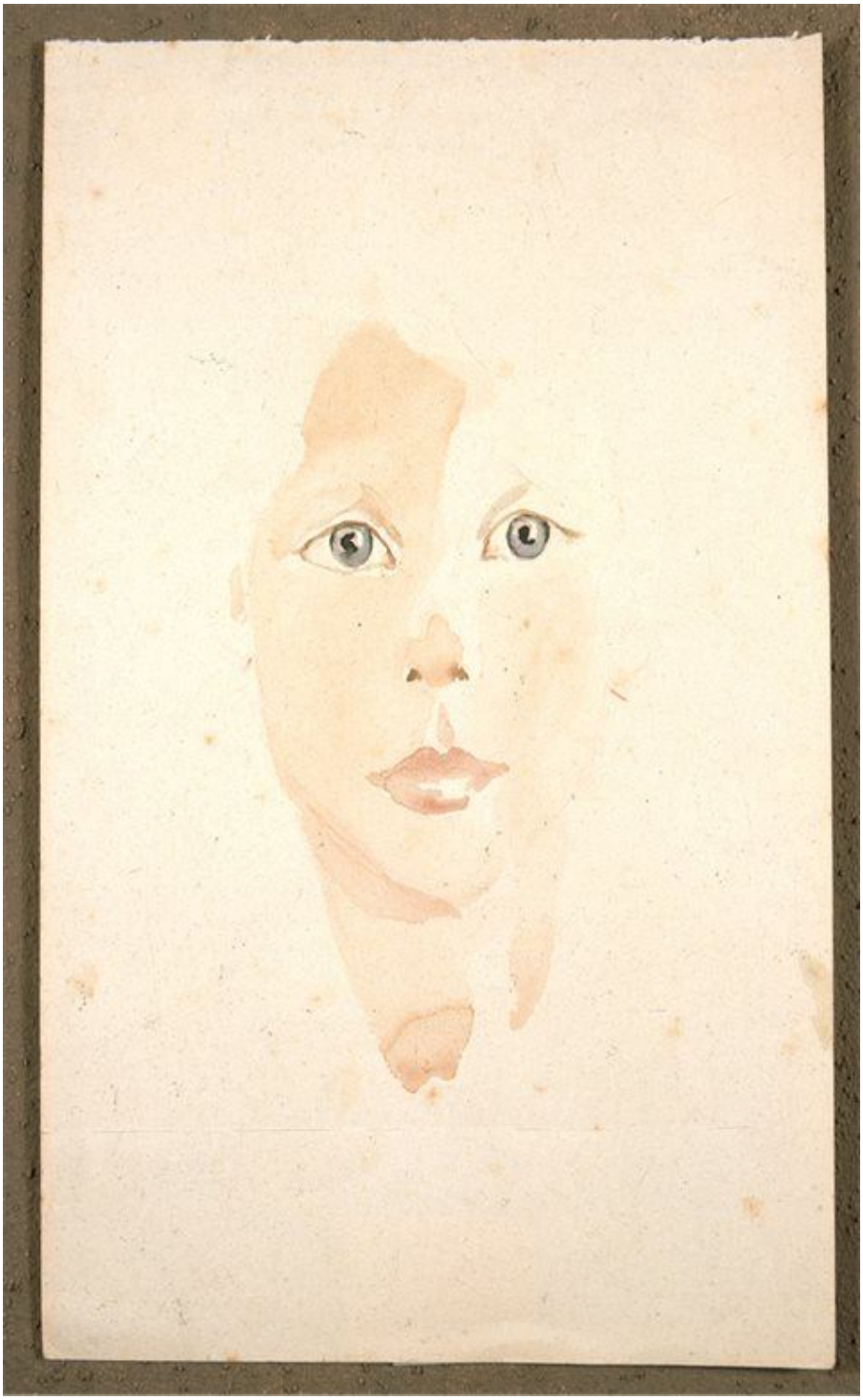
«Все то, что известно, а не просто слышится шумом и звоном, можно сказать в трех словах». А того, что нельзя ясно выразить, лучше не произносить.

«Жизнь – это повесть, рассказанная идиотом, в которой много звуков и ярости, но нет никакого смысла». Кто это сказал?

Не помню.

Макбет. Пятнадцать слов.

Мы с ним часто пикируемся. Но не на занятиях. Там он делается невозможно серьезным. Как Дуфек. Он хочет научиться рисовать. Это легко. Художником быть трудно. В какой-то момент, рассердившись на то, что не могу ему ничего объяснить, я набросала в его альбоме лицо ребенка, акварелью, несколько пятен, пару штрихов… Вилли опешил – он не просил меня рисовать в его альбоме.



«…Она была, конечно, исключительной… Ее энергия, страсть, с которой она утверждала сегодня одно, а завтра другое…»

8.8.44. Дорогой Вилли, если бы я была феей, я бы преподнесла тебе на день рождения волшебный дар.

Но как заполучить волшебный дар, когда он заключен в самом тебе? Надеюсь, что поиски знаков его присутствия доставят тебе большую радость.

Ты не выбрал религию или науку, не выбрал ты и простой жизни. Равно как и карьеру политика. Тебя привлекает творчество. Отсюда мой постоянный совет: распутывать клубок трудностей, руководствуясь вдохновением и инстинктом. В день по нити – и клубок постепенно распустится, и это тебе многое даст.

Наши внутренние ресурсы могут казаться нам жалкими, бедными, навевающими тоску. Но поверь, мы утратим основу жизнестроительства, потеряем живительные силы, если испугаемся того, что наши изыскания в самих себе подымут со дна какую-то неожиданную муть или окажутся пустыми.

Рассмотрим три гипотезы:

1) Талант не был дан нам природой с колыбели.

2) Сейчас не время раскрывать его.

3) Чтобы его раскрыть, понадобится долгое время.

Талант – это тоска по чему-то. (Иногда ограничение не лежит в самом таланте, и тогда взгляд внутрь породит горькое разочарование.)

Правильный момент – когда угодно. Ибо тоска создает снаружи в плотном жизненном материале необходимое свободное пространство. И если твой дух крепок, то и опыт накапливается, и, даже если ты временно ничего не создаешь в своей области, ты всегда готов в нее погрузиться.

Долгое время – это правда, оно даже больше, чем мы предполагаем. Но если у тебя есть направление или, еще лучше, свой собственный путь, то каждый успех, даже маленький, поддержит тебя.

Не думай, что я считаю такой подход единственно правильным. Я тоже постоянно нахожусь в поисках.

Только здесь я узнала, насколько сложны и причудливы все эти трансформации. В конце концов все определяется выдержкой и безграничным преодолением. Это звучит банально, но таков вывод из прожитого опыта.

Сегодня ты помогаешь ребенку не упасть с утеса, а завтра он может разбиться о камень. Конца этому нет. На твой день рождения я желаю тебе всего самого хорошего, и самое главное – длительного и глубокого дыхания, это и есть самое необходимое.

Про утес и камень я что-то переписывала в тетрадь. Точно, это же из Сенеки: «Какая мне разница, один ли камень ушибет

меня насмерть или раздавит целая гора?»

37. Сито

Сентябрь едва тронул позолотой липы и платаны. Отто прислал краски, и я рисую во дворе, прислонившись спиной к нашей двери, – упоительный свет, и воздух, чуть влажноватый по утрам и сухой, прозрачный в полдень.

Дорогая моя старуха! В августе я вовремя получила поздравления ко дню рождения. У меня каникулы. Благодаря Отто я могу рисовать. Вы всегда перед моими глазами. Целую, Фридл.

Эту открытку я отослала Марии утром 22 сентября 1944 года.

Днем пришло сообщение: «Рабочий транспорт из 5000 мужчин в возрасте от 18 до 50 лет будет отправлен в кратчайший срок. Соблюдайте дисциплину! Сделайте все, чтобы облегчить нашу задачу!»

Павел получил повестку на 28 сентября. Я бросилась к Редлиху: помоги, я должна ехать с Павлом! Невозможно. Едут только мужчины. А на следующем?!

Я добилась, чтобы меня включили в список добровольцев на следующий транспорт.

Только жди меня там, пока я не приеду, обещай мне, Павел!

Поезд ушел. Я набираю в легкие прохладную пустоту, задерживаю ее в себе и медленно выдыхаю.

Вещей нужно восемь. Я взяла с собой всего одну – сито для процеживания воды. Чтобы во время питья не погубить живую тварь.